95 коп.

23-1-14

Индекс 73276



«Нева», 1989, № 4, 1—208

НЕВА 4/1989

4/1989

ISSN 0130—741X

Г. ГОРБОВСКИЙ
Шествие
Записки пациента

Ю. СЕМЕНОВ
Ненаписанные
романы



Нева

В. РЫБАКОВ
Носитель культуры
Рассказ

Письма
Ариадны ЭФРОН

Политический клуб
«АЛЬТЕРНАТИВА»
Л. САМОЙЛОВ
Путешествие
в перевернутый мир



Карпиев пруд в Летнем саду

Рис. Б. Смирнова

Ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический иллюстрированный журнал

Орган Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации

Нева

4/1989

Выходит с апреля 1955 года



Ленинград
«Художественная литература»
Ленинградское отделение

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

ПОЛИТИЧЕСКИЙ КЛУБ «АЛЬТЕРНАТИВА»

Старший технический редактор **Г. В. Александрова**
Корректоры **А. Ю. Семина, О. Б. Смирнова**

Александр КУШНЕР

Под дождем

Я ли не знаю, как дождь заунывен
В городе этом, угрюм, монотонен?
Старый трехсложник уныл и наивен,
Полузабыт, но вполне узаконен.
Шарф на мне плотен и плащ прорезинен.

Зонт из чехольчика выну, раскрою
С треском, нажав незаметную кнопку.
Вечером ранним, осенней порою...
Вынесем это рыданье за скобку.
Тополь мне нравится с мокрой корою.

Друг мой! Признаться ли? Есть в этой влаге,
В сумраке, холоде — нам развлеченье,
Требующее любви и отваги,
А не нытья — безоглядное пенье.
Как я люблю тебя, город во мраке!

Беды любить его нас научили,
Да «мирискусники» нам завещали
Эти брандмауэры и шпили,
Мокрый канат на дощатом причале,
Бурые краски и темные были.

Мрачный он, жуткий, прекрасный, огромный,
Музы поют в нем слышнее, чем птицы,
Еду ли ночью по улице темной,
Жизнь свою вспомню — и сердце смутится,
Словно читаю роман многотомный.

Да, виноват, виноват, и отвечу,
Только и делаю, что отвечаю.
Кто посылает нам жаркую встречу,
К столику нас пригибает и к чаю?
Кроме любви, защититься мне нечем.

Синие тучи, лиловые тучи,
Самая темная смотрит, как кляча
Загнанная... Все равно не наскучит
Город, и жить в нем — большая удача,
Фарою высвеченная колючей.

Знал бы поэт разночинный, как будет
Старый напев нам казаться уютен
После всего, что стрясется... К простуде
Он, в крайнем случае, темен и смутен.
В тине ступени, и сходни в мазуте.

Но не к бомбежке в ночи, не к аресту,
Не к проработкам в разгневанном зале,
Даже не к скорбному, в спешке, отъезду
Всею семьей — в закордонные дали.
Сумрачный, он всего-навсего — к месту.

К месту всего лишь, а к смерти едва ли.

Бой быков

Я видел, как смерть выбегает из тьмы
На воздух, как с нею играют вприпрыжку
И жалят за все, с чем когда-нибудь мы
Столкнемся, разят, пропуская под мышку,
Вонзая в загривок ее острия,—
И смотрит, набычась, увешана острым,
Несчастную вспомню когда-нибудь я,
К ее привыкая обыденным сестрам.

Я видел, как смерть обижают, шутя,
Смеются над дикой, угрюмой, дремучей,
Как бы вокруг пальца ее обведя,
Запомню на всякий мучительный случай,
Как жарко горит золотое шитье,
Как жесты ее победителя ловки,
Как, мертвую, тащат с арены ее
В пыли и позоре на длинной веревке.

◆◆◆

Все империи разваливаются, друг мой,—
Говорил я у римских развалин в стране чужой,
Бывшей римской окраины, эти водопроводы
И мосты подновившей в Габсбургов век. Постой,
Покроши в руке этот камень, как часть природы.
Нет и Австро-Венгерской наследной досады той.

Если это закон, как его обойти? Вперед
Заглянув? Или дружба народов страну спасет?
Говорил мне якут, что Якутии слаще нету:
Как алмазных ее, золотых не щадить пород?
— Ладно, ладно,— якутскому я отвечал поэту,—
Нет зубов золотых у меня, загляни мне в рот.

Мы последняя в мире такая страна. Стихи
Так не любят нигде, как у нас. За отцов грехи,
Как известно, расплачиваются стократно внуки.
В рифму просится все, даже пасмурный лист ольхи.
Я хотел бы громаду пеструю на поруки
Взять, да мне не простят товарищи чепухи.

Я надеюсь не знаю на что, на грядущий век.
Всё мы видели: кровь, и смерть, и железный снег,
Мы не видели только поблажки судьбы и ласки
Мимолетной, дрожанья губ, трепетанья век.
Обойдется, Петроний. Не предрекай развязки
Мрачной, ты ведь не половец, я же не печенег.

◆◆◆

Какой мороз! Я вышел из парадной
И мощь его почувствовал и силу,
Неотразимый блеск невероятный,
Готовый, мнится, жизнь свести в могилу
Со всем, что есть в ней, с инеем на стенах
Домов, как бы заросших грубой шерстью,
С гурьбой стихов ее самозабвенных,
И стадным чувством, нежностью и смертью.

И знаешь, что мне вспомнилось? Севилья
Часа в четыре пополудни. Стены
Ее в июньском мареве. Бессилье
Мое. Кромешный зной проникновенный.
И колокольни ветхие, с пучками
Сухой травы на треснувших вершинах,
Соперничающие с холмами
Бессмертным жаром, в пятнах голубиных.

◆◆◆

Кавказский зной — и бабочка на клумбе,
Кавказский зной — и гравий на тропе,
Кавказский зной — и кто-то, кто нас любит,
Нашел, прильнул и выделил в толпе,
Кавказский зной — и веероподобный
Тростник — и море плещется за ним,
Кавказский зной — и перечень подробный
Земных блаженств... В аду не отдадим
Кавказский зной... Не сравнивай с удачей,
Успехом, славой... Может быть, с одной
Любовью только, влажной и горячей.
Не уходи, побудь со мною, зной.

◆◆◆

Я за столом, под лампой, ты — на диване.
Как я люблю о стихах говорить с тобой!
Было об этом, скажи, хоть в одном романе?
Повод в стихах в самом деле хорош любой,
Жук, например, залетевший в окно, дремучий,
Страхом своим напугавший нас,— как он дик,
Груб и мохнат! Здравствуй, здравствуй, счастливый случай!
Выстрел в горах! Просто солнечный влажный блик...

Тысячу лет назад, когда я ребенком
Был, я дружил с таким золотым жуком,
Он в коробке́ у меня шевелился громком.
Это уже о тебе я вздыхал тайком,
Честное слово! Шуршанье его, топтанье...
«Пленницей» пятую книгу назвал не зря
Автор любимый. Вот именно, обладанье.
Жгучее, страстное, детское, втихаря.

Не подходи к нему, вылетит сам,— я тоже
Умер бы, если б подкралась ко мне рука.
Как я боюсь, как люблю эту жизнь, до дрожи!
Все начинается с повода, с пустяка:
Падает сердце, и в гуще горячей жизни
Смысл открывается — темный, щемящий звук —
В детском каком-то врожденном он эгоизме...
Вылетел, вырвался... не возвращайся, жук!

Глеб
ГОРБОВСКИЙ

ШЕСТВИЕ

Записки пациента

1

В клинике на отделении доктора Чичко все мало-мальски пришедшие в себя больные пишут воспоминания. Исповедуются лечащему врачу: «с чего началось?», «чем кончилось?», «что способствовало?» и тому подобное. Вот и я пишу эти мемуары по просьбе Геннадия Авдеевича, вспоминаю характер своей болезни, дозволяю производить над собой опыты — чего не сделаешь ради науки. К тому же составление записок увлекло, вернее — отвлекло от больничной скуки, от душевных судорог.

Для начала несколько слов, предваряющих записки. Я — интеллигент в первом поколении и не знаю, ради чего склоняет меня к писанине уважаемый Геннадий Авдеевич, однако догадываюсь: не только в интересах моего конкретного выздоровления, но и в поисках некой психической тайны, которой якобы обладают пьяницы. Хочет ли он таким образом (методом) освободить меня от последствий пережитого бреда или проверяет, насколько у подопечного сохранился (разрушился?) интеллект — как знать, не могу судить. Я знаю, что страдал хроническим алкоголизмом, завершившимся белой горячкой. Знаю об этом от Геннадия Авдеевича, которому безгранично доверяю, а так же — из опыта и остатков собственной памяти, которой доверяю куда меньше.

И все же речь в записках пойдет не столько о болезненных ощущениях, сколько о смысле пережитого, о последующем анализе видений, которые навлекла на меня болезнь, о том своеобразном «театре теней», где довелось мне побывать. Не называю случившееся со мной сумасшествием. Назову — происшествием (от слова шествие?), так как твердо убежден: было это движением. Движением духа. В сторону раскаяния.

Я не помню, как это началось. Предполагается, что возле телевизора, которого теперь интуитивно остерегаюсь. Скорей всего в один из «подпольных», похмельных вечеров лежал я на койке у одной доброй женщины, Инги Фортунатовой, перед ее стареньким телеком и смотрел кино, как вдруг, сперва на экране «ящика», затем буквально перед глазами, в стереоэффекте — возникла эта дорога! Дорога, по которой нескончаемым потоком двигались люди.

Что это было? Галлюцинации? Сон длиною в вечность? Или — явь, спроецированная на меня каким-то образом из далекого прошлого — одному богу известно. И сколько оно длилось, это кино — краткий миг, долгий час или бесконечные сутки,— не имею понятия. Знаю лишь, что за время просмотра этого «фильма» мой воспаленный мозг впитал в себя массу концентрированной информации, перелистал сотни сюжетов, «нарисовал» на своей, обожженной алкоголем поверхности тысячи образов, которых настоящему писателю или художнику хватило бы не на один том «воспоминаний» или зарисовок в альбом.

Я же на лечебное сочинительство согласился в основном из-за больничной малоподвижности, тоски и еще потому, что для этой работы Чичко предоставлял мне по вечерам свой кабинет, где можно было не только уединиться от «страждущих» алкашей, но и — блаженно растянуться на казенном дерматине.

Себя в «Записках» обозначаю под вымышленным именем сознательно, чтобы не вводить в краску родственников и друзей, случайно ставших читателями этих записок. Мои анкетные данные наверняка занесены в историю болезни. Это — для любопытных.

И здесь не лишним будет заметить, что алкоголиками становятся не только грузчики, сантехники, слесари или колхозные трактористы, но и — великие писатели, композиторы, артисты, художники, военачальники, а так же врачи-наркологи и даже партийные работники, не говоря о типах вроде меня, ранее преподававших детям Историю.

Однажды, когда кризисное состояние моего мозга было уже позади, Геннадий Авдеевич в беседе со мной в числе причин, способствовавших развитию болезни, упомянул женщину. Не конкретное женское имя, а так, вообще. Дескать, не по Зигмунду ли Фрейду следует толковать возникновение моего недуга, завершившегося частичной потерей памяти?

Вопрос этот, коснувшись моего мозга, произвел в нем как бы электрический разряд, и я мгновенно вспомнил не только женщину, но и многое другое, связанное для меня с понятием Шествия.

Теперь-то я знаю: врач, заведя разговор о женщине, интересовался отнюдь не розовой дамой, что пригрезилась мне на дороге во время болезни; просто Геннадию Авдеевичу хотелось побольше узнать о больном, не исключая сведений интимного характера. Только и всего. И надо же, как дивно получилось: вспомнив женщину, вспомнил я и все остальное.

— Знаете,— обратился я к Чичко.— Была там одна особа. Но поймите меня правильно: женщина эта не могла меня любить. Ни меня, ни кого-либо еще. Потянулся я к ней безотчетно. Преследуемый запредельным одиночеством. Той разновидностью одиночества, которое мы испытываем, находясь в толпе. Потянулся, потому что был несовершенен. И еще потому, что незнакомка в розовом отдаленно напоминала мою жену. То есть — женщину, которая меня любила. В свое время. То есть — наиболее ощутимую из сердечных потерь.

Геннадий Авдеевич, выслушав мое признание, положил на колено блокнот и что-то в него записал. А я, взбудораженный воспоминаниями, продолжал видеть женщину. Как величественно продвигалась она по дороге, ведущей — одних к совершенству, других — к погибели, третьих — к раскаянию. Нет, вовсе не от распущенности, а в основном из-за въевшейся в кровь привычки любить женщину пуще библейского «ближнего» обратил я на нее внимание в условиях дороги. Из-за своей несвободы от прежних влияний и прочих признаков житейской суеты.

Кстати, о трезвой последовательности изложения событий в «Записках»: не ждите ее от меня, от человека, мягко выражаясь, уставшего душой.

Хватило бы только смелости вспомнить эту Дорогу.

И еще: на днях изможденный и молчаливый Лушин, затаившийся в палате, как прошлогодняя муха между оконными рамами, внезапно вышел из своего угла и с треском распахнул «опечатанное» на зиму окно. И оказалось, что на улице давно уже весна, и не только весна, но как бы — иная атмосфера: воздух был не просто свеж, но и целителен, и необыкновенно вкусен, а главное — манящ. Он сулил перемены, и все в палате моментально обеспокоились. Особенно те из нас, кто читал газеты. Я газет не читал. Еще — не читал. Но к свежему воздуху потянулся. Тут же в палату заглянула «дежурненькая» и, мрачно улыбаясь, захлопнула окно.

— С ума посходили... стерильные вы мои! Думаете, коли больные, так ничем больше не заболеете? Враз прохватит...

Никогда прежде не видел я таких широких дорог — километра два в поперечнике. Если не более того. Однажды, в самом начале пути, попытался я пересечь движение, лавируя среди идущих птиц, людей, собак, лошадей,

кошек и прочей живности, но — так и не добрался до противоположного края дороги. Без конца озирался, и все время как бы сносило водой. Затем желание постичь масштабы дороги притупилось. Возобладало восхищение. Восхищение происходящим.

Нет, я не оговорился, сказав, что на дороге, в лавине движения птицы именно шли — шли, а не летели на крыльях по небу. Вспоминаю, отчетливо вижу, что так оно и было: семенили трясогузки, переваливались, ковыляя, голуби, скакали сороки, галки, бежали дрофы, павлины, страусы, ползли коротконогие ласточки и стрижи, помогая движению пыльными крыльями.

Шествие людей на дороге напоминало шествие военнопленных немцев по улицам Москвы, заснятое на кинопленку и не единожды показанное по телеку в документальных программах. Мешанина лиц — уставших, смущенных, страдающих, любопытных, опустошенных, нагловатых и даже надменных. Но как серые одежды красили этот поток в однообразный заунывный цвет, так всеобщая участь пленников придавала этому потоку печальный колорит обреченности, покорности, утраты прежнего воинственного легкомыслия жизненных гуляк и смертельных проказников.

Покрытие на гигантском шоссе было необычным: ничего традиционно-асфальтового, бетонно-булыжного или гравийного. Трещинноватый монолит. Трещины мизерные. Через них запросто перешагивали мелкие птицы такие, как малиновки или мухоловки.

Тогда, в первые часы продвижения, я все еще пытался выяснить, с какой стати среди идущих очутился я, Викентий Мценский, человек до недавнего времени «стационарный», оседлый, преподававший детям Историю — предмет внешне малоподвижный, как бы с окаменевшей, отжившей структурой? И, поразмыслив, отвечал себе так: старик, не суетись, не твоего ума дело. И утешал себя следующим образом: задаешь вопросы, значит — живешь, а не просто переставляешь ноги. А преподавать ли тебе в дальнейшем Историю или производить на шоссе дорожные работы — не имеет значения. Сложней с вопросом: как теперь жить, по каким установкам, ибо жить по-прежнему было нельзя, да и — не имело смысла. Тем более, что История — не предмет, она — закон памяти, то есть — божий закон.

Но бог с ней, с Историей. Вернемся на дорогу. Освоился я на ней довольно скоро. Притерпелся, перестал суетиться. Сосредоточился на неизбежном, то есть — на движении. Приобщился к потоку. Но вот что замечательно: абсолютного покоя не обрел. А ведь запредельный покой не только подразумевался, его обещали даже медики. Мешали неизжитые привычки, пристрастия, почвенная отформованность духа. Например, я еще долго озирался, привыкая к незнакомому ландшафту, ища в расстилавшемся пейзаже узнаваемые контуры. И, ежели обнаруживал в чем-то сходство с пережитым ранее, потихонечку ликовал, пряча улыбку в кулаке.

Глаза мои искали растительность и не находили ее под ногами. Деревья торчали где-то по краю дороги (другого ее края за спинами толпы не было видно). Прежде, до того, как очутиться на шоссе, из всех земных даров природы более прочего любил я деревья и, естественно, первыми пожелал их увидеть в необычных условиях шествия. Но теперь это были не березы, не сосны-елочки, даже не осины — это были деревья незнакомых пород. Может, где-то возле экватора и встречаются подобные виды, только я на экваторе никогда не был и ничего аналогичного прежде не наблюдал.

Здешние деревья росли по краям дорожного монолита, их можно было трогать руками, обнюхивать, но, скажем, залезать на них или хотя бы повисать на их ветках в петле — не было принято. И не потому, что неэтично (никаких запретов на дороге не практиковалось, все условности были изжиты), а потому что — безнравственно. Беззащитность деревьев здесь, на дороге, проявлялась особенно отчетливо и, прежде всего, в податливости древесины. Деревья были мягкими на ощупь. Как человеческие тела.

Почва, на которой укоренились деревья, напоминала болотную травянистую топь, но пропитанную не жидкостью, а песком и дурно пахнущими газами, и не потому ли с дороги никто никогда не сворачивал? Во всяком случае — не без этой, чисто внешней причины.

Сразу необходимо сказать, что направление у всех идущих было одним-единственным, а именно — вперед, в сторону вечного покоя (по другим сведениям — в сторону Развилки, где расположен некий Распределитель: кого куда. И распределяли, дескать, по справедливости, по заслугам, а не — по знакомству. Встречь потоку никто длительное время не шел. Некоторые пятились, как бы от пышущего жаром костра или стояли на месте, а то и сидели, отдыхая по привычке, хотя усталости никто уже не ощущал).

Сидели, как правило, возле какого-нибудь местного события, скажем, возле немокрого дождя или возле падающего бутафорского снега (эти и другие природные явления, рожденные людской ностальгией и явленные их воображением, происходили в специально отведенных местах или «квадратах» шоссе: кому ливень, кому пыльный смерч, а кому февральская восточноевропейская пурга — своеобразные, без материальной заинтересованности клубы по интересам).

Если не считать мягкотелой растительности, как бы конвоирующей движение, никакого ландшафта за пределами дороги не просматривалось. Небо исправно поило взгляд бездонной синью. Ночью на нем было много звезд, однако привычных взгляду созвездий — не наблюдалось. Ни о чем таинственно-запредельном, космически-непознанном окружающая обстановка не говорила. Недаром на всем протяжении многодневного пути не покидало меня ощущение, что иду я не где-то в облаках воображения, но, как всегда, по земле, по какой-то очень древней дороге, затерянной, скажем, в пустыне Сахара или в «песчаных степях Аравийской земли...»

Идущие по дороге люди, да и все остальные существа, делились на три отчетливо различимые категории, как бы на три самостоятельных течения, растворившихся в одном общем потоке. Внешне — это как бы трехцветье одного флага: полоска зари, полоска ночи, полоска земной зелени. Ясноликие, отрешенно-спокойные дети добра и совершенства, мрачные, изъязвленные искушениями «цветы зла» и самая многочисленная «прослойка» — незрелые человечки вроде меня, стан колеблющихся, не сделавших выбора, не принявших окончательно той или иной стороны.

Для меня, человека с неиссякшей любознательностью, многое на дороге было в диковинку: удивляло отсутствие усталости и прочей «чувствительности», поражало «наличие» аппетита, постоянное желание что-нибудь съесть, схрумкать, проглотить при полном отсутствии «продуктов питания». Повторяю, алчность сия наблюдалась только у таких, как я, неопределившихся. Светлые, а так же мрачные существа чувства голода не испытывали. Обходились. Первые, должно быть — восторгом, вторые — неутолимой печалью.

Чувство голода усугублялось отсутствием зубов. Зубы на дороге, и не только у меня, и не только зубы, но и ногти, выпадали, будто иглы у посленовогодних, помоечных елок — от малейшего резкого движения.

По неопытности некоторые из «зеленых» покушались на придорожную растительность, но у них тут же начиналась многочасовая, неутолимая рвота, сопровождавшаяся корчами. Однако никто не умирал. Есть было не обязательно. Даже не нужно. Правда, унизительное чувство голода порой низводило взалкавшего до положения рыскающей собаки, и потому людей незрелой категории отличить от остальных было легче простого: они постоянно что-нибудь жевали, и чаще всего... палец своей руки. То есть — имитировали прием пищи. Точно так же, как грудные младенцы налегают на резиновую плоть пустышки.

В общении тянуло к себе подобным, то есть — к людям русской национальности. Как в больнице, когда, к примеру, если у вас камни в почках, то и заговариваете вы, прежде всего, с почечниками, а не с чесоточниками или туберкулезниками. Вот и здесь, на дороге, для начала решил я свести знакомство с человеком, напоминавшим мне соседа по петроградской коммуналке Митрича, очумело сновавшим в дорожной толпе на старческих, деформированных ножках и как бы радовавшимся этой возможности безнаказанно сновать, жевавшим палец и суетливо заглядывавшим в посторонние глаза в надежде пообщаться.

Человек этот невысокого роста, с шарообразным животом и такой же

головой, с шарообразными ягодицами, выпуклыми икрами ног и покатыми, шарообразными плечами, весь как бы состоявший из шаров, носивший широченные штаны с подтяжками красного цвета и ситцевую рубаху с выцветшим рисунком, словно забывший где-то впопыхах свой пиджачок и теперь, на дороге, разыскивавший его усердно, как заблудшую душу, человек этот, жизнерадостный, оказался знаменитым некогда коллекционером антиквариата Евлампием Мешковым, древним, девяностолетним стариком, «зарезанным», по его словам, врачами одной московской больницы накануне своего девяностолетия.

— Понимаешь, сынок,— попытался он с ходу растолковать мне причину своего недовольства московскими врачами.— Прихватило у меня брюхо. С кем не бывает? И допрежь прихватывало. Покушать я любил. А туточки — бац! Не по себе вовсе, памерки отшибло. Очнулся, глядь: уже операцию сделали. Безо всякого спросу. Оклемался малость, интересуюсь: для чего сделали? Говорят: подозрение на аппендицит, вот и вскрыли. А кому, как не мне, знать, что аппендицит у меня еще до революции вырезан, когда я матросом на броненосце «Инфанта Марфа» служил. Небрежно, братцы, работаем, вот оно что получается. Одно дело — я, старый пень со своей кишкой, а ежели так вычислительную машинку ковырнуть, которая атомную ракету на цепи держит, стережет, а? То-то и оно. Предыдущего шва, хирурги хреновы, не заметили. А через неделю мне хуже и хуже. Не только свежий шов не затягивается, но и давнишний, судовым врачом нанесенный, разошелся. А в итоге: шкандыбай, Мешков, по шоссейке. Такая коллекция дома без хозяина осталась! Хорошо, если государство оприходует, а ну, как — сродственники накинутся... Ей ведь не только цены — умопостижения подходящего нету!

Старик почему-то уцепился за меня. Чем я ему понравился — ума не приложу. Коллекционной страстью никогда я не страдал, поесть не любил, закусывал чаще всего «рукавом», аппендикс мне так и не вырезали. Вот разве что... под одним небом цвели?

— Сынок, а пожевать у тебя ничего не найдется? — безо всякой надежды в голосе обратился ко мне старик Мешков.

В верхнем кармашке моего зачуханного блейзера с женскими блестящими пуговицами (этот знаменательный пиджачок для меня — не просто вещь, но — подарок жены и еще — символ, ибо в нем я принял смерть, правда, как выяснилось позже — всего лишь клиническую), в котором я в свое время, перед позорным увольнением из школы, преподавал детям Историю Древнего Рима, так вот, в кармашке этой суконной реликвии имелась у меня застарелая, окостеневшая полоска жевательной резинки, которую лет пять тому назад отобрал я у шкодливого, постоянно жующего, трескучего подростка Куковякина. И вот теперь, на дороге, поразмыслив, извлек я заморское лакомство и по-братски поделился окаменевшей пустышкой со стариком-коллекционером.

«Деду хоть и много лет, а гляди, какой круглый да крепкий, будто репа! Вдруг да и пригодится знакомство,— соображал я на ходу.— Тем более, что никто здесь, на шоссе, старше себя уже не делается. У такого старичка, помимо знаний, большой опыт общения с людьми. Отщипну-ка я ему половинку жвачки».

С этих пор и вплоть до развилки, через весь неотвратимый путь старик Мешков увлеченно мусолил сладкое резиновое вещество, тискал его деснами, благодарно сверкая вставными глазами. Мешков, конечно же, уверял меня, что глаза у него натуральные, просто хорошо сохранились — зеленые, ясные, переливчатые, я же не без некоторых оснований полагал, что органы зрения у деда протезные, пластмассовые или коллекционные — из драгоценных камушков: стоило понаблюдать, как бесстрастно, бессердечно провожал он этими глазами беспомощных ласточек и стрижей, не умевших ходить пешком (птицы не летали из-за непригодной, разреженной атмосферы, господствовавшей над дорогой). Остекленение мешковского взгляда «вычислил» я чуть позже: старик поскучнел из-за невозможности коллекционировать на дороге что-либо путное. Предметов антикварной старины не наблюдалось, а коллекционная страсть в Мешкове осталась прежней. В дальнейшем Евлампий Мешков начнет коллекционировать разного рода мелочи, оседавшие на дорогу из толпы, как из тучи: оторванные пуговицы, выпадающие зубы и ногти, волосы, обрывки ткани, сапожные гвозди, подковки и прочие шлаки. Страсть сделает его внимательным, глаза потеплеют, и ему, время от времени, начнут попадаться предметы более высокого назначения: медали, значки, нательные крестики.

Прежде, где-нибудь на Невском проспекте, меня всегда раздражала бесцеремонность встречных взглядов, мнительный я был до сердечных судорог, особенно с похмелья; иной, бывало, так и обшарит тебя с ног до головы беспринципными гляделками, и ведь знаешь, что смотрит он на тебя поверхностно, смотрит и не видит, а все равно — ежишься. А здесь, на дороге — все наоборот. Приглядевшись к попутчикам, на многих лицах обнаружил я эту странную бесстрастность глаз, объяснив ее отсутствием в людях корысти. Особенно ясными и вместе с тем порожними были глаза тех, что посветлей и как бы посчастливей прочих. Передвигались они торжественно, даже сановито. Зато уж смутные очи злодеев курились из-под опущенных век черным дымом разочарований и перебродившей ненависти. И только глаза незрелых «недотыкомок» продолжали жить, светясь неистребимым огнем земного бытия, переливаясь многочисленными оттенками желаний, помыслов, воспоминаний.

Евлампий Мешков многое мне объяснил на дороге. Его общительный характер способствовал этому. В молодости балтиец Мешков, повитый пулеметной лентой, был прикомандирован к петроградской «че-ка» и однажды сопровождал на Шпалерную Максима Горького, задержанного по распоряжению недоброжелателей, и великий пролетарский писатель будто бы пошутил тогда: «Ну, что, братишка, приятно тебе Горького употреблять?» На что Евлампий, не сообразив, с кем имеет дело, сморозил: «Если угодно, то нам сладкий ликерец более по душе будет».

На мой вопрос, что за люди на дороге, Евлампий Мешков ответил коротко и ясно:

— Одержимые.

Пока я соображал, что к чему, расшифровывая значение ветхого слова, Мешков продолжал меня удивлять:

— Подслушал я про это самое возле одного дождичка. Припекло, вот я и решил освежиться: стою себе, лысину охлаждаю и забавно мне, что одежонка не мокнет, хотя водица так и шпарит. Под тем же дождем два светлых старичка толкуют. Один повыше росточком и борода у него подлиннее, нос картошкой, как вот у меня, на плечах блузка в складочку, шнурком подпоясанная, а ноги босые вовсе из портков выглядывают. Он-то и сказал, мотнув головой на угрюмых слепцов, которые днем глаза на запоре держат: одержимые, дескать! А второй старичок, да и старичок ли, глаза ясные, как синь-пламень от свечки, бороденка огнем пообкусана, и сам весь горячий, будто уголек из костра, так и светится нутряным жаром — перечит первому старичку, похожему на писателя Льва Толстого.

— Не осуждай! — звенит железным, нерасплавленным голосом.— Не лезь в законы божественные со гордыней бесовской! Не нами наказаны, не нам об них языки чесать. Все мы тут одержимые. Милостью господней.

Наверняка — служитель культа, бывший, расстрига.

Углубив ладони в карманы широченных штанцов, Евлампий пошуршал «коллекцией», покамест составленной из двух своих последних зубов, а затем продолжал:

— Послушал я тех старичков старорежимных, пригляделся к публике и смекаю — прав первый старичок: одержимые! Кто чем... Одни — злодейством, другие — добромыслием, третьи, навроде нас — и вовсе разной чепухой. А спроси у кого... корочку хлебную — не подадут, мимо ушей пропустят просьбу. А все книги! Печатной продукции начитались, вот их и вертит, умников, будто в омуте.

— Вы говорите «их», а нас... что же — не вертит? — пытаюсь приструнить Мешкова.— Лично я — водочкой увлекался...

— По их светлому мнению, старичков этих рассудительных, мы, то есть

у которых глаза еще бегают, одержимы по мелочишке: жрать хотим, суетимся, сомневаемся, желаем знать, что там, впереди, забегаем поперек батьки в пекло, грешим всё еще, дискать. А эфти светлые, да и мрачные, которые слепцы — шалишь: никаких уже поступков не совершают, есть не хотят, мозгой не ворочают, святым духом питаются, душу на покаяние несут, тем и одержимы. Ежели сомневаешься — спытай: обратись к кому хошь из них, ну, хотя бы за куревом или еще по какому житейскому делу — бесполезно. Как о стену горох. Я тут среди этих, которые в землю носом смотрят, одного знакомого коллекционера обнаружил. Сунулся было с разговорами к нему, а тот даже не узнал меня и только, будто волчина с жаканом в кишках, по-сучьи так на меня посмотрел, с немой злобой, и дальше потрюхал. А случалось, дубликатами обменивались...

С коллекционером Евлампием Мешковым еще не раз придется мне сталкиваться на дороге и толковать о том, о сем, а тогда я его покинул, потому что увидел в толпе прекрасную женщину, обратил внимание на ее дивную фигурку в чем-то легком, полупрозрачном, светящуюся нежно-розовым светом, с лицом, если не святым, то абсолютно безгрешным, освобожденным от мирских морщин, теней и прочих наслоений и отпечатков доли земной.

Она стояла возле участка, над которым шел снег, как перед экраном огромного телевизора, где рассказывалось о русском Севере или Сибири. В глубине снежного действа были наметены сугробы, кой-где столбушкой кружилась поземка, поскрипывали шаги легко одетых любителей зимних ощущений, свернувших ненадолго с теплого, бесснежного шоссе, чтобы насладиться зимними впечатлениями. Я уже знал, что снег в зоне зимы традиционных свойств не имеет и что по нему запросто можно ходить босиком, не боясь отморозить пальцы. Но трепетный облик женщины, напоминающей лепесток цветка, оторванный бурей, смотрелся на фоне сугробов, как... космическая катастрофа, и леденил мне сердце. И тогда я, позабыв о себе, о том гнусном впечатлении, которое вот уже столько лет произвожу на людей своим внешним видом алкаша, шагнул к женщине... И тут она обернулась! Похоже, я вскрикнул, пробормотав имя жены: «Тоня! Тонечка...» Но это была не Тоня. Тоня осталась там, на Петроградской стороне или где-то еще, в моей памяти, в моей молодости. После я жадно вспоминал, что меня сбило с толку? Почему я ошибся? И, наконец, догадался: две крупные слезы в уголках глаз розовой женщины, как два алмаза! Тоня всегда плакала именно так: не истерично, не размазанно, не мокро, слезы ее вызревали жутко медленно и держались в уголках глаз долго, последние годы нашей совместной жизни — почти постоянно.

Розовая женщина обладала именно женской, выстраданной — не девичьей фигуркой, неуловимо тренированной счастьем, горькой тоской и восторгами любви, это было стойкое, умное, опытное и необыкновенно изящное тело. И я поначалу даже не испугался, когда женщина, не без трепета в тонкой лодыжке, ступила в зиму (ступи она со своим изяществом, блеском линий в огонь, я и тогда не вздрогнул бы: ожидаешь, что огонь телесный переможет огонь внешний), но, спустя несколько мгновений, засомневался в ее неуязвимости и, расталкивая беженцев дороги, ринулся следом за ней в отрезвляющую снеговерть.

На этом первая тетрадь «Записок пациента» кончается. Писал Мценский шариковой ручкой в ученических тетрадях на бумаге, разлинованной в клеточку. Писал неразборчиво, «приблизительным», неврастеническим почерком. При перепечатке на машинопись некоторые из слов «записок» приходилось домысливать, а то и — угадывать, так что мое с Мценским соавторство — очевидно. Да и кто я в этом мире, если отбросить условности? Такой же пациент. Все мы — пациенты. От рождения. Если не раньше. Ибо, наряду с волей к жизни в каждом из нас запрограммирован «гибельный ген», смертельная мета. И единственная из панацей от этой хвороби — Вера. Вера в бессмертие духа.

«Записки» Викентия Мценского не были предназначены им для печати, во

всяком случае — нигде подобные заботы не оговаривались (как, впрочем, и запреты на издание).

Тетради Викентия Мценского попали ко мне от врача-нарколога Геннадия Авдеевича Чичко. С меня было взято слово, что я никогда и никому не открою подлинного имени автора «Записок». Что я и делаю, публикуя «Записки» в несколько интерпретированном мной литературном их варианте.

До того, как нам продолжить публикацию «Записок пациента», расскажем историю появления Мценского в клинике, где заведующим наркологического отделения работал тогда Геннадий Авдеевич Чичко.

2

На одной из станций ленинградского метрополитена где-то после двенадцати ночи дежурная в красной шапочке обнаружила в вагоне спящего человека.

Такие, «сонного» свойства находки в метро — не редкость. Попытались добудиться. Открыв глаза, человек не подхватился бежать, наоборот, вел себя вяло, грустно склонял голову на грудь одного из машинистов, пришедших на помощь дежурной по станции.

Тогда решили: сильно пьяный. Позвали сержанта из пикета. Проводили «обнаруженного» до эскалатора. В пикете тот человек продолжал вести себя тихо, даже печально. Во всяком случае — неагрессивно. Это насторожило сержанта, который и вызвал «скорую».

В скромном, отечественного покроя пальто задержанного, а так же в пиджачных карманах потертого «фирменного» блейзера были найдены паспорт на имя Викентия Валентиновича Мценского, полполоски окаменевшей жвачки, в паспорте — засохшая веточка горькой полыни, остро пахнущая степными просторами; в кармане измызганных джинсов — ключи. Скорей всего — от квартиры.

Мценский поступил в клинику с явными признаками алкогольного бреда, предельным истощением нервной системы, отравленной кровью. Помещен был в «наркологию», из горячечного состояния выведен с трудом. Тело его после ряда процедур расслабилось, мышцы «потекли», как после каторжной работы. Человек впервые за много лет по-настоящему отдыхал. Молча, тяжко, благодарно. С наслаждением человека, воскресшего из мертвых.

На третьей неделе пребывания в клинике Мценский неожиданно улыбнулся.

На вопрос дежурного врача: «Что с вами, больной?» Мценский ответил: «Да так... Вспомнил кое-что».

Решили: миновал кризис, и что улыбка у пациента хорошая, неущербная, то есть — осмысленная.

Что именно вспомнил Мценский — осталось для всех тайной. Для всех, кроме завотделением Чичко, которому Мценский не только доверился, но в дальнейшем даже посвятил свои клинические записки, названные несколько торжественно: «Шествие».

Приступы ласковой улыбчивости, а затем и негромкого похохатывания посещали больного без предупреждения и — где угодно: за обеденным столом, в туалете, в процедурной, в спальне и, особенно отчетливо, размашисто — в прогулочном коридоре.

Засыпал Мценский по приеме успокоительного. Засыпал медленно, с превеликим трудом. Улыбка его тогда постепенно тускнела, тишала, но еще долго, как безголосый дымок из притихшего вулкана, курилась изо рта, болотными пузырьками поднималась со дна исступленной души больного.

Улыбался и похохатывал Мценский целый месяц и вдруг перестал. Затишье наступило после несложной процедуры: ему сделали промывание желудка. До клизмы чего только не применяли: и гипноз, и аутотренинг, и электрошок, не считая ванн хвойных и ванн родоновых. Выручила бабушка Аграфена, внимательная и ужасно опытная нянечка. Она подсказала Чичко: «Третьи сутки энтот ваш хохотун на горшок не ходит». Сделали процедуру,

и Мценский перестал улыбаться. Он понял, что предстоит жить дальше. Ездить по городу на трамваях, зарабатывать на хлеб, читать вывески, смотреть людям в глаза.

И тогда он решил «признаться», что валял в клинике дурака. Что он — симулянт. И что улыбался он не без умысла, но как бы от щекотки, то бишь — от бесполезности лечения.

А на самом-то деле улыбался он потому, что поверил в воскрешение своего организма и что теперь он знает, как ему жить дальше.

Все — и главный врач, и доктор медицинских наук Христопродавцев, и завотделением Чичко, и приглашенный из Бехтеревского института доцент-психоневролог, даже бабушка Аграфена, последняя даже более прочих — были убеждены, ощупывая Мценского глазами и руками, что это и есть его величество Выздоровление. И пусть скептики продолжают настаивать на отсутствии в мире чудес. Чудес, может, и нету. Зато есть Мценский — изможденный, беззубый, грустный дядька, обладающий теплым, в иронической дымке, взглядом серых глаз, задумчивым, недоверчивых интонаций «подпольным» голосом «с ехидцей», широким ртом с лошадиной, «задиристой» верхней губой и прочими мелочами, дарованными ему природой и собственными привычками.

В клинике Мценский, как было уже сказано, провалялся более года. Агрессивнее в условиях относительной изоляции не сделался. Печаль с его лица не сошла, однако смотрелась — умиротвореннее.

По ходу сочинения «Записок», в самом начале этого мучительно-сладостного занятия «пациент» иногда заикался о какой-то вселенской печали, мировой тоске, которую будто бы знал не понаслышке, а захватил в мир откуда-то «оттуда», с какой-то судной дороги, но распространяться об этом в клинике во всеуслышание с некоторых пор перестал, ибо смекнул: врачам необходимо угождать, то есть лишний раз не пугать их и не разочаровывать. Иначе — залечат. И вот, наконец, комиссия...

В белой комнате клиники сидели бледные городские люди. Стены, мебель, халаты, шапочки, кожа лиц, рук — все это сливалось в один сплошной стерильно-бесцветный туман, заполнявший помещение, и только черные висячие усы председателя медкомиссии Христопродавцева, ведшего опрос пациента, выбивались из этого оптического тумана, как здравая мысль выбивается из словесной каши.

— Скажите, больной, вы по-прежнему утверждаете...

— Нет, нет! Я уже ничего не утверждаю. Пожалуй, теперь я чаще, чем нужно — сомневаюсь.

— Прошу не перебивать. Кстати, как вас теперь зовут? Фамилия, имя?

— Мценский Викентий Валентинович. Как и положено. А я почему-то сомневаюсь даже в этом. Вот вы меня лечили, лекарствами пичкали, процедурами. А я, к своему стыду, сомневался. Сомневался, что я болен именно в том направлении, которое вы определили для меня. И я... улыбался. Мне вдруг стало забавно... наблюдать, как все мы, вместе взятые, делаем что-то не то, думаем не о том, чувствуем не так. Иными словами — сознательно притворяемся. Сознательно, но... не безнаказанно.

Вслед за признанием Мценского в притворстве, председатель комиссии, тот самый, с отвислыми запорожскими усами доктор и профессор Христопродавцев ненадолго воспылал лицом, словно сглотнул горькую пилюлю обиды. И тут же хитренько подмигнул Мценскому.

— Значит, притворялись, Викентий Валентинович? А кто Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций звонил? Спичку в штепсель вставлял и разговаривал с Пересом де Куэльяром? Выходит, комедию ломали? Выходит, что сознания вы не теряли, а добровольно... выбрасывали его на помойку? А все эти кардиограммы и энцефалограммы — они что же — бессовестно врали?

— Разве это со мной происходило? — беззлобно усмехнулся Мценский.

— А с кем же тогда?! — взопрел малость Христопродавцев.

— С моей телесной оболочкой, со скафандром, так сказать...

— Шутить изволите?



Рис. О. Яхнина

— Скучно, потому как...

— Да вы, однако... фрукт! Прошу прощения, товарищи,— обратился председатель к членам комиссии и в первую очередь к Геннадию Авдеевичу Чичко.— Но вас, похоже, и впрямь водили за нос. Трудоспособный экземпляр целый год на казенных харчах, извиняюсь, отдыхал! Больной, вы свободны!

— И как же вас понимать, профессор? Больной я или здоровый? Такой же, как вы или?.. И куда мне теперь идти, если я будто бы — свободен? За документами, так что ли?

— Ступайте в палату. Документы вам принесут. И мой вам совет: в следующий раз, когда будете звонить... в ЮНЕСКО, не сочтите за труд, замолвите и за нас, грешных, словечко. Из чувства элементарной благодарности, хотя бы... перед бабушкой Аграфеной, которая вам утку подавала, когда вы не только этих чувств лишились, но и всех остальных.

— Извините... Я, конечно, благодарен. Только мне показалось, что есть проблемы более захватывающие.

— Ну-ка, ну-ка, как там насчет пребывания в другом измерении? Вы об этом заикнулись? Вот те на. Мне казалось, что всё уже позади.

— Чепуха. Галлюцинации. Физиология. Спасибо за... избавление.

— Тогда почему... сомневаетесь?

— Нервы шалят. Устал. Разве не так? — улыбнулся Мценский Христопродавцеву замирительно, а на Геннадия Авдеевича глянул с мольбой.

Комиссию созвали по просьбе лечащего врача, завотделением Чичко, отдавшего себя борьбе с алкогольной и курительной наркоманией столь же безоглядно, сколь некоторые из его пациентов отдавали себя в руки безжалостного порока. Чичко сказал:

— Пощадим Викентия Валентиновича. Он и так, можно сказать, подвиг совершил: с того света вернулся.

Но «запорожец» не унимался. Видимо, в рассуждениях Мценского что-то профессора основательно зацепило.

— Чем намерены заняться после излечения? Ваша специальность?

— Откровенно говоря, никакой специальности не имею. Судя по документам — работал учителем истории. Не хуже меня про то знаете, небось. Но иногда мне сдается, что работал я не в школе, а в вытрезвителе, медбратом. Это потому, что я там неоднократно содержался. Произошло слияние восприятий, или как там по-вашему, по-научному?

— Ваши любимые книги? — внезапно поинтересовался Христопродавцев, по-свойски подмигнув Геннадию Авдеевичу.

— «Капитал» Маркса и «Ветхий завет!» — выпалил Мценский, не раздумывая.— Это что — тест? Вообще-то я все книги люблю. Без разбору. Даже — отъявленную макулатуру. Запах книжной бумаги обожаю. Не читаю, но как бы вдыхаю премудрость. А эти две книги... они даже — не литература, а нечто сверхъестественное. Тайна бытия, расчлененная надвое. И на земле именно тогда наступит гармония нравов и философского поиска, когда эти две книги сольются в одну. То есть — увидят свет под одной обложкой всечеловеческой любви.

В помещении, где заседала медкомиссия, на лицах присутствовавших «сочленов» возникло замешательство. Казалось, бело-муторный, стерильно-казенный туман еще более сгустился.

— М-мда... И все же, кем решили работать в дальнейшем? — взмахнул председатель усами, будто крыльями головы.

— Еще не решил. На первых порах — расклейщиком газет, а может, маркером в бильярдной Дома писателя. По радио приглашали. Кандидатов на эту должность. Или — банщиком — чеки на металлический штырь накалывать. Могу и — в школу, только теперь — в сельскую... Вот Геннадий Авдеевич присоветовал... в Новгородскую область. Там теперь Нечерноземье поднимают. Мертвые деревеньки на ноги ставят. Одно знаю: в вытрезвитель больше не попаду. Забыл я туда дорогу.

— Ой ли?! — шевельнул усами «запорожец».— А если вам предложат... вести в школе, ну, хотя бы историю Древнего Рима?

— Откажусь. Если — в городской школе.

— А что... не потянете?

— Я хочу отдохнуть. От всяческих историй. Даже от самых древних, безвредных. Вообще — от прошлого отдохнуть, остынуть... И пускай оно вас не смущает, это мое желание. Хочу пожить настоящим, без философских, иссушающих мозг туманов. Без интеллектуального напряжения. Вернее — перенапряжения. Ибо считаю отныне: настоящая свобода — в неволе, в рабстве служения ближнему, в житейских подвигах, которые принято называть «мелочами». В добывании хлебушка насущного, в трогательных до слез квартирных склоках, в промозглых извивах чахоточного города, в конкретных придорожных камушках, прикладбищенских сосенках и церквушках, в речках, наглотавшихся современного мазута, в сладком запахе горькой полыни, в заурядном, а не в изысканном! В доброй встречной улыбке, в пыли и лужах, а не в домыслах-помыслах, уводящих по дороге возмездия (или — совершенства) в пустыню мировоззрения. Хочу домой! В старинную петербургскую коммуналку! Просто — в здание, а не в мироздание. Не примите мои откровения за бред или — вызов, дорогие товарищи медицинские работники. Я трезв, как никогда. Просто — хватит с меня головоломок. Иду... жить! Благо такая милость предоставилась вновь. Понятное дело,— если... отпустите. С миром — в мир. С прошлым покончено, как вот... с пьянкой.

— Ой ли?! — прикусил председатель концы усов.— Неужто?

— Бог свидетель! — прослезился Мценский.

— Да, да — покончено,— твердо, как печать поставил, подытожил Геннадий Авдеевич Чичко затянувшиеся дебаты.— И не бог тому свидетель, а я.

Так Викентий Мценский, пятидесяти лет, в первых числах июня был выпущен из больницы за полным излечением от «белой горячки» — не от ее последствий — и «приступил к исполнению человеческих обязанностей».

Причисление Мценского к здравомыслящему большинству оформили документально, выдали ему взамен больничного халата узелок с малознакомыми носильными вещами, в которые Мценский мучительно долго переодевался, блуждая в забытой одежде, как в чужом городе. Одежда была великовата и пахла дезинфекцией. Вместе с одеждой вручили Мценскому паспорт, снабдили медицинской справочкой, а так же рецептом на успокоительные пилюли.

Остаточным явлением недуга можно было считать ослабление памяти, проявлявшееся в частичной утрате именно тех событий и обстоятельств, что предшествовали водворению Мценского в «нервную» клинику. «Забывчивость» свою Мценский ни перед кем не скрывал, а Геннадий Авдеевич Чичко считал ее обратимой. Возвращаясь в утраченный жизненный уклад, память Мценского будет как бы просыпаться, предположил нарколог, что в общем-то и подтвердилось в ближайшем будущем.

В жаркий летний день Мценский очутился за воротами клиники. На его остроугольных плечах висело «февральское», сейчас, в июне, совершенно никчемное, сильно поношенное демисезонное пальтишко как бы с чужого плеча. На пегой, вся в седых подпалинах, коротко остриженной голове — зимняя меховая шапка-пирожок. Как бы с чужой головы. Под пальто — заповедный, как бы «неразменный», ставший чуть ли не кровным — блейзер с блестящими пуговками.

— Приятный пиджачок... подарила мне Тоня,— улыбнулся Мценский, причем верхняя губа у него задралась к носу, как это случается у лошадей, обнажив бледные натруженные десны. Он еще острее, глубже обрадовался, вспомнив имя жены. Пиджачок словно бы потянул за собой воспоминательную ниточку. Мценский мысленно поблагодарил пиджачок.

Спешить ему было некуда. Впереди — неизвестность. Это все выдумки, будто люди, завидев или ощутив неизвестное, начинают к нему бессознательно стремиться. Тяга в неведомое имеет место разве что в творчестве, в научном поиске. В быту все несколько иначе. Простым смертным не свойственно воодушевляться... ничем, то есть химерой, мыльным пузырем. Простого смертного необходимо поманить чем-либо существенным. Реже — словом. Но что, как не слово связует материю с духом, единит в человеке нетленное с природным?

Возникая из «ничего», оно, материализуясь, раздвигает наши зубы и губы, врывается в мир земной, сотрясая воздухи и барабанные перепонки.

Среди тысяч и тысяч слов, которые роятся в человеческой голове, есть слова высокие, есть повседневные, обыденные, есть и низкие, грязные — слова-плевки, слова-огрызки. Мценский, составляя для Геннадия Авдеевича записки, не единожды спрашивал себя: каково же самое главное Слово? Как звучит оно на русском языке? Любовь? Солнце? Бог? Истина? Жизнь? И сразу же вспомнил, как препирались там, на дороге, в стремнине всеобщего шествия, два пожилых человека интеллигентного обличья в помещичьих сюртуках и панталонах с зелеными лампасами. И самым популярным словом в их диспуте было несчетно раз повторяемое слово Истина, приправленное эпитетами «абсолютная» и «относительная». Один из спорщиков в суконной фуражке с оранжевым околышем, наседая на партнера в широкополой шляпе, выкрикивал «узким», пронзительным голоском, нещадно грассируя: «Все в мигр-ре относительно! Дуг-р-раку ясно: абсолютной истины — нет! Абсолютная истина — Бог! А Бога, пагр-рдон, никто еще не наблюдал-с!»

«Искупление — вот моя теперешняя истина! — восторженно подумалось Мценскому.— Была болезнь... Мучительная, унизительная, мерзкая, разъедала душу и плоть. Болезнь увела меня за пределы ощутимого, прогнала этапом по запредельной дороге, на которой, в отличие от путей земных, конец предопределен, всем и каждому навязан заранее, что гораздо мучительней тайны. И я, чтобы ничего не забыть, ни от чего не отвыкнуть, украдкой нюхал свою веточку полыни, бередя в сердце любовь к земным истинам. И меня вернули. И вот я опять... свободен. То есть — живу любовью ко всему живому. А прежде, до осознания вечного Пути, только с ужасом медленно умирал. Ожидание смерти — не есть ли сама смерть? И тогда — ожидание жизни — жизнь. И так, искупление! Всё лучшее, загубленное во мне болезнью, должно восторжествовать в любви к настоящему!»

Мценский минут пять не мог «отклеиться» от медицинского заведения, касаясь его дверей занывшими, трепетными лопатками, на которых теперь прорастали крылышки утверждения в истинности воскрешения. Он все еще боялся, шагнув, тут же упасть, провалиться в беспамятство, вынестись вновь на дорогу небытия. Но, даже если ничего этого не произойдет и сам он благополучно удержится на поверхности планеты, не растворятся ли его благие намерения в просторах дарованного пространства — от первого же соприкосновения с одной из пылинок обретенной свободы?

Отделившись от ворот, Мценский напряженным, ходульным шагом двинулся в глубь улицы, угадывая в конце кудрявой, утыканной густо-зелеными липами перспективы — дыхание широкой реки, напоминавшей своими гранитными берегами гигантскую рукотворную ванну.

Неуверенно продвигаясь по набережной Невы, Мценский обстукивал взглядами сизое небо, разноцветные старинные дома, как бы с разбега остановившиеся возле непреодолимой реки, ласкал глазами корабли, приткнувшиеся к гранитным граням берегов, узнавал, словно позабытые радости детства — птиц, и прежде всего — крикливых чаек, снующих в двух стихиях — воде и воздухе; заглядывал в глаза незнакомых людей, и люди нравились Мценскому — все: и юные, свежие, сильные, и вдоволь пожившие, привявшие, расслабленные, с достоинством истинных героев прогуливающиеся по набережной знаменитой реки.

Углубляясь в город, Мценский пьянел от запахов этого каменного мира — бензинного перегара, испарений пористого кирпича, помоечных продуктовых бачков, складов, магазинов, набитых химикалиями, кислой капусткой, книгами, мебелью, расчлененными тушами, напитками, дохлой рыбкой... Мценский впитывал эти запахи с невероятным наслаждением, содрогаясь желудком, кровью, нервами, но больше — волнуясь душой, ибо не просто впитывал быт, но вспоминал его, как вспоминают взрослые люди запахи утраченной родины, любви, детства.

Покинув больничные стены, Мценский возвращался в жизнь новичком: многое призабылось, выцвело, отстранилось. Болезнь как бы изолировала мозг от мира насущного, от его «экспонатов», от всех его красок, движений, назначений. Там, под затяжным, многолетним алкогольным дождичком Мценский почти утратил способность ориентироваться в этом мире. И теперь, садилась ли на рукав Викентия Валентиновича муха, утомленная полетом,— Викентий Валентинович с удовольствием узнавал муху. Не вспоминал, а именно узнавал — все сразу — от ее земного предназначения, функций, облика, до ее, так сказать, имени, словесной меты, которой обозначил эту тварь человеческий разум. Узнавал с восторгом, лелея слово «муха» во рту, будто освежающий леденец. Опускалась ли на руку Мценского капля воды от поливального уличного автомобиля, Викентий Валентинович с наслаждением узнавал каплю, ввинчивал в нее вдохновенный взор, как в драгоценный алмаз, затем — слизывал каплю с ладони, пьянея от приобщения к утраченному, и ликовал, не слишком громко, но — искренне.

Очумело побродив по Васильевскому острову, Мценский так и не решился идти к себе домой. Да и где он, этот «его дом»? В паспорте, в отметке о прописке — не более того. Нужно было понукать мозг, чтобы вспомнить, куда его поселили после развода с женой? Нет, не сейчас... Да и ноги, отвыкшие в больнице от ходьбы, ощутимо ныли. Поравнявшись с дверьми старенького кинотеатра, Мценский решил посидеть в кресле прохладного зала.

«Крутили» ленту грузинского кино. По укоренившейся привычке Викентий Валентинович не доверял периферийному киноискусству и уже приготовился вздремнуть, но фильм был... какой-то не такой, не то, чтобы забавный, скорее — необычный. Назывался он «Покаяние». Впечатление от фильма сложилось тревожное и одновременно ослепляющее... Захотелось — на воздух: к деревьям, птицам. Фильм, который он только что посмотрел, был страшным, трагические проблемы недавнего прошлого режиссер подавал с кладбищенским юморком. О, спасительный юморок, дай бог тебе здоровья! Все-таки... хотелось — к птицам. Чтобы окончательно не разлюбить людей.

Возле металлической ограды Соловьевского садика Мценский остановился в нерешительности, а затем шагнул за решетчатую, чугунного литья, калитку.

Все скамьи были заняты бабушками и дедушками. За исключением одной, густо загаженной голубями и воронами, во всяком случае — не соловьями. Мценский опустился на скамью, подложив под себя газету, недавно купленную в киоске и с жадностью им прочитанную прямо на набережной, на ходу. И опять многое поразило, особенно происшествия впечатляли: убийства, кражи, торговля наркотиками...

На четвертой странице газеты позабавила история с переодеваниями: смазливый паренек, скрывавшийся от милиции, умудрился полгода благополучно прожить... в женском общежитии, выдавая себя за девушку. Мценского развеселил не столько сюжет газетной истории, сколько сам факт ее появления на страницах обкомовского органа печати, да еще — с фотографией паренька, на ушах которого болтались дешевенькие клипсы.

«В каком же я глубоком штопоре побывал, если такие колоссальные перемены в стране проворонил?!» — размышлял Мценский, сидя на забрызганной птицами скамейке, и тут его рука нашарила в кармане пальто скользкую, обернутую в целлофан книжечку — паспорт.

«На лавочке сижу, как бездомный... А в документе наверняка указано, где живу? Данные проставлены...»

С трепетом в пальцах раскрыл Викентий Валентинович «корочки» паспорта, изучил его первые страницы.

Прочитав свою фамилию, Мценский облегченно вздохнул: иногда просто необходимо лишний раз убедиться, что ты — это ты, а не кто-то другой.

«Вот и фотография моя приклеена. Моя ли? Необходимо в зеркало глянуть, в ближайшем туалете. Сличить отражение со снимком. Год рождения 1936-й. Допустим. Национальность — русский. Тоже неплохо. Хотя — почему не поляк, не белорусс, не еврей? Фамилия на „ский“ оканчивается у многих народов. Мценский... Происхождение фамилии, скорей всего, географическое: есть такой городок на карте России — Мценск, как сейчас помню. Любил я в школьные годы по карте путешествовать мысленно. Вот и запало, втемяшилось — пять согласных и только одна гласная буква: Мценск!»

Далее, на одной из страниц документа Мценский обнаружил целых два

штампа. Один — побледнее красками, другой поярче. На одном — «зарегистрирован брак» с гражданкой Романовой А. Н., на другом — тот же брак — расторгнут.

«Все-таки... расторгнут,— вяло посожалел Викентий Валентинович, а затем подумал: — Может, и к лучшему, что расторгнут. Разве я похож на мужа? На главу семьи? Ни положения, ни средств, ни здоровья».

Под словами «воинская обязанность» штамп, где значилось почему-то, как о женщине: военнообязанная. И дата — давнишний год.

«Не сняли еще с учета»,— подумалось с облегчением.

И, наконец, прописка: Колупаева улица, дом тринадцать, квартира тридцать один. Петроградского УВД.

«Излечили, называется! Последнего местожительства не помню. А вдруг со мной эксперимент произвели в больнице? Во имя науки? Дал подписку в состоянии эйфории: так, мол, и так, во имя прогресса делайте со мной, что хотите. Одинокий, брак расторгнут, на военном учете состою незаконно, короче — хлам. А во имя науки и хлам сгодится. Нет уж — дудки. Не принято у нас такие эксперименты производить. Да и помнит он все. Только — не ухватить. Необходимо сосредоточиться. А там и отпустит. Случается, ногу отсидишь, не шевельнуть, а приложишь усилия — глядишь, рассосалось, оттаяло. Так и мозги в черепушке. Отлежал за время болезни. Необходимо их расшевелить воспоминаниями. Уколоть какой-нибудь информацией. Для начала возьмем, ну, хотя бы свое отчество: Валентинович. Следовательно, папашу моего звали Валентином, Валей...»

Мценский глянул на заляпанную птицами скамью и вдруг с необыкновенной отчетливостью воскресил в памяти образ отца! Родитель вернулся в мозг Мценского пожилым человеком, в скромной послевоенной экипировке: бумажный пиджачок в жалкую, смутную полоску, галифе с байковыми наколенниками, а точнее — заплатами, на ногах кирзачи, на голове трофейная австрийская шляпа с перышком. Выражение лица брезгливое, обиженное.

Как же, как же... Папаша, Валентин Сергеич! Гвардии лейтенант в отставке. Всего лишь. Вечно был недоволен чем-то. Точнее — всем недоволен. Родился в деревне и тщательно скрывал этот факт от сослуживцев-горожан, от соседей по пригородному бараку. Не стеснялся, а горячо стыдился своего сельского происхождения. Вологодское оканье из произношения слов выжег каленым железом, вследствие чего разговаривал осторожно, старательно, звуки речи шлифовал, обсасывал, будто иностранец. Чаще всего распространялся о войне, про свои на ней похождения, где из рядовых-необученных выбился «в офицера», в младшие лейтенанты. И никогда полностью этого звания вслух не произносил, стеснялся, считая оное «маловастеньким». Хотя офицерством приобретенным — гордился. Знакомясь, непременно давал понять, что состоит в офицерском звании. Работал в управлении вонючего мыловаренного завода каким-то конторским должностным лицом. Единственный из всего населения барака завел галстук и носил его как знак высшей доблести. Однажды, горделиво посматривая по сторонам, провел маленького Викентия на заводскую территорию, где посреди двора высилась огромная гора костей, в недрах которой шелестели чешуйчатыми хвостами крысы. Хвосты у крыс напоминали свекольные корневища. Отец Викентия гордился, что работает на заводе, что теперь он городской человек, а маленькому Мценскому его завод внушал отвращение и снился по ночам в крысином обличье. Только вместо шерсти на крысе пошевеливалась красная черепица.

Погиб Валентин Сергеевич во время пожара, который случился в бараке. Загорелась потраченная детьми, а так же крысами, проводка, вспыхнули сухие, трухлявые полы и стены строения. Произошло это бедствие летним днем в послерабочее время. Люди из барака повыскакивали, кто в чем был одет, лишь бы живым остаться. А папа Валя в застиранных «семейных» трусах выскакивать на люди не пожелал. Светло еще было снаружи. Не к лицу управленцу в трусах, непорядок. В момент, когда вспыхнуло и занялось, лежал он в панцирной койке, как в гамаке, и читал газету. Подхватившись, начал натягивать галифе, то есть штаны, для мгновенного употребления весьма неудобные, в икрах узкие до чрезвычайности и вообще — не нашего бога портки. Ну и... подзапутался в них. Времечко, отпущенное судьбой на прыжок из окна, ушло. На голову отца упала брусчатая балка с торчащей в ней ржавой и острой скобой. Отца затем хоть и выхватили из огня бесстрашные комсомольцы, но уже неживого: убило балкой. А проигнорируй он галифе, вообще — начихай на свой внешний вид — наверняка бы еще долго жил.

Вспомнив отца, Викентий неизбежно воскресил в памяти и образ матери — женщины, напуганной городом, вечно румяной Аннушки, которая после гибели мужа возвратилась в родную вологодскую деревеньку Окуньки, куда-то под Белое озеро, где и поселилась в просторной избе бессемейного, одноногого и однорукого инвалида войны Селиверста Печкина, нарожала ему целый порядок детей, которые, подрастая, незаметным образом исчезали из родимых краев так же, как, по образному выражению Мценского, исчезают с болотного дна пузыри, устремляясь к солнечному свету, где и лопаются, сливаясь с атмосферой бытия.

Себя, сельского, проживающего в Брыкаловке, Мценский почему-то вообразить не мог, из чего напрашивался вывод: Викентий тогда вместе с матерью из города в деревню не поехал, скорей всего остался учиться в какой-нибудь ремеслухе. Могло такое быть? Запросто. Мать, румяная Аннушка, рисовалась в теперешних фантазиях Мценского пожилой, ущербной женщиной, натуральной старушкой с аккуратными, зачесанными к затылку волосами сахарной белизны и сдобными, хотя и морщинистыми — печеное яблоко — щечками.

Помнится, как возникла она в городе по второму разу где-то уже перед болезнью Мценского, после тридцати лет отсутствия, будто с того света объявилась. Сам Мценский тогда уже плохо соображал, что к чему. Он решил, что мать ему пригрезилась в похмельном бреду, и даже чаю не предложил родительнице, не говоря о водочке.

Должно быть, Аннушка-родительница разыскивала в те дни по миру своих детей-пузырьков и к Мценскому заглянула без всякой надежды на то, что он ее признает. И ведь не признал-таки. Болезнь не позволила. И лишь теперь, в садике, на пегой от птичьих шлепков скамье осенило Викентия, что была у него перед больничным лежанием мать, а раз была, может, и по сейчас есть? Была, приходила, а он ее даже к столу не пригласил, на полу валялся в затхлой шестиметровой комнатенке, которую при размене выделила ему жена, гражданка Романова Антонина Николаевна.

«Неужели эти шесть метров и есть... Колупаева, тринадцать, квартира тридцать один? — зашелестел Мценский паспортными страничками.— А вдруг и мать моя, Аннушка, по этому адресу проживает? Хотя, вряд ли... На шести-то метрах и чтобы — двое. Где-то она теперь, матерь моя кормилица? Жива ли? И сколько ей годков, если ему, Викентию, пятьдесят один стукнул? Так ведь никак ей не больше семидесяти. Молодая меня родила, небось. Нестарая — и к инвалиду прибилась. Иначе — откуда они, многочисленные ее детки?»

— Здорово, Кент! — обратился к Мценскому какой-то весь изношенный, перекошенный товарищ (в плечах, в ногах и даже в прокуренных губах просматривалась у него этакая нервическая диагональ).— Извини, думал, что ты уже того: на тот свет эмигрировал. Просветителем в преисподней работаешь: Историю СССР жмурикам преподаешь, ха-ха! Давненько тебя не видать было, Кент. Года два, не меньше. Хочешь, кармазинчиком угощу? Со свиданьицем?

— Здравствуйте... Очень приятно сознавать... Только я не Кент.

— Ясное дело — Викентий! Сокращенно — Кент. Не узнает, чудила! Да Чугунный я, Володя Чугунный! Фамилия Чугунов. До эл-тэ-пэ в театре для умалишенных работал, осветителем, ха-ха! Теперь вот в домино играю с пенсионерами. По маленькой. Сказать, где мы с тобой познакомились? Пятое наркологическое в Бехтеревке, секешь? С диагнозом алкогольная потливость. Пять лет тому назад; ну, как, икнулось? А продолжили знакомство — где? Сказать или сам признаешься? То-то вот: на улице Лебедева, в бывшей женской тюрьме, ныне — психушка... С диагнозом алкогольная болтливость, ха-

ха! По-научному — бред, делириум. А по-нашему — белая горячка. Секешь? Сечешь? Погоди, как правильно будет? Сек... чешь? Или — как?! Выкладывай, не томи: признал Чугунного? А ты, часом, не подшитый? Не со спиралью? Если нет — угощаю. Кармазинчику сотку могу нацедить. У меня три пузыря. Возле рынка в парфюмехе отоварился. Применял когда-нибудь? Мир-ровое изделие, скажу тебе! Импорт. Шестьдесят процентов этила. Чистяк. И пять витаминов от перхоти содержит — на закусь.

3

Извините, но я опять про дорогу... Интересно было бы узнать, дорогой Геннадий Авдеевич, вашу, на эти мои записки, реакцию. Небось, не верите ни одному слову. То есть — верите, конечно, что мог возникнуть подобный бред у алкаша, не более того. А я продолжаю утверждать: была дорога! И я по ней шел. Как сейчас всё это вижу... Я мог бы и промолчать об этом, забыть, не развивать тему. Но вы сами просили меня об откровенности. И еще: мне очень нужно повстречаться с пережитым, хотя бы — на бумаге. Чтобы сделать его — прошлым. А затем и вовсе освободиться от него.

Так что... была, была дорога. В густом потоке текли по ней люди, птицы, звери и прочие твари, варившиеся в свое время в общем жизненном котле, в бульоне бытия, а ныне — идущие к развилке. И никто на этой дороге уже не старел, не болел и не умирал, не портил соседям крови, так как не было ни добра, ни зла, ни прочих нравственных субстанций, рожденных человеческим разумом, как не было подвижного времени, и лишь подразумевалось некое возмездие, некая конечная правда, запрограммированная самим смыслом всеобщего продвижения.

Люди, идущие по дороге, изъяснялись каждый на своем языке, но все они понимали друг друга. Национальные особенности шествующих людей не были размыты, но к этим особенностям был как бы добавлен еще один — общечеловеческий — признак, признак планетарной личности, личности, сумевшей остаться собой, выжить в хаосе, предварявшем шествие. Как голуби Канады своим воркованием не отличались от воркования голубей России, как собаки Индо-Китая движениями хвостов и взбрехиваниями не отличались от собак Африки, так и люди всех континентов, общаясь на дороге друг с другом, были теперь едины и одновременно отдельны, целостны структурно, интеллектуально точно так же, как капли или снежинки, не ставшие океаном, были покамест падающим дождем или метелью, и в своем погодном продвижении не нуждались в переводчиках с одного снежного или дождливого языка на другой.

Теперь-то я понимаю, что веточка полыни, имевшаяся у меня в записной книжке, источала, скорей всего, не запах (какие уж там запахи на стерильно-призрачном пути!), она источала опять-таки некий признак, полынную идею-фикс, эфирные масла ностальгии по земному укладу существования; та родимая веточка просто не отпускала меня из своих чар, ибо, повторяю, был я весьма несовершенен, и мной, как и подобными мне, долго еще владели помыслы и ощущения земных пределов.

Необходимо сказать, что по возвращении с дороги, по сошествии, так сказать, с небес, пробовал я, находясь в больнице, неоднократно внюхиваться в свою веточку, но ничего сверхъестественного не ощутил, никаких прежних, сладчайших для сердца запахов не уловил. Они — или растворились в более активных ароматах и зловониях, в испарине обмена веществ, плывущих над поверхностью планеты, или, что наиболее вероятно, просто-напросто выдохлись, вознеслись к небу. Но ведь не только полынный запах исчез — улетучились чары.

Однако вернемся на дорогу. Посмотрим в глаза неизбежности. Понаблюдаем шествие одержимых. Посочувствуем падшим, восхитимся совершенными, отдадим должное незрелым, вроде меня.

Так вот... женщина. Прежде всего — о ней. Почему? Не знаю... Наверное, потому, что она — начало. Жизни, плоти, любви. Помните, я заприметил ее

возле участка, над которым шел снег. Я, конечно же, сунулся туда, за ней, в этот миниатюрный январь, в эти кристально-отграниченные от дорожного пространства кубические метры игрушечной зимы, метнулся туда в жиденьком своем одеянии, в вытертом, полупрозрачном блейзере, и так как был недоисполнен, незавершен, то есть не просто суетлив и взъерошен, но даже как бы все еще не чист на душу, то незамедлительно стал себя чувствовать неуютно. И не потому ли вопрос, с которым я обратился к женщине, напугал меня самого, а женщину оставил равнодушной, вернее — бесстрастной, хотя и — детски улыбчивой.

— Вы, конечно... живая? — спросил я у изящного создания, смутно догадываясь, что имею дело не с юной ветреницей, а с женщиной лет сорока, сохранившей во всем своем облике непередаваемую прелесть, наверняка нажитую трудом разума, спартанской заботой о мышцах и постоянным возвышением духа над природой тела.— Как удалось вам сохранить человеческую красоту в здешних условиях?

Женщина молча протянула мне руку, легкую, узкую, излучающую свет жизни. Принял я эту руку не без опаски и в тот же миг почувствовал себя увереннеи.

— Истинная красота не может быть человеческой,— сказали мне ее глаза, тогда как чистые строгие губы женщины оставались недвижными..

— Я знаю! Наслышан... Совершенно с вами согласен! — ринулся я «выступать», слегка захмелев от разлития в подкорке остатков земного честолюбия.— Разделяю мнение! Красота — понятие духовное, можно сказать — божественное! Кто бы возражал...

— Успокойтесь,— посоветовала мне ее рука, и до меня вдруг дошло, что веду я себя несолидно.

— Красота — это вовсе не понятие, но — благодать, милость, дарованная свыше,— продолжала сигнализировать рука.— Красоту невозможно измыслить, объяснить, поверить алгеброй. Ее, как и любовь, можно только принять или отвергнуть. Разве не отвергали мы красоту, разрушая храмы, отворачиваясь с сытым равнодушием от гениальных полотен, не позёвывали под бременем неусыпной материнской любви, не утомлялись над страницами величайших мыслителей и художников слова?

Из состояния покаянной задумчивости вышел я, приблизившись к натурально потрескивавшему костру, возле которого, положив голову на согнутые в коленях ноги, сидел заурядный мужичок наверняка «расейского», понятного мне происхождения, в ватном, защитного цвета бушлате, в дешевом солдатском треухе и в скособоченных, со сквозными протертостями на складках голенищ кирзачах. Время от времени неказистый землячок громко втягивал носом воздух, точнее — дым костра, достаточно густой и темный, окунал в него голову вместе с треушком и смачно затягивался исчадием костра, не просто нюхал, но — вдыхал.

— Здесь вам будет теплее,— передалось мне от женщины, и тут ее рука оставила мою руку, и не успел я оскорбиться разрывом отношений, как сердце мое осенило, что женщина эта — никакая не женщина, но лишь — ее освобожденная красота, мудрая и неприкасаемая, необходимая идеальному разуму и совершенно ненужная страдающему, изъязвленному ржавчиной земных соблазнов и сомнений, разбухшему от неумеренных возлияний сердцу мужчины.

— И все-таки вы живая, черт возьми! — выкрикнул я вдогонку женщине, но она уже вышла из зоны снегопада, за грань зимы и расслышать меня не смогла или не пожелала. Парящей, раскрепощенной походкой, вся в розовом свете, будто облако, будто и не в одеждах, а в пламени, покинувшем ее телесную оболочку, устремилась она к себе подобным, не оглядываясь не только на меня, но и на все, что позади.

— И все-таки вы... живая,— прошептал я, ни к кому уже не обращаясь, лишенный ее мыслящей руки, помаленьку начинавший ощущать вокруг себя, если не зимнюю стужу, то зимнюю пустоту.— Живая, не потому что идете, передвигаетесь, а потому что... красивая, зацепили потому что!

А вслух произнес.

— Знать бы, куда идем, легче бы дышалось. Кто что говорит... Одни — про какой-то распределитель толкуют, другие — про трибунал, третьи и вовсе — геенной огненной стращают.

— Санпропускник,— пробурчал от костра мужичонка наставительно, казенным, занудным голосом.

— Не понял вас,— подошел я к нему поближе, но тепла от трещавшего в ногах у дядьки костра — не ощутил. Запаха дыма — тоже.

— А навроде нашего вытрезвителя. Приведут в чувство, а там...

— Оштрафуют, что ли?

— Накажут, знамо дело. Французов — тых за весёлую любовь, американцев — за поклонение доллару, немцев — за порядок, нас, русских,— за разгильдяйство. За неизлечимый бардак, прости господи! А надо как? Опоздал на работу — получай срок! Пару лет. Принудиловки. Запорол деталь на производстве — рубить ему палец за это! Напрочь! Хотя бы — на левой руке. Глонул у станка бормотухи — свинца ему в горло! Раскаленного... Извиняюсь, дамочка румяненькая, с которой вы давеча рука об руку шли, похоже, прямо от стола... в здешние края загремела?

— Это еще почему?

— Ну как же... Так и горит вся, будто на третьем стакане.

— В-вы в своем уме?! Я ж ее за руку держал! Да она — святая! Да от пьяных... пахнет!

— А здесь ничего не пахнет. Взять хотя бы дым. Сколько тут сижу, а так и не донюхался до дровяного запаха, чтобы головешечкой. Люблю дымок! Слаще любого ладана. А здешний не пахнет, глаз не ест, холодный вовсе дымок. А все ж таки Расеюшку незабвенную — напоминает! Глаз не ест, а слезу умиления точит. Потому как видения пробуждает. Псковский я, может, слыхали про такую область? По-немецки, Плескау. Сами-то откуда происхождением? Германец или поближе к нам — полячок?

— Это почему же? Мать с отцом — вологодские, а я в Ленинграде прописан... до недавнего времени. Кстати, который час?

— Сразу видно — новенький вы: часы здесь ни у кого не ходят, потому что времени никакого вовсе нету. Нечего измерять теми часами. В градусниках, которые у кого имеются, а некоторые на дорогу прямо с градусниками под мышками попали, ртуть не поднимается.

— В-вы... уверены?

— Я тридцать пять лет на дороге. У меня — опыт. Шестьдесят до и тридцать пять — после. Итого: девяносто пять. Оно конешно, есть тут и постарше меня экземпляры, иные до рождества Христова сюда залетели. В набедренных повязках. А я как-никак из двадцатого века родом. Опыт опыту рознь. Вот ты говоришь: мама с папой у тебя вологодские, землячок, стало быть. А с виду — не наш будто. Наклейка на портках иностранная да и пиджачок фигурального фасону. А баретки и вовсе каки-то не таки. Не нашего бога. Буцы не буцы, тапочки не тапочки...

— Это кроссовки.

— Я и говорю: нарошно не придумаешь. А порточки тряпошные, ерундовые. Хотя туда же — с заклепками...

— Это джинсы. Иностранного производства.

— Преклоняисси, стало быть? Перед Западом? В твои-то годы стиляжничать! Ты мне вот про что скажи, земеля: товарищ Сталин, чай, жив еще? Управляет государством?

— Товарищ Сталин умер. Государством управляет народ.

— То-то я смотрю... вырядились, кто во что горазд. А вообще-то, парень, лишнего не болтай, смотри... Мигом язык прищемят.

— Кто прищемит? Кому здесь этим заниматься?

— Не скажи, земляк. Я тут посматриваю по сторонам. Тут, на дороге-то, кого только нет! На иного глянешь и... засомневаешься: а не во сне ли привиделось? Потом вспомнишь, что на дороге спать не положено — успокоишься.

— И знаменитые люди попадаются?

— Это, про которых в газете, что ли, пишут? Или — по радио говорят? Нету здесь таких. То есть они, конечно, есть, только уже не знаменитые. Все эти украшения — знаменитый, гениальный, незабвенный — давно с них осыпались. Кому они здесь нужны, наклейки эти? В рот их не возьмешь пожевать, а пожевать не мешало бы! Десны — во как чешутся! — заспешил, меняя тему разговора и явно чего-то испугавшись, «землячок».

— Вы что... еще до Двадцатого съезда попали сюда? — спрашиваю.

— В пятьдесят первом. На балалаечной фабрике вооруженным охранником работал. Придя с войны. И понравилась мне на этой музыкальной фабрике политура. Запах у нее какой-то особенный был. Завлекательный. Манящий. Слюни так сами и текли, когда в этот запах ноздрей окунался. Короче говоря, однажды так нанюхался, перед самой пенсией дело было, что уснул в автобусе. В шестом номере. Шоферюга возил меня, возил с конца в конец. Да, видать, надоело. Выкинул он меня на кольце. Где волки зубами щелкают. В сорокаградусный мороз. Там я и завял. Проснулся уже здесь, на дороге. А все почему? Непорядок, потому как! Жесточей надобно. И с алкашами, и с водителями, со всей сволочью расхлябанной!

— Не нравится вам здесь? — интересуюсь у балалаечника.

— Не скажи. Во-первых, привыкнуть можно даже к смерти. Ничего, притерпелся. Во-вторых, скучать некогда: попутчиков много, да еще каких! А то, что жевать постоянно хочется при полном отсутствии продуктов питания — не беда: никто здесь не только от голода, но и вообще никак не помирает. Не было случаев за тридцать пять лет. Вот только... порядку и здесь никакого. Дорога, можно сказать, магистраль, а как по ней движение организовано? Из рук вон... Блыкаются, будто на базаре, кто во что горазд. Поначалу-то я приструнить пытался... некоторых, да куда там! Улыбаются только... или отворачиваются. А ведь тут и полиция, и милиция в форменной одежде случается. Будь моя воля — построил бы всех в три шеренги, как бывало, на плацу! Светлых — по левую руку, темных — по правую, а в серёдку — всю прочую шушеру, и — шагом ар-рщ! Эх, и муштровали нас товарищи командиры в свое время! Любо-дорого. Ни одного лишнего движения. Сказано: «Смиррна!» — так хоть медведь за твоей спиной тресни, хоть соловей свистни, хоть полгорода в землю уйди — стоишь, не шелохнешься! Почему я на балалаечной фабрике запил? Из-за нашего расейского разгильдяйства. Нагляделся я там на него в проходной, нанюхался безобразия. Три струны в струменте, а сколько по этой линии балалаечной мороки разной вышло, урону сколько нанесено государству! Болел я, болел сердцем, сидючи в проходной да глядючи и... начал помаленьку конфискованной политурой баловаться. Запах приворожил. А в итоге — непорядок. Водитель автобуса принял меня заханыгу. И пришлось мне холодную смерть принять. Из-за разгильдяйства всеобщего... Вот, пожалуйста, полюбуйтесь на это рыло, которое к нам приближается. От таких вот старорежимных мракобесов и в наше социалистическое общество буржуйская отрыжка запала. Небось, редькой с квасом всю жизнь питался да горохом трещал! Из купцов, скорей всего, борода. Сейчас про Гнилоедова спросит. Про своего кредитора. Пунктик у него такой. А потом навалится на костерок и языком своим грязным, пыльным огонь лизать начнет. Чтобы еще разок убедиться: здешний огонь не кусачий. Не первый раз на дороге его встречаю. Бородищу-то каканную выкормил! Распузатился при царском режиме...

К костру, поскрипывая искусственным снегом, подходил человек в складчатом, черного сатина зипуне или поддевке — поди теперь, разберись, в чем; на голове картуз, на ногах смазные сапоги, дегтем от них воняет. Голеница блестящими бутылками.

— Салфет вашей милости, господа хорошие. Чего хочу спросить: часом, человечка одного алчного, Гнилоедов прозывается, не встречали тут, на дороге? Хыщная, навроде хорька личность, востренькая? Росточку незначительного, а форсу-с отменного?..

— Кто он такой, этот ваш Гнилоедов?! — сурово поинтересовался любитель жестких порядков, приподнимаясь от костра и одергивая на себе теплый бушлат, под которым мелькнула гимнастерка с вохровскими оранжевыми нашивками.

— Обидчик, по миру пустил. Мне бы только в очи ему глянуть, удостове-

риться. Пальцем не трону. Не тот я уже. А ведь я отравить его хотел спервоначалу, в горячке-с. Купоросцу медного раздобыл. В последний момент — передумал, слава тебе господи! Рука не поднялась. А ведь он, Гнилоедов, разорил меня как есть...

— И правильно сделал, что разорил! — повеселел балалаечник.— Иначе бы... топать вам среди этих, обугленных. Думаете, кто они? Все как есть — убивцы. До единого. И, знаете, куда идут? Прямиком в кочегарку, вот куда! На топливо...

— Откуда нам знать, куда мы все идем? — попытался купец мыслить независимо.

— И дураку ясно, куда! Я хоть и атеист, но твердо скажу: судить нас всех будут. Потому как — порядок необходим везде. Чтобы каждому — по заслугам. Кому пять, кому десять лет, а кому — и вышку!

— Чепуха. Если я правильно сориентировался — ни пять, ни десять уже не дадут,— усмехнулся я как можно тактичнее, чтобы не раздражать вохровца.— Сами говорили: нету здесь никакого времени, а, значит, и сроков никаких дать уже невозможно. Даже часы не ходят. Потому что — без надобности. Сколько, к примеру, на ваших, уважаемый? — обратился я к купцу, заметив на его кафтане потускневшего серебра цепочку от часов. Старик, мотнув бородищей, как опахалом, достал из складок одеяния позеленевшие от неупотребления часы-луковицу.

— Двенадцать, по-нашему.

— Чего «двенадцать»? Ночи или дня? — пожелал почему-то уточнить охранник.

— А кто ж его знает. Всегда двенадцать, как ни посмотрю. Обе стрелки одна на одну зашедши. Спортились, должно, механизмы-с...

— Эк, темнота! Механизмы у него спортились. Мясорубка тоже на гвозде висит, когда мяса в доме нету. Сколько можно об одном и том же? Время истекло! А не... механизмы! — проскандировал любитель балалаечной политуры, закрывая тему. И тут же добавил, только уже по другому поводу: — А для чего в очи-то глянуть хотите... этому Гнилоедову? В чем удостовериться? Ведь позади уже всё. Нету их на земле в помине, ни капиталов ваших, награбленных у народа, ни власти вашей мироедской!

— Слыхал про такое... Только — темные мы. Сумлеваемся. Это как же-с, власти нашей нету? А царь-батюшка на што? Он-то разве куды подевался? Нельзя ему без нас, без торгового люду-с.

— Спихнули вашего царя! Еще в семнадцатом! Сколько можно об одном и том же долдонить? Свергли! — торжествующе сплюнул в костер балалаечник, но плевка как такового из его рта не выскочило, просто звук характерный возник и только.

На специфический этот звук от потока идущих по дороге отделилась старая низкорослая ожиревшая собака. На трясущихся, подагрических ногах зашла в зону снегопада, брезгливо съежившись от предвкушения холода, стала искать плевок, чтобы его съесть.

— Кыш, пошла! — прикрикнул на нее политурщик.— Так что, нету царя. Вот и гражданин подтвердит — недавно оттуда прибыл. Ведь нету?

— Нету,— поддакнул я нехотя, не желая причинять лишнюю боль незнакомому человеку.

— А г-государство-с, опчество — имеются, поди? Али как?

— Государство имеется.

— А кто ж управляет, если не царь?

— Народ, дядя! Народ управляет.

— И что же... так вот сидит и управляет? Да разве ж народу до того-с? Народу работать необходимо. Да водочку пить. А думать-смекать — не его это дело вовсе, а царское.

— У народа, папаша, руководители имеются.

— Я и говорю: царь. Как хошь его называй — королем али ампиратором — по-нашенски, по-русському — все одно царь-государь. Тоись — батюшка. Всему делу — голова-с. А слухи, конешное дело, доходили... Только я им не верю. Нельзя нам без царя. Без него-то, как без Бога.

— И бога твоего спихнули. Нету его в России. Надоел.

— Врешь...— переменился купчина в лице, часищи свои свирепо зажал в кулаке, того гляди — в атаку пойдет на палитурщика.— Врешь, богохульник... Не могет того быть, чтобы без бога. Без бога-то все прахом рассыплется, вся вселенная, не токмо государство какое. Без царя — куды ни шло. А без бога — не до порога, не нами сказано, жистью самой!

— Ладно, дядя, не шуми. Без тебя тошно: с пятьдесят первого года ни маковой росинки во рту не было! Сказать кому — не поверят.

— А меня этто... угостили,— умилился, вспыхнув глазищами, купец.— Ландринчиком!

— Чем, чем? — нахмурил разросшиеся брови вохровец.

— А леденчиком мятным-с. Отрок один расщедрился. До сих пор во рту, быдто в кущах райских, ароматы.

— Эссенция, химия, одним словом. А ему — кущи райские. Темнота,— продолжал ворчать балалаечник.— Топай, знай! Шукать тебе своего обидчика Гнилоедова до второго пришествия. Тоже мне, богомолец! Праведник, понимаешь ли, а своего брата-купчишку простить не может. Отравить собирался. Уже и жисть — сто лет, как прошла, подохли оба, небось — от обжорства, а всё пузырятся, аллилуйщики! Скопцы-постники, туды вас, в печаль...

Пользуясь паузой, возникшей в разговоре, поспешил я из снежного павильона наружу. За мной увязалась одышливая, плешивая собака, обнюхивавшая мои следы и, время от времени, лизавшая их, будто были они съедобными.

Тогда из заднего кармана джинсов вытащил я записную книжку. Нет, вовсе не для того, чтобы попросить у псины адресок. Я уже знал, что начертанные на бумаге обозначения очень скоро начинают здесь... исчезать. Буквально через сотню шагов по дороге буквы, цифры и прочие знаки начинают тускнеть, линять, тушеваться, покуда вовсе не сходят с бумажного листа, как румянец с лица испуганного человека.

Записная моя книжка, некогда под завязку, густо заполненная адресами, телефонными номерами, фамилиями, сейчас была порожней. Страницы ее выглядели морщинистыми, изношенными, тряпично измятыми и не несли на своей поверхности ни одной закорючки.

Внутри записной книжки, меж ее страниц, как бы стиснутая в ладонях, но не раздавленная, хранилась у меня веточка полыни, давнишняя, прихваченная в причерноморских степях... ради запаха. Запах мне ее нравился. Как балалаечнику запах политуры. Здесь, на дороге, время от времени доставал я свой талисман, поднося веточку к носу и вдыхал далекий запах, едва различимый, как звон колоколов легендарного Китежа-града, запах родимой земли, ее бескрайних степей, бездонных небес и непроглядных лесов.

Паршивая собачка моляще задрала свою жалкую мордаху с болезненно-сухой кожицей на острие нюхалки. Я дал ей подышать полынью. И собака благодарно завиляла обноском хвоста, словно учуяла нечто. А затем довольно бодро заковыляла вместе со всеми — в сторону неизвестности.

4

Викентий Мценский жадно вдыхал воздух своего первого небольничного дня — дня относительной свободы, кое-каких надежд и не слишком изысканных желаний.

Еще на Васильевском острове, в Соловьевском саду пришло к нему ощущение странной, не сплошной, а как бы выборочной, местечковой теплоты. Прежде такая локальная теплота возникала в желудке после первого стакана. А теперь это благо посетило Мценского снаружи, откуда-то даже свыше, словно в густой листве, распростертой над ним, нашлась потаенная дырочка для солнечного луча, а может, лист оборвался, пожертвовал собой, и солнечный луч уперся Мценскому в грудную клетку, как раз над тем местом, где всё еще шевелилось сердце.

Потом возник этот Чугунный, то бишь — Володя Чугунов. Явился он весь

неузнаваемый, искалеченный своей печалью, то есть — заботой о выпивке, с рассованными по карманам флаконами душистой парфюмерии. Сам Чугунный узнал Мценского моментально, узнал, несмотря на замутненность памяти, изувеченный интеллект и разросшуюся, словно гигантская опухоль, «сатирическую» озлобленность на благополучный окружающий мир. Веселый этот гнев с годами превратился в характер Володи Чугунова. Он-то и обострял время от времени притупившуюся память и прочие свойства организма бывшего осветителя.

И все-таки они узнали друг друга. Так узнают в этом мире друг друга люди, совместно страдавшие в больницах, тюрьмах, на войне, в суровых экспедициях, плаваниях, перелетах и прочих переплетах, то есть — в ситуациях незабвенных, внедрившихся в структуру мозга прочней любого из химических элементов.

— Слышь, Кент, чего ты в июне в теплое оделся: пальто, пирожок на башке? Руки мерзнут, ноги зябнут? Не пора ли нам дерябнуть? Так, что ли, тебя понимать?

— Верхняя одежда — не моя. Я зимой туда попал. А когда выписывали — торопился уйти поскорей: вдруг передумают? Вот — чужую и подсунули.

— Где же ты был? В тюряге таких пирожков не выдают.

— Ясное дело — где: в больнице.

— В профилактории, небось? Так и дыши. Ну и что — перевоспитали? А вот мы сейчас проверочку наведем твоей сознательности. Потопали в пельменную. Угощаю! Хотя в пельменной сейчас... лажа, враз повяжут. Народ теперь дома пьет, под одеялом. А я... чихал! Где стою, там и пью! Потому как мой дом — земля!

— А что... или строже стало с этим делом?

Чугунный недоверчиво пошарил по лицу Мценского вороватым, ершистым взглядом.

— Ты чего... газет не читаешь? Не выписывают их в профилактории? Радио в любой парикмахерской о чем говорит? О крестовом походе на это дело!

— Ничего удивительного. Всегда с этим делом борьба велась,— осторожничал с выводами Мценский, не доверяя парфюмерному гневу Чугунного.— Ни в одном государстве во все времена никто не приветствовал пьянства, воровства, убийства... даже — самоубийства.

— При чем тут?! Не приветствовать — одно, а когда тебя за горло берут — бутылочка водяры в красненькую обходится, а за винцом сладеньким одна лавочка на весь район! Вот и постой за ней на трясущихся... в километровой очередине! А достоялся — раскубривать ее не моги! Штраф тоже — червонец. Уходи с ней в нору, в подземелье! Там и гуляй. Нравится?

— Значит... взялись? Неужто — всерьез?

— Еще как всерьез! Бодрит твою... душу!

— Дольше проживешь, Володя.

— А для чего мне... А может, я не хочу?!

— Погоди, Володя,— зашуршал Мценский газетами, извлекая их из-под себя.— Ты вот про печать-радио обмолвился, телевидение... Я что-то не пойму: раньше про такое никогда прежде не писали. Общими фразами обходились. А сейчас — конкретно. Понимаешь, глазам своим не верю. Взять хотя бы из «Ленинградской правды» рубрика «Короткой строкой». Читаем: «В доме на Пражской улице С. Васильев (без определенного места жительства и занятий)...»

— То есть — бомж,— пояснил Чугунный.

— Так вот... «избил своего отца, который от полученных телесных повреждений скончался. Васильев задержан на месте происшествия». То есть — человек отца убил. Правда, называется это пока что — происшествием. Отцеубийство! Однако же — пишут об этом. А главное — печатают!

— Гла-асность! — как о чем-то рутинном, само собой разумеющемся поведал Чугунный.— Сейчас это модно. Всю плешь проели... со своей гласностью. Только об этом и «гласят».

— А тебе, что же — не нравится? Ведь интереснее, Володя...

— Мне интересней коньяк пить, а не эту вот заразу... от перхоти! Посмотрим, что ты запоешь со своей гласностью через денек-другой, когда во рту пересохнет.

— А я... не стану больше пить, Володя. Мне... отсоветовали.

— Та-ак, отсоветовали, значит? И кто же — советчики? Небось, на уровне цэ-ка, не ниже? Ну и... юморок у тебя, Кент, черней не бывает. Можешь мне ухо откусить, если... не станешь больше пить. И учти: я слово держу. Отсоветовали ему! Ты, Кент, и сейчас хочешь, только — не признаешься в том... себе. Сегодня тебе и без бормотухи хорошо: за дверь выпустили, от одного воздуха, небось, хмельной. Небось, думаешь: все теперь впереди! А впереди у тебя ничего. Могила! Или... урна.

— Впереди, Володя, дорога. Широкая, светлая... У всех.

— Слыхали. В необъятные просторы! Только мне не дойти: ноги дрожат. Мне бы его сегодня отведать, коммунизма заветного, не сходя с места. Чтобы на каждом углу не бормотуха марганцовая, не сучок десятирублевый, а — кагорец ангельский, ароматный! Причем — дармовой...

— Послушай, Володя: «В бане номер семнадцать неизвестный преступник совершил кражу номерка у гражданина Т., получил в гардеробе его дубленку и шапку, а затем скрылся». Представляешь, о чем пишут? О нас с тобой! О нижнем этаже, о подвалах! О самой, так сказать, гуще народной! Однако — неряшливы до чего газетчики: отца сынок убил — происшествие, номерок в бане украли — преступление. Что же все-таки происходит, Володя, дорогой? Скажи, не утаивай от меня ничего, пожалуйста! Потому как я... ну, совсем, как тот партизан, который до сих пор поезда под откос пускает. Власть-то хоть советская в городе?

— Советская, успокойся. Только мне от них не легче, от перемен ваших! Мне от них... тошней, если хочешь знать! — Володя Чугунный задышал прерывисто, словно ему воздуха недоставало, затем синюшно-рыхлое, перекошенное диагональю частых судорог лицо его посетила пепельная бледность; воздух, употребляемый Чугунным для поддержания жизни, с трудом проталкивался в его грудную клетку.

— Прости, Володя, не думал, что у тебя настолько плохо. Живешь-то в семье?

— В семье вольной, новой! — отдышался и вновь саркастически повеселел бывший осветитель «театра для умалишенных».

— Послушай, Володя, сейчас мы разойдемся и, может, не встретимся больше никогда... Разве что — на последней дороге. Скажи, хочешь... избавиться? Я тебе помогу. А? Познакомлю с врачами. Жить будешь у меня. Хочешь — помогу? — умилился своей доброте, своему, не весть откуда взявшемуся порыву Мценский, и тут же в его воображении возникла, нарисовалась потусторонняя дорога с ее покорно шуршащим шествием, дорога, на которой можно было встретить кого угодно — от притомившегося в злодеяниях тирана до всемирно известного нищего-безработного, спрыгнувшего при свете софитов и «юпитеров» с крыши стоэтажного «бильдинга». Самая демократичная дорога, ничего не скажешь... Вот только удастся ли дважды ступить в ее течение беспринципным середнячком, так и не принявшим ни одной из сакраментальных сторон великого пути Добра и Зла?

И тот неизбежный человек с мягкой внешностью, в римской тоге, вежливый и внимательный, с прозаическими залысинами в тусклых волосах вспомнился, человек, от которого, по слухам, многое зависело, сказавший там, у развилки, Мценскому: «Иди и люби».

— Послушай, Володя, сейчас мы расстанемся...

— Ну и что?! Заладил одно и то же. Жены с мужьями, отцы с сыновьями расстаются — и то ничего. А мы с тобой — кто? Как два воробья... на одну кучу сели, поклевали, что бог послал и — бывай здоров! Тоже мне... телячьи нежности. Ишь, как тебя подлечили! Развезло человека. Или — впрямь домой к себе в жильцы пригласишь? Так ведь не пригласишь. Самому, небось, негде повернуться. И учти, лирик, мне уже два раза статью мотали! За нарушение паспортного режима. Рецидивист я, сек...чешь?

— А где же... ночуешь, и вообще?

— Скажи тебе, а ты, чего доброго, завербованный, а? Стукнешь-брякнешь,

куда следует? Мне такая гласность ни к чему. Ишь, чистенький какой, трезвенький... Загляденье! Перестроился, стало быть?! Ладно, не пузырись. По глазам вижу, что не стукнешь. Есть тут у меня... добрые люди. Живописцы, художнички в основном. Со светлых, театральных времен контакты сохранились. Пускают ночевать в мастерские. По очереди. Я у них и сторожем, и полы мету, и чаёк соображаю, когда нужно. А что?! Рабсила кому хочешь нужна, даже творческим индивидуальностям.

— А то... пошли ко мне? — робко, еще не вполне осмысленно предложил Мценский свой вариант.

— У тебя что же — хата имеется? С бабой-то у тебя, помнится, не заладилось. Неужто площадь оставила? Тогда она у тебя не баба, а это самое, с крылышками, которое невооруженным глазом различить невозможно: ангел, душа!

— Послушай, Володя, я — о другом. Хочешь я тебя с одним очень хорошим человеком познакомлю?

— С чувихой, что ли? Напрасные хлопоты, Кент. Я хоть и холостой, но более по этой части не работник. Холостой от слова холощеный! Секешь?

— Да нет же, я о другом. Посмотри на меня: видишь? Живой, здоровый. «Чистенький, трезвенький» — твои слова. А ведь я... с того света вернулся, Вова.

— С того света не отпускают. Разве что в урне... В виде пепла. Или... может, ты — из Америки прямиком? Тоже ведь — другой Свет. Тогда почему... в таком зачуханном виде? В пирожке почему?

— Веселый ты человек, Чугунный. На краю, можно сказать, стоишь, а юмора не теряешь. И договорить не даешь. Я тебя не с чувихой, я тебя с необыкновенным одним мужиком познакомить хочу, с Геннадием Авдеевичем Чичко! Вот с кем...

— Чичко? Знакомое что-то... Композитор, что ли? На кой он мне хрен сдался? Мне своей музыки хватает: не голова — барабан натуральный. Короче — необходимо освежиться.

С этими словами Чугунный кое-как поднялся со скамьи, а затем, «проваливаясь» и кособочась на ходу, заспешил к автоматам с газировкой, что сплоченной шеренгой стояли на выходе из сада. Возвратился Володя с двумя гранеными стаканами, вставленными один в другой. Нес он их до скамейки Мценского тайком, пряча под затхлой курточкой, при этом воровато озирался по сторонам.

— Держи,— протянул Мценскому нижний стакан. В верхнем стакане плескалось немного подсиропленной желтой газировки.— Для запива,— пояснил Чугунный.

— Нет, нет, что ты, Володя?! — отпрянул Мценский, скользнув по скамье юзом и вывозив пальто в птичьей известке.— С этим покончено раз и... От одного вида... душа вспотела! Так что и не предлагай. Иначе — уйду сейчас же.

Чугунный молча отвинтил белую пластмассовую пробку, поддел ногтем из горлышка страхующую пластиковую затычку, начал вытряхивать из синего флакона в порожний стакан запашистую жидкость.

— Пей! — протянул Чугунный Мценскому.

— И не подумаю.

— А я говорю — пей! — раскорячил Володя в бесноватой гримасе, дышащий жарким, гнилым нутром рот.— Гада угощают, а он нос воротит. Пей, грю... педагог, пала!

— А я вот милицию позову.

— Не позовешь: заметут вместе со мной. Пей, грю, если свобода дорога!

— Понимаешь...

— Не понимаю! Пей, пас-с-ску-уда!

— Да не злись ты на меня, Володя... Не стану я пить.

— Пе-ей! — зазвенел Чугунный, истерически истончив голос до свистящего фальцета.— Не будешь пить — оболью гада и подожгу! Не вер-ришь?!

На ближайших скамейках забеспокоились старички и старушки. Птицы, кружившие над деревьями и отдыхавшие на ветвях, заслышав пронзительный

вопль, снялись и, дав круг над оглашенным садом, перелетели на старые молчаливые липы Большого проспекта.

Милиционера Мценский заприметил еще издали, когда тот, поскрипывая песком, передвигался на одной из дорожек сада, и вдруг, заслышав истошное Володино «Пей!», заметался, завертел головой, прицеливаясь взглядом к их скамейке.

Мценский наблюдал приближение милиционера завороженно, будто парализованная страхом мышь, оцепеневшая у входа в змеиную пасть.

Пришлось лихорадочно вспоминать подходящие к случаю слова и лучше — ласковые, вкрадчивые. Главное — не лезть в бутылку. Милиционерам нравится, когда с ними — вежливо. Мценский догадывался, что придется не столько оправдываться и защищаться, сколько — расплачиваться. Денег у него в наличии имелось на всё про всё — красная десятка, которую в момент расставания в больничном вестибюле одолжил ему «до лучших времен» Геннадий Авдеевич, добрая душа. Начинать новую жизнь с конфликта — не хотелось. Подставлять под удар одного Володю Чугунного, откреститься от него напрочь — тоже как бы несправедливо будет: на одной скамье сидят, одним воздухом дышат. Прежде-то, до болезни — он и глазом бы не моргнул — отрекся бы от парфюмерщика! Апостол Петр Христа предал, причем — трижды подряд. А ведь знали друг друга прекрасно, не шапочное, как у них с Чугунным, было знакомство.

И тут Мценский краем уха расслышал позвякивание стекла: прямо под ноги, на песчаную дорожку покатились из рук Чугунного граненые стакапчики. Туда же рухнул и синий флакон. Вот те на... Испугаться до такой унизительной степени! Не ожидал Мценский от прожженного Чугунного подобной, весьма стремительной паники, такого расслабляющего мандража.

С трудом оторвав взгляд от приближающегося милиционера, Викентий Валентинович заставил себя посмотреть на Чугунного. А тот сидел растекшийся по скамье, руки веревочно изогнуты, голова запрокинута на деревянную реечную спинку, хохочущий черный рот распахнут настежь. И — ни звука из вздыбленной груди.

— «Какой странный смех,— насторожился Мценский.— Какой долгий, словно за что-то зацепившийся смех. Заторможенный, застрявший. Отчего бы это?» — И вдруг понял: «Оттого что — припадок! Чугунному плохо».

В следующее мгновение Викентий Валентинович ринулся на помощь несчастному Володе, благоухающему расплесканным снадобьем. Не долго думая, решил устроить Володю поудобнее: обхватив отключенного «осветителя» руками ниже подмышек, бережно положил его на скамью, сперва — туловище «расстелил», затем туда же забросил и ноги Чугунного. Быстренько снял с себя пальто, свернул его в укладку, подсунул под голову бедолаге.

— Здрасьте! Старшина милиции Нефедов. Что здесь происходит? Та-ак, ясненько! Распиваем в местах общего пользования...

— Погодите вы... старшина! Человеку плохо!

— Человеку...— нервно усмехнулся румяный, крутоплечий старшина, принадлежавший к той именно категории людей, что большую часть жизни проводят на открытом воздухе.— Опять Чугунный выступает. А вы кто такой при нем? — обратился сержант к Викентию Валентиновичу, настороженно потягивая воздух широким, трепетным носом.— Одэ-эко-лон? Штраф платить будем?

— Будем. Пять рублей. У меня всего десять. Пять вам, пять — мне. Квитанции не надо. К тому же — не пил я ни грамма. И вообще — из больницы только что... освободился. Есть справочка.

— Об освобождении?

— О лечении. И паспорт имеется. Вот, прошу убедиться...— протянул Мценский тугоплечему сержанту документы.— Если вас не затруднит, скажите, сколько сейчас времени? Для ориентировки.

Сержант с полминуты раздумывал, отвечать ему на вопрос или же проигнорировать оный, затем, не сверяясь с часами, сообщил:

— Тринадцать пятнадцать.

— Спасибо. Значит, два с половиной часа тому назад я вышел из больни-

цы, побродил по Васильевскому острову, прочитал вот эти вот газеты, которые расстелил на скамейке. Затем ко мне подошел вот этот вот несчастный... ныне спящий человек и сказал: «Здравствуй, Кент!» Хотя зовут меня Викентий Валентинович.

— Давно с Чугунным знакомы?

— Трудно вспомнить... То есть — очень давно. И — с длительным перерывом в общении.

— Как вас понимать?

— Со слов Чугунова — якобы лечились вместе в одном медицинском заведении, пациентами были.

— А... с ваших слов?

— Это... мой брат. Родной. По несчастью.

— Так — родной или — по несчастью? Чугунов он или тоже... з-э Мценский?

Сержант полистал паспорт Мценского. Развернул справочку. Подумал о чем-то своем, милицейском. И вдруг, переключив потрескивавшую на «приеме» нагрудную рацию, вызвал дежурного.

— Нефедов на проводе. Да здесь я, на набережной, в Соловьевском садике. Один тут в отключке на лавочке. Да знаешь ты его: Чугунный! Да, опять разлегся. Пусть его ребята подберут.

— Ладненько. Сейчас я Бобкова пошукаю... Бобков где-то возле Шмидта курсирует!

— Добро, жду,— буркнул Нефедов дежурному, затем, аккуратно сложив медицинскую справочку Викентия Валентиновича, сунул ее на прежнее место, под прозрачный целлофан паспортной обложки. И нерешительно протянул документы Мценскому.

Мценский брать документы из рук сержанта не спешил, отнесся к милостивому жесту Нефедова сдержанно, чем приятно удивил милиционера, и тогда тот, еще более настойчиво обратился к Викентию Валентиновичу:

— Возьмите документы!

Мценский взял. И вдруг спохватился: торопливо треща целлофаном, извлек из того же паспорта десятирублевку, протянул Нефедову.

— Если можно, сдачу — рублями,— при этом Мценский бесстрашно улыбнулся сержанту.

— А... если четвертными? — сдвинул брови Нефедов, притворно мрачнея.— Забирайте и уходите. Тоже мне... пирожок в июне месяце! — обратил квартальный внимание на зимнюю шапку Мценского, словно только теперь обнаружил ее на голове нарушителя.— Пальто — ваше? Забирайте. Видел я, как подстилали... Из больницы люди домой бегом бегут, а не по лавочкам рассиживаются.

Мценский осторожно потянул из-под Чугунного пальто. Голова Володи, ощерившаяся в длительном беззвучном смехе, глухо стукнулась о скамеечные рейки. И тут Мценского осенило: а Чугунный-то... мертв.

5

Ночью спать никто не ложился. Люди продолжали идти. Да и куда было ложиться? Под ноги толпе? Сомнут, растопчут. К тому же спать не хотелось. Вовсе. Отпала эта необходимость. Люди шли в ночь с открытыми глазами. Даже те из жутких псевдослепцов, которые днем передвигались сомкнув веки, на ощупь, теперь, с наступлением темноты, распечатали порочные взоры и жадно пили зрачками пронизанный мириадами зрений сумрак. Именно сумрак, а не беспросветную тьму. Свет множества глаз, вливаясь в ночь, делал темноту жиже, прозрачнее.

Одновременно с возгоранием глаз, высоко в небе над дорогой зажигались звезды. А в результате — даже ночью на шоссе можно было общаться с людьми, заглядывать в их смутные лица в надежде на короткий разговор или на едва различимую ответную улыбку.

В одну из таких ночей (а было их у меня на дороге не менее десятка), где-то ближе к развилке уловил я как бы звучание музыки. Вначале подумалось: что-нибудь с головой! Внутри черепа заиграло. Потом — усомнился. Тщательно прислушался, заткнув пальцами уши. Музыка поугасла. Только кровь в сосудах попискивает. Значит, снаружи играют. Вынул пальцы из ушей: отчетливей звучит! Причем ласково, без металлического напора. Скорей всего — старинная, «деревянная» музыка. А правильнее — природная. Рожденная, к примеру, движением ветра, течением воды, вращением планеты. Как если бы земля, со всеми ее норами, порами, дырами, выступами и закутками была одним огромным орга́ном, и веленские воздухи, обтекая ее, извлекали из праха материи мелодию вечной жизни. Не утверждаю, что именно так красиво звучало, но воспринималось мной — данным образом.

Склонный, если не к анализу, то к сомнению, решил я обратиться за разъяснениями к одному из попутчиков, выбрав для этой цели очкарика, то есть человека более-менее современного мне, уроженца промышленной эпохи (оправа очков пластмассовая, под роговую). Я спросил его:

— Скажите... вы что-нибудь слышите?

Он сразу остановился, благодарно вздохнув, как будто ожидал, что я его окликну. Поправил очки на носу, едва уловимо сверкнувшие линзами. Доверительно приблизил ко мне свое, неразличимое в потемках, неотчетливое лицо. При этом безволосая макушка его головы тоже едва заметно сверкнула, отразив свечение звезд. Одышливо комкая слова, человек произнес:

— Добрейший вы мой! Слышу... рад! Не сомневайтесь: довольно отчетливо улавливаю! И ваш голос, и свое отчаяние... Спасибо, что обратили внимание. Так хочется излить душу! — и почему-то скуксился, дрожащими пальцами под очки к себе полез. И тут я наконец понимаю: человек плачет. Причем — от радости.

Необходимо отметить, что на дороге многие порывались исповедываться друг другу. При первой возможности. Правда, не всегда эти поползновения встречали встречный отклик. Всем хотелось именно высказаться, а не — выслушать. Излить, а не принять вовнутрь. Преобладали монологи. И, чтобы хоть как-то общаться, приходилось соблюдать очередность: кто первый начал, тому и внимали. Скрепя сердце.

— Ладно уж... говорите,— всхлипывал от нетерпения очкарик, беря меня под руку, словно где-нибудь в коридоре института усовершенствования учителей.— Вы же первый изволили обмолвиться... Так что — вещайте! Слушаю вас... с нетерпением!

И тут ноздри мои, стосковавшиеся по натуральным запахам, улавливают в дыхании незнакомца... что бы вы думали? Чесночный душок! Вот так... Все, что угодно ожидал, только не это. Ведь я не только здесь, на дороге — у себя дома, на Васильевском острове терпеть не мог чесночного запаха. Короче говоря, откровенничать с очкариком расхотелось.

— Вы что же... чеснок ели? Или — колбасу?

— Что вы, любезнейший! Какая там, извиняюсь, колбаса?! Элементарный карбид кальция! CaC_2. Камушек на дороге подобрал. Десны от скуки почесать. А в результате — реакция во рту произошла. От смешения карбида со слюной выделился ацетилен. А попутно — чесночный аромат. Разрешите представиться: доктор минералогических наук, профессор университета Смарагдов, Владлен Фомич! — представился и дышит на меня выжидательно. Ацетиленом. Наблюдает мою реакцию. Не вздрогну ли я от почтения, услыхав его фамилию? Не вздрогнул. Хватит уже. Навздрагивался в свое время. К тому же фамилия профессора была мне незнакома.

— Говорите же! — засучил ногами от нетерпения Смарагдов.— Иначе я... вне очереди опорожнюсь... вынужден буду.

Профессор стал мне потихоньку надоедать, и я уже хотел уступить ему свою исповедальную очередь, как вдруг опять, в себе или над собой, услышал величественную музыку.

— Слышите?! — закричал я, но крик мой, не успев возникнуть, лопнул, как мыльный пузырь; некоторые из пешеходов наверняка с сочувствием посмотрели в мою сторону.— Музыку... черт возьми, слышите?

— Музыку? — насторожился Смарагдов.— Смотря что теперь называть

музыкой, драгоценнейший. Ежели вы про искусство изволите — это одно, а ежели в смысле божественном — другое. Может, я и глуховат, однако считайте, что я слышу ее, вашу музыку. Но и вы, почтеннейший, извольте выслушать мою!

— Ладно, говорите. Бог с вами,— смягчился я, сам не знаю почему, предоставляя профессору возможность высказаться вне очереди. Наверняка музыка на меня повлияла. Расслабив во мне напор эгоцентризма.

— Представляете, любезнейший, я сделал потрясающее открытие! — выпалил ученый муж, не забыв для приличия несколько сконфузиться.

— И что же, отыскали философский камушек? — не удержался я от иронической реплики.— Запустили вечный двигатель?

— В том-то и дело, что не запустил. Но запускал с завидным упорством. Всю свою, так называемую жизнь. И не во времена унылых алхимиков, а в середине двадцатого века, восхитительнейший вы мой! Касательно открытия — вот оно, мое открытие: зря жил! И что самое замечательное: у меня, оказывается, была семья! Любящая женщина, дети. А я и не подозревал. Покуда с ними не расстался... Навсегда.

— Имели на стороне любовницу? Так, что ли?

— Любовницу?! Ха! Имел... будь она неладна. И звали ее Наука! Только не подумайте, великолепнейший вы мой, что по ее могущественной протекции рассчитывал я подняться на Олимп мирового господства! Не совсем так. Поначалу, не скрою, старался в этом направлении. А затем, углубившись в познания, бескорыстно увлекся тайной. Тайной камня, великодушнейший вы мой. Не человеку, не зверю, не хотя бы злаку хлебному или фрукту вкусному поклонялся — холодному минералу!

— М-да, не позавидуешь,— поддакнул я нехотя профессору.— Это что же за тайны такие... каменные? По части возвращения молодости, что ли? По извлечению золота из оружия пролетариата, то бишь — из булыжника? Кстати, Викентий Мценский, учитель истории! — представляюсь я в свою очередь.

— Истории — чего?! — жадно интересуется Смарагдов, прильнув ко мне всем своим расслабленным существом, провонявшим карбидом.

— Во всяком случае — не истории камня. Вы что, в школе никогда не учились?

— Не обижайтесь, милейший... Отвлекся, отвык от всего на свете. За годы постижения — отстранился. Как говорится, с головой ушел... в камень. Значит, историю земного шара преподавать изволили, мудрейший вы мой?

— Не вселенной же. И не столько земного шара историю, сколько — его пассажиров, великолепнейший вы мой! — иронизирую.

— И что же, довольны?

— Чем?

— Историей... своей? Вообще — прожитой жизнью? Если на нее оглянуться теперь, с дороги? Только откровенно. Лично я в своих деяниях полностью разочарован. Зря старался...

— А кто — не зря? — подсыпаю в беседу перчику.— У меня тоже свой камень имелся. И ушел я в него не с головой, а со всеми потрохами. Запойного свойства булыган на шею себе подвесил. Винно-водочного происхождения.

— Винный камень?! По-научному: кремортартар. Замечательнейшее соединение из кислых калиевых солей! Применяется при гальваническом лужении и как протрава.

— Вот именно что... отрава. Тартар! Или как там у вас это называется... И так он меня за горло взял своей клешней, товарищ Смарагдов, не приведи господь. Все прахом пошло! Жена, семья, школа, книги, музыка... Не говоря об Истории. Извините, что разоткровенничался...

— Вам спасибо! За облегчение,— просиял профессор.

В общении со Смарагдовым прошла по дороге очередная ночь, короткая, неполноценная, как где-нибудь за Полярным кругом, не ночь — затмение: словно кто-то внушительный прикрыл солнце ладонью, но тут же и отдернул ее, терпения не хватило.

Солнце еще не взошло, но в предчувствии света некоторые из путников уже потирали глаза, словно от попадания в них мусора: это погубившие себя «дети зла», путешественники в аидово царство, всяческие профессиональные, интернациональные и прочие «лжецы и убийцы» готовились к встрече нового дня, то есть к закрытию своих глаз (смотреть на солнечный свет было им не то чтобы запрещено — нежелательно было: ходили слухи, что глаза лжецов от прикосновения солнечных лучей плавились и вытекали). На самом-то деле все гораздо проще: тьма тьмы ищет. Темной душе во мраке уютнее.

Смарагдов, должно быть, вспомнив былое и расчувствовавшись, молчал. Нужно было идти дальше. Развилка, которая всего лишь подразумевалась, подчиняла движение, звала вперед, и хоть я уже знал, что дорога и есть само движение (планета вращала ее к развилке, как эскалаторную ленту), переставлять вместе со всеми ноги по трещинноватому монолиту было куда приятнее, нежели стоять или сидеть сиднем. Ощущение движения правдивее самого движения. К тому же на дороге, прежде всего, принято идти. Если вы не хотите, чтобы на вас то и дело натыкались попутчики. Особенно те, с закрытыми глазами, с запрещенным зрением.

— Светает...— обратился я к окаменевшему Смарагдову.— Прощайте.

И зашуршал кроссовками в направлении, общем для всех и каждого.

Смарагдов моментально очнулся. Пристроившись ко мне с правого бока, восторженно задышал, семеня ножками. Нехотя посмотрел я в сторону ученого человека, и теперь уже отчетливо мог разглядеть несильный, безвольный нос пипочкой, весь плюгавый профиль плешивого очкарика. Даже напористая седая бородка профессора не делала этот профиль мужественней. Наоборот, было в этой культивируемой растительности, особенно здесь, в сакраментальных условиях дороги — нечто отталкивающее, неуместное, в худшем смысле слова — театральное.

— Суетился... Кофе по утрам употреблял,— продолжал канючить Смарагдов.— Нравилось. На юг с семьей неоднократно ездил. Однако в воду морскую без священного трепета заходил. Как в коммунальную квартиру. Теперь вспоминаю: жена у меня интересная была. Женщина для любви рождается, а я ее на что обрек? Вахтером при мне состояла. Жена ученого! А где ученый, куда делся? Жена призрака... Мыльный пузырь — вот мое земное предназначение, всемилостивейший вы мой!

— А кто не пузырь? — вторю Смарагдову безо всякого к нему сочувствия.— Солнце и то — смертно. И в свое время неминуемо лопнет.

— Не тем занимался, не по тем законам жил! — выбрасывал из себя признания Смарагдов, от которых, к моему удовольствию, все меньше и меньше отдавало чесноком.

— А кто виноват? Вас кто-нибудь заставлял... не по тем законам жить? Бюрократы виноваты?! Старая песенка духовных импотентов! Нравственных конъюнктурщиков!

Смарагдов на эти мои слова как-то безнадежно взвизгнул и еще торопливее залепетал:

— Камушки обожал пуще всего на свете! Людскую фамилию на каменное прозвище поменял! Смар-рагдов! А ведь был — Исаев! И звали не Владлен, а — Фома. Разве не идиот? Минерал «исаит» намеревался открыть. Чтобы в каталог, а то и в энциклопедию просочиться. Химерой увлекся. А жена тем временем... разлюбила. Да и друзья по работе — отвернулись...

— Закон сообщающихся сосудов проигнорировали-с! — просипел чей-то сплюснутый, раздавленный голос.— За грехи, за увлечения отдельного индивида расплачивается все человечество. И не где-нибудь на небесах — на отчей земле! Прошу прощения, господа, давно к вам прислушиваюсь. По всем приметам — из Совдепии будете? Матушки-России сыны?

— И какие ж такие приметы? — настораживаюсь, но без прежней похмельной гневливости, когда чье-либо бесцеремонное вторжение в беседу, участником которой я был, приводило меня в неописуемое бешенство.— Язык тут общий, понятный всем, направление тоже у всех — одно. По одежке, что ли, распознали?

— Образ мыслей характерный, расейский, вот какая примета,— скрежещет сорванным голосом незнакомец.— Только у нас, где-нибудь в Касимове или Муроме разгоряченные трактирные гении часами способны рассуждать

о мировых проблемах, о всяких нравственных болячках: «не так жил!», «не тому богу молился», о различных искушениях, грехах, смыслах, падениях и раскаяниях. Разве не так? Причем — во всеуслышание вещают. Западный европеец об этом помалкивает на людях. Он для чесания языка светской беседой располагает. Или — деловым, денежным разговором. А наши доморощенные интеллигенты как сойдутся — хлебом их не корми, дай о душе поговорить. И трясут ее, эту душу, как дети грушу.

— Кто вы такой, чтобы... критиковать? — спрашиваю.

— Сегодня — такой же, как и вы, путник.

— А вчера? Небось — тайный сотрудник полиции?

— Секретный сотрудник, сексот? Вы это хотели сказать? Так нет же... И вчера, и позавчера — всегда — путник, странник, скиталец! Призвание такое: быть вне толпы, вне закона...

— Без определенного места жительства, так что ли? Теперь это называется «бомж».

— Вряд ли. Место жительства у меня было вполне определенное: Россия.

— А профессия, извините? До того, как в бичи подались? Вот я, к примеру, до болезни — учителем истории числился, а товарищ Смарагдов — минералог

— А в результате? Обладая своими профессиями, стали вы чище, добрее. совершеннее? Повлияли на общественное сознание? Помогли вам знания — в постижении истины? Один... пардон — спился, другой, можно сказать, окаменел и теперь скулит, как побитая собачонка. От одного — чесноком, от другого...— потянул «скиталец» носом.— От другого — застарелым перегаром. Учитель истории! А что ваша, с позволения сказать, история запоминает? Что она берет на учет? Какие деяния фиксирует? Военные действия, то есть — кровопролития массовые, всевозможные политические убийства, то есть — кровопролития индивидуальные, перевороты дворцовые, рождение и смерть убийц или убиенных, захват власти тем или иным деспотом. Разве можно это изучать, пропагандировать? Тем более — пичкать этой бесовщиной детей? Мы знаем, что в пятнадцатом веке сожгли на костре крестьянскую девушку Жанну д'Арк, девушку, ставшую полководцем, то есть — ввязавшуюся в политику того времени. А что мы знаем о такой же девушке пятнадцатого века, что жила в прокопченной избушке где-нибудь под Москвой во времена царствования Василия Темного? Девушке, которая так же страдала, любила, радовала собой мир? И была в итоге забита до смерти ревнивым мужем? День в день с гибелью Орлеанской девственницы? Молчит история. Не желает мелочиться. А ведь страдания подразумевают равенство их жертв, по крайней мере — перед Господом. Подмосковная девушка никого не убивала, ни в какие интриги государственного масштаба не ввязывалась. Она лишь взглянула на мир, на проходящего под ее слюдяным окошком доброго молодца, полюбопытствовала красотой мира. И за это ее казнили. Тайно, грубо, мрачно, без пышных приготовлений, одышливо сопя — лишили жизни.

— Где, где вы такое вычитали о русской девушке? В берестяных грамотках?! — обратился я к путнику, заинтересованный средневековым сюжетом незнакомца, называющего себя скитальцем.

— Про такое не вычитывают. Такому — сочувствуют. Я знаю эту девушку. Встречал ее здесь, на дороге.

— Тогда вы наверняка сможете ответить на мой вопрос, любезнейший,— вступил в разговор Смарагдов, на какое-то время притихший, должно быть, привыкавший к бесцеремонному собеседнику не без душевных корчей.— Известна ли вам, почтеннейший, причина отсутствия на дороге детей?

— Причина неизвестна. Но по слухам — дети идут другой, более короткой дорогой,— ответил «почтеннейший».

Впервые за время разговора на лице странника появилась улыбка, и не знаю, как Смарагдов, но я наконец-то отчетливо и тоже как бы впервые увидел лицо незнакомца и не только лицо — весь его вздорный облик охватил и ощутил, как нечто единое целое с его непристойно звучащим, испорченным голосом, голосом прежде, до улыбки, казавшимся мне самостоятельным существом, почти зримым, как дым изо рта курящего человека.

В отличие от нас с профессором, от наших тривиальных примет: моего зачуханного блейзера и стоптанных кроссовок, серого, в старческих пятнах габардинового плаща Смарагдова, его жутких скороходовских полуботинок с прободениями в местах, где косточки, сипатый странник тащил на своих раскидистых плечах настоящую буржуйскую шубу черного бархата, отороченную и подбитую соболями или бобрами, во всяком случае — не синтетической подделкой (в пушнине я разбираюсь так же скверно, как и в драгоценных камнях, ибо отлучен от всего развращающего пролетарским романтизмом).

— Суржиков Илья Ипатыч, подпольная кличка Лукавый! — представился обладатель соболей, скрежетнув подковками желтокожих «американских» ботинок на толстой подошве, над которыми литые, без морщин, бутылками блестели кожаные краги. На голове Лукавого лежала огромная кепка с наушниками, из-под нее мутным потоком стекали длинные, пронизанные сединой, каштановые волосы.

— А что касается невинных детей... Видимо, путь их короче, дорога их мягче и чище нашей. Слава богу, детей на смертном пути гораздо меньше, чем взрослых.

— Лучше бы их совсем не было на этом пути, мудрейший вы мой,— пролепетал Смарагдов.

— Вот и постарайтесь, то бишь — вот и постарались бы! В свое время, товарищ профессор. Так нет же — тратим жизнь на что угодно, на всякие камушки, только не на любовь к ближнему, о которой нам прожужжали уши всевозможные «рыцари добра», в том числе преподаватели истории... Слова, слова!

— А вы... что же?! — чуть не в один голос запричитали мы со Смарагдовым, наливаясь обидой.— Вы-то что же — ангел во плоти?!

— Успокойтесь, господа. И я в свои камушки играл. У всех они свои, камушки пресловутые, уводящие от истины. Сейчас я вам расскажу о себе, не постесняюсь. Поделюсь опытом. Но прежде — не мешало бы освежиться.

Впереди, по ходу нашего продвижения возник небольшой участок дороги с проливным дождем. Этакая душевая кабина метров сто на сто, над которой неподвижно висела довольно угрюмая туча. В ее недрах время от времени посверкивала молния и очень тактично, почти шепотом, погромыхивал гром.

— Обожаю дождичек! — с этим словами Суржиков, поведя плечами, вельможным жестом стряхнул с себя дорогую шубу, швырнув ее в нашу сторону, абсолютно уверенный, что «вещь» тут же подхватят воображаемые лакеи. И ведь подхватили! Я даже опомниться не успел, а буржуйская доха уже разлеглась на моих руках.

И, удивительное дело, не столько возмущение выходкой Лукавого, сколько восхищение малым весом шубы поразило мое сознание: вот это, братцы, мех, вот это работа, выделка! Не какое-то там шмотье — произведение искусства.

Огромную кепку с наушниками Суржиков, уже из зоны дождя, весьма ловко набросил на отполированную временем, ученую лысину Смарагдова.

У входа в дождь стояла розовая женщина, та самая, с говорящими руками, ясноглазая. Она протягивала дождю лепестки ладоней, а затем проводила этими ладонями себе по лицу, сверху вниз. Ощутив затылком мой заинтересованный, корыстный взгляд, она бесстрашно обратила на меня взор. Тихо улыбнулась краешками губ. И мне захотелось чем-то ее отдарить за улыбку. Но... чем? Теплым словом, восхищенным взглядом, ласковым жестом? Неопределенно слишком. И тут я вспомнил о веточке полыни, извлек ее из записной книжки, протянул женщине.

— Берите, берите... Это полынь. Она пахнет жизнью.

На левой руке у меня висела шуба Лукавого, правой я протягивал женщине серебристо-зеленую лапку растения.

— Какой чудесный подарок,— вздохнула она облегченно и, вместе с тем, жалостливо, матерински заботливо.— И ради бога — не обижайтесь: я не приму эту прелесть. Вам она нужнее. Ваша травка зовет в детство, в смутные сны, в дивные грезы. А я не хочу обратно. Не хочу болеть, мерзнуть, разочаровываться, любить безответно, а главное — временно.

— Вы похожи на одну женщину...

— Женщины все похожи на одну женщину.

— На Еву?! Понимаю. Однако не все мужчины похожи на Адама. Лично у меня от яблок изжога.

Женщина милостиво снесла мою «остроту». Затем еще раз жалостливо улыбнулась, и от этой ее всепрощающей, успокоительной, поощряющей к безответственности улыбки на какое-то мгновение сделался я ребячливо-добрым, щедрым, мне захотелось немедленно кого-то простить, полюбить, и не кого-то, а всех-всех, весь этот необъятный, непостижимый мир жизни, что с момента моего возникновения на земле играл мной, как мячиком, покуда этот мячик не выкатился на расстанную с миром дорогу.

Осторожно поддев перламутровым ногтем веточку полыни, двумя пальцами приподняла ее со страниц записной книжки. А затем, то ли понюхала, то ли поцеловала привядшее растение. Судорожно вздрогнув всем телом, возвратила веточку на прежнее место.

— Что, не нравится? — спросил я женщину, успев помрачнеть.

— Где у вас болит? Укажите место,— приблизилась женщина почти вплотную.— Хотите, я пошепчу? Молитву? Вдруг — поможет?

— Как бабушка? Ну что вы... У меня здесь ничего уже не болит.

— Но ведь раньше... болело?

— Раньше болело. Вот... здесь...— рука моя долго витала в пространстве, не решаясь указать место расположения болезни, да и где оно, это место — грудь, живот, голова? — Ни к чему это все теперь...

— Но ведь вы, судя по всему, собираетесь вернуться? Эта веточка... и вообще — энергия в словах...

— А кто отпустит?

— Ваше дело — желать.

Затем женщина легким шагом обошла стороной дождь, и я еще долго не терял ее из вида, пурпурно мерцавшую в стеблях дождя, словно клочок развеянной ветром радуги.

Суржиков из воды вышел сухим, но — зримо взбодрившимся, принял из моих рук шубу; с головы Смарагдова самостоятельно снял кепку, сбив при этом с профессора очки. Старик долго ловил их в воздушном пространстве, как бабочку. Но все обошлось, изловил. А то бы их мигом приобщил к своей коллекции старик Мешков.

— Для чего шубу-то снимали, если вода немокрая? — попрекнул я Лукавого.

— Для убедительности. Вот что, братцы, есть хотите, небось?

— В какой-то мере, любезнейший,— заметно, хотя и недоверчиво воодушевился исхудавший старик Смарагдов, машинально жевавший роговую дужку очков.

— Не откажусь...— с сомнением присоединился я к минералогу.

— Тогда держите по сухарику... Словесному! На дворе трава, на траве дрова. Жуйте на здоровье. Только — в темпе!

— На юмор потянуло? — отвернулся я от Лукавого, смиряя в желудке закипевшие было соки.

— Господа, вы лучше туда посмотрите! Туда, в глубь дождя. Видите, субъект с закрытыми глазами руки пытается отмыть? Они у него в крови, причем — в собственной! Вот где юмор, от слова умора. Причем — не черный, а именно красный юмор. Перестарался, видать, сослепу, кожу содрал, жертва гигиены. При мне встал на колени и ну тереть ладони о дорогу! Так сказать, с песочком. Похоже, теперь из дождя наружу направляется, ну, тот, который в пенсне! Хотите, что-нибудь спрошу у него, к примеру: не нужна ли ему гуманитарная помощь? Или — поводырь?

— Простите, Суржиков,— обращаюсь к Лукавому,— но ваша э-э... мягко говоря — расторопность — неуместна. В условиях дороги.

— В революцию, в условиях которой меня поставили к стенке, и не такие расторопные сударики возникали! Я — продукт своей эпохи. Чего вы от меня хотите, господа?

— Так вы что же, извиняюсь... революционер? — поглубже запахнулся в габардиновый плащ профессор Смарагдов.— В смысле, участник революции?!

— Предположим, профессор, что город, в котором вы играли в свои камушки, тряхнуло землетрясением. Спрашивается, все ли жители того города — участники землетрясения?

— Но, любезнейший, нельзя же всех подряд зачислять в герои?

— В герои — нельзя. В мученики — отчего бы и нет? Вот вы, профессор, при каких обстоятельствах утратили способность к существованию? Небось, тихо уснули на своем диване, а сердчишко-то и остановилось от нечего делать? Илью Ильича Обломова помните? Треволнений сторонился, покоя жаждал. Смерть от покоя. Разве не так?

— Не угадали. В сорок втором, в январе... в блокадных условиях города Ленинграда утратил.

— В городе Ленинграде...— раздумчиво и как-то старательно повторил Суржиков сиплым голосом.— Выходит, переименовали Питер? От третьего человека уже слышу.

— Не нравится? — решил я съехидничать.— Ничего, привыкайте.

Но Суржиков не обиделся.

— Отчего же не нравится? Это лишний раз подтверждает истину, что с большевиками шутки плохи. Пусть — Ленинград. Хорошо, что не Троцк! Или — Керенск. Итак, профессор, в сорок втором, в Ленинграде, на диване...

— Заткнитесь, Суржиков. Профессор — блокадник. Вам этого не понять. Никому не понять... Сами блокадники иногда сомневаются, что это... наяву было.

— Однако же — было! И все, кто в этой блокаде очутился — блокадник. Не так ли?

— Ну и что?

— А то, что я — революционер! В революцию преставился... В ее геенне огненной сгорел.

— И контрреволюционеры в ее огне горели. Одним миром их, что ли, мазали — всех? — не уступал я Лукавому звания революционера, ощутив себя прежним учителем истории.

— Ну, это по вашей теории, а по моей — всех! Всех одним огнем опалило! — настаивал Суржиков.

— И тех, которые в норках отсиживались?

— Всех! Революция любую норку прожгла, в любую тьму проникла! — взмахнул крыльями шубы Лукавый.— Мое право выбирать, кто я теперь, в итоге. Так вот, я — жертва! Жертва революции. Звучит? То-то же... Это тебе не какая-нибудь там жертва недоедания или вши тифозной, интриги закулисной — Революции! Жертва мирового потрясения.

Суржиков приосанился. Поправил на голове кепку. Окинул взглядом толпу, обтекавшую наших собеседников. Заприметив кого-то, взмахнул рукой:

— Эй, любезный! Вот вы, с котомкой! Нет ли в вашей коллекции гребешка?

Старик Мешков покопался в узелке, сооруженном из клетчатой рубахи-ковбойки, извлек оттуда пластмассовую карзубую расческу. Суржиков деловито расчесал свои дореволюционные, весьма запущенные патлы. И вновь прижал их тяжелой кепкой.

— А теперь немного о себе. Родился я в сельской местности. В усадьбе обедневшего помещика. И слишком рано ощутил обреченность человеческого существования. Лет с двенадцати стал я дольше обычного смотреть в окно. Наблюдать за происходящим. В основном, за сменой времен года, каждое из которых провожал со слезами отчаяния, будто на кладбище. Все эти заунывные дождики, падающие листья, спасающиеся бегством птицы, оседающие сугробы, а главное — люди, послушные, безропотно ожидающие своей погибели... Был в моей жизни момент, когда я целые три недели прожил в порожнем доме один. По смерти отца. Отец умер не просто на моих глазах, буквально — на моих руках: последний глоток воды принял он от меня, тринадцатилетнего подростка. Потом приехал мужик, которому отец перед своей смертью продал усадьбу, и тот за руку, без церемоний отвел меня от окна, из которого пил

я сладкую муку обреченности. О матери ничего не скажу, потому что ее возле нас не было. Отец по этому поводу молчал, а слухам доверять я так и не научился. Детство кончилось. Я переехал к тетке в Питер. Но безысходность, которую разглядел в деревенском окне, успела наложить отпечаток на мой характер. И вот, что удивительно: я все ж таки не сделался патентованным нытиком, завзятым ипохондриком — наоборот! Я решил просочиться в жизнь с другого хода, войти в нее через потайную дверь вседозволенности! Примерно в это же время моим любимым поэтом сделался жизнерадостный англичанин Редьярд Киплинг!

И Суржиков, видимо, забыв, где он сейчас находится, с каким-то жалким, театрального происхождения превосходством посмотрел на нас со Смарагдовым. А затем продолжил:

— Не странно ли: все трое, даже четверо, старик Мешков в том числе — все мы из России? Что это — свояк свояка видит издалека? А скажите, господа, не брала ли вас обида на «жалкий жребий», на то, что выпало родиться и жить в такой, мягко говоря, некомфортабельной стране? Среди нескончаемого бездорожья, пьянства, смертельной скуки, обожаемой патриархальщины, то бишь — косности, жить, питаясь всеми этими грубыми кашами, щами, краюхами, облачаясь в тяжкие, неуклюжие одежды и обувку, довольствуясь однообразной, заунывной водочкой, играя на примитивнейшей балалаечке, ночуя в избушках, занесенных самым большим в мире снегом...

— Читая Пушкина, Гоголя, Толстого, Достоевского, Чехова,— не без «священного трепета» подал голос старик Смарагдов.

— Согласен. По части литературы, вообще — в сфере муз Россия мало кому уступит. Но сейчас я — о другом. О житье-бытье всего лишь. Не о судьбе — о доле. Улавливаете разницу? О доле народной. Чью невозмутимо-безразличную к своей обреченности физиономию разглядел я тогда в отеческое окошко, окропленное дождичком. Справедливо ли, господа? Жить на отшибе, в трясине прозябания, когда рядом, рукой подать, в какой-нибудь Гааге или в Париже — священный мрамор, интеллектуальный гранит, вдохновенная черепица... и всюду — просвещенный воздух разлит! Воздух, господа! Не геометрия всей жизни, а всего лишь атмосфера бытия изящнее нашей? Не обидно ли? Перед богом-то все равны. Я понимаю, господа, вы люди городские, питерские. На завалинке не сиживали. На дождливую паскотину в окошко с тоской не посматривали. Однако учтите: Питер в России — вообще казус, то есть — явление случайное, пришлое, надуманное, неорганичное плоти всего государства. Да и что вы опять-таки видели в свои питерские окошки? Дворы-колодцы, на дне которых дрова, чахоточные плевки, кошачий аромат, плач детей и всё та же обреченность, только — некрасивая, чахлая в сравнении с сельской. Не паскудно ли, господа?

— Должен вас огорчить,— суетливо потрогал Смарагдов на своем лице очки, а затем и прочие выпуклости: нос, губы, подбородок.— Потому что совершенно с вами не согласен. Маму, драгоценнейший вы мой, не выбирают! В недостатках ее не копошатся, по крайней мере — на людях. Изъянов же чисто внешнего свойства — просто не замечают. Маму, как правило, любят. Этим все сказано. Лично я просто не задумывался над тем, какое у нее... лицо? Не до того было. Несением своего креста был увлечен! Весьма...

— То есть — камушками?

— У каждого он свой...

— И правильно делали! — неожиданно улыбнулся Суржиков, взявшись за козырек кепки, и мы впервые разглядели, что Лукавый ни на кого, кроме как на себя — не похож (почему-то предполагалось, что Суржиков, сними он маску, приподними, так сказать, забрало, непременно станет кого-то напоминать).— Моя величайшая ошибка, господа, то есть изъян всей моей жизненной конструкции — не в пренебрежительном отношении к отчему краю (старушку Россию любил всегда, но — ровно, без благоговейных словесных судорог, слез над ее могилкой в семнадцатом не проливал, слушал поступь Истории); промашка моя заключалась в распылении сил, в разбазаривании средств, желаний и еще — в смехотворной убежденности, что имею право быть кем угодно, делать что угодно, верить — во что угодно. Грандиознейшее

заблуждение, господа, сакраментальнейший самообман! Делать нужно свое... маленькое дело. И только-то! Дело, предопределенное жребием свыше. И здесь вы абсолютно правы, профессор: человек должен нести свой крест. И не смиренно, не озлобленно, а — с увлечением-с! То есть — с любовью перебирать свои камушки, чтобы рано или поздно отыскать среди них алмаз истины, господа!

Суржиков остановился. Голова его, отягченная напоминавшей лепешку асфальта кепкой, низко склонилась, длинные волосы сошлись, зашторили гипсово-бледное, безжизненное лицо. Мы уже решили, что ему плохо, когда шторы раздвинулись, и в глубине отдохнувшего лица зажглись зеленые, язвительные глазки Лукавого.

— Однажды, глядя на мир в заснеженное окно, увидел я жалкого старика: согбенный, в руках палка, глаза погребены в морщинистой землистой коже. Приглядевшись, понял я, что старик в свое время был отменного роста, буйноволос, синеглаз и вообще — заметен. Наверняка пользовался успехом у женщин. Вот тут-то я и похолодел от ужаса, как писала в своих гимназических романах госпожа Чарская. «Похолодел», потому что увидел в старике себя. И возмутился! До последней степени, до состояния экстаза. И сделал грубейшую ошибку: отвернулся от окна. Навсегда. И тут необходимо было... выбрать бога, чтобы поклоняться. И я выбрал Протест! Отвергнув смирение. А теперь понимаю: поклоняясь этому идолу, то есть гордыне, человечество подписало себе смертный приговор. Потому что именем Протеста создавалась и создается не только гениальная музыка, но и гениальная техника массовых убийств, к примеру. Кем я только не был во имя Протеста! Убийцей, карточным шулером, терпеливым собеседником, оратором, охотником, завсегдатаем вертепов и томных салонов, депутатом, провокатором и никогда — гражданином, честно перебирающим камушки повседневного труда. Я не просто презирал обыденщину, я ее ненавидел. Мне было до конвульсий противно где-нибудь служить, быть семьянином, любить кого-то дольше одной ночи. Глянув тогда в заснеженное окно и увидев в нем согбенного старика, я не просто испугался, я стал — смертен. Впервые. Меня вдруг поразило заурядное арифметическое действие: триста шестьдесят пять умноженное на энное число лет — пять, десять, сколько их там осталось в запасе у судьбы? Помножил, сложил в мешочек воображения и не стал чахнуть над златом, а кинулся транжирить с необыкновенной проворностью и небрежением! Что вы на это скажете, господа? Простите, кажется, утомил...

— В наше время научно-технической революции, то есть — во второй половине двадцатого века, таких, как вы, деятелей звали тунеядцами и, время от времени, даже судили. Давали им срок.— Без тени усмешки проинформировал я Суржикова.

— Это что же... в Совдепии? Этак-то? Не ожидал, признаться. Слишком сусально, как по Священному писанию: тунеядство. Мне больше нравится, скажем, слово авантюрист. Революционнее как-то звучит. Оно что — изъято из обращения? Ну, да бог с ним, со словом. Перед тем, как расстаться, господа (а в толпе поговаривают, что скоро Развилка), позвольте по старой шулерской привычке сыграть с вами в безобиднейшую игру...

— Поищите себе партнеров среди иностранцев, а мы вас поняли, товарищ игрок,— достал я записную книжечку и, раскрыв ее там, где была заложена полынная лапка, с жадностью обнюхал свой талисман.

— Что это? — не без иронии поинтересовался Лукавый.— Скажи мне, ветка Палестины? Неужели пахнет до сих пор? Ну-ка, дайте нюхнуть.

Я дал ему нюхнуть.

— Запах прошлого,— невольно поморщился Суржиков.— Нафталин. Вам нравятся подобные запахи? Предпочитаю аромат неизвестности.

Старик Смарагдов так же изъявил желание понюхать. В отличие от «тунеядца» проделал все предельно аккуратно, старательно, предварительно сняв очки, долго тянулся в сторону записной книжки коротким носом.

— Чудесно пахнет. Не столько прошлым, сколько... пережитым, любезнейший,— позволил себе поперечить Лукавому профессор.

— А что — есть разница? В понятиях?

— Неужели не ощущаете?

— Вот и поиграем. Пусть каждый ответит на один вопрос: что в прошлом, пардон — пережитом — было для него самым дорогим? Запоминающимся и непременно дорогим! Начинайте, профессор.

— Видите ли... так сразу? На ходу, о сокровенном. Прямо не знаю, что и сказать...

— А вы без мудреных соображений. Просто оглянитесь сейчас туда, как в собственное сердце, и что обнаружите — о том и валяйте!

— Тогда это... всего-навсего — Настенькины глаза, то есть глаза моей жены. К моему величайшему сожалению, я слишком мало уделял ей внимания в процессе жизни.

— Достаточно! — оборвал профессора Суржиков, разглядев на ресницах старика беспомощные слезинки.— Зачем же так волноваться? Следующий, господа. И учтите, выигрывает тот, кто выскажется откровеннее, а не зануднее,— с этими словами Суржиков отвернулся от минералога и занялся мной.— Ну-с, гражданин учитель, что там у вас наиболее драгоценного отложилось? Не в истории человечества — в истории вашей личной жизни?

Вначале хотел я послать Суржикова куда подальше с его приставаниями, потому что и сам, подобно старику Смарагдову, первым делом вспомнил глаза жены, заплаканную Антонинину улыбку. Зачем же повторяться, думаю? Потом вспомнил, что я не в очереди за пивом, а в более серьезных обстоятельствах нахожусь. Отчего бы не поиграть в игру? Действительно, черт возьми, какая-никакая, но позади — жизнь! Конечно, не мирового масштаба событие завершилось, и все-таки — что-то было! Жил, работал, стал староват. Учился, даже других учил. По школьной программе. Потом... пристрастился. Страсть некоторую возымел. О которой лучше помалкивать. Вроде и вспоминать-то нечего. Народ на народ, как какой-нибудь Саша Македонский или Навуходоносор, не водил. Парадов на белой лошади, как какой-нибудь Кромвель или Пилсудский — не принимал. Атомной бомбы не изобрел. И вообще ни одного человека за пятьдесят лет жизни — не убил. В космос на ракете так и не слетал, амбразуры телом своим ни одной не закрыл. Ничего хорошего, кроме глаз... не помню. Разве что — музыку до сих пор слышу. Сказать, что ли, Лукавому про музыку? Только — неужто она — самое дорогое? Пожалуй, самое навязчивое.

Опуская в карман блейзера записную книжку с полынным талисманом, я, чтобы отделаться от пастырного Суржикова, неуверенно предположил:

— Самое дорогое? А вот этот вот запах полыни!

— Расскажите,— потребовал Лукавый. И милостиво добавил: — Можете подробно.

— О чем? О запахе?

— О том, как он возник в вашей биографии. Ради чего возник — известно. Не ясно: где, когда?

— Элементарно. Возле Черного моря. И оказался я там не по путевке работников просвещения. К тому времени профсоюзных взносов я уже не платил. Никакой истории не преподавал. Жена от меня ушла. Прежнюю двухкомнатную квартиру мы поделили: ей с сыном — отдельная однокомнатная, мне — комната в коммуналке. И вот однажды выбрал я на жилищной толкучке приличного клиента, чтобы сдать ему свою комнату на сезон. Привел его к себе домой, а затем, получив с него за три месяца авансом энную сумму, закатился на юга... Короче — очнулся я ночью у подножия серых гор, из которых цемент производят. Валяюсь на жесткой такой полянке, уткнувшись носом в кустик полыни. Деньги к тому времени кончились. Терпение — тоже. И решил я закруглиться. То есть — незаметным образом покончить с собой. Раз и навсегда. Внизу, возле городских огней плескалось уютное теплое море. На память пришла красивая морская смерть Мартина Идена, одного из героев писателя Джека Лондона, тоже, кстати, самоубийцы. И вот я — на причале. Вокруг никого. Сентябрь. Отдыхающие, скорей всего, отдыхают в койках. С моря мокрый ветер посыпает мелкими брызгами. Сияющие огнями лайнеры еще с вечера ушли заданным курсом. Топиться по мере приближения к воде почему-то расхотелось. И тут я услышал замечательный звук... Слаще любой музыки показался он мне тогда. Я услышал, как работает дизель. На малых оборотах. То есть — устройство, организм, созданный человеком! Где-то возле причальной стенки приткнулся буксиришко. От горшка два вершка. Круглый глаз иллюминатора светится. Кто-то, значит, живет внутри кораблика, в кубрике матросском. Но главное — этот деловитый, работящий стук дизеля. Надежный. И так мне хорошо сделалось от этого звука. И даже подумалось: не зря живем! Машины бегают, самолеты летают, электрические лампочки светятся... А без нас, без людей, на земле — случись такое — только ветры будут выть да гнилушки мерцать. Или — вот еще где-нибудь на Севере, возле таежной избушки — двое людей дрова пилят. Звенит пила. Кругом — дебри непролазные, тьма мрачная, над головой равнодушные звезды, и вдруг — пила... Вжик-вж-жик! Старается... До слез люблю эти звуки. Или вот — запах дыма, жилья...

— А при чем тут запах полыни? — спрашивает себя Суржиков и себе же отвечает: — И вечно-то они мудрят, господа русские интеллигенты. Нет, чтобы напрямки: так, мол, и так — самое дорогое для меня в жизни — сама жизнь. Коротко и ясно. Особенно — ее последний на тебя взгляд. Помнится, ведут меня «братишки» на Шпалерную, чтобы затем в подвале — к стенке поставить. За так называемую контрреволюционную деятельность. И попадается нам возле зоосада, на выходе из сквера, маленькая такая девочка с няней. Наверняка состоятельных родителей отпрыск. В ручонке у нее шоколадка буржуазного происхождения. Из дофевральских запасов. Няня деревенского обличья при виде братишек, опоясанных пулеметными лентами, так и сомлела вся от восторга и ужаса, а маленькая девочка — хоть бы что: глазенки подняла и ка-ак этими глазенками стриганет, как посмотрит! Ну... словно грехи враз, все до единого, отпустила! Остановился я, остолбенел. Братишки тоже винтовочки к ноге. Дитя отпихнуть не могут. Совесть не позволяет. А девонька вот что удумала: шоколадку мне протягивает! Правда, этак нерешительно. Словно сомневается: возьму ли, не откажусь ли? Не обижусь ли? Наклонился я поцеловать младенца, а морячок меня за шубу тянет, напоминает, что, дескать, пора по назначенню идти. Дотянулся я все-таки до ее чистого лобика. Пуговица от шубы отлетела. Няня мне пуговицу ту сует... А девочка, в конце концов, испугалась, заплакала. А меня, будто ангелы господни с обеих сторон подхватили и понесли, а не братишки с «Беспощадного».

Суржиков замолчал, и тут я впервые взглянул на него с интересом. Вот тебе и Лукавый, со всей своей вседозволенностью. От бессознательного движения детского сердчишки растаял, от милосердного жеста общелюдской доброты, унаследованной ребенком, если не от бога, то — от Праматери, имя которой Любовь. И тогда я спросил Суржикова о наболевшем, о чем сам себя неоднократно спрашивал:

— Послушайте, Суржиков... А доведись по второму кругу жить — как бы вы жили тогда? После девочкиной шоколадки? По-прежнему или?..

— Да не в шоколадке дело, во взгляде! Она ведь меня благословила тем взглядом... На смерть. И смерть была легкой. Как сон.

— Простите, но вы не ответили на вопрос.

— А я не хочу жить «по второму кругу»! И, знаете, почему? Не потому, что это невозможно, а потому, что... накладно. С меня хватит.

— Семьдесят лет прошло с тех пор. Неужто не отдохнули?

— Отвык. Или, вру... Не отвык — отверг.

— Разлюбили, значит...— предположил профессор Смарагдов.

— А я и не любил никогда! Я — соображал. Даже — в постели...

Суржиков извлек из кармана шубы пуговицу, оторванную в девятьсот семнадцатом году, поиграл ею несколько мгновений, подбрасывая и ловя, а затем швырнул ее коллекционеру Мешкову, оказавшемуся поблизости.

— А вам что же, не надоело мыкаться? — обратился ко мне Суржиков после некоторого раздумья.— Мало вам одной белой горячки? Хотите повторить?

— А, знаете... все бы отдал. Лишь бы вернуться. Говорят, на Развилке некоторых посылают обратно. Тех, что не полностью созрели для жизни вечной. Вот я иногда, стыдно сказать, плачу по ночам, когда глаз не видно.

Вспомню, как дерево в нашем дворе на ветру шумело, серебристый тополь... Или воробья на подоконнике, и мигом слезы наворачиваются. А ведь это — непорядок, не принято здесь плакать, не положено. Может, не созрел я?

— Последствия алкоголизма,— определил Суржиков.— Все эти ваши слезы и прочие «чуйства», все эти вдохновенные порывы и прочие сантименты — от водочки-с.

— Ошибаетесь, почтеннейший! — вступился за мои «чуйства» профессор Смарагдов, которого я в процессе дискуссии успел подзабыть, потерять из виду.— Ошибаетесь, это дивные слезы. Потому что они — любовь.

— К отеческим гробам? Кладбищенский пафос обреченных. Вас он еще вдохновляет? Меня — нет. В этом плане я созрел,— отвернулся от Смарагдова Суржиков.— Да и что бы вы там, на родимых пепелищах, делали, господа? С теперешним-то вашим смертным опытом?

— Да великолепнейший вы мой! Да любил бы всё подряд, без разбору! Любое проявление жизни. В любое время дня и ночи. Разве не так? — обратился ко мне за поддержкой Смарагдов.

— Ну... может, и не все подряд, а так сказать — через одного, во всяком случае — не отказался бы от предложения. Разве я жил прежде-то? — заторопился я высказаться, ощутив исповедальную потребность, как приступ внезапного неутолимого зуда.— Разве я когда-нибудь ликовал, что живу?! Тянул лямку. Чудесную тайну бытия принимал, как ежедневную тарелку супа. Не жил, а жрал! Не мыслил, а смекал: как убить время? Где раздобыть бутылку, чтобы забыться? Что я знал? Знал, что у меня есть голова, ноги, руки, брюхо и — понятия не имел о душе! И сколько там таких, не подозревающих в себе «второго этажа», второго мира — духовного, главного, бессмертного. Сколько лет моему поколению вдалбливали, что никакой такой души нету, а есть только мозг, мясо, плоть со всеми ее изумительными функциями, пресвятая материя, которая — остановись сердце — незамедлительно превращается в гнусную тухлятину, не более того. А человеческая жизнь, будто бы, не что иное, как мыльный пузырь, радужная оболочка, внутри которой пустота. Лопнула оболочка, и ничего нет, а главное — ничего как бы и не было. Вот вы о смертном опыте обмолвились, дескать, после такого опыта разве можно жить? Да, господи, только после гибельных страданий и понимаешь, что к чему! Ни болезни, ни старость, ни родственные потери не дают столько разуму людскому, сколько этот очищающий опыт, опыт собственного ухода за горизонт бытия. Окунись я опять в жизненные треволнения, да разве ж я смог бы жить столь безнравственно, как прежде?

— И дня бы не продержались в новом качестве. Хотите пари? Потому что человек остается самим собой даже... в гробу! — уточнил Суржиков.

А у меня вырвалось:

— Душу бы заложил за возможность вернуться!

— Как же вы без души-то?.. С людьми собираетесь жить? На одном мясе, что ли?

— Не так выразился. Да и кто отпустит?

— Хотите, замолвлю за вас словечко?

— Пред кем это... замолвите?

— А там, на развилке... Есть же там кто-нибудь главный? Который распределяет? Попрошу... У меня — опыт с официальными людьми общий язык находить. Исключение сделают. Ведь поставили ж меня к стенке. Что ни говори, а — исключительная мера. Не всякому выпадает. Взгляните, господа, на этого чистюлю в пенсне, он все еще моет руки под дождем. Он думает, что они у него в чужой, посторонней крови, тогда как это и его собственная кровь. Он себе кожу протер, смыл ее на ладонях до мяса. А того дилетант не знает, что чужой крови нет. Есть кровь человеческая, общелюдская. Сосуды-то сообщаются.

В момент, когда мы прилежно и совершенно бессмысленно обходили стороной дождь, невдалеке от себя увидел я человека, на которого указывал нам Суржиков. Бритая голова на «чистюле» металлически блестела, мягкий, сдобный нос цепко перехватывался зажимом пенсне; под их стеклами угадывались глаза, наглухо зашторенные дряблыми, коричневого отлива веками.

Под носом, словно запачкано: черным пятном зияли деловые, бюрократические усики — резкие и на лице как бы необязательные, случайные. Одет он был в темно-синий суконный френч с накладными карманами, ниже — той же расцветки диагоналевые галифе. И — сияющего хрома сапоги с высокими голенищами.

Наконец чистюля вышел из-под дождя, достал из кармана галифе несвежий, мятый платок и принялся тщательно вытирать сочащиеся кровью ладони. И тут, рассекая неповоротливую, местами завихряющуюся, тягучую толпу, словно литой чугунный утюг, разглаживающий кружева, мерным шагом прошествовала шеренга ложных слепцов. В отличие от слепцов настоящих, которые на ходьбе держатся прямо, обратив лица вперед и чуточку ввысь, имитаторы тащились, понурив головы и наверняка подсматривая за дорогой в черные щели потрескавшихся, словно обуглившихся, век.

Один из этой колонны понуро марширующих представителей тьмы привлек наше внимание тем, что как-то уж очень был похож на чистюлю, ну просто — двойник. Мы даже глазам своим не поверили: такое устрашающее сходство! Но, приглядевшись, уловили и некоторую разницу между ними. Так на голове марширующего имелось немного коротко остриженных волос, тогда как у нашего шизика голова была совершенно голая. Зато уж пенсне, усики, цвет лица, понурость, френч, галифе — все у них было общее, словно взятое на прокат в одной и той же конторе. Разве что френч у человека из колонны был посветлее, серо-зеленого сукна и руки он периодически не о платок вытирал, а прямо о штаны, а то и о спины впереди идущих собратьев.

6

Перебелив на пишущей машинке очередную тетрадь с записками Мценского, я почему-то приуныл, моих намерений коснулось разочарование; я впервые почувствовал, что испытываю к методу доктора Чичко холодок настороженности: никаких бесхитростных «записок пациента» не было в помине. Вместо них подавалось самодеятельное сочинительство. Викентий Мценский, оказывается, грешил писаниной, производил впечатление. Уж — не графоман ли очередной?

Поразмыслив, я успокоился. Пациент сочиняет. Фантазирует. А что здесь такого? Пусть воображает. Вот, если бы он, пациент, то есть человек с надломленной психикой, заговорил неожиданно трезво, расчетливо, описал какой-либо производственный процесс или конфликт — тогда и впрямь было бы чему удивляться. И наоборот: сколько раз, с трудом осилив, а то и не дочитав до половины книгу того или иного автора, говорили мы: бред сумасшедшего!

Нет, я все-таки с большим удовлетворением и с каким-то даже несвойственным мне восторгом присоединяю к запискам Мценского свои размышления об этом человеке. Лично меня в его записках прежде всего поразило и увлекло намерение вернуться в жизнь другим человеком, существом, обнаружившим у себя душу, заслышавшим музыку вечного бытия. Наблюдать за таким возвращением не только интересно, но и поучительно. Что я и делаю.

Тот первый послебольничный день Мценского оказался невероятно длинным, вместительным. Случаются в череде дней такие вот многозначительные, объемистые дни. И не дни, а как бы карликовые эпохи, своеобразные концентраты времени, сгустки всевозможных событий, состояний, информации, ощущений и прочих впечатлений.

Неординарность дня сказывалась для Мценского буквально с первых лучей солнца, проникшего в больничную палату. Под действием этих лучей Викентий Валентинович открыл глаза и увидел пламенные язычки тюльпанов, склонившиеся к его лицу с тумбочки: кто-то принес букет, поместив его в бутылку из-под кефира.

Поначалу цветы обрадовали, потом — испугали: а вдруг — не ему. Когда

выяснилось, что ему, озадачили: кто принес, почему. Не подвох ли, не безжалостная ли насмешка? Никогда в жизни цветов ему не дарили. Не бывало такого случая.

И здесь я позволю себе отклониться от изложения событий, чтобы внести некоторую ясность в «скрытный» характер заболевания Мценского: известно, что психике, отравленной алкоголем, чаще всего сопутствует так называемый бред ревности. Крупицы (или оттенки) этого бреда коснулись, конечно же, и Викентия Валентиновича. Однако не они окрашивали картину. В глаза бросалась... непомерная бытовая мнительность Мценского. Еще не мания преследования, но уже и не просто подозрительность. И вдруг — эти цветы...

На вопрос Мценского: «Кто передал?» медсестра, сдававшая ночное дежурство, нехотя улыбнулась:

— Прорвался тут один... Молодой симпатичный. В первом часу ночи. Хотела уже в милицию звонить, потом вижу: трезвый солдатик. И военный орден на груди, красная такая звездочка. Неужто, соображаю, зазноба у него тут лечится? А молодой человек вас назвал. И все отворачивается от меня. Стеснительный еще. Передайте, говорит, эти цветы Викентию Валентиновичу Мценскому. Ну... я их и водрузила.

— Вот что... Возьмите их себе. В знак благодарности. Я нынче выписываюсь.

Так вот и начался этот день. С цветов и робких улыбок. С мучительных размышлений: кому понадобилось шутить над ним столь необычным способом — при помощи цветов?

Потом — комиссия, выписка, напутственное слово доктора Чичко. Геннадий Авдеевич перед тем, как распрощаться с пациентом, залучил его в свой кабинет, усадил на белую табуретку.

Обстановочка в кабинете казенная, жалкая. Маленький, какой-то несерьезный, ученический стол, покрытый обыкновенной простыней, клейменной больничными штемпелями, белый лежак с облупившейся местами краской и, словно уголок с отслужившими свое игрушками, закуток с молчащей, беспомощной аппаратурой. Было что-то детски наивное как в облике кабинета, так и в облике его хозяина, в слезящихся от постоянной бессонницы и многотрудного чтения глазах доктора, в мягких формах его округлого, «не демонического» лица, в добродушной, исполненной осознанного покоя улыбке, постоянно сквозящей на подвижных, хотя и тяжелых, работящих губах, «старавшихся» во время разговора изо всех сил.

— Присаживайтесь, Викентий Валентинович. Чаю хотите? Видите, я тоже волнуюсь. Сейчас вы уйдете... туда. А я... останусь. Здесь. Поздравляю.

— Спасибо. Если не шутите.

— Я прочел ваши записи. Хотите откровенно? Так вот... постарайтесь об этом не забывать.

— О чем?

— О пережитом. Любой другой врач на моем месте посоветовал бы вам обратное, то есть — забыть, отрешиться, вычеркнуть из памяти, поскорее начать новую жизнь. А я говорю: не забывайте! Ибо это и есть — ваша новая жизнь. Нет, я не о видениях, которые промелькнули в вашем мозгу, я — о впечатлениях и последствиях. Пить вы больше не будете. И знаете, почему? Потому, что вы... интересный человек. Потому что ваш интеллект, побывав на краю пропасти, не только устоял, но и как бы переродился. Предгибельное состояние вашего мозга, как это ни парадоксально, послужило психологическим трамплином, и вы как бы перепрыгнули за грань, а, перемахнув, обрели веру. Разве я ошибаюсь? Я ведь... заодно с вами страдал.

— Спасибо, Геннадий Авдеевич. Вы не можете ошибиться. Потому что вы добрый.

— Добрый? Иванушка-дурачок тоже добрый. Кстати о «записках». Они весьма забавны. В них есть определенный смысл. Но они, конечно же — литературны. То есть — подверглись «дальнейшей обработке». Их первичность заслонена... Но я в них проник. У меня — опыт. Ваша тревога мне близка. Любовь к жизни и одновременно — неприятие ее образа, форм, сложившейся модели. Поиск истины. Пусть — запредельной. Хорошая тревога.

Хотя, повторюсь, слишком уж красиво у вас... Шествие одержимых. Конечно, не Америку открыли, зато уж сказано без запинки. Внятно сказано. А знаете, почему ваша женщина в толпе одержимых выглядит этакой... розовой вороной?

— Приукрасил, да?

— Тоска по идеалу, оправданная тоска. Должно быть, так смотрится в толпе... истинная женщина. Подлинная. Которая незаметно любила, рожала, пестовала, хранила очаг без претензий, а главное — не сомневалась в своей миссии. Была собой. Вот подвиг. Потому и смотрится, как святая мадонна. Одержимость и крест, страсть и доля. Чуете разницу?

— Пытаюсь.

— Вот и я пытаюсь, да не всегда успеваю.

Геннадий Авдеевич выбрался из-за столика. Мценский тотчас поднялся с табуретки, глаза их встретились. Прощаясь, они обнялись — грубо, одышливо, по-мужицки коряво. Из-под халата, возле уставшей, морщинистой шеи Геннадия Авдеевича вынырнул пестрый треугольничек морской тельняшки, и Мценский вспомнил больничные пересуды «интеллигентных» пьянчужек, что, дескать, какой из Чичко психолог и ученый муж, если он тельняшку таскает, «зво́нит» вместо «звони́т» произносит и вообще простоват. Матросня, одним словом. А что тут такого? С военных лет у мужика привычка на тельняшку. Он там и раненый был неоднократно, в тельняшке этой. И шрамы носит. Их тоже не снимешь. Это все его, кровное, личное. Не привычка — философия.

— Ну, тогда... с богом! — Геннадий Авдеевич подтолкнул его.

Мы уже знаем, что было потом, за воротами заведения, где Мценский какое-то время слонялся по Васильевскому острову, с наслаждением рассекал летний воздух, пропитываясь новизной времени, от которого он, лежа в больничке, безнадежно отстал. Сладострастно разворачивал свежие газеты, читал, не веря своим глазам, о переменах в стране, с недоверием посматривал на проходящие трамваи, автобусы и троллейбусы, обнаруживая на них прежние номера маршрутов (уцелели, однако!) и почему-то радовался этому обстоятельству; разглядывал постовых милиционеров и, не найдя в их экипировке ничего нового, неопределенно потирал руки.

В Соловьевском садике встретил Володю Чугунного, и эта встреча малость охладила Мценского, умерила его захлеб происходившей в стране новизной; враз потянуло откуда-то мерзостью былого прозябания, многое из временно призабытого безжалостно высветилось в памяти. И неспроста ему показалось тогда в садике, что Чугунный умер, издох, захлебнулся своим снадобьем духмяным. Память Мценского сопротивлялась. Она воскрешала мертвецов, пыталась вернуть Викентию Валентиновичу его прежнее, подзаборное имячко — Кент.

Чтобы забыть, необходимо вспомнить. И прежде всего... семью, то утро, пять часов утра.

Мценский возвращался домой, как всегда, обессиленный, задыхаясь от очередного навалившегося похмелья, словно пары алкоголя, покидая его тело, прихватили с собой и всю кровь из разлохмаченных сосудов организма. Мценского никогда не интересовало, где и с кем он пил? В тот вечер очнулся он в теплом, пропахшем кошками подвале, и это была милость судьбы, ибо всё чаще выходы из штопора завершались у Мценского на голой земле, точнее — на голом асфальте, под открытым небом. Свой дом, стандартную окраинную девятиэтажку находил он без помощи зрения и, похоже, вообще без помощи головного мозга, каким-то рыбьим, хордовым чутьем, с каким угри или красномясая кета возвращаются к родимому ручью из тысячемильного плавания.

Поднявшись к своему этажу на лифте, Мценский долго не выходил из кабины лифта, трезвел, нагнетая в кровеносные сосуды страх, кошмарные предположения и никому не нужное раскаяние. Предстояло совершить каждодневный подвиг: нажать кнопку звонка своей квартиры, а затем обнаружить, что бог милостив: семья его цела. И тут на площадке, возле мусоропровода он увидел... их. Жену и сына. Спящих сидя, в обнимку на бачке с пищевыми отходами.

Отупевший рассудок полоснула догадка: он, пожалуй, унес с собой ключ, и вот им не попасть в квартиру! Такого еще не бывало... Пальцы рук лихорадочно шарили по карманам пальто, пока среди грязных платков, ломаных спичек, баллончиков с валидолом и прочего хлама не наткнулись на проклятый ключ. Сколько раз порывался он заказать в мастерской дубликат, но так и не заказал.

Отомкнув замок и распахнув дверь в квартиру, Мценский позвал жену. И тут Антонина закричала. Истошно и жалобно. Загремел бачок. Заплакал сын. Ему тогда было девять лет. Мценский прошел к своему дивану, лег ничком, сунув голову под подушку и впервые, как о благе, подумал о сумасшествии. Вот бы... Свезут опять в больницу, изолируют от всех «здоровеньких», предоставят государству заботиться о нем. И тогда он больше не станет никого мучить, никого, кроме абстрактного государства.

Школа, где Викентий Валентинович пять часов в неделю «читал» историю и где его из последних сил всё еще терпели (с директором школы когда-то вместе учились на истфаке), располагалась ближе к центру города, добираться до нее приходилось на метро.

В то утро, лежа на диване в смрадной бессоннице (изо рта, из всей его отравленной утробы несло, как из канализации), Мценский совсем было решил не идти на работу, но за дверью, в комнате жены, всхлипнул перед тем, как тихо заплакать, сынишка, которого мать собирала в школу, и Мценский заставил себя подняться с дивана. Он вспомнил, что виноват перед домашними сверх обычного (дурацкий ключ!), сообразил, что сегодня ему необходимо, пусть из последних сил, но показать себя мужчиной, что на работу он пойдет непременно. На всякий случай отработанным жестом сунул руку за диван, в узкое пространство между лежаком и стеной, пошарил голодными пальцами в пыльной щели. Горлышко бутылки поймал цепко, словно рыбину, срывающуюся с крючка. Однако чуткая рука еще до того, как извлечь бутылку на свет, по весу догадалась, что тара опорожнена... Разочарование прожгло Мценского до глубины желудка. И тут, как маленькая милость, пришла мысль о том, что сегодня, в понедельник, ему — ко второму уроку, а, значит, по дороге в школу, где-нибудь возле Московских ворот можно будет хватануть пивка и недолго посидеть на лавочке в прибольничном сквере, медленно приходя в себя.

Собрав остатки воли, с величайшим напряжением всего организма Викентий Валентинович побрился. Долго и безжалостно мял под краном в шипящей струе опухшее лицо. Оделся в чистое. Синяя рубашка, серо-синий галстук, модный пиджак с блестящими пуговицами — подарок жены на его, Мценского, прошлогоднее сорокалетие. Викентий Валентинович дорожил этим пиджаком, «употреблял» его только на школьные часы. Порой ему казалось, что и в школе-то его терпят исключительно из-за отменного пиджака. А уж то, что милиция в метро от турникета не отшвыривает, щадит — и сомневаться не приходится — заслуга темно-синего блейзера. И его блестящих пуговиц.

Миновав на входе в метро контроль, Мценский ринулся вниз, держась левой безлюдной стороны эскалатора. Недвижно стоять на ступеньке было невыносимо тяжко: в голове тогда закипало раздражение, гнев, подозрительность; из-под волос на лицо устремлялся пот, заливал глаза; казалось, что все взоры впились именно в него, и всем он доступен, как какой-нибудь... граненый стакан с крыши поильного автомата.

Где-то насередине спуска Мценский понял, что его понесло, что остановиться ему уже невозможно, ноги частили неукротимой чечеткой; еще миг и он свернет себе шею. Люди, стоявшие на лестнице справа, спиной к его падению, словно почуяв неладное, враз обернулись, дружно отхлынули, освобождая путь, и Мценский кубарем пронесся мимо них до самого дна спуска, где и растянулся на каменном полу. Пока он рушился, многие женщины визжали и ахали.

Очнулся Викентий Валентинович на мраморной лавочке, под землей. В нос ему совали ватку, в рот — мензурку с сердечными каплями. Дежурная в красной шапочке делала «ветерок», размахивая над его головой круглой лопаточкой сигнальпого жезла. Мценского жалели. Ему даже расслабили галстук на шее. А значит, никто покамест не догадался об истинной причине его полета и падения.

Надо сказать, что люди возле пострадавшего не задерживались: посмотрят, посокрушаются, посоветуют что-либо и бегут в вагон или к подъемнику. И только один пожилой мужчина проявил более длительное любопытство, и даже не любопытство — усердие. Это он послал дежурную за аптечкой, он расслабил на шее Мценского петлю галстука, он подложил под голову пострадавшего папку, принадлежавшую Викентию Валентиновичу и содержавшую в себе учительский реквизит: планы, карты, учебник, «методичку» и прочую «бумагу». Это его, участливого гражданина, мясистое, мягкое, так называемое «простое» лицо увидел Мценский прежде прочих лиц — прямо перед собой, когда очнулся на лавочке; лицо и пестренький, еще более простящий это лицо треугольник тельняшки, сквозящей в створках белой рубахи. Крупные серые, постоянно как бы изумленные глаза незнакомца смотрели сочувственно и в то же время — заинтересованно, изучающе. Именно эта чрезмерная любознательность, изучаемость взгляда незнакомца и насторожила Мценского в первую очередь.

Истерически внимательный к происходящему с ним, крайне подозрительный и обидчивый Викентий Валентинович принял незнакомца за пенсионера-общественника, почти дружинника и попытался не дышать на него застарелым перегаром.

— Голова закружилась...— начал оправдываться Мценский, принимая сидячее положение.— Я сейчас... Мне ко второму уроку.

— Вы что же... преподаете? — не терял заинтересованности «дружинник».

— А что?! Не похож я на профессора? — облизнул Мценский сухим языком сухие мелкие губы, как бы усохшие от непомерной жажды.

— Вам нужно на воздух, товарищ,— не посоветовал, но как бы принял решение тип в тельняшке.

— Мне... нужно... на работу, черт возьми! — с трудом вытолкнул из себя Мценский слова, давясь гневом и алкогольной одышкой.

— Вот я и помогу вам,— ровным, удивительно спокойным, деловым, массирующим слух голосом сообщил Мценскому доброхот, и, странное дело, Викентий Валентинович смирился, доверясь «морячку». Напряжение в нервишках сникло, истерическая судорога в голосе отпустила, недоверие улетучилось.

— Да зачем же... Да мне уже лучше! И вообще, с кем не бывает, а? — Мценский попытался улыбнуться, и ему вдруг показалось, что, разговаривая, он шелестит языком, как бумагой, такая сушь во рту. И это мерзкое ощущение, будто на языке у тебя... растут волосы. Видел же он в свое время, когда лечился в Бехтеревке, а может, в Лебедевке, как один клиент водил по языку расческой, причесывая говорильный инструмент.

Коротко поблагодарив незнакомца, Мценский направился к нужной ему платформе, намереваясь все-таки ехать на службу. Он знал: самое страшное сейчас — это суметь подойти к краю платформы и устоять на ней, не свалиться на контактные рельсы, по которым течет густое электричество, до времени холодное, незримое и такое убийственное.

С бодрым подвыванием и металлическим лязгом вынесся из туннеля голубой тупорылый вагон поезда, из-под ног Мценского плавно и совершенно безжалостно стал уходить пол, и, чтобы не скользнуть под колеса, Викентий Валентинович панически отпрянул от черного рва, на дне которого поблескивала смерть.

Отпрянув, Мценский так и... упал в объятия человека в тельняшке, влип в него спиной. Полуобнявшись вошли они в вагон. Мценский сразу же опустился на свободное место. На следующей станции в вагон вошла шустрая старушка и, кряхтя, остановилась перед учителем истории. Пришлось подниматься, уступать.

До места работы Мценский в это утро так и не добрался. На станции «Московские ворота» ринулся он в открывшиеся двери вагона, мысленно про-

клиная старуху, а заодно и весь мир, в том числе школу, желая одного: поскорее выскочить из «преисподней» наружу, дернуть где-нибудь пивка и сесть, а то и просто упасть на лавочку в садике возле больницы Коняшина.

На лавочке Мценский погрузился в полубредовое «томление духа».

Стояла середина сентября. Было еще достаточно тепло. Дни нарождались синими, прозрачными; к обеду солнце все чаще натыкалось на небольшие, ярко-белые облака; к вечеру облака объединялись, темнели, и тогда из них начинал идти мелкий кусачий дождь, неожиданно холодный, как бы пришедший из другого времени года, скажем — из будущего ноября. Широкий, размашистый Московский проспект не удерживал долго в своих берегах ядовитую синь выхлопных газов; здесь можно было дышать, а не задыхаться, как где-нибудь в центре города на Гороховой улице. К тому же скверик, приютивший Мценского, вдавался с одной стороны в зеленую зону прибольничья, с другой — на территорию бывшего Ново-Девичьего монастыря.

Рассказываю столь подробно, потому что с этого жизненного эпизода началось выздоровление Мценского, длившееся десять мучительных лет. Все эти годы Викентий Валентинович будет не просто болеть, он будет страдать, пытаемый недугом и одновременно терзаемый тягой к освобождению от него. Он многое потеряет, и прежде всего — время, которое может сделать человека умнее, богаче, счастливее, он потеряет семью, а значит, и любовь, утратит зубы, ясность зрения, в нем притупится восприятие красоты, померкнет восторг обладателя жизни. Но он уже не будет плыть по течению, не сможет покорно тонуть с закрытыми глазами. Он станет сопротивляться. Порой — неосознанно, подчиняясь чьей-то доброй воле, порой — осмысленно, беря свою немочь за горло рукой бойца. Именно с этого жизненного эпизода душевным усилиям Мценского было задано четкое направление. В сторону исцеления духа. И всего остального.

А пока что, сидя на лавочке с закрытыми глазами, чтобы не смотреть на происходящее, такое, в сравнении с ним, вечное, неиссякающее, Мценский с отвращением цедил сквозь себя прозрачный воздух отпущенного ему дня. Принятое пиво давало десятиминутный продых. И вот уже снова нещадно потела голова, высасывая влагу из внутренностей, сохло во рту, «тлело» в желудке, и Мценского все чаще подмывало... выплюнуть свой язык на панель, шершавый и безжизненный, будто отпавший от дерева лист. Сердце в грудной клетке ощущалось настолько явственно, что его хотелось зажать в руке и никому не отдавать. Левую руку пронизывали иголочки мерцающей боли. Но самое отвратительное — это накаты полуобморочного состояния, эти гнусные страхи за каждую секунду бытия, готового, казалось, вот-вот оборваться.

Особенно безобразно раскисал организм Мценского за время каникул. Три блаженных месяца, сулившие учителям покой и волю, лишали Мценского тормозов, и, случалось, первого сентября его многие не узнавали, а, узнав, справлялись: чем это он переболел? И некоторые сочувственно вздыхали, некоторые — понимающе хихикали. А все вместе — до глубины души возмущались, принюхиваясь к «историку», а тот, нажевавшись лаврового листа или мускатного ореха, а то и — откровенного чеснока, с ненавистью голодной собачонки, разучившейся лаять, посматривал на своих мучителей. Первые недели сентября были самыми тяжкими для Викентия Валентиновича. Потом обстоятельства как бы утрясались. Приходилось приноравливаться к требованиям школы. И нужно сказать, что подлинно пьяным никто Мценского на уроках ни разу не наблюдал, а всё как бы... постфактум, то есть — после вчерашнего. Когда и не знаешь, что такому человеку сказать, ибо — это его образ жизни, а не проступок.

В трубочку дышать, как это делается с водителями транспорта, в школе было не принято. Вот и мирились до поры.

Мценский открыл глаза и с отвращением посмотрел по сторонам. Нужно было идти в школу. Или — позвонить в учительскую из автомата, предупредить о невыходе.

С высоких, жадно растущих тополей и приземистых, аккуратно подстриженных лип помаленьку облетала листва. Из-за стены монастыря тянуло кладбищенской прелью и холодом. На двух ближайших скамейках все места были заняты старушками. На его, Мценского, скамью никто не садился. Похоже, когда он сидел с закрытыми глазами и отверстым ртом, старушки с ужасом обходили его лавочку стороной, наблюдая в нем вызревающего мертвяка, сидячую падаль.

«Напугать бы их еще больше, до смерти!» — зашевелилась где-то в печонках бессильная ярость отверженного, и тут на его скамью опустился человек с газетой в руке. Тот самый, в тельняшке. Мценский даже не удивился его приходу, потому что не успел как следует с ним расстаться, не зафиксировал в мозгу факта расставания, столь внезапно покинул он тогда вагон подземки. Да и... не было сил ни на что, в том числе — на возмущение.

— Послушайте...— с пергаментным треском распечатал Викентий Валентинович спаявшиеся губы.— Сделайте одолжение: позвоните на работу...— Мценский назвал номер телефона.— Скажите, что я... умираю. Или — умер уже. Что хотите, то и скажите. Чтобы не ждали зря... Скажете, Мценский просил передать, Викентий Валентинович. А номерок запишите, пожалуйста. Есть ручка?

Не остыв от безотчетного раздражения на старушек, Мценский с вызовом глянул в участливые, внимательные глаза «морячка», рассчитывая ушибиться об эти глаза, как это происходило с ним не однажды в общении со случайными собеседниками, ушибиться, чтобы нагрузить себя свежей болью; и поначалу даже разочаровался, наскочив на врачующую теплоту встречного взгляда, на мягкую податливость всего облика этого пожилого мужчины, которому наверняка было уже за пятьдесят.

Несуетливым, обстоятельным движением руки незнакомец извлек из-под плаща шариковую самописку и прямо на газете записал номер телефона. Затем, привстав, долго копошился в карманах. Наконец, что-то такое нашел.

— Вот, примите пока что, Викентий Валентинович.— На грубой, увесистой ладони «морячка» лежала белая таблетка и круглая прозрачная капсула с жидкостью, похожая на еще не сваренный рыбий глаз.

— Что это?! — отшатнулся от снадобья Мценский.— Мне сейчас комара без запива не проглотить, не только таблетку...

— А вы под язык... И сидите смирно. Пока я звонить хожу. Примите, примите. Это — снимает.

От принятых пилюль, одна из которых была обыкновенным, хотя и быстродействующим валидолом, самочувствие Викентия Валентиновича несколько стабилизировалось: оно не сделалось лучше, оно стало терпимее.

Глядя на возвращающегося от телефонной будки «морячка», Мценский подумал: «Странный какой-то мужик. На алкаша не похож: глаза внимательные, открытые, на щеках... спортивный румянец. Мылом за версту разит. Чистюля. Чего ему надо? Скорей всего — опер на пенсии. Скучно дома сидеть, вот и упражняется. Хотя опять же — с какой стати? Ведь не с ума же сошел?»

— Позвонили?

— Позвонил. Сказал, что у вас приступ стенокардии.

— Думаете, поверили?

— А вы разве притворяетесь? По-моему, вам действительно плохо.

— Мне уже лучше.

К их скамье приблизилась женщина с необычайно резвым мальчуганом дошкольного возраста, который с места в карьер начал визжать на каком-то игрушечном музыкальном инструменте.

Мценский и его новый знакомец, не сговариваясь, заспешили прочь. Теперь они шли в сторону монастырских стен, шурша опавшей листвой и перебрасываясь словами. С каждым шагом беседа их делалась все энергичнее. Со стороны могло показаться, что эти двое мужчин негромко, «вежливо» ссорились. Один из них, тот, что помоложе, как бы все время уходил прочь, а другой — догонял его.

— Скажите...— цедил Мценский сквозь зубы, упираясь подбородком себе в грудь и даже не пытаясь узнать, слышит ли его собеседник, и вообще — идет ли тот рядом. — Почему все-таки меня выбрали? Мы что... знакомы?

— Я хочу вам помочь.
— С какой стати, черт возьми?
— Потому что это моя профессия.
— Профессия... помогать? Надо же...
— Лечить. Вы мне подходите. Вы и ваш недуг.
— Стенокардия?
— Назовем это стенокардией.
— Надо же... Как говорят скептики: просто не верится.
— А вы никакой не скептик, Викентий Валентинович.
— Кто же я... по-вашему? — дрогнувшим голосом поинтересовался Мценский, не замедляя шагов, продолжая смотреть в землю.
— Вы — жертва. Жертва обстоятельств, ущемленного честолюбия, духовного одиночества, социального и нравственного мироустройства. Продолжать?
— Шикарный диагноз. Могу прослезиться. Вырос в собственных глазах на целый сантиметр. Однако... кто не жертва этих обстоятельств и устройств? Вы, что ли, не жертва? Нет, вы мне ответьте, почему прицепились?! Каких это особенных обстоятельств я — жертва?! Да вы... Да вы просто наивный чудак! Или... или — трепло! С похмелюги я, со страшенной! Вот мои обстоятельства. С глубочайшего, так сказать, бодуна! Отсюда и недуги...

За разговорами Мценский не заметил, как оба они очутились на кладбище, среди старинных, запущенных могил. В тени странных, совершенно непохожих друг на друга деревьев, поднявшихся прямо из людского праха, высаженных в свое время — каждое отдельно — по своему, особому поводу. Были тут дрянные, трухлявые тополя, вихрастые, молодящиеся клены, кривобокие рябины-инвалидки, внезапно стройные березы, дуплистые ясени, мрачные, бородавчатые дубы и даже настоящие плакучие ивы, но более всего — сирени, а так же бузины.

Мценский очнулся от дурмана раздражения на лекаря в тельняшке, стоя перед надгробьем из полированного черного камня, покрытого некогда позолоченной вязью надписи. Мценского почему-то заинтересовал именно камень, а не то, над чьим прахом его воздвигли. Осклизлым от похмельной бессонницы глазам лень было разбирать потухшие буковки.

«Мрамор не мрамор, гранит не гранит...»

— Могила Некрасова, поэта,— донесся до ушей Викентия Валентиновича голос медицинского «морячка».
— Какого Некрасова? Того самого, что ли? Классика?
— Того самого. «Однажды в студеную, зимнюю пору я из лесу вышел, был сильный мороз». Или: «Что ты жадно глядишь на дорогу в стороне от веселых подруг?»
— Н-не может быть...
— Как, то есть — не может быть? Все мы люди, все мы человеки, смертные то бишь.
— Я в том смысле, что и не предполагал. Мне казалось, что Некрасов где-нибудь в Лавре лежит. А он... надо же где!
— Вам простительно.
— Это почему же?! Что я, не человек? Как-никак — учитель...
— Приглядитесь, какое тут запустение. Впечатление такое, что это — забытые могилы, не так ли? А ведь это святые могилы. Формально они охраняются государством. А на деле — двумя-тремя старушками. Я сюда часто захаживаю. Снаружи — Московский проспект: лоск, блеск, скорость. А в двух шагах, за стеной... Попробуйте любого остановить и спросить: где, скажем, похоронен великий русский поэт Федор Иванович Тютчев? Все, что угодно назовут — и Лавру, и Литераторские мостки на Волковом кладбище, и Ваганьковское с Ново-Девичьим московским, и Овстуг Брянский, а то, что Тютчев здесь, рядышком...
— Ну, положим, не Тютчев, а всего лишь — могила Тютчева. Послушайте, вы что же, Тютчева читаете? В тельняшке своей? Извините...
— Ничего особенного. А вообще-то, читают... вывески. А Тютчева — в сердце носят. Со школьной скамьи. «Люблю грозу в начале мая!» Или — «Умом Россию не понять, аршином общим не измерить!» Это же — достояние народа, музыка этих слов. Вот памятники отечественной старины восстанавливаем, копошимся помаленьку. Хорошее дело. А разве могила великого поэта — не памятник старины, не священный знак?
— Послушайте... Давайте присядем где-нибудь. У меня ноги не идут.
— Вам не интересно про могилы? — оглянулся на Мценского «морячок», продолжая углубляться под своды деревьев в шуршащую палой листвой пещеру кладбища.
— Мне интересно,— кряхтел Викентий Валентинович, поспешая за лекарем.— Но мне еще и тошно, черт побери!
— Сейчас присядем. Вот могила поэта Апполона Майкова. Слыхали о таком?
— Слыхал.
— А вот могила Константина Случевского.
— Тоже поэт?
— Вполне. Сейчас о нем вспомнили опять. Переиздали. Цитируют.
— Тут что же — одни поэты лежат? А вы сами-то, небось, тоже того, стишками балуетесь?
— Не балуюсь. Меня на это кладбище один пациент привел. В свое время. Вот он — «баловался». И теперь даже мастак по этой части.
— И чем же он болел, этот ваш пациент? Небось, тоже стенокардия?
— Еще какая! Под забором валялся. Бутылки по урнам собирал. Жена от него ушла. Даже — две жены...
— И что же, вылечили?
— Помог. Поспособствовал. От этого недуга нельзя вылечить. Можно только... вылечиться. Самому. Ощутили разницу? Да, да: «Спасение утопающих — дело рук самих утопающих». Ильф с Петровым удачно изволили пошутить. Первая заповедь в нашем деле: захотеть. Страстно пожелать. А вот, кстати, могилка поэта Константина Фофанова, рядом с камнем художника Врубеля. Так вот Фофанов при жизни страдал хроническим алкоголизмом.
— Вы так смешно говорите: «при жизни страдал», как будто и после жизни можно чем-нибудь страдать. И потом — лично я стихов не пишу. Даже — прозы. Гонораров не получаю. Почему мной-то заинтересовались?
— Не знаю. Я видел, как вы летели вниз по эскалатору. И я подметил тогда: на ваших губах застыла виноватая улыбка. Как будто вы извинялись за неловкость.
— Какие тонкости.
— И мне показалось, что вы еще хотите жить. Я наблюдал: падали вы не мешком, не обреченно, а довольно-таки упруго, оптимистично, и, повторяю — с виноватой улыбкой на лице. Ни переломов, ни вывихов. Кровь — только из носу. Пара капель. Экономный вы на кровь. А все потому, что жить еще хотите. Знаете разницу между оптимистом и пессимистом? Пессимист считает, что умрет только он один; оптимист — что умрут и все остальные. Ну-ка, ответьте: самое дорогое в вашей жизни — что было? Не есть, а было? Это вам тест, контрольный вопрос. Только откровенно. И — мигом. Оглянитесь мысленно и назовите! Ну, что перед глазами?
— Самое дорогое? Лицо одной женщины, пожалуй...
— Кто она, эта женщина?
— Жена, Тоня. Только мы давно уже не любим друг друга. Так что это, скорей всего — запоздалая реакция. Остаточное явление, так сказать. Ностальгия по минувшему.
— Она жива, эта Тоня?
— Жива. Вчера еще... плакала из-за меня.
— Ну, тогда вы — счастливчик. Непременно выкарабкаетесь.

Мценский виновато улыбнулся, не менее виновато, чем, когда летел вниз головой по эскалатору.

— Да кто вы такой? — спросил он «морячка» устало и впервые — беззлобно, как спрашивают друг у друга закурить недавние соперники, примирившиеся с обстоятельствами.— Где вы работаете?
— С сегодняшнего дня — нигде. А вообще-то, я — врач-нарколог.

— Не рано ли на пенсию вышли? С вашим румянцем?..

— Дело не в пенсии. По мнению некоторых руководящих медицинских работников, я — шарлатан. Вот меня и... под зад коленкой. Из института.

— И чем же лечили? Небось, антабусом? То есть пугали смертельными муками? Это мы уже проходили.

— А я не лечил. Я — отговаривал.

— Удалось кого-нибудь... отговорить?

— Удалось.

— За что же — под зад коленкой? Деньги брали за излечение?

Сдобное лицо нарколога исказилось недоверчивой улыбкой.

— Вы что, серьезно? — с минуту «морячок» молчал, не зная, как ему поступить: уйти или остаться, обидеться или махнуть рукой? Поразмыслив, улыбнулся отчетливей. Затем ответил весьма определенно:

— Денег не брал. Ни разу. Ничего не брал.

Так Мценский познакомился с Геннадием Авдеевичем Чичко.

С тех пор для Мценского начались новые времена. Нет, пить в одночасье он тогда не бросил. Для такого жеста необходимо созреть. Здесь нужны убеждения, а не жесты. Или — смертельный страх. К несчастью, Мценский оказался не из трусливых. За один сеанс, даже на фоне кладбищенских декораций «отговорить» Викентия Валентиновича от «добровольного сумасшествия» не удалось. И все же Мценский тогда насторожился, краем уха прислушался, едва заметно вздрогнул — не селезенкой, не диафрагмой, не скудельным мешочком сердца — совестью или чем там еще вздрагивают люди, когда им впервые хочется отвернуться от себя?

И еще: Геннадий Авдеевич поманил в нем раба, пленника, узника — к реальной радости — свободе, приоткрыл ему щелочку, в которой сияла голубизна утраченной свежести желания жить.

Соблазн добром, может, не столь сладкий, влекущий, как соблазн злом, обещает уставшему, если и не любовь, то — покой, отдохновение.

Тогда же, на выходе из кладбищенских ворот Чичко показал ему две цветные фотографии: разрез печени простого смертного и разрез печени алкоголика. Мценский вначале ничего не понял, а когда вник — ужаснулся: такая беспощадная разница предстала его глазам. Ему вновь сделалось плохо, и Геннадий Авдеевич вторично давал ему успокоительного под язык. Расстались они почти друзьями, то есть — расположенными к дружбе, и до того, как подружиться окончательно — не виделись восемь лет. И неизвестно, что ярче запечатлелось тогда в мозгу Мценского — щелочка, в которой воссияла для него голубизна приоткрывшейся свободы, или же — фиолетовый разрез пораженной циррозом печени?

Оглядываясь теперь, из дня нынешнего, на все эти годы, прошедшие для Мценского под благословенным знаком встречи с Чичко, Викентий Валентинович не без грустной улыбки считал их проведенными как бы в преисподней, не выходя из «метро» житейских прозябаний: как тогда скатился кубарем по эскалатору, так только через восемь лет извлекли его оттуда, спящего (или мертвого?), доставив в клинику, где Геннадий Авдеевич работал уже заведующим наркологией. Работал успешно и, что характерно, трудился он там с благословения медицинских властей, ранее окрестивших его шарлатаном.

Геннадий Авдеевич, прощаясь тогда с Мценским возле кладбищенских ворот, оставил ему номер своего домашнего телефона, которым Викентий Валентинович так ни разу и не воспользовался, потому что где-то в ноябре, с первым слякотным снежком потерял на пустыре возле торгового центра папку со всеми бумагами, в том числе — учебником истории, на обложке которого был нацарапан номерок лекаря.

Позже, когда «зеленая тоска» особенно цепко брала Мценского за горло, не единожды вспоминал он участливого «морячка», воскрешал в памяти милосердные его слова: «Я хочу вам помочь», произнесенные лекарем столь буднично, а главное — бескорыстно, что поначалу Викентий Валентинович не придал им значения, и лишь с очередным погружением в тоску, повторял их, как

молитву, как заклинание, могущее если не исцелить, то — наобещать, посулить, обнадежить.

Не без влияния этих согревающих слов стал Мценский время от времени попадать в больницы в надежде не столько на излечение, сколько на возможность хоть что-нибудь разузнать о человеке по фамилии Чичко. А разузнав, отыскать к нему дорогу, чтобы доверить ему свою боль.

О Чичко говорили разное. О враче с такой фамилией среди уставших, желающих подлечиться алкашей, ходили слухи и даже легенды. Во всяком случае, имя это знали. И, что забавно, многие считали, что Чичко от пьянства не лечит, а... «заговаривает». («Пошепчет и — как рукой...») Не отсюда ли версия, услышанная Мценским от одного молодого врача-нарколога, сторонника «культурного» метода борьбы с пьянством, допускающего «этическое» употребление этила, так сказать — из хрустальных рюмочек с оттопыренным мизинчиком-с! Этот горе-психолог, ныне самостоятельно спившийся, упорно распространял о Чичко слухи, что — никакой-де это не врач, а знахарь, подменивший науку занимательными психологическими опытами, место которым разве что в цирке, и что кандидатскую знахарь защитил по кожно-венерическим болезням, однако там у него дело не пошло, и Чичко переметнулся в более хлебную и одновременно призрачную область лечения пьяниц, где можно заговаривать зубы, попутно делать себе имя, и что вообще... денег с пациентов не берет тоже небескорыстно — лишь бы прославиться.

Один пузан-пациент из «административно-сильных», насквозь проконьяченный, загубивший себе потроха, ссылаясь на авторитетное мнение, называл Чичко злостным диссидентом, распространяющим гнусные слухи о «спаивании русского народа», о дебильных малютках, имя-де которым легион, и еще о том, что Советская Россия сама, безо всякой атомной бомбы по пьяному делу... развалится. Не обошлось и без «достоверных сведений», в которых сообщалось, что «замечательный врач» Чичко — умер. Причем — давно.

Сам Викентий Валентинович при воспоминании о Чичко, прежде всего, видел перед собой уникальный по чистоте, открытый и милосердный взгляд голубых глаз врача, посуливших ему возле могилы Некрасова избавление от алкогольного рабства, заронивших в измаявшееся сердце надежду на реставрацию чувств и разума... Мценский не сомневался, что если чем и исцелял Чичко, так это именно — взглядом своих глаз, до краев налитых участием и состраданием.

Однажды, года через два после их встречи на Московском проспекте, Мценский, успевший побывать в больнице, а также поменять место работы, неожиданно просто, за каких-то пять копеек узнал в «Ленсправке» адрес и номер телефона Геннадия Авдеевича Чичко. Мценского буквально потрясло то, как просто, как элементарно достались ему драгоценные сведения. Мечта была столь взлелеянной, столь «золотой», что ему даже не хотелось верить в ее внезапное осуществление.

«Почему же я раньше не догадался?» — повторял он бесконечное число раз. Позвонив по обретенному номеру, Мценский узнал, что Геннадий Авдеевич сам лечится в больнице, что у него инфаркт и что слухи о его смерти не такие уж фантастические.

Самый сокрушительный в году запой подкрадывался к Мценскому как правило ближе к лету, с завершением учебного года. Викентий Валентинович предчувствовал этот мрачный катаклизм загодя, как японская рыбка предчувствует надвигающееся землетрясение. Он и о «морячке»-то вспомнил не бескорыстно: а вдруг и впрямь поможет знахарь? Предотвратит, отсоветует? А потом выясняется, что у спасателя — инфаркт. Мценский засобирался навестить «морячка», купил даже кулек апельсинов, и вдруг в последний момент чего-то испугался — то ли инфарктной беспомощности Чичко, его тогдашней врачебной бесполезности, то ли — своего отчаяния в связи с этим, во всяком случае, в больницу не пошел, передумал, да и в какую больницу идти — неизвестно: когда звонил — не выяснил, а звонить вторично постес-

нялся. Апельсины были проданы там же, где и куплены, только на другом конце очереди. Деньги, два рубля, истрачены на бутылку бормотухи.

И тут подвернулся один деятель по фамилии Упокоев.

Над Ленинградом шумели скоротечные майские дожди, пронизанные солнцем и запахом свежей зелени. Мценский тащился с последнего урока, набрякший предчувствием «катаклизма» и одновременно — печалью, вызванной всегдашним отсутствием денег. То было время, когда он еще делился «доходами» с семьей. На Невский проспект по дороге к дому Мценский выходил отнюдь не из желания насладиться красотами архитектуры, но исключительно из-за призрачной возможности «продлить удовольствие». На Невском, в его людской стремнине случались непредсказуемые встречи, сулившие желанное «продление».

Евгений Упокоев был городской знаменитостью в определенных кругах. А вот какого именно профиля, Мценский в точности не знал, но знаменитостью — явно незначительной и к тому же — пьющей: то ли актер, то ли поэт-песенник, но скорей всего — спортсмен. В городе с ним долго возились: воспитывали-перевоспитывали. Упокоев метался по асфальту на своих «Жигулях», невинно улыбался инспекторам ГАИ, но время от времени приходилось ему дышать в индикаторный приборчик, и тогда его ненадолго лишали водительских прав.

Мценский встречал этого юркого, переливчатого, скрипевшего престижной кожей хищника в одном из «демократичных» кафе на Невском проспекте, в дверях которого не было швейцара, и где можно было подслушать полуинтеллигентный трёп, сдобренный лабухским сленгом, а глазами натолкнуться на чью-либо полузнакомую улыбку. Здесь можно было примазаться к веселой компании и схлопотать глоток бормотухи на дармовщинку. Здесь многие знали друг друга в лицо и понятия не имели, что за этим лицом стоит, а то и — прячется?

Упокоев выскочил из «жигуленка», направился в кафе, у дверей которого в «мрачном раздумье» топтался «порожний» Викентий Валентинович, прижимавший к измученному организму учительский портфелишко.

— А я, собственно, к вам! — ухватила знаменитость Мценского за пуговицу блейзера, такого некстати нарядного.— Есть разговор...

— А вы не ошибаетесь? Я ли вам... нужен?

— Вы. Только не здесь, не в этом гадюшнике. К тому же, если не ошибаюсь, вы — на нуле? Выпить хотите? Как следует, в ресторане? Под красную рыбку и вежливое обхождение? Скажем, «Метрополь» сгодится?

— Не знаю, ч-чем обязан?

— У меня к вам предложение. И не бойтесь, я не шпион. Я — Упокоев! — произнес живчик свою фамилию и милостиво улыбнулся, ожидая аплодисментов.

— Очень приятно, только...

— Садитесь в машину. У меня хорошее предложение, тихое, даже благотворительное. Потом спасибо скажете.

В машине, по дороге к ресторану, Упокоев изложил просьбу.

— Хотите... подлечиться?

— То есть?!

— Поправить здоровье, черт возьми, не желаете? За казенный счет? Выведут из вашего помятого организма алкогольные осадки, введут витамины. А с моей стороны, помимо ресторана — приличные продуктовые передачи два раза в неделю: икра, цитрусовые, шоколад и прочие баночки с импортными компотами.

— Собственно, за что и почему?

— За красивые пуговицы на пиджаке. Мне, знаете ли, не нравится, как вы последнее время выглядите.

— Да, но ведь я... работаю. На носу экзамены.

— Когда в ваших классах кончаются занятия?

— Через неделю. Но ведь — экзамены...

— Уверен, что с экзаменов вас отпустят. Притом — с радостью. Узнают, что вы за ум взялись, и — благословят.

— Я в этой школе недавно.

— Считаете, что еще не принюхались? Плохо вы знаете своих коллег. Советская учительница — самая бдительная, по винной части. Потому как у любой из них — муж, брат, сын — потенциальный алкоголик. Мой совет: соглашайтесь, не раздумывая. На время экзаменов устрою вам бюллетень. На нервной почве.

— Видите ли, подлечиться я не против... Мне один врач сулил, приглашал меня один хороший человек... Может, слышали: Чичко Геннадий Авдеевич? Лечит внушением. Убеждает. Отговаривает как бы...

Упокоев тормознул, прижал «жигуленок» к поребрику, внимательно посмотрел в слезящиеся, опухшие глаза Мценского, с минуту пособображал.

— Он там консультирует, этот ваш Чичко. В больничке, куда я хочу вас поместить.

— Поместить?! — насторожился Викентий Валентинович.— А, собственно, по какому праву? Почему вы распоряжаетесь мной? В-вы, да ведь вы сами-то кто?! Зашибаете не хуже моего! От вас и сейчас кардамоном пахнет, небось, зажевали?

— Зажевал. Успокойтесь. Потому-то и обратился к вам, что самому тошно. Ищу поддержки. Сочувствия. Думаете, на меня не давят, чтобы, значит, лечился и все такое прочее? Еще как давят. Дома, на работе, даже — на улице. Только — не созрел я морально. Время не пришло. Обстоятельства не сложились. Вот и прошу, чтобы вы подлечились вместо меня.

— Вместо вас?!

— А что тут такого? Вам — реальная польза, мне — символическая. Вы хотите лечиться, я — нет, покамест. А напрягают обоих.

— И как же ж это, мать честная? По чужим, выходит, документам подбиваете лечиться? Уголовщина?

— Какая же это уголовщина? Где вы такую статью читали, чтобы за лечение от болезни, неважно от какой, сажали в тюрьму? Не все ли равно, кем вас в карточку больничную запишут — Упокоевым или еще кем-то? Не на секретный объект проникаете, а всего лишь в психушку. В наркологию. Где все равны. Как в бане. Направление получу я. И — вы. Только потом ваше направление уто́пите в сортире. А мое — предъя́вите. И еще: на отделении, когда будете лечиться, в основном помалкивайте. Или хмыкайте неопределенно. Это, если вами заинтересуется кто-нибудь из моих поклонников. Кстати, внешне вы чем-то даже напоминаете меня. Вы не находите? Вам сколько лет?

— Сорок будет... в октябре.

— М-мда. На пяток лет постарше меня идете. Хотя кому какое дело — как я выгляжу в больнице? От болезни румянцев не ждут. Разве что — туберкулезных. Короче — выпить хотите? Если нет — тогда привет! Поищу более смекалистого добровольца. Нет, вы только подумайте: чуваку предлагаешь отдохнуть, и не просто, а с комфортом! Бесплатная медицинская помощь, плюс — угощение в лучшем ресторане города. А чувак кочевряжится.

— И что же, Чичко Геннадий Авдеевич действительно там консультирует?

— Еще как консультирует! И не только этот ваш Чичко, но и — с мировым именем специалисты стараются.

И Мценский согласился.

Не просто уставший — истерзанный, изможденный, измученный — он так и плюхнулся в подвернувшуюся возможность отдохнуть от себя, всегдашнего, жалкого. А и то, представьте себе человека, который не просто валится с ног, человека, прошедшего пешком от Камчатки до Невы, и вот ему предлагают... стул. Как тут не плюхнуться? Месяц гарантированного существования: горячая пища, витамины, чистое белье, туалет, успокоительные пилюли. А главное — месяц без болезни, без собаки, которая днем и ночью хватает тебя за пятки, а то и — повыше: за сердце. Месяц без хронического кашля и то — наслаждение. А тут...

Конечно, мозг, память, воображение, вообще интеллект — еще сопротивляются: как же, опять в психушку укладывают! А ноги, печенка, ки-

шечник, вся требуха да и вся разлохмаченная, рваненькая сеть нервишек — согласны! Более того — жаждут расслабиться, прикорнуть, «перекурить», набраться трезвых силенок, вынырнуть из мутной глубины запоя, чтобы глотнуть прокарболенного воздуха, а затем, устояв на ногах, оглянуться вокруг и, если посчастливится, вновь увидеть над городом солнце или, чем черт не шутит — Геннадия Авдеевича Чичко.

И Мценский согласился. «Полежать». В третий раз.

В клинике, на отделении ему, как и положено, сразу же воткнули толстую иглу — прямо в тощую мякоть левой ляжки, и стали нагнетать в организм зеленоватый физраствор, и вновь Мценскому показалось, что мясная плоть его ноги начинает отслаиваться от костяка, а на сожженном политурой языке и нёбе рта — шевельнулись, закурчавились волосы. Потом — еще укол, так называемый — горячий, в вену, от которого впечатление, будто изо рта, как из банной каменки, повалил жар, зной. Словом, в который уже раз началось очищение «механизма», якобы предваряющее очищение духа.

Надежды Мценского на отыскание в лечебном лабиринте участливого медицинского «морячка» по фамилии Чичко — не оправдались. Вместо него подвернулся смекалистый экс-осветитель Володя Чугунов, личность бойкая, внимательная, хищная и, что замечательно, умудряющаяся выпивать даже там, где от этой дьявольской привычки пытаются лечить, то есть — на отделении. Глядя на Мценского, Чугунный сразу же сообразил, что перед ним никакой не знаменитый Упокоев, а некто совершенно другой. И сходу принялся шантажировать Мценского, грозя тому разоблачением. Это именно он, Чугунный, подбил тогда Викентия Валентиновича на «клиническое» преступление, после которого Мценский был вышвырнут из лечебницы недолечившимся.

А лечили тогда рефлекторным методом, действуя на страх и на отвращение пациента, при помощи антабуса и апоморфина. Не в душу заглядывали, а в... железы внутренней секреции. Не на сознание давили — на отдельные участки «мозгового вещества».

Очищенного от не столь давних возлияний пациента пичкали тем или иным препаратом, а затем подносили ему «стопаря», то есть определенное количество спиртного, кому тридцать, кому пятьдесят, а кому и все сто граммов — в соответствии с «комплекцией» испытуемого. В крови потчеваемого происходила незамедлительная реакция, больной начинал или нещадно «травить», или натуральным образом помирать — на глазах неизумленной публики, то есть — медперсонала. Происходило сие действо коллективно, сразу над несколькими алкашами. Палату, в которой все это совершалось, веселые пациенты прозвали «палатой космонавтов». Возле каждой койки — табуретка, на которой — стопка с горячительным, долька апельсина или яблока на закусь. Тут же — сестры с кислородными подушками и шприцами, суднами, призванные вызволять алкашей из лап клинической смерти.

Водочку для подобных процедур принято было взимать с самих утопающих, то бишь клиентов (ее приносили на отделение жены, матери, сестры страдальцев). Вот эту-то водочку «экспериментальную», хранящуюся в одном из холодильников на отделении, и принудил, заставил Мценского выкрасть Володя Чугунный. А вместо водки по бутылкам была разлита ладожская водичка, от которой, как ни странно, во время очередного сеанса некоторые из «космонавтов» исправно блевали и, не менее исправно, теряли сознание.

Короче говоря, Викентию Валентиновичу Мценскому было что вспомнить (или — забыть!), натолкнувшись в Соловьевском садике на опухшую физиономию Володи Чугунного, физиономию столь неожиданно, хотя и неизбежно превратившуюся в смертную маску.

Возвращаясь к себе на Петроградскую после встречи с Чугунным (всего вероятнее — последней их встречи), Викентий Валентинович почему-то застеснялся ехать в общественном транспорте (проклятая мнительность!), застеснялся идти по достаточно людным и светлым линиям Васильевского острова и, как одичавший, помоечный кот, шмыгнул в удивительно узкую, какую-то не по-ленинградски тесную, жутко захламленную, мощенную дореволюционным булыжником улочку, носящую имя великого художника Ильи Репина. Да и какая там улочка — переулок, скважина, щель, но... до чего прелестна! Потому что — уникальна. До чего петербургская вся — от сырых, затхлых запахов до серых облупившихся стен городского ущелья. И до чего знакомо все, родимо... Ведь он, Мценский, наверняка бывал тут неоднократно и прежде. Вот только — по какому поводу? Наверняка в этой теснине жил кто-то из «своих», из употребляющих, какой-нибудь ханурик вроде Чугунного. И вдруг ощутил: женщина жила! Непонятное волнение возникло и даже как бы пронизало. А это, чаще всего, от присутствия женщины происходит. От ее возникновения на улице, в комнате или в памяти... Инга! Инга Фортунатова, профессорская дочь, порочная студенточка, а чуть позже — отвергнутая всеми вековуха, мрачно и сипло поющая под гитару блатные песенки...

Как-то она? Жива ли еще? Мценский закрыл глаза и так, положась на интуицию, словно проснувшись глубокой ночью в малознакомой квартире, начал искать нужную ему дверь. И, представьте, нашел.

В свое время дверь была обита солидным кожзаменителем, под которым мягким слоем лежал не то войлок, не то — конский волос. Сейчас дверь эта напоминала Мценскому чучело старого экзотического животного, безжалостно продырявленное, лохматое и до сих пор небезопасное, ибо в его волосатых недрах наверняка водились какие-нибудь твари, какие-нибудь маленькие хищники, скажем, блохи или мыши.

Возле двери Мценский как следует принюхался и открыл глаза: а ведь дверь-то и впрямь знакомая.

В некогда «шикарной» профессорской квартире давно уже была размещена коммуналка. На звонок открыла дерзкая, бесстрашная бабушка, во рту которой дымилась «беломорина».

— И каво тебе, бобик?

— И-инга Фортунатова, простите, пожалуйста, все еще здесь проживает?

— Инга твоя, кормилец, в сумасшедшем доме таперь проживает.

7

Чем ближе к развилке, тем ощутимее состояние всеобщей сосредоточенности. Толпа как бы повзрослела, посерьезнела. И пронизала ее не тревожная конвульсия, не судорога паники, но — плавное разлитие зрелой задумчивости. Причем наблюдались эти перемены у всех трех нравственных категорий шествия. Подобный, массовых свойств, психологический нюанс запечатлелся в моей памяти с предельной отчетливостью.

На приближение развилки, то есть некоего предстоящего распутья, после которого продвижение примет более определенный характер, указывало постепенное загустевание толпы; ее как бы с некоторых пор чем-то настойчиво заподпирало; какой-то неизбежной преградой. Вряд ли это была искусственная плотина, скорей всего — элементарное сужение горловины потока.

И вот что замечательно: мое предчувствие непреодолимых препятствий в скором времени подтвердилось, на краю доселе бескрайнего горизонта начали вырисовываться контуры далеких гор. На порожней плоскости окоема, на всех пределах видимости, на их немерянной глубине и голубизне постепенно вызревали как бы клубящиеся каменные облака, увенчанные вершинами и прорезанные ущельями.

Не оттого ли, что в эти горные цепи, в эти бесстрастные, неосмысленно изваянные структуры упиралась дорога, не вследствие ли этого в потоке идущих людей и происходило едва заметное уплотнение сил? Телесных, а также душевных? И не отсюда ли, не от возвышенности ли препятствий — не просто загустевание, но как бы — сосредоточенность? Концентрация постразумных возможностей? Ибо дураку понятно, не просто развилка впереди, но — последнее испытание. И не на исключительность интеллекта проверка, а всего лишь на его прочность, дабы выяснить, насколько окислилась в прежней, житейской атмосфере та или иная мыслящая конструкция?

Трудно передать характер моих тогдашних ощущений языком заурядного преподавателя истории. Но, как говорится, не боги горшки обжигают, взялся за гуж — тяни.

Помимо загустевания и всеобщей сосредоточенности сделались явственнее и краски, сопутствующие шествию, а в самом движении наметилось нечто торжественное, под стать высокой музыке тех именно гениев гармонии, что посвящали свои творения Богу или — мечте о Нем.

Сама же твердь дороги, как и прежде, была лишена каких-либо примет: голый, откровенный монолит, теперь даже без мелких трещин, весь будто стеклянный, литой, и люди на нем, как лилипуты на ладони Гулливера — любой трепетный мирок высвечен и обрисован с невероятной конкретностью, с нечеловеческим тщанием и ясностью.

По обочинам дороги, отстоящим одна от другой, словно два берега пролива, отделяющего материк жизни от материка смерти — расстояние, крайне неопределенное, призрачное, ибо взору доступен всего лишь один из берегов (другой — за спинами толпы), так вот берега эти, прежде несшие на себе податливые, теплокровные деревья и зловонный мох, сочащийся песком, сейчас, с приближением к развилке превратились в сплошной затхлый фиолетовый сон, а точнее — покрыты были низкорослым, синюшного отлива испарением, стоячим и безмолвным, слегка отдающим аммиаком.

Что это? Предзнаменования грядущей пустыни вселенского масштаба или плавный переход к возникновению новых форм и сюжетов? От предмета к абстракции и от абстракции к фантазии? Во всяком случае, согласно земной логике, всякая потеря обещала обретение.

Где, где вы, былые обочины моей жизни, на которых постоянно что-нибудь возникало: обглоданные зайцами кусточки, обсопливленные улитками листья травы, в глубине которой скулили на своих одесских скрипочках вечерние кузнечики-цикады; где, где, живущие на корточках, истуканистые лягушки, где черви, мошки, полиэтиленовые мешочки и баночки, и прочие «запчасти» цивилизованного мира; где милые сердцу пташки, напористо и жизнерадостно выстреливающие из себя результаты пищеварения? Нету их, прежних обочин. Изжили себя. Анохронизм. Все, все теперь в едином порыве, в едином потоке — птицы, звери, черви, божии коровки, жабы и крабы, все они движутся отныне сообща, как бы слившись в сплошной, глобального назначения организм. И вот оно чудо: никто в этом порыве, в этом потоке не мешал друг другу осваивать путь. Случалось, чья-нибудь масштабная, тяжкая конечность наступала на менее значительное существо, однако ничего убийственного не происходило, так как все, мало-мальски убийственное, произошло прежде.

И все-таки ярче прочего запечатлелась в моей памяти вышеупомянутая торжественность шествия, особенно — в его завершающей стадии. Нельзя сказать, чтобы люди прочие твари как-то, сверх отпущенного им природой, подтянулись, приосанились, напустили на себя излишнего достоинства, соответствующего моменту — напротив: все живое как бы полностью раскрепостилось, предстало стихийнее и одновременно — возвышеннее. То ли сказывалось приближение к горным вершинам, то ли срабатывала чья-то запрограммированность? Не могу знать, ибо всего лишь вспоминаю, то есть — как бы блуждаю в потемках опустевшего театра, где еще недавно шумело действо, автор которого неизвестен. Во всяком случае — мне.

Оглядываясь теперь на дорогу, ощущаю необходимость зацепиться за что-нибудь конкретное. Помнится, Суржиков, некто в огромной кепке с наушниками, расстрелянный в годы революции за неприятие общественных законов, с неиссякшим апломбом и развязностью ресторанного завсегдатая рассказывал нам с профессором Смарагдовым свою историю, не менее фантастичную, чем любая из человеческих историй, населяющих организм дороги.

Я уже говорил, что, несмотря на всю торжественность обстановки, многие из путников дороги во что бы то ни стало стремились высказаться. И не по одному разу. Напоминаю об этой повальной особенности шествия, ибо исповедь — чуть ли не единственная слабость, не поддающаяся в человеке искоренению даже на смертном пути или пороге. И еще: чем гуще становился поток, тем интенсивнее, буквально взахлеб спешили высказаться мои попутчики.

Анархически задуманный создателем Суржиков, вскоре неизбежно затерялся в толпе, пустившись в очередную, местного масштаба, авантюру. Но перед своим балаганным, полного скоморошьих ужимок исчезновением, анархист еще раз, причем на полном серьезе, продекламировал, подбрасывая разудалыми плечами роскошную, шаляпинского покроя, доху:

— Каюсь, господа: промахнулся! Возымел ветромыслие, как сказал бы поэт. Наивно полагал, что имею право быть кем угодно-с. Верить во что угодно-с. Самообман, господа. Делать должно одно дело. Дело жизни. Верить в одного, то есть единого Бога. Блюсти личную неповторимость. Остаться собой — вот истина истин, ветхая, однако — нетленная. Тогда ты жил, а не пригрезился самому себе. Я же — на что угодно посягал. И не из зависти, господа, не из алчности — по наивности. По неизлечимой наивности! Восторгаться бытием тоже надо уметь. Чтобы не оскандалиться. Не сотвори кумира, а я сотворял, призабыв, что кумир, в сущности, тоже един. Остальные — всего лишь кривые его отражения. Во храме гнутых зеркал, то есть — в юдоли бренной. Вот я и выбрал себе в кумиры... уродца: протест, отрицание, не бой, а бунт. Мне тогда совершенно искренне казалось, что всякая деятельность выше нормы — гениальные открытия, захват власти, яркая, глубокая музыка, ослепительная мысль — все это дети Протеста! Отрицания жизненной инерции, бунт против предначертанного кем-то жизненного пути (пути к погибели!), против безропотного согласия на эту погибель. До недавнего времени предполагалось, что ошибка моя — в распылении, что жил я, дескать, слишком общо. И потому — не сверкнул! Не отразился в зеркале с предельной яркостью. А теперь сознаю: профан-с. Потому как отражение принял за Истину. К тому же — искаженное отражение.

Последним жестом эксцентричного Суржикова была его безуспешная попытка присоединиться к шеренге злодеев, бредущих с закрытыми глазами, затылок в затылок, держащих свои, сочащиеся кровью ладони на плечах и талиях побратимов.

Суржиков попытался возглавить одну из колонн лжеслепцов, но они обошли его стороной, обтекли своим мутным потоком, как обтекает на своем пути вода — инородное тело. Тогда Суржиков, заложив руки назад, под распахнутую шубу, и четко чеканя шаг, скрежеща подковками американских ботинок, пристроился вышагивать обочь шеренги, довольно бодро выкрикивая командирское: «Ать-два! Ать-два-левой!»

Так он и затерялся в людской мешанине, неестественно возбужденный, шутовски-еретичный, насмехающийся над «исполнением обязанностей», якобы состоящий отныне при деле, а фактически — как никогда третирующий всяческие исполнения и состояния.

Таким он и в памяти моей застрял — вздорным, вернее задорным и одновременно жалким, как бывает жалка любая душевная нерасторопность, перерождающаяся в зримую натужность. И все ж таки было в нем нечто бодрящее дух, в супротивце этом неуправляемом, и я, человек более вялой судьбы, от души, как говорится, с аппетитом, позавидовал Суржикову на прощание.

Странное дело, вспоминая сейчас облик толпы, реконструируя черты ее всеобщего лица, ловлю себя на неопределенности представления, на его нечеткости: рассыпчатость, абстрактная размытость рисунка чередуется у меня с отдельными вспышками чьих-то глаз, улыбок, жестов, гримас и прочих примет, качеств, характеристик. Одно с уверенностью могу сказать, что среди множества отличительных черт и прочих свойств, присущих отдельным лицам, образующим толпу, продвигавшуюся к развилке, не было ни у кого так называемой п о с л е д н е й приметы, то есть того смертельного знака, которым клеймит человека Костлявая, останавливая в груди маятник жизни. Все у здешних людей выглядело цельным, не порушенным (не считая естественного ущерба, нанесенного человеческой оболочке временем). Во всяком случае — ни пробитых черепов, ни губительных опухолей, ни этих страшных линий, оставляемых на шее петлей, вообще ни единого признака насильственной смерти.

Были, конечно, в толпе и калеки, и уроды, скажем, тела, обезображенные огнем или кипятком, газами, оспой, машинами, теми же пулями и прочими достижениями века, но меты сии приобретались еще живыми людьми и они с ними, с этими знаками свыкались, продолжая тянуть лямку, а затем с ними же и умирали, выбегая на свою последнюю дорогу, разрисованные шрамами недолгой жизни. А смертельные разрушения тела с выходом путника на шоссе последних раздумий — исчезали. И можно было только догадываться, скажем, по одежке, что вот идут люди, погибшие на войне, ибо на них фронтовая военная форма, продырявленная цветными металлами, и знаки доблести, а вот идут заключенные концлагеря, на них тоже форма, соответствующая. Так что и вовсе не трудно догадаться, что за люди перед тобой, тем более, что вышеназванные категории граждан земли передвигались по запредельной дороге, как правило, большими партиями, иногда просто — нескончаемыми вереницами и потоками.

А запоминались на дороге в первую очередь те именно из попутчиков, с кем приходилось общаться, и не просто сталкиваться, но как бы даже вступать в отношения. И, конечно же, прежде других застревали в памяти наиболее эмоциональные, те, которые выступали, кипятились, вообще хорохорились, и чаще всего — ни к селу ни к городу суетились. Ситуация обязывала их смириться, сосредоточиться. Что и происходило с подавляющим большинством путников, не обращавших внимания на проделки выскочек, в поведении которых наверняка усматривалась патология; от таких чаще всего отворачивались, дескать, что с тебя взять, с убогого?

А еще запоминались яркие внешне: красивые или омерзительные, жуткие. Это и естественно. Память наивна, как ребенок: кто ее больней уколет или бескорыстнее приголубит, изощреннее позабавит, а то и озадачит,— того она и приютит надольше. И еще: охотнее узнавались и затем и фиксировались экземпляры понятные, доступные разумению и житейскому опыту. И тоже — объяснимо: узнал, догадался, смекнул — сам себе нравишься. Чувство удовлетворения, этот цепкий отросток греховного чувства гордыни, нет-нет и давал себя знать даже в условиях завершающего маршрута. Исповедь и утешение (хотя бы и в таких примитивных размерах и проявлениях) — это все, что осталось у людей от их прежних духовных накоплений? Ничто не мешает усомниться в столь нигилистических предположениях. Что я и делаю.

О нескольких, доступных разуму индивидах я и продолжу затем рассказ, там, на заключительных страницах воспоминаний. И постараюсь не размазывать. Чтобы успеть к выписке. Вчера, после какой-то врачебной сходки Геннадий Авдеевич дал мне понять, что свобода не за горами. Нет, Чичко не потребовал, чтобы я закруглялся с писаниной. На этот счет была у нас договоренность, что «записки» можно будет продолжить на дому. Но, бог ты мой, кому, как не мне знать: очутись я за воротами клиники — перо тут же выпадет из моих дрожащих рук.

Кстати, Суржикова потерял я из виду еще и потому, что стемнело. На этот раз ночь наступила мгновенно, будто нажали на кнопку выключателя. Исчез не только шебутной контрик в буржуйской дохе, но и тишайший старик Смарагдов, разочаровавшийся в камушках и воспылавший запоздалой любовью к своей полузабытой жене.

Ночью мне удалось немного поспать. Прямо на ходу. Для этой цели пришлось забраться в самую гущу людского потока: захочешь упасть — не дадут. Да и спал ли я? Правильнее сказать — грезил. Забылся на момент. И мысленно очутился в Ленинграде. На мосту Лейтенанта Шмидта. Рядом с женой Антониной. Прогуливаемся вроде. А над городом уже ночь и мелкий дождик. И падает дождик не с неба, не из тучи, а как бы распыляется из электрических фонарей, по-нынешнему — из светильников. Такой вот сказочный эффект. Антонина идет чуть впереди меня и все чего-то бубнит. Скорей всего — пилит меня за вчерашний перебор. Повторяется. Не устала за двадцать лет пилить. Она пилит, а мне ее почему-то впервые жалко. Зла на нее — ну, ни капельки не имею. И понимаю, что жалко мне ее не за то, что она моя жена и что мы любили когда-то друг друга, а всего лишь — за ее позу жалею женщину, за какую-то невероятно несчастную скрюченность ее тельца, всей ее походки с беспомощным наклоном вперед и несколько вбок, в сторону перил моста. А главное, всем своим изношенным существом понимаю: не притворяется Антонина! Страдает. И тут меня пробрало. Как говорится, до печенок. Сам себя не то, чтобы ненавидеть начинаю — бояться. Как какого-нибудь Малюту Скуратова беспощадного.

Под очередным светильником Тоня оборачивается и смотрит на меня с сожалением. Беззлобно смотрит. Даже на алебастровых ее губах улыбка шевельнулась. А глаза так и жалеют меня. Она меня, я ее — жалеем. Обоюдно. Словно я ей не муж, а сынок малолетний. И Антонина мне — не жена, а так... сиротка из детского дома. Не догадался я в тот момент, что прощается Тоня со мной.

А потом, когда от светильника в темноту продвинулись, обнаружился в перилах пролом. Кто-то, скорей всего пьяный шоферюга, еще днем или с вечера совершил наезд. Или — выезд. Короче говоря — проломил перила. Не знаю, загремел он самолично в Неву или всего лишь высунулся с моста, но только заделать пробоину вчерашним днем не успели. В нее-то, в эту пробоину и шагнула Антонина. Не успел я ее ухватить, не ожидал потому что. Да и темно: сразу после фонаря свет будто отрубило. Да и отпрянул я от дыры, испугался в первые секунды: похмелье сказывалось.

Даже не булькнуло под мостом. Во-первых, высота приличная, во-вторых, вода меж быками резвая, шумливая, большая. Течение в створе быков курьерское. Кинулся я по мосту через трамвайные пути, на другую его сторону. «Тоня! — кричу.— То-оня!» Да куда там. Разбудили...

На дороге человек рядом со мной вышагивает, выражение лица у него непроницаемое, официальное. Сам он в темном строгом костюме и в белой рубашке с галстуком. Во взгляде ленивых глаз холодок значительности. И небрежно так похлопывает меня по плечу, дескать, проснитесь, как бы чего не вышло.

Благодарю незнакомца за участие ко мне и тут замечаю на его пиджаке депутатский значок. «Свой! — соображаю.— И, кажись, даже Российской федерации избранник».

— Давно прибыли? — интересуюсь как можно вежливее и одновременно ловлю себя на том, что заискиваю перед дядей, так, на всякий случай.

— Третьего дня. Земляк, что ли? — насторожился бывший начальник.

— А как определили, что — земляк? — улыбаюсь.

— Матерились во сне.

— Извините. Сморило малость. Задремал и вообще.

— Бывает,— успокоил меня казенный человек, и тут же отвернулся, давая понять, что аудиенция закончена.

«Ладно, думаю, не желаешь говорить — помолчи».

А сам исподтишка разглядываю аппаратчика. Ухоженный, внушительной формовки, в годах, но пуза огромного не накопил, так, заурядный животик. Видать, следил за собой или инструкция не позволяла. Очки носить стесняется или дома забыл, но по всему видно: дальнозоркость у дяди изрядная, брезгливо этак отстраняется, когда тебя получше хочет разглядеть.

С рассветом, с первыми лучами солнца, сжавшаяся от ночного холода толпа помаленьку начала раздаваться вширь — вступали законы физики, а так же — человеческого легкомыслия: в беде тесниться, сплачиваться, а чуть отпустило — обо всем на свете забывать, разобщаться и как бы вовсе уже не знать друг друга.

Днем передвигаться становилось сложнее: требовалось личное внимание, то есть — интенсивная работа мозгов, каждый сызнова предоставлялся самому себе, тогда как ночью, в часы всеобщего слияния можно было идти с закрытыми глазами, машинально перемежая ноги, ибо ноги твои являлись тогда ногами многомиллионной многоножки, единого, бесконечно разнообразного организма, струящегося в ночной прохладе бездумно и как бы отдыхающего от более серьезной работы — работы духа.

С рассветом возобновлялась реакция превращения, закипавшая в душах на огне любви, жажде веры и обретении надежды, реакция взросления, постижения себя в истине всеобщей. В атмосферу бытия, помимо азота, кислорода,

водорода и прочих компонентов добавлялся всепроникающий элемент духовного обогащения, не вошедший в таблицу Менделеева, но потреблявшийся великим ученым в гораздо больших дозах, нежели поглощаемые бренной плотью железо, кальций, стронций и прочие составные человеческого каркаса; возобновлялся, оживал (растапливало солнце!) немеркнущий процесс самосовершенствования человеческих душ; свершалась бескорыстнейшая из эксплуатаций — эксплуатация жизненного смысла, внедренного в общественное сознание не просто свыше, но и как бы — со всех мыслимых и немыслимых сторон, из клубящихся субстанций вселенского разума.

Некоторым из вероятных читателей моих записок и, в первую очередь, Геннадию Авдеевичу Чичко могут показаться странными рассуждения рядового учителишки о вышеназванных «процессах и реакциях», дескать, откуда это у него, вчерашнего алкоголика, вся эта «химия» духовная?

Что ж, не улизну, отвечу со всей трепетностью исповедывающегося: влияние Дороги. Уроки Шествия.

Ваша неизбежная настороженность к моим откровениям, дорогой Геннадий Авдеевич, естественна. Но эти же мои откровения лишний раз подтверждают чудотворную мощь нравственного очищения и, если хотите, возвышения именно там, где эти «реакции» предельно интенсивны, интеллектуальные «растворы» сверх возможного насыщенны, концентрированны, то есть — именно там, на великом Пути. И что удивительно — Путь этот, поначалу казавшийся мне чем-то запредельным, загробным, явился естественным продолжением вечного пути человеческого бытия. А, значит, не две или несколько, но одна, изначальная, не имеющая пределов, незримая и замкнутая, как символическая линия экватора — Дорога к совершенству. Именно там, за пределами суеты, когда наша природная дорога борьбы за существование становится (во сне или воображении, в подсознании или вере) не дорогой, а Шествием, духовное строительство личности не просто ускоряется и не только главенствует над всеми остальными проявлениями человеческого «я», но и сулит блаженство завершенности.

Вкратце уяснив для себя, что представляет собой сосед справа, возникший с наступлением очередного утра взамен вчерашних Смарагдова и Суржикова, я, несколько отрезвленный его номенклатурным холодком, продолжил знакомство с «окружающей средой» (в каждом из нас прочно обосновался вертлявоголовый обыватель с его неистребимым любопытством, и я — не исключение).

Впереди меня, по ходу движения непристойно, по-утиному колыхаясь, вперевалку вышагивал коротко стриженный детина спортивного сложения, через правое плечо которого была перекинута широкая лента, уходящая наискось под левую руку; концы ленты скреплены огромной булавкой. Странная, вихляющая походка малого вначале несколько насторожила меня: уж не педик ли? Так и брызжет мускулистыми ягодицами по сторонам! А затем сообразил: спортивная ходьба. Видимо, человек этот как принял дистанцию где-то на стадионе, так в данной манере и чешет, позабыв про все на свете. Наверняка ему так сподручнее. Иногда ходок на мгновение оборачивался в нашу сторону, и тогда на его груди можно было разглядеть болтавшуюся медальку. Одну-единственную, вернее — последнюю на выцветшем поле атласной ленты, во многих местах продырявленной штырями и заколками утраченных наград.

На некотором расстоянии от спортсмена с нескрываемым вожделением в глазах семенил коллекционер Мешков с примитивным заплечником на спине, сооруженным из рубашки: на лямки пошли рукава, а так же бросовые капроновые чулки, подобранные собирателем ветхостей по случаю на зеркально-гладкой поверхности дороги. Даже несведущему человеку было ясно, что Мешков охотится за медалькой спортсмена. Ждет, когда эта неказистенькая реликвия отшпилится от ленты и звякнется на шоссе, чтобы затем приобщить ее к своим находкам.

Однако спортсмен давно уже проведал о притязаниях старика. Время от времени рука ходуна (от слова «бегун») ощупывала линялую ленту и, отыскав медаль, ненадолго успокаивалась.

По левую руку от меня вышагивала целая компания существ, состоявшая из одного человека и нескольких птиц, а так же домашних животных, рептилий и, естественно, паразитирующих на всей этой живности насекомых. На плечах и голове мощного, атлетически отформованного природой гривастого и бородатого мужчины сидели отдыхающие птицы. Мохноногая голубка устроилась на правом плече, на левом — заурядная серая ворона, время от времени разевавшая клюв и сипло кашлявшая. На голове, как в гнезде, сидел красногрудый дятел и все время как бы замахивался долбануть укротителя (или дрессировщика, а может, просто ученого-натуралиста) по едва заметной, копеечной плешке, замахивался, но почему-то всякий раз не доводил дело до конца. На изгибе левой руки любителя живности, меж плечом и предплечьем, висела, благодарно посверкивая брусничными глазками, змея, обыкновенная гадюка, если не хуже. В ногах натуралиста путалась та самая ожиревшая паршивая собачка, которая, в свое время, с удовольствием нюхала мою веточку полыни. На спине собачки цепко, будто привязанный, временно спал грязный, помоечный кот.

Так они все единым клубком и передвигались. И никто на них с удивлением или брезгливостью не смотрел. Даже — человек с депутатским значком. Не принято было на дороге чему-либо демонстративно удивляться, чем-либо откровенно восторгаться или возмущаться. Делалось это, если делалось, непременно тихо, культурным образом, то есть — незаметно. Никто не вздрагивал и не поводил в раздражении носом, если в толпе издавался непотребный звук, кто-нибудь кашлял или чихал, во всяком случае — «будьте здоровы!» — никто вам под нос не совал. Зато люди отчетливо настораживались, когда кто-нибудь по старой привычке, чаще всего во сне, начинал петь или декламировать стихи, вообще — выступать. Это многих озадачивало. Людям тогда приходилось копошиться в памяти, извлекать оттуда былые видения и звуки. А все естественное, повторяю, не шло в счет, ибо знали: это дышал мир, а не изощрялся чей-то, обуянный гордыней, разум.

Окончание следует

Константин
ВАГИНОВ

◆◆◆

Упала ночь в твои ресницы,
Который день мы стережем любовь;
Антиохия спит, и синий дым клубится
Среди цветных умерших берегов.

Орфей был человеком, я же сизым дымом.
Курчавой ночью тяжела любовь,—
Не устеречь ее. Огонь неугасимый
Горит от этих мертвых берегов.
1922

◆◆◆

Я променял весь дивный гул природы
На звук трехмерный, бережный, простой.
Но помнит он далекие народы
И треск травы, и волн далекий бой.
Люблю слова — предчувствую паденье,
Забвенье смысла их средь торжищ
городских.
Так звуки У и А приемлют шум трамвая.
И завыванье проволок тугих.

И ты, потомок мой,
под стук сухой вокзала,
Под веткой рельс,
ты вспомнишь обо мне.
В последний раз звук А
напомнит шум дубравы,
В последний раз звук Е
напомнит треск травы.
1922

◆◆◆

Уж день краснеет, точно нос,
Встает над точкою вопрос:
Зачем скитался ты и пел
И вызвать тень свою хотел?

На берега,
На облака
Ложится тень.
Уходит день.

Как холодна вода твоя
Летейская!
Забыть и навсегда забыть
Людей и птиц,
С подругой нежной не ходить
И чай не пить,
С друзьями спор не заводить
В сентябрьской мгле
О будущем, что ждет всех нас
Здесь на земле.
1930

◆◆◆

1

Черно бесконечное утро,
Как слезы, стоят фонари.
Пурпурные, гулкие звуки
Слышны отдаленной зари.
И слово горит и темнеет
На площади перед окном,
И каркают птицы, и реют
Над черным его забытьем.

2

Нет, не расстался я с тобою.
Ты по-прежнему ликуешь
Сияньем ненаглядных глаз.

Но не прохладная фиалка,
Не розы, точно ветерок,
Ты восстаешь в долине жаркой,
И пламя лижет твой венок.
И все, что ты в себе хранила
И, как зеницу, берегла,—
Как уголь, черный и невзрачный,
Ты будущему отдала.
Но в стороне,
Где дым клубится,
Но в тишине
Растут цветы,
Порхают легкие певицы,
Дрожат зеленые листы.

1930

◆◆◆

Кентаврами восходят поколенья,
И музыка гремит.
За лесом, там, полуденное пенье,
Неясный мир лежит.
Кентавр, кентавр, зачем ты оглянулся,
Копыто приподняв?
Зачем ты флейту взял и заиграл разлуку,
Волнуясь и кружась?
Веселья нету и жаркой бездне,

Кентавр, спеши.
Забудь, что был ты украшеньем,
Или не можешь ты?

Иль создан ты стоять на камне
И созерцать
Себя, и мир, и звезд движенье,
И размышлять?
1932

◆◆◆

Хотел он, превращаясь в волны,
Сиреною блестеть,
На берег пенистый взбегая,
Разбиться и лететь,

Чтобы, опять приподнимаясь,
С другой волной соединяясь,
Перегонять и петь,
В высокий сад глядеть.
Март 1930

◆◆◆

На набережной рассвет,
Сиреневый и неясный.
Плешивые дети сидят
На великолепной вершине.

Быть может, то отблеск окон
Им плечи и грудь освещает,
Но бледен, как лист, небосклон
И музыка не играет.
1930

◆◆◆

Я снял сапог и променял на звезды,
А звезды променял на ситцевый халат.
Как глуп, и прост, и беден путь
Господний.
Я променял на перец шоколад.

Мой друг ушел и спит с осколком лиры,
Он все еще Эллады ловит вздох.
И чудится ему, что у истоков милых,
Склоняя лавр, возлюбленная ждет.
1922

◆◆◆

Все ж я люблю холодные жалкие звезды,
И свою опухшую белую мать,
Неуют, и под окнами кучи навоза,
И траву, и крапиву, и чахлорастущий салат.

Часто сижу во дворе и смотрю на кроличьи игры.
Белая выйдет луна воздух вечерний впивать,
Из дому вытащу я шкуру облезлую тигра,
Лягу и стану траву, плечи подъемля, сосать.

Да, в обреченной стране самый я нежный и хилый,
Братьи мои кирпичи, остров зеленый земля,
Мне все равно, что сегодня две унции хлеба.
Город свой больше себя, больше спасенья люблю.
1922

В поэтической манере Константина Константиновича Вагинова (1899—1934) оригинально сочетаются новизна и внимательное отношение к наследию прошлого. Такой синтез позволял критике видеть в его стихах «отзвуки таинственной, вечной музыки, тональности Лермонтова или Жуковского» и одновременно сопоставлять поэзию Вагинова с живописью Чюрлениса, с творчеством французских сюрреалистов.

Вагинов был членом почти всех петроградских литературных объединений, часто враждовавших между собой. Современники объясняли это интересом поэта к людям, «желанием прислушаться и понять другого, найти в каждом подлинное и талантливое». В апреле 1934 года Вагинов скончался от туберкулеза. Друзья похоронили его на Смоленском кладбище рядом с блоковской дорожкой. В некрологах говорилось, что смерть поэта, «оставившего долгую и прочную память в поэтическом содружестве последних лет», тяжелая потеря не только для его друзей и близких, но и для всей советской литературы.

В эту подборку включены как ранние стихи Вагинова из раритетных альманахов 1922 года «Звучащая раковина», «Петербургское объединение обновленного искусства», «Цех Поэтов № 3» и рукописного «Изборника, составленного для Марии Неслуховской» (жены Н. С. Тихонова), так и стихи последнего периода из неопубликованной книги «Звукоподобие», любезно предоставленные вдовой поэта А. И. Вагиновой.

Татьяна НИКОЛЬСКАЯ

Нина
ИВАНОВА-
РОМАНОВА

КНИГА ЖИЗНИ

Часть IV
ГОДЫ ИНСТИТУТА

64

Осень. Ленинград.

Первые месяцы — нагромождение бытовых и «организационных» хлопот. Многолюдье общежития — комната на тридцать человек, бывший класс! — я засыпаю последняя, когда кончится последний шепот соседок по койкам, пришедших домой последними. Скученность, неустроенность. Уже начало проголоди и безденежья: 1930-й, а мне, да и многим — ни посылок, ни переводов; продуктовые карточки сданы в столовую.

Почти нет возможности подумать, сосредоточиться, писать и читать. И надвигаются медленно разные разочарования...

Смена названий и профилей института и отделения производится неоднократно, прямо на ходу. Программа клочковата, плохо продумана, меняется. Много слабых преподавателей, отдельные из них просто малограмотны, и читают... литературу. Исключением был Константин Николаевич Державин. Его захватывающе интересные лекции о Шекспире я слушала не дыша. Запомнились они на всю жизнь. Молодой, обаятельный, с блестящей речью преподаватель казался мне полубогом на недостижимой вершине образованности. И как же я удивилась, подойдя недавно к его надгробию на Волковом кладбище: он был старше меня всего на шесть лет! А в ногах его могила профессора Немилова...

Недолго читал и Б. М. Эйхенбаум.

А студенты? Да ведь это — те же педтеховцы, деревенские учителя, как и я, или неудачники, по слабости подготовки, способностей не взятые в другие вузы.

...А начиналось тяжелое время наблюдений по поручению, чисток и проработок, тайных характеристик, судов над преподавателями... Преподаватели осторожничали, заискивали.

Помню судилище над профессором Розенбергом, читавшим историю Запада. Коротенький, круглый еврей в роговых очках, был он, видимо, знающий человек, но во избежание зла, согласовывал свою программу с университетом, брал там тезисы лекций. Однажды они запоздали, и он отложил на время новую тему, перекомпоновав план.

А мы, общее собрание студентов и преподавателей, всем скопом инкриминировали ему умышленное нежелание открыть свою точку зрения на исторический материал, намерение скрыть свои истинные взгляды и так далее.

Помню, как он, видимо, сердечник, стоял на возвышении сцены, бледный, потный, тяжело дышавший, и поминутно шумно глотал из стакана воду, както хлопая и щелкая широко разрезанным ртом... Его уволили.

Окончание. Начало см.: «Нева», 1989, № 2, 3.

Наш Мишка Орлов — на математическом. Со мной только здоровается. Он уже в партбюро. Я все три года буду просто тихо его бояться...

На нашем отделении учится Матюшина.

По «Дальтон-плану» две недели свободно переходим из кабинета в кабинет, по своему выбору, но — всей бригадой (я — бригадир) и с обязательной явкой к девяти часам утра. И вот как-то после завтрака Матюшина собирает пакет и не берет тетрадей. Без четверти девять. Я смотрю на нее. Она понимает и жестко говорит мне в лицо вполголоса:

— Я иду в баню. Если ты посмеешь отметить, что меня на занятиях нет, то знаешь, что я могу про тебя рассказать и кому...

Я даже попятилась и не нашла слов для ответа.

В общем, студенческое существование отливается в свои нормы.

Когда ложусь в постель и погасят свет — единственное видимое уединение — чувствую себя одной уже не во всем Дементьеве или Череповце, или даже в Ленинграде, а — во всем свете.

В глубине моего слуха знакомый голос читает:

Петербургская злая ночь.
Я один, и перо в руке,
И никто не может помочь
Безысходной моей тоске...

Не тогда, в Череповце, а теперь дошли до меня эти стихи.

Не тогда, в деревне, а только теперь, в большом городе, узнала я размеры моей потери и величину светила, закатившегося для меня...

Шура, Шура, звезда моя! Да разве кто может сравниться с тобою — умом, душою, мужеством?.. Хотя бы приблизиться к тебе.

И подолгу, и далеко не в последний раз, буду придумывать, как без предупреждения приезжаю я в Бийск и долго хожу по Барнаульской... А как я неосторожна с реликвиями! Приношу на занятия милый голубенький карандашик. Вскоре кто-то берет его «на минутку» и уносит. Унесли и не отдали.

На подзеркальник в вестибюле главного входа в институт (Малая Посадская, 26) почтальон высыпáл содержимое своей сумки. Студенты мимоходом отбирали письма для своих комнат. Письма Шуры я обычно находила на своей подушке. Писал он на довольно фантастический адрес. Как-то в письме я упомянула об очередном проекте облоно — слить нас с педтехникумом имени Ушинского, занимавшим крыло нашего здания. Шура и стал писать: педтехникум... и мне. Корреспонденцию техникума бросали тут же, и письма ко мне доходили.

Я не решалась поправить Шуру, что я — в институте: его почта учитывалась. Стоило попутать Черную кошку...

А от Шуры вдруг неспокойное письмо: «ее, моего друга, моего товарища, внезапно взяли ночью и увезли неизвестно куда...»

Все в этих словах волнует, пугает, вызывает горечь и сочувствие. Он делится со мной своей тревогой, тянет ко мне руки, как к другу. Он очень любит ее — так беспокоится, так одинок в разлуке. Он помнит о моей печали и щадит ее: удерживается от слова «жена».

В конце письма: «Не пишите пока. Сообщу новый адрес».

Ну, и кстати, что нельзя писать. Я не напишу ничего хорошего. Письмами ведает Врагиня, не подпустит меня...

Проходит, должно быть, недели две, и мне подают большой, тяжелый конверт. Письмо от Шуры. Даже распечатать страшно — почему большое? Несколько страниц... Он уже в Енисейске. Один. И так потеплела его интонация со мною! Столько в строках и между ними доверия, веры в понимание, в преданность. При всей моей необнадеженности не могу не ощутить голоса прежнего Шуры... Я вижу: я посеяна в душе его и никогда не заглохну.

Все во мне оживает.

Другиня качает головой: не надо бы таких писем. Поэт прислушивается и просит бумаги. Врагиня выхватывает перо... Она пишет ответ едко и хо-

лодно: все, мол, наладится. Письмо ваше — плод временного настроения, а адресат — на безрыбье рак...

Слов я уже не помню, но смысл, дух — такой. Врагиня строго глядит на меня: а пусть поуговаривает! Пусть почувствует сам... Я приписываю только: «„дяди“ дома нет».

И такое письмо уходит.

Мне тошно вспомнить его, страшно подумать, как прочтет его мой умный, тактичный и одинокий друг...

Ответ приходит с некоторым опозданием, сдержанный, холодный, с упреком. На мой вопрос о «сроке» (этой осенью кончались эти три года) он ответил: «Кончился мой срок, но на Енисее кончилась навигация. Все теперь неясно, откладывается»...

65

1931 год.

В те времена целыми днями слушали мы на лекциях, по радио, читали в газетах, видели в кино все заполнявшую тему: классовость. Только работа у станка — труд производительный, уважаемый, главный. Интеллигенция — даже не класс, жидкая прослойка, ненадежная, трусливая, корыстная. И внимала я тогда всему этому с огромным доверием, жадным интересом. Смятенность моего мира была для меня мучительным доказательством духовного несовершенства. Щедрое охаивание интеллигенции я принимала, как авторитетный суд над собою. И неосознанно хотелось быть бы грубой, «серой», от станка или от сохи, чтобы заслуженно получать любовь и уважение общества...

Но меня притягивала никем не запрещенная вероятность — когда-нибудь вновь встретиться с Шурой. Кто знает? Может быть, он соскучится, станет ему пресно без перегородок? Я должна встретить его сильной, достойной его по уму и по знаниям.

И я брала книги даже по другим отраслям науки (помню — даже Фрейда), сидела в читальне до закрытия, конспектировала, рылась в каталоге. Однокурсники удивлялись:

— Зачем это тебе? Ведь не задано...

— Интересно, хочется.

Занималась я еще и в изостудии института. А вот литературного кружка не было. Я разыскала Трифонову. Она пригласила меня в заводской литкружок (на улице Скороходова), которым руководила. Несколько раз, по ее приглашению, я была у нее дома. Она нянчила маленькую дочку и познакомила меня со своим мужем — писателем Ильей Иволгиным.

Но стихов своих я не читала и не показывала: стыдилась личной темы. Трифонова нашла мне и работу в литконсультации журнала «Резец». Шел настойчивый призыв ударников в литературу. Я отвечала начинающим авторам. Работа была бесплатная, отупляющая. Стихи поступали очень плохие, все с одинаковыми недостатками: безграмотность и мелкотемье или громыхающее крупнотемье не по авторским возможностям. И я отказалась от работы. Ни разу не пришло в голову использовать связь с журналом и продвинуть свои стихи! Не считала возможным и написать что-либо *для* (со стыда бы сгорела при мысли, что такое увидят в журнале Шура!). И, порывая с «Резцом», не подумала, что сжигаю мосты в печать. Всегда мне казалось, что, если я чего-то стою, что-то сделала — меня должны найти. А подавать себя противно и такая скука, что даже времени на такое жаль...

Январь. Две недели «производственной практики». Завод «Знамя труда». Три смены. Станки, спецодежда, обработка металлических деталей. Всем сердцем рада: я хоть две недели — производственница, духовно полноправная. Даже дышится легче.

В конце января — каникулы. Куда? В Череповец, больше некуда.

В один из дней зашла к Дине... Когда перебрали текущие темы и знакомые имена, она вдруг спросила:

— А тебе известно, что ты тогда на волоске висела?

— Нет, как это?

— Тобой интересовались.

— Кто?

Наивный вопрос. Дина лишь усмехается.

— А знаешь, кто за тебя заступился? Может быть, спас?

— Некому, кажется, было за меня заступаться... Да и перед *кем*? Да еще при таких «отягчающих вину обстоятельствах»?

— Иванов, наш обществовед. Звонили, спрашивали о тебе. А он, говорят, убедил, заверил — словом, отвел грозу...

Пораженная молчу. Но Череповец не становится для меня уютнее. О трагическом же конце моего учителя я узнала много лет спустя.

Минуло еще одно второе февраля. Подошла еще одна весна.

Шура пишет: они уже вместе...

По совету Врагини, я перестаю отвечать: проверим, нужна ли ты ему теперь? Или он отвечает только из вежливости?

Приходит письмо. Открыточка с видом котлована Днепростроя. С несколькими строчками в обычном духе... Неужели на два письма не ответила? Нет, только на одно. Мне бы не удержаться. Второе пропало или похищено с подзеркальника.

Эта открыточка сегодня — единственная драгоценная моя реликвия.

3/IV—31 г.

Как будто не провинился ни в чем, а вы мне не отвечаете. Два моих последних письма остались без ответа. Что с Вами? Ужели пишете пятитомный роман и у Вас нет свободной минуты? Сер до сих пор в Череповце. Маринуют. Знаете ли Вы что-нибудь о дяде поподробней, поконкретней?

Как Вас радует весна?

Пишите, что нового.

Одним словом,

примите уверения и т. д.

Подпись (Аф...)

Я ответила. Переписка возобновляется.

О «дяде» не пишу больше ничего — возле стоит Другиня, строго останавливает: «Это уже передача сведений, помощь в установлении связи!». Не смею ослушаться.

А весна меня совсем не радует. Даже наоборот. Если бы не занятость выше всякой меры — места бы не найти от тоски. Едва выпадет минутка отдыха, едва повеет теплом в окно — и жить не хочется. И опять придумываю: приеду в Енисейск, остановлюсь в гостинице, поймаю на улице одного, попрошу зайти. И все — не отпущу... А потом — там есть река — умру как-нибудь. Он и не узнает...

А машина бытия загружена до отказа. С первого года обучения я по вечерам еще работаю. Группа ликбеза у Нарвских ворот. Усталые детные женщины, приходящие по требованию домохозяйства. Ничего не запоминают и не хотят запоминать. Меня жалеют, иногда сунут мне в сумочку кусочек пиленого сахара:

— Ведь вижу, и ты устала. Ну, чего ездишь? Ну, чего учишь? Нам не до этого. Отпустила бы нас — мы распишемся...

Я не отпускаю.

К весне выясняется, что в области не хватает трактористов. Нас направляют на вечерние двухмесячные курсы. Получаем справки и выезжаем в деревню пахать. В районе нас рассылают по сельсоветам, по два человека. Там, куда попадаю я с моей напарницей, трактористы не нужны. Мы помогаем в конторе.

По вечерам поем и гуляем с местной молодежью — это два мальчика-учителя (18 и 16 лет!), остроумнейшие ребята, любители искусства (я от них впервые узнала о Дюрере), и председсельсовета студент Рихард.

Я не могла глубоко вникнуть в жизнь колхоза. Это были эстонцы,

аккуратные, хозяйственные, сдержанные. То, что я видела, было благополучно, организованно. Не похоже на смятенное Дементьево. И я устыдилась своих неоформившихся сомнений в справедливости жизни.

Правда, раз Рихард рассказывал, как он, сельское начальство, присутствовал при изгнании из дома «раскулаченной» семьи. Женщина вышла на крыльцо, обхватила руками столбик навеса, гладила его, заливаясь слезами, прощаясь...

А Другиня просто насела на меня: «Ты плохой гражданин, ты — болото, гнилой интеллигент... И еще поддерживаешь запрещенные связи, обманываешь свое государство, пишешь чуждым людям, врагам (надо верить, если их так назвала партия), а жизнь идет верно. Твоя переписка — предательство, скрытое преступление»... Она говорила много и неумолчно. Я сгорала от стыда, корчилась от невозможности выйти из коллизии без самоубийственных действий.

Сермукс в это время был уже в Днепропетровске (ему дали «минус шесть», то есть — любое место, кроме крупнейших шести городов). Он занимался на курсах конструкторов, материально бедствовал страшно, хотя очень скупо писал мне об этом. От него приходили открытки, я чувствовала в них смертную тоску, сдерживаемую огромной волей. Вот из села я и перестала ему писать.

Вернулась в институт, меня встретила Нина Дивова, студентка с нашего отделения, самая симпатичная мне. О ней и ее печальной истории, странно похожей на мою, надо рассказывать отдельно. Нина не ездила на «сельскохозяйственную практику» по состоянию здоровья и оставалась в нашей комнате общежития. По моей просьбе собирала почту и обратила внимание на несколько открыток с одним почерком, пришедших одна за другой. Встревожилась и прочла. Она ничего не знала о Сермуксе, только почувствовала большую печаль и тоску человека, неотложно нуждавшегося в отклике. Написала ему открытку, извинилась, что прочла; сообщила, что я скоро приеду, и она обещает, что я напишу ему обязательно — она напомнит мне, настоит...

Открытки действительно хватали за душу (они не сохранились). Видимо, ему было очень плохо, и что-то подсказывало, что он может потерять меня. Я впервые ощутила, что значу для него больше, чем думала.

Другиня, Другиня, бедная ты моя! Ты давно читаешь мой роман и должна быть ко всему готова... Человек пишет мне, что продал свой шейный шарф, потому что несколько раз пошатнулся, чуть не упал. «Харчи, харчи»,— пытается он шутить. (Это же 1931 год на Украине! У Николая Мартыновича больной желудок, как-то раньше было горловое кровотечение.) Я не могу ему помочь. Стипендия моя меньше других, ибо я не рабочего происхождения, объяснили мне. Это — 60 рублей, из которых вычитают 45 за питание, 5—за общежитие, 5 — на заем, как-то брали и за обязательное страхование жизни (я тогда записала сумму — «в пользу моих будущих детей»). На руки выдают 5 рублей в месяц — это одежда, обувь, почта, театр, разъезды... Другиня никогда не позволит мне послать ему хотя бы эти пять рублей, даже Врагиня запротестует, пугнет Черной кошкой. Но неужели же и молчанием добивать человека?

Написала. Созналась в мотивах молчания. Он ответил: «Я подумал это. Но пишите мне, Ниночка!».

Как я могла не писать?

66

Подходит лето, долгие каникулы.

Череповец окончательно пуст. Нет Николая Мартыновича. Вышла замуж и живет в районе Тамара. Уехала даже Дина...

Коплю деньги на поездку по льготной путевке ОПТЭ («Общество пролетарского туризма и экскурсий»). Вступила в члены, плачу́ взносы. Записалась на поездку в Крым. Влечет никогда не виденное Черное море.

И вот Крым. Бахчисарай. Черные ночи с огромными звездами. Цикады.

Минареты. Тень Пушкина. Тени ханов и рабынь-жен. Фонтан, оказывается, течет по каплям — не напьешься («Пила воду из Бахчисарайского фонтана» — поторопилась я написать в первый день приезда). Впрочем, в городе все фонтаны — Бахчисарайские!

Первый четырехчасовой поход в горы. Я сжигаю себе на солнце спину от затылка до пояса. В медпунктах нет даже вазелина. Врач сознается: еще не видел такого ожога... Но поездка — туристская: после Бахчисарая — трехчасовой подъем на Ай-Петри, переход через Яйлу, спуск к Ялте. Кожи на спине нет, при каждом движении блузка прилипает и отдирается с кровью... В Ялте тоже нет вазелина. Добрые женщины на базе мажут меня чем-то, качая головами. Две недели сплю ничком, но, конечно, сама таскаю свои вещи.

Впервые увидела море с Яйлы и не узнала его: огнистая синяя стена. И вот оно уже у ног.

Я сижу на каменной ступени,
А глаза ушли в морские дали.
Зверь зеленый в шелестящей пене
Лижет гальку у моих сандалий...

Сижу в парке Кореиза и пишу открытку Шуре...

Возвращаюсь к общежитию, одиночеству, едкому чувству недостачи.

...А вокруг меня женятся и выходят замуж. Чувство своей неприкаянности на свете доходит порой до отчаянной остроты. И тогда я допускаю, что когда-нибудь тоже выйду замуж. Но

Я отдам черты твои картону
Над моею новою кроватью
И балладу о покойном брате
Расскажу ревнивому соседу.
Твое имя услыхав, головку
Повернет чужой тебе ребенок...
И все буду ждать и верить в чудо,
Как в чахотке тающий больной.

Ничего этого я потом не сделала. Не представляла себе тогда семьи и близких, легко судила о них. Жизнь поправила меня...

Осень 1931 года. По газетам, по радио, в тоне лекторов и докладчиков улавливается сгущение политической погоды; тридцатые годы знаменуют свой жесткий восход. Черный диск над моей койкой дребезжит от анафем всяческим уклонам и шатаниям.

Другиня уверяет: многое из этого по сути — обо мне.

Шура как-то пишет: «Видели резолюцию? Это ведь — опора на середняка, а не на бедноту...» (не наизусть помню — только смысл). Горьки мне в этих словах продолжающиеся разночтения жизни, стойкая линия «против течения». И отрадно: через все сложности общения ему хочется вести со мной разговор, более богатый, чем «как поживаете». Еще отраднее: считает меня достаточно сильной для этого разговора...

А Врагиня пишет в ответ: «вовсе не на середняка...».

В такие часы разлада как-то странно перемещается центр тяжести в душе. Отбросить бы, забыть все узлы и путаницы, непосильные, скучные, изнурительные. Пусть будет и казнь, и смерть... Только накануне подойти бы, положить руки на плечи, рассказать все в самые глаза, ничего не требуя — и отпустить к семейным благам...

Подхватила эти мысли Врагиня и... развила в очередном послании! Не прямо. Намеками. В раздраженном тоне, со злыми выпадами, с обвинениями, вероятно, даже в разбитии жизни и тому подобное. И вот это худшее, несправедливейшее, пошлейшее из моих писем должно было стать последним звуком моего голоса для него, заключительным, может быть, оценочным воспоминанием обо мне...

Шура, Шура! Прости мне когда-нибудь это!

Четырнадцатое ноября. На первой лекции по рукам плывет ко мне белый конверт. Письмо от Шуры.

Нет, он не берет тона учителя, не называет прямо мое мещанство, озлобленность, мелкую, недостойную ревность — их именами. Это было бы лучше всего. Ведь он мой учитель высокого духа. Я поняла бы тогда, исправилась бы во многом. Нет, он стоит на равных, собеседником, который смущен своим разочарованием, стыдным обнажением череповецкого моего нутра. Собеседнику надоело, нудно и досадно, уж, пожалуй, не страшно и обидеть...

Это не чтение письма, а — колючее глотание. Не входит в сознание. Все мое существо отталкивается от принятия. Обидно, стыдно, горько... Тянет биться головой об стол. Но нужно сохранить лицо обыкновенным: я сижу сбоку стола, меня видно. Продержаться еще шесть лекций...

«Нельзя больше писать»,— твердо говорит Другиня. Я считаю, что она права. «Не смей писать больше!» — требует Врагиня. Удивляюсь, что они солидарны. А Шура теперь поймет: то, что я не отвечаю, больше не объяснишь неполадками почты. И — кто знает? — не ощутит ли облегчения?

Не отвечаю.

Проходит месяц. Полтора...

Но это же немыслимо! Чем же мне теперь дышать? «Дыши просто так»,— сердится Другиня.

31 декабря стою вечером в очереди на ужин. Народу мало. Полутемно. Можно не делать лицо...

Блестки падают. День клонится на убыль.
Тонок скрип, как лезвие ножа.
Посмотрел бы ты, как я кусаю губы
От стыда, что слез не удержать.

Январские каникулы 1932-го. Экскурсия в Москву для нашего курса.

Перед каникулами я тяжело заболеваю, простудившись после бани из-за недостатка одежды на смену. Уезжают без меня. Лежу и плачу от мучительных болей, сама хожу в столовую — через улицу — за водою для грелки. Лежу в своем углу с остывающей бутылкой, и нет предела чувству покинутости, беспросветности, обреченности всего, чем бы ни поманила меня жизнь.

Пишу Сермуксу: не хочу больше себя обманывать и прошу его — если он когда-нибудь встретит Шуру, пусть скажет ему, что я не разлюблю его всю жизнь. Пусть писала ему недобрые письма, пусть сама перестала писать. Ничего не жду, не прошу, одного хочу: пусть знает. А в меня уже не вмещаются все мои беды и обиды...

Сермукс отвечает встревоженно, сдержанно-ласково, обещает, успокаивает, отвлекает — посылает мне открытки с видами Днепропетровска...

67

Еще с первого курса попробовала перейти в университет. Дело это было тогда сверхтрудное, абсолютно «антиобщественное», всячески порицаемое. А переводились многие! И каждый раз — в исключительном случае. Для меня такого не нашлось. Поделилась с Трифоновой. Она пообещала помочь, и в правлении ЛАППа составили ходатайство о переводе: «способный литературный работник» и что-то еще. Это вот тогда и показалось мне, что

Редко-редко, меж дожем и градом,
Солью слез и острым хрустом рук,—
И ко мне заглядывает Радость,
Словно лето за Полярный круг.

Наш ректорат внял и согласился. Университет трижды откладывал на полгода очередной прием. Все ходила туда, надеялась.

Но лицо ее всегда такое,
Что глядишь в него и, как во сне,
До конца, страшась и беспокоясь,
Все не знаешь: радость или нет?

Оказалось — нет.

Прием состоялся. Меня вызвали на комиссию. Тогда все дела вершили студенты, и комиссия была — студенты. Возглавляла ее строгая девица, удивительно годившаяся бы для воплощения моей Другини. При первом ее слове я уже стояла подсудимой. Слов было немного:

— Вы из деревни в институт перелетели? Теперь хотите в университет перелететь? Нам летунов не нужно!

Слово это было тогда модное и хлесткое. Возражать претило и не умела. Повернулась и ушла.

По дороге начался приступ головной боли. Зашла в аптеку на углу, перебирая в кармане копейки — хватит ли на порошки? При выходе натолкнулась на пожилую женщину, попросившую Христа ради с такими глазами. Она прибавила почему-то:

— Неужели же нет жалости?

И во мне вдруг взорвалось все мое отчаяние:

— Нет у меня жалости больше! — почти крикнула я ей в самое лицо и кинулась по лестнице. По дороге все отчетливее возникал в моих глазах ее облик — интеллигентного и очень несчастного человека: худенькая, опрятная, с бедой и мольбой в глазах...

Я помню о ней до сих пор и пишу здесь об этом в компенсацию ей за обиду.

А Врагиня, доделав свое черное дело ведения моей переписки, занялась теперь стихами. Опять написана обвинительная баллада с громким заглавием «Последнее слово, если буду подсудимой». В ней много всякого... «И просроченные ответы даже вежливостью не согреты»... И все неправда, Врагиня! А она пишет дальше: «Его ненависть много мельче, его тон беспринципно-желчен». Это же ложь, Врагиня! Мне было бы легче, если оно было бы так. Другиня решительно берет мое перо:

И несущие его знамя,
Говорят, против нас, а не с нами...
Говорят, что в борьбе за массу
Это — голос чужого класса...

Она честнее, Другиня, она прибавляет «говорят». Она серьезнее. Но после нескольких моих строк она по-своему заканчивает стихотворение, при моем безвольном попустительстве...

Мы втроем записываем это уже в феврале, когда больше нет надежды на письмо, когда последняя опора — в сознании добровольности своего шага.

Упорно учусь жить, гулять в одиночку, не искать вопросов и ответов.

Иду как-то от Марсова поля, мимо Инженерного замка к Летнему саду. Солнечно, покоряюще пахнет весной. На спуске с крутого Лебяжьего мостика натыкаюсь на худого старика, двигающегося навстречу. Он с палкой, одет по-деревенски, очень обтрепан. Но поражает не его платье, а лицо, умное, усталое, полное сдавленной муки. Почему-то он останавливается на минуту и, взглянув на меня, начинает говорить. Я задерживаю шаг, приготовилась услышать просьбу о подаянии. Но он не протянул руки и ничего не просит. Он просто говорит мне:

— Вот и светлый праздник подходит, а у меня и крова над головой не осталось... Ни угла, ни человека родного, некуда и голову преклонить...

Я застываю от неожиданности, а он обходит меня и удаляется тихим шагом, опираясь на палку, не хромая, но словно клонясь к земле под невидимой тяжестью.

Ничем не могу я ему помочь, но обману читателя, если скажу, что тут же стала об этом думать. Нет. Другиня мгновенно затараторила мне в оба уха: «Кулак! Раскулачен... Пусть расхлебывает... Проходи от него скорее!» Послушалась, прошла скорее. Но видно, была я не вся — Другиня, раз так защемило сердце терпкой болью за другого, словно отец мой — пусть грешный, виноватый — прошел мимо во всей своей старческой бездомности...

В августе нас распределяют на «практику», на полгода по школам области. Можно выбирать. Я выбираю... Череповец.

А там еще лето. Вот когда кажется, что еще «ничего не случилось»!

Захожу в гости.

Вячеслав на каникулах, дома. Смотрит пристально, и вдруг — бух:

— Ну что? Прошла твоя любовь?

Отворачиваюсь к стене, рассматриваю географическую карту, ничего не видя.

— У тебя даже шея покраснела. Значит, не прошла...

Странно: напомнили о том, чего я и не забываю, а захлестывает такая свежая боль — места себе не найти. Бегу домой — бульвар Луначарского, улица Карла Маркса...

Бульвар. Скамейка. Больно стиснуть рот,
Погладить край скосившейся калитки,
Бежать домой и запереть в бюро
Холодные и желтые открытки...

...Все глубже осень. Льют дожди. Сижу над ученическими тетрадями, и кажется, что замерла вся жизнь вокруг, сгинуло все, кроме дождя.

Приходит ноябрь. Газеты приносят известие о гибели Аллилуевой. Чувствую, что за этим кроется трагедия. Что-то думает об этом Шура? Много лет спустя услышу предположение, что жена Сталина пыталась возражать против его жестокости. А сейчас, в Череповце, все это для меня — темная вода, и она все темнее. Тошно от мыслей о кровавой неуживчивости людей, о тяжкой путанице их дел и мыслей, над которой они не могут подняться с мудрой добротой.

Праздник — 15-летие Октября. В школе, в городе — знамена, песни, газетные шапки. А у меня — невозможные, пустые вечера.

Юбилей
над катафалком Аллилуевой.
Холод в комнате.
Мозаика страниц.
Я люблю его, *люблю его, люблю его!*
Ни задумать, ни заесть, ни заслонить...

И вопреки всем невозможностям бытия возникает необоротимая потребность *видеть. Говорить. Ждать* вечером. Оставшись одна, попадаю в неограниченную власть этого чувства.

Добирает календарные листки декабрь. По моему городу-музею собирается пройти новогодняя ночь. Это последнее испытание здесь, и — бежать, бежать без оглядки. Практика моя кончается.

Встречаю как-то юношу, снимавшего меня на карточку летом 30-го года. Помнится, зовут его Вадим. Он, видимо, мой одногодок, но я кажусь себе такою пожившей. Вадим работает в мастерской артели часовщиком. Его мать до революции держала какую-то лавочку, теперь — старая и больная, без средств к жизни. Но на работе ему ставят условие: порвать с матерью (возможно, он комсомолец?). Он «порывает», то есть переезжает на квартиру к товарищу. Поздними безлюдными череповецкими вечерами мать потихоньку стучит ему в окно — приносит чистое белье, свежего пирога, забирает стирку. Вадим помогает ей деньгами. И все в порядке. Планета Земля идет по своей орбите. Нетерпимые марксисты-часовщики удовлетворены.

Вадим не переживает трагедии. У него другой характер. Если на его дороге лежит камень, то вся его, Вадима, задача — обойти препятствие. Обошел и спокоен. А я буду мудрствовать: отчего камень? почему здесь? зачем положен? Нельзя ли его убрать? А так как нельзя, то налицо — коллизия и все прочее, из нее вытекающее...

Вадим славный, чистый мальчик. У нас с ним дружба музыкальная. На новогодний вечер он приходит ко мне. Даже не помню никакой еды-питья на столе. Но, кроме гитары, у меня есть еще балалайка и мандолина. Мы меняемся инструментами, показываем друг другу новые пьесы и целый вечер играем вдвоем. Я пою, пою не уставая, пока новому, 1933 году не исполняется два-три часа от роду...

Спасибо и тебе, Вадим!

68

1933, тяжелый для нас год.

Уже стало известно, что другим вузам прибавлен четвертый курс. А нас выпускают после третьего, заверяя, что выдадут дипломы за полный институт. Я усомнилась: не объявили бы нас позднее лицами с незаконченным образованием. Мы возбудили ходатайство о четвертом годе обучения. Соглашались даже учиться еще год без стипендии, работая в школах. Нам отказали.

Дела наши были неважны. По курсу литературы, например, мы проскочили ускоренным маршем, отметая все классово чужеродное, начисто выпустив из программы Достоевского, Лескова, поэта Алексея Толстого, два первых десятилетия XX века... Походя раскритиковали дворян, мужиковствующего Льва Толстого, упадочника Чехова.

После фразы преподавателя о том, что Чехов создал театр настроений, мы задали вопрос: где был построен этот театр — в Москве или в Ялте?

Через год директор школы, считая меня «сильным словесником», вызвал в кабинет и по секрету сознался:

— Новый завуч пришел знакомиться, фамилию назвал, а об имени загадал загадку: как Тургенева! А я и не вспомню... Виду не показал: не в грязь же лицом перед новым подчиненным! Вот и позвал вас: шепните скорее — он сейчас вернется.

Меня «спасло» только неожиданное появление в кабинете кого-то еще. Я улизнула в свой класс, заглянула в учебник и примчалась выручать. Кажется, он не заметил моего маневра...

Тяжел, тяжел был этот последний год.

В нашей комнате жила Надя Борисенко, застенчивая украинка, черноволосая, смуглая, с припухшей щекой — недолеченное вовремя воспаление слюнной железы. Я очень любила ее, хотя кроме гитары у нас с ней ничего не было общего. Надя пела, я впервые услышала:

Я бачив, як вітер березку зломыв...

В ту весну, незадолго до окончания, Надю исключили из института: на Украине вдруг «раскулачили» ее родителей. Она сама сообщила об этом в профком. Теперь уезжала назад, учительствовать. Я только раз мельком видела ее в канцелярии. Она была бледна, с застывшим горем в черных глазах. Ко мне не подошла, боясь, видимо, навязываться или скомпрометировать...

...А ко мне еще приходят открытки из Днепропетровска, сдержанно-нежные и тоскующие. А у меня лежат письма... А тон газет, докладов и радио все резче.

Раз вхожу в нашу комнату днем. Девочек мало, и они смущенно поотвернулись к койкам. В узком проходе на полу — распахнутый чемодан, в котором роется решительного вида незнакомая женщина, нестарая, в защитном костюме. Я останавливаюсь в дверях и сразу понимаю: обыск. Чемодан принадлежит нашей студентке Тане Барановой... Она недавно тоже пропала, не вернулась из театра. Женщина берет какие-то билеты и уходит. Мы убираем чемодан на место. Вспоминаем: недавно Таня была на спектакле «Дни Турбиных» и неумеренно восторгалась...

Таня потом вернулась, но жуть ее исчезновения не забылась. Кого-то из другого здания взяли ночью. А тут еще несколько случаев психических заболеваний. Леша Василинин шагнул в открытое окно с четвертого этажа... Мы хоронили его на Серафимовском кладбище в самые экзамены. Он, правда, давно уже был нездоров. Во время очередного приступа произносил пламенные политические речи. Когда нужно было его взять в больницу, ему говорили, что его вызывают в Смольный, и он шел с поспешностью...

А в это же время экзамены, последние, «государственные». Волнения в связи с распределением по области. Составление при закрытых дверях характеристик на каждого, тайных, направляемых на место будущей работы. И жуткое опять заглядывает в глаза: могу сойти с ума. Вот еще что-нибудь добавится, и не выдержу.

...«Что-нибудь» немедленно добавляется.

Это подряд две, чтобы наверняка дошли, открытки от Сермукса, где между строк, «вверх ногами», микроскопически вписан его новый адрес: «Новоград-Волынск, тюрьма...»

Умоляет прислать ему книги — учебники, алгебру, геометрию для средней школы,— хочет вспомнить, заниматься.

Днем и ночью думаю: подать на почту пакет с таким адресом!! Все посмотрят, поймут, запомнят...

Врагиня моя подсказывает: «Его к тому времени там и не будет. Могут и просто не передать. Школьные учебники? Занять время? А чем рискуешь ты? Он подумал об этом?»

«Замолчи,— кричу ей,— конечно, подумал! Ему нужна живая душа. Он не вынесет один. Если попросил, значит — важно, неотложно...»

Думаю день и ночь. Идут экзамены.

Думаю. Идет время, уходит время.

Ночи мои просто страшны... Пытаюсь успокоиться, опираюсь на одно: еще не сделала, не послала, не виновата, не записана, не замечена, не намечена...

И снова поет евангельский петух, а я падаю ниже апостола Петра. Отрекаюсь. Сгибаюсь от стыда, жалости и муки, от презрения к себе — и отрекаюсь. Не могу выпрямиться под железной плитой сомнений и самого неприкрашенного страха со всеми его режущими гранями. Не покупаю, не отсылаю книг. Не отвечаю. И когда поняла, что не сделаю — опостылела сама себе, стала немолодой и остывшей, без ожиданий и надежд, с невкусной жизнью сейчас и впредь...

...Когда после 1953 года наступила полоса порядков, позволявших спрашивать, я спросила. Военная коллегия Верховного Суда СССР ответила:

«Сведениями о Сермуксе Н. М. Военная коллегия не располагает».

И все. Хочешь верь, хочешь нет. Я что-то не поверила...

69

Возвращаюсь в 1933 год.

Хлопоты нашего отделения о четвертом курсе кончаются тем, что нам разрешают заниматься заочно, с условием выезда на работу по направлению. Учиться на этом условии согласилось всего девять человек.

Собрали наши заявки на место работы; я попросила любой район не слишком далеко, чтобы потом попробовать заняться научной работой по своему предмету. Меня назначили дальше всех, за 1400 километров от Ленинграда, в Заполярье. Сначала я растерялась, но, подумав, осталась довольна: город-новостройка Хибиногорск, трудный край — значит, мужественные, самоотверженные, умные люди! Не Дементьево, во всяком случае. Согласна!..

А июль я живу в общежитии — уехать некуда и не на что. Таких «зимовщиков» совсем мало. Мы встречаемся в столовой, библиотеке, выходим в сумерки на Неву.

Среди оставшихся и Вася Хаджийский. Он где-то работает, а вечерами, видно, скучает. Иногда мы бродим с ним по набережной, раз прошли всю улицу Красных Зорь и обошли Каменный остров.

Он удивительно тактичен, прост: насмешка ему совсем не свойственна. Около него я чувствую себя человеком, и это непривычно отрадно. Вася часами рассказывает мне о своей науке — о созвездиях и невидимых мирах. Впервые так захватывающе открывается мне своеобразная поэзия космических законов, несусветных расстояний, невообразимых скоростей, плотностей, объемов...

В наших прогулках нет ни волнений, ни назначенных встреч, ни осознанного разговора глаз, и я запомню короткую легкую дружбу лишь потому, что впервые за несколько последних лет мне не скучно с человеком и тихо приглушается тлеющая внутри меня боль. Отдыхаю от обычной настороженности — женской, умственной, политической,— с Васей она не нужна.

Как-то раз иду одна в теплый пасмурный вечер начала августа по набережной. Длинные дрожащие пестрые змейки отражений пляшут в Неве — только что зажглись фонари, и по Дворцовому мосту ползут разноцветные огни. Конечно, мне опять скучно. И как же пропустить такой случай моему Поэту? Шагает рядом, говорит стихами, додумывает мое настроение...

Встречаю потом в институте Васю. По его приглашению захожу в их комнату поглядеть новые книги. Говорим об отъезде, и в воздухе висит влажная газообразная туманность расставания. Не помню, почему и как я сказала о своих стихах и как попросил их Вася.

— Они еще не записаны,— говорю я.

Вася открывает внутреннюю сторону переплета книги, подает карандаш.

Я успеваю обо что-то мысленно споткнуться. «Физика» — забавно для стихов...

На Неве, в спокойном затоне,
Долго гаснуть зеленым шелкам.
Август-месяц сырые ладони
Приложил к моим щекам.

Я смотрю на стройные сваи
Отраженных водой дворцов.
Семицветность ночных трамваев
Бегло вспыхивает в лицо.

Я не знала, как тяпет в омут,
Как порой на Неве свежо.
Прислониться бы, как к родному,
И забыть, что чей-то чужой...

Помнится, Вася прочитал спокойно — не смутился, не возмутился, не обрадовался.

— Я это сохраню,— просто говорит он, вежливый читатель — автору. Мне это нравится.

...Когда приеду потом из Хибиногорска в Ленинград на сессию, то узнаю, что Вася Хаджийский арестован и выслан в Сибирь, в Ханты-Мансийский, помнится, национальный округ.

А в тот август разъезжаемся все мы.

Я ничего не знаю о крае, куда еду. Но словно дует в лицо холодный чистый ветер: новое место, новая работа, новая жизнь! Другиня рисует мне ее суровыми красками, напоминает о долге учителя. И не решается продолжить свою мысль... Паузой пользуется Врагиня: «Это твоя последняя возможность смены местожительства и окружения — теперь они станут постоянными. Можно испортить себе жизнь на много лет, а то и совсем. Неужели потянешь за собою старые нити? Они же бесплодны, а ночи и дни тревоги себе заготовишь...»

— Какие же нити? — уныло спрашиваю я.— Разве не все оборвано, утеряно? Только в душе...

А Другиня, не поднимая глаз, берет письма Шуры и Николая Мартыновича, их карточки, тетрадь со стихами, дневники: «Сожжем все! И душа зарастет»...

Прихожу в ужас, вырываю, прижимаю к себе. Другиня смотрит холодно: «Где твоя воля? Вера в себя? В будущее? Где мужество? Где твоя гражданская надежность? Зачем оставишь? Вздыхать? Завязать розовой ленточкой? Мещанство... Интеллигентщина... Сентименты... Нерабочая идеология, болото... Жизнь сама помогает тебе, а ты держишься за худшее в себе... Решиться раз — и ты родишься заново». Врагиня сказала бы иначе, но — согласна.

Мы спорим много дней. Выговариваю себе право сохранить стихи. «Там же нет имен!» — убеждаю я Врагиню. «Это моя работа!» — доказываю Другине. В последнюю минуту, когда зазевались та и другая, прячу открытку Шуры в альбом с другими, туда же — три открытки Сермукса, так как это репродукции и незаметны среди прочих: открыток у меня много, я собираю их с детства. Противницы мои, возможно, сделали вид, что не замечают.

Смотрю на карточку Шуры, миниатюру... Как такое загубить?! Ведь те групповые фотографии скорее всего изъяты у их обладателей. А у меня никогда не будет его Лица... Нет, не хватит меня на такое. «Отдай, это мое!» —

кричу моим мучительницам. Они в панике: я выхожу из подчинения! Они хватают остальное и швыряют в печь...

...И вот приезжаю в неуютный, разбросанный в горах барачный город дошкольного возраста. Потом я привяжусь душой к Хибиногорску за суровую и чистую красу его окрестностей; за нелегкий труд его строителей, а котором «и моего тут будет капля масла».

А пока — неблагоустройство и неразбериха быта. Организационная суета вновь открываемой, только что достроенной школы, первой в городе десятилетки...

Но работа в школе уже захватила меня, как мое главное. Этим можно жить. Ничего не хочу больше...

В конце декабря вызывают в институт на сессию. Выезжаю тридцать первого. Новогодняя ночь наступает в поезде. Усталая, не вмещающая, кажется, уже никаких больше чувств, смотрю на часы, на сближающиеся вверху диска стрелки. Продолжаю слушать болтовню соседей по купе, уже наливающих стаканы — и вдруг ухожу от них за тридевять земель, в тридесятое царство воспоминаний...

А потом в вагоне поют:

А все через очі.
Коли б я їх мав,
За ті карі очи
Душу б я віддав...

Часть V
ХИБИНОГОРСК — ЛЕНИНГРАД

70

И в Хибиногорске вокруг меня женятся, выходят замуж, радуются детям. Все молодые идут по этой вечно новой дорожке неотвратимого стандарта бытия. Механически привыкаю к мысли: когда-нибудь и я... Что ж? Неписаное, несказанное висит над людьми жесткое веление: надо как все... Давно живу по его указке, ничего не выбирая, не сопротивляясь, пригибая голову под общие габариты, с хрустом давя в себе то, что не гнется.

А моя верность никому не нужна, меня давно от нее освободили. Больше того: одобрили бы... И тайные голоса, во мне живущие, все — против нее. Все, кроме разве Поэта. Он удивительно самоуверен; шагает куда-то по прямой, не повторяя зигзагов моего бытия; не выше их, а просто не желает их замечать... Ну, что ж, пусть его. Его и не слышно.

А когда приходит весна — или это приходит двадцать пять лет возраста? — усиливается и тяжело давит душу чувство бездомности, безродности. Одно может еще у меня быть, абсолютно новое, неизведанное, не отравленное, не виновное еще ни в чем передо мною: семья, дети. Свои дети!

А в стране — чистки, раскулачивания, закрытые заседания и вершения. В Хибиногорске большая часть населения — раскулаченные украинцы; немало и уголовников, переполняющих деревянные бараки. Большинство учащихся — дети ссыльных. Они очень серьезны, добросовестно учатся, аккуратны и послушны. Но забывать нельзя: в нелегкой обстановке мы все на пограничном посту. Это внушается нам ежечасно.

ИТР, так называемые «вольные» — люди новые, непрозрачные, по-разному в жизни нацеленные. Когда я как завуч иду слушать урок, в мою обязанность входит понять и его общественную направленность, оценить и понять учителя, человека нездешнего. А нездешние здесь — все: Хибиногорску всего пять лет, считая от времен первой палатки.

Ссыльное население измучено нелегкими условиями жизни и труда, своим неравноправием, которое подчеркивается выборочным приемом на работу, да, помнится, и оплатой ее, распределением жилья — и сто раз иначе... Люди живут только мыслью о конце срока. А когда он подходит для самых первых

поселенцев и в городе проводят торжественную кампанию за добровольное продление времени проживания в Хибинах, уже в качестве «вольных» участников заполярного строительства — приходит распоряжение: по окончании ссылки выезд из Хибин не разрешается... Можно ли сомневаться, кого винят эти люди и всем ли им удастся смириться?

В городе немало ночных ограблений, убийств, порой носящих характер мрачного озорства. Нам, «вольным», день и ночь неустанно твердят об обострении классовой борьбы, проникновении вражеской идеологии и — бдительности, бдительности, бдительности...

А метель разбушуется в несколько минут, точно упав с наклонившихся безжизненных гор. Дважды уже по дороге в школу я была подхвачена ветром, пронесена в стоячем положении вдоль дома и сброшена в снег, как кукла. Раз, выскочив из дома с чайником к артезианской колонке во дворе, тут же потеряла всякое представление о направлении и пространстве. Крутящаяся сухая сметана толкнула, заставила отвернуться — и нет никакой колонки, нет и двора. Я кинулась назад, думала, что — назад. Но уже нет и барака, из которого я вышла, и неизвестно, в какой он стороне. В какой-то мгновенный прорыв мелькает крыльцо, и я выбираюсь, уже не мечтая о чае...

Мы, учителя, разумеется, и в дни бурана приходим в школу.

По обе стороны главной улицы высятся снежные валы, высотою в полтора-два этажа, между ними прорыты проходы к домам. Улица в буран — свирепо продуваемый дырявый туннель. Перебежками я миную проходы, карауля перепады ветра, прижимаясь к каждому увалу, держась руками за слежавшийся мертвый снег.

Не всегда успевают отменить (по радио) школьные занятия. Добросовестные наши ученики бесстрашно выходят в темноту и муть. Но вот, встревожившись, прибежала в школу мать, а сына нет, и из дома давно ушел... А буран, в полной темноте многомесячной полярной ночи, шарахает на станции вагоны и мигом заметает всякие следы. Учителя с фонарями и веревками выходят искать, откапывать, подбирать неосторожных и самоотверженных ребятишек, даже не зная, сколько их ушло из дома и не дошло до школы.

А потом узнаем еще более страшное: 5 декабря 1935 года в четыре часа утра с крутого бока горы Юкспор ринется снежный обвал — набирая скорость, накрутив на себя по дороге несметную тяжесть снега со склона. Расшибет в щепки два «рубленых» двухэтажных, плотно населенных дома, бревнами первого круша следующий. Отрежет от города единственную дорогу на рудник и, выдохшись, завалит все содеянное многометровой толщей уставшего снега. Рудник, фабрика апатита, учреждения встанут, и люди пойдут на три дня — откапывать, спасать, хоронить...

Долгая-долгая полярная зима-ночь выматывает людей.

71

...Нелегко рассказывать.

Столько раз уже слышала: распни! распни его! — обо мне. Теперь ушли все други и недруги. Но пришел час мой, и я сама о себе, кажется, крикну это же слово.

...В тогдашнем Хибиногорске немало работников, приехавших сюда, чтобы поправить материальные дела. «Заполярная надбавка» — настоящий длинный рубль. Квартира где-то бронируется — возврат обеспечен. А здесь «вольные» на вес золота, их ублажают. Есть такие и среди учителей. Они любят большую почасовую нагрузку и, как правило, малоработоспособны во всех прочих случаях.

В нашей школе есть чета преподавателей немецкого языка — супруги Киблер. Немцы. Их худенький немногословный Вилли учится в пятом классе, где преподаю и я.

Отто Карлович высок, тонок, изящен, черноволос, смугловат. Легкая походка, тонкая улыбка, ускользающий взгляд. Он всегда очень спешит и после уроков мгновенно исчезает из школы. Поймать его в такую минуту почти невозможно. От всех поручений и обязанностей, не подлежащих прямой опла-

те, категорически отказывается... Может быть, нынче многим кажется, что так и должно быть, но тогда, да еще в школьной среде,— это было кричаще не в духе времени.

Однажды, счастливо поймав его, я прошу набросать список пособий для других, молодых преподавателей немецкого. Он вежливо отказывается: не может, загружен; сегодня его вызвали в гороно. Я огорчена: кроме него остальные наши «немцы» молоды и неопытны. Случайно в тот же день встречаю инспектора гороно по средней школе Ивана Ивановича. Пеняю ему, что он загружает моих работников так, что они не могут помочь своей же школе.

— Кого это?

— Киблера! — и рассказываю.

Иван Иванович хохочет:

— Вот плут! Ведь наврал! Никто его не вызывал!

Понятно, что с фашизацией Германии и воинственными ее жестами в нашу сторону — отношение наше к немцам натягивается, проникается невольным недоверием; для русских старше двадцати лет это так понятно.

Супруги Киблер давали еще и частные уроки преподавателям и инженерной интеллигенции, и их связи в городе были гораздо шире, чем у остальных учителей. И однажды одна наша учительница, в семье которой Отто Карлович занимается по языку, отзывает меня в сторону и, видимо, как завуча, заместителя директора, ставит в известность об эпизоде, который ее взволновал. Зашла у нее с Отто Карловичем дома, за чаем речь о международных делах, и тот вдруг не только восторженно заговорил о фашизме, но и присовокупил, что русские только и стóят завоевания: это, мол, действительно «навоз истории».

— Я растерялась,— говорит она,— не знала, что и сказать. Но как мог он? Ведь я-то русская!

Я потрясена новостью. Если бы сказал кто другой — не поверила бы. Но учительница несомненно искренна. Она беспартийная, материально обеспечена в семье и в школе работает только «для души», немного. Умна и очень культурна.

«Ты заведующая учебной частью, отвечаешь за школу, за будущих граждан... И к ним ты допускаешь Отто Карловича, приветствующего фашизм?» Конечно, это голос Другини; это ее область, ее право.

Поздним вечером, после ухода всех учителей, в крайнем смятении прихожу к директору школы. Николай Петрович Рудин беспартийный, тогда это было еще сплошь и рядом. Он очень неглуп, находчив, умеет, когда надо, говорить и по душам, неофициально. Но что-то упирается во мне, не хочет с ним делиться — не понимаю почему. Но он — мое прямое начальство, и пока это все — в стенах школы. Он опытен; придумает, что делать, посоветует, разъяснит мне. А Другиня — за плечом, от нее не уйдешь...

Сжимаю неприятное сообщение до сухости. Ничего не прибавляю от себя оценочного: не знаю, чтò прибавить, что думать, что делать. Директор выслушивает меня молча, не двинув бровью. Дослушав, кивает, словно я занесла ему очередную сводку успеваемости. И я ухожу.

Другиня выходит со мною гордо. А я плетусь по коридору в свою рабочую комнату и стараюсь опереться на негнущуюся мою спутницу.

Проходит время. Разговор тихонько забывается. И вдруг меня вызывают... (Как *они* тогда назывались?)

Огромными усилиями отказываюсь от обязанностей постоянного сотрудника «без отрыва»... Предлагают напрямик и твердо, с неуклюжей попыткой припугнуть. А мне так горько и тошно от этого поворота событий, что уже ничего и не страшно. Повторяю ранее сказанное Рудину, так как вижу, что оно им известно. И уже не иду, а тащусь домой, раздавленная неясными контурами случившегося, снова попавшая под колесо...

И вместе с тем так тверд и несомненен голос Другини, что нет чувства неправоты. И нет сомнения: ведь — немец, ведь фашизм! Прочно привиты и рефлекс добросовестного служения, и вера в ответственность вышестоящих людей, и представление о превосходстве государственных вершений над нашими случайными впечатлениями, колебаниями. Только давяще неуютно

в душе, словно нечаянно и по большой необходимости досталась мне временная, не моя, неприятная, но обязательная работа...

Супруги Киблер потом исчезли. Говорили, что жена умерла в тюрьме, а мальчика поместили в детский дом.

Позднее слышала, что Киблер «быстро раскололся», расстрелян. Что очень стойко и долго держалась она, но тоже «раскололась». Что это содержало — не знаю... Еще позднее слышала, будто Киблер был не только «на учете», но и «на службе» — что-то сообщал, наблюдал по поручению... Можно только гадать о степени добровольности этих обязанностей. Но если они у него были, то выполнялись, видимо, в среде педагогической.

А кстати, не было ли здесь дьявольского плана — поручить ему будто бы «проверить» учительницу (может быть, и администрацию школы?), чтобы «живыми свидетельствами» утопить его самого без долгих хлопот? Если так, то машина сработала безотказно... И прием-то совсем не новый в истории...

Но тогда я совсем не думала о том, что лежало дальше, за порогом моего поступка.

Потом, многие годы вспоминая его, надеялась, что в годы войны, в такой близости от фронта, архивы, наверное, сожжены...

Теперь же сама поднимаю неведомое «дело» и читаю его вслух, протестуя против всякой «давности».

Сколько спрашивалось после 53-го года: кто они? Где они, доносчики, клеветники, виновники? Почему они? Как наказаны?

Вот они, читатель, вот почему, вот как наказаны... И сколько их еще ходит в правых, честных, чистых, возмущенных и спрашивающих.

Когда-то Ленин учил нас не только нетерпимости. Но она особенно нравилась нам, молодым, поднятая, как знамя, в песнях:

Кто не с нами, тот наш враг, тот должен пасть...

И стала я тогда еще старше и безрадостней наедине с собою. На людях могла и смеяться, и танцевать. Столько лет подчиняясь неслабеющей диктатуре недоказанного «надо, как все» — я, разумеется, сделала уже немалые успехи.

•

Семь лет прошло после написания этой главы. И вот внезапно и неотложно понадобилось добавить еще несколько строк, неожиданных запоздалых поправок. И таких важных, что можно бы смалодушествовать и снять всю главу. Не снимаю. И не жалею, что рассказала. Потому что все равно в ней остается дух той временнóй правды, припомнить о которой заслужили мы все, а я — больше, чем многие...

...Собрали недавно нас, ветеранов Севера.

Солидный президиум, приветствия, как водится. Один из докладов читал даже мой бывший ученик — пятиклассник Веня Пятовский — 55 лет, доктор наук, профессор, автор книг. Меня не помнит...

И вдруг оказалось: уцелели мои Киблеры! Были высланы всей семьей на Алтай, как немцы, ввиду надвигавшейся войны с Германией. Александра Михайловна жива, кажется, и сейчас. Взрослый Вилли приезжал в Хибиногорск!

Господи, какой камень слагаю я с плеч своих!

72

В ту трудную зиму на небогатом моем горизонте появился Иван.

Он ведет политкружок для учителей. Я сижу, как всегда, на первой парте, иногда задаю вопросы. Первая моя запомнившаяся мысль о нем: какой же некрасивый молодой человек...

Высокий, нервный, худой блондин, сутулый; с запущенными зубами, с красными веками больших навыкате глаз, в очках, в плохо сидящем платье.

Говорит спокойно-убежденно, отвечает чуть волнуясь, но не без мысли; я перестаю его спрашивать: его жаль, ему трудно с нами... Потом он стал как-

то чаще попадаться навстречу, подходить на собраниях, на демонстрации. Я всегда очень стеснялась окружающих, а учеников своих — просто болезненно боюсь. Но если при них говорит со мной он — даже не покраснею: никто не подумает же, что он может мне нравиться...

Сын рабочего с Невского завода, он рано потерял мать, растила мачеха. А когда ему было лет восемь, в годы революции, несчастный случай на заводе — какой-то страшный ожог — унес отца. Мальчик голодает, ездит под вагонами в поисках хлеба. Попадает на фабрику имени Самойловой, о нем заботится комсомол, заставляет учиться, окончить рабфак... Лектором-пропагандистом направляют его на новостройку в Заполярье.

Ни знаниями, ни манерами, ни даже природным умом он не поражает. Поражает — своей огромной, чистой, доброй и какой-то незащищенной душой. Он никогда не знал в семье бескорыстного человеческого тепла, не помнил его, и сберег, накопил жажду большой любви, счастья, скрытую от всех голодную нежность, поразительную для его трудной судьбы моральную цельность и честность.

Иногда мы ходим в кино. Никакой лукавой игры, подхода и обхода... Не скрывая и не навязывая своей растущей привязанности, он часами говорит мне, как давно хотел хорошей семьи, как ему претит всякое иное, как подхожу ему я, как он хотел бы увезти меня в Ленинград, где у него комната, как все было бы чудесно...

Именно ему, единственному за это пятилетие, я рассказываю о моей старой печали и сегодняшнем «молчании сердца». Он принимает это просто и с уважением.

...Весна. Незакатное полярное солнце. Оно стоит высоко в небе, когда в три часа «ночи» я уезжаю в Ленинград на заключительную экзаменационную сессию. Еще месяц занятий — и отпуск...

Выхожу раз после занятий из дверей института на развилок улиц и в толпе студентов, свернувших на Малую Посадскую, вижу вдруг впереди себя человека... Черноволосого, сутуловатого, в плаще чайного цвета, со знакомой походкой.

Кидаюсь вслед, перегоняю прохожих, заслоняющих мне видение. Кого-то толкнула, кого-то обежала и опять иду сзади, чтобы дольше видеть, упиться иллюзией немыслимого праздника. Не хочу догнать и заглянуть в лицо — ускорить гибель очарования. Знаю, что — ошибка, случайное сходство. Но уже мгновенно придумала целую историю: свободен, одинок, приехал найти меня, справлялся в институте...

И никогда так явственно не вспомнила умное, полное мысли лицо, как в ту минуту, когда незнакомец оглянулся сам — обыкновеннейшая, туповатая, лениво думающая физиономия...

...И вот я получаю диплом. Товарищи разъезжаются. Вдруг вижу, что все мои сослуживцы по Хибиногорску, окончившие сейчас со мною четвертый курс, еще в школе заблаговременно запаслись путевками: в Крым, на Кавказ, в дома отдыха, экскурсии. А мне ни разу не пришло в голову, что после сессии и защиты остаются еще великолепные полтора месяца отпуска.

Иду в обком союза и только случайно покупаю путевку в Бобыльское, в дом отдыха учителей в Старом Петергофе. Но это — с августа, на две недели. А еще нет и половины июля...

В довершение — я счастливая на подобные довершения — весь корпус общежития идет на ремонт, и комендант предлагает мне выехать.

Холодно на планете.

В этот день неожиданно приезжает Иван. Он писал мне сюда письма потерявшего голову человека: запирался, говорит, в комнате, ставил на стол мою карточку, бутылку водки — пил, плакал и писал. Подписывался: твой хмельной холоп Ивашка... Не могли порадовать такие письма.

Потом, не справившись с собою, буквально вырвал у начальства отпуск и очертя голову кинулся в Ленинград.

Кажется, еще никто никогда не был так мне рад...

Едва услышав о моих делах, твердит: ко мне, ко мне, ко мне! Всё — потом. Будет видно. Но приют есть.

За шпилями крепости догорает тихий и теплый июльский день. Всегда мне было грустно от заката: уходит солнце, уходит день, уходит молодость, уходит надежда...

Комендант разрешил мне переночевать еще одну ночь. Я не хочу уступать ее никому. Несмотря на все уговоры Ивана, ухожу в общежитие. Сижу на своей койке, в углу, одна на всем этаже, гляжу в окно...

В помещении душно. Рассерженные, недовольные клочья облаков нависают над закатом.

Как седые от пены волны
Опрокинутого океана,
Освещенные снизу тучи
Отливают зловеще желтым.

Оглядываю комнату. Странно: такие горькие месяцы провела я здесь, а теперь они кажутся дорогими и не возвратными. *Лучше* тогда было, была моложе? Ждала еще чего-то? Получала письма... И счастливо, да именно счастливо, хоть и без чувства счастья не знала будущего...

И одиночество, дарящее независимость настроения, моральную дозволенность *любых* воспоминаний, вдруг кажется мне последним моим бесценным сокровищем, которое тоже надо отдать...

Записываю стихи, и заканчивается мой «девичник».

Утром заходит комендант с рабочими.

— Не уехала еще?

— Я могу вынести чемодан на улицу. Я уйду, уйду...

Задевая за кисти и ведра с известкой, тащу чемодан во двор. Не было здесь, да и нигде не было того, кому хотелось бы мне помочь.

Кроме одного Ивана. Он уже бежит навстречу, радостный, преданный, мой...

...Отвезя чемодан, мы гуляем весь день — все как-то отдаляю свое новое «домой». Наконец, я очень устала, приходим к нему на Тележную. Тетка ушла на суточное дежурство. У Ивана приготовлены закуски, бутылка красного вина и, главное,— его счастливое радушие, лучистое тепло, от которого тихонько отогревается сердце...

Вы думаете, теперь занавес опускается — все станет «как у людей», обыкновенно? О, нет...

Возникает тяжкий, обидный, никчемный узел. Лежит и ломает руки от ужаса и горя славный, за муку его дорогой мне человек. И не помочь ему.

С утра уходим гулять, супруги перед людьми, но не перед богом... Опять бледно-розовое небо. Бледно-розовая на мне кофточка. Иван покупает мне букетик цветущего горошка. Люблю горошек. Но букетик почти не пахнет.

Иван ходит по врачам. Они его не радуют: нервное истощение, отцовство невозможно никогда... Самое большое испытание для меня — это его отчаяние. Не знаю, как утешать, что говорить, советовать, делать. Подумала бы, что еще раз вступилась за меня судьба, но не могу так думать: я не одна теперь, у меня есть человеческие обязанности. Гуляем по городу. Время тянется, ничего не меняя. Как временное избавление приходит срок моей путевки в дом отдыха. Иван отпускает меня не споря, но приезжает ко мне каждый день. Ходим по парку. Так идет мой медовый месяц.

Я тихонько готовлю Ивана к мысли — разойтись со мной. Объясняю ему, что не виню, не обижаюсь, не требую ничего, но такой брак противоестествен, рано или поздно обременит обоих. Не надо затягивать драму... Ничего еще не сломано в нашем хибиногорском быту. Никто не узнает.

Ко дню нашего отъезда я говорю окончательно: нет. Тетке ничего не сообщаем. А в поезде я раскладываю вещи в чемоданы по принадлежности и предупреждаю: с вокзала идем врозь. Поезд придет поздно. Возможно, никто и не увидит, что мы приехали в одном вагоне.

Так и было сделано.

Но Иван не хочет помочь мне. Он приходит ко мне теперь в каждый свободный вечер, сидит до глухой ночи и твердит одно: не может иначе. Он надрывает мне душу, уже единственно близкий мне, о ком не могу не печалиться.

Однажды он засиживается у меня до четырех часов утра, ни с чем не в силах считаться. И когда я прошу его оставить мне хоть эти три часа отдыха перед рабочим днем, он вдруг падает лицом в подушку и рыдает глухо и тяжко: не хочет он уходить один. У меня уже нет больше сил. Встаю, одеваюсь, беру зубную щетку, рабочий портфель и подаю Ивану мою подушку — у него дома одна.

Помню абсолютно безлюдную морозную улицу и нас с подушкой, как в пьесе Юрия Олеши. Утром я иду на работу из нового моего дома...

Удивляюсь своей тогдашней решительности (или нерешительности?). Как мыслила я себе такую жизнь на годы? Никак не мыслила. Шла в добровольный полон, уступая силе, не физической, но не менее властной: не могла покинуть, убить, толкнуть к отчаянию человека...

А врачи ошиблись и ошиблись. Мир мой вдруг сузился по профессору Немилову: ожидание неслыханного чуда — своего ребенка — заполнило и переполнило мои дни.

73

По небрежению и невежеству девчонок-медсестер моя дочь погибла, и мне ее даже не показали, как ни просила. Я еле выжила. И каждая встреча на улице с женщиной, несущей в одеяльце малыша, сводила меня с ума. Иван прятал от меня свое горе: он ведь сам хоронил малютку, держал в руках, завернул в простынку...

И все-таки помню: весной, когда я научилась ходить, не держась за стены, надела впервые вместо халата свою розовую блузку, посмотрелась в зеркало — поразилась: я еще молодая... Охватила внезапная, сокрушительная жажда жить, любить так, как я это умею, в полную силу, жажда счастья в полную меру, свободы, всех ветров бескрайнего мира, независимости, права на себя и свою судьбу... И — острое чувство захороненности заживо, трагедии, ошибки, неизбывной беды со мною. Я плакала без памяти, навзрыд, охватив руками незадачливую голову. Все внутренние голоса мои примолкли, не в силах помочь. Нечего им было сказать мне, и они оставили меня, единственно виноватую во всем, наедине с собою.

А ведь брак и не зарегистрирован... Ничего теперь, казалось бы, не держит меня в этих стенах, кроме растущей привязанности мужа. Но через эту привязанность не переступить.

А через год у меня родился *живой* сын! Услышав впервые его требовательный крик, я разрыдалась от счастья, и меня отпаивали успокоительным. Потом положили примолкший, теплый, тяжелый, пошевеливающийся, безумно дорогой комочек мне на ноги и повезли в операционную...

Три года моего замужества мы прожили в Хибиногорске, но Ивана командировали на партучебу в Ленинград. Он очень хотел учиться, скучал по Ленинграду, поехал охотно. Я еще год жила с малышом на Севере.

Приезжает ко мне в няни милая Настасья Михайловна, и мы зимуем в Хибиногорске втроем. Иван часто пишет. Я поправилась. Работаю. Я безумно влюблена в свою крошку, еле выношу часы работы, чтобы скорее увидеть, схватить на руки, надышаться!

И теперь, когда, думается, заполнены все валентности, исполнены требования природы и бытия, упорядочены, приведены к общежитейскому знаменателю формы существования, когда еще меньше времени и уже, приземленней круг забот, теперь — чего мне еще надо? Разве я не счастливая мать? О, да! Разве я безродна, бездомна, отринута людьми? О, нет!

Удивляюсь на себя, недовольна собою, затаенно корю себя. Не сознаюсь, а слышу: растет во мне вкрадчивый, тонкий, сладко-печальный голод по песенному звучанию жизни, по наполненности сердца, по подъему духа до уровня стихов. Только раз очнулся мой Поэт за эти годы в попытке сочинить свои слова к «Колыбельной в бурю» Чайковского. Да не успела записать — забыла стихи... Малыш много болел, не спал днем, просыпался в пять часов утра...

Тяжко прошли по нашему времени, по людям и разуму кировские дни, с выстрелами и кровью, судилищами и списками расстрелянных, напечатанными в газетах. Я читала эти списки. Мелькнула в них фамилия Фабрикант. Человек с таким именем преподавал нам в институте электрификацию сельского хозяйства. Пожилой, обаятельный, образованный, европеец по манерам, он не раз упоминал о своих заграничных поездках... Так это он? Не знаю. Не помню его инициалов. Но список — по ленинградскому университету, а он, помнится, и там преподавал. Список по университету... Оглушительные статьи-материалы: группы студентов увлекались языками, иностранщиной, оторвались от... докатились до... О, как все печально знакомо!

Я рвалась когда-то именно в университет, именно к знаниям, мыслящей молодежи. Всегда хотела выучить языки (не раз бралась) и бросала. Конечно, вполне могла бы очутиться в таком кружке — по изучению разговорной речи, например...

А разве «тихо» было в Хибиногорске?

Исчез и погиб душа хибинской стройки — В. И. Кондриков...

Скрываю от себя, что обо всей этой черной путанице так хотела бы спросить... Кого? Да кого же больше?.. Услышать, хотя бы с недоверием и настороженностью, но — мужественно-независимое, убежденное, выстраданное слово...

(Милый профессор Немилов! Не обижайтесь: я думала это и безмерно усталая, и выворачиваясь от рвоты при любом кухонном запахе, раскраивая распашонки... Не всегда, видно, удается спрятаться в био!)

И где-то, еще в одном тайном подземелье, сдавленно ноет, не замолкает: они тут ни при чем! Но так неисповедимо плетутся нити политических процессов... Не может быть, чтобы теперь не ухудшились условия там, не знаю где, в Сибири, наверное. Может быть — тюрьма. Лучше не думать! Никогда не узнать.

А много лет спустя мне расскажут, как в эти декабрьские дни тридцать четвертого года вышел Шура в Актюбинске к поезду с Саррой — встретить ее кузину, обещавшую погостить у них дня три, проездом куда-то в Азию из Москвы. И он сказал вышедшей из поезда, что останавливаться у них ей ни в коем случае нельзя, потому что положение резко ухудшилось...

74

Летом 1937 года я перебираюсь в Ленинград.

И вот мы четверо, с ребенком, няней — в одиннадцатиметровой комнате. Пианино мое стоит в комнате тетки — у нее 16 метров; больная сестра ее живет на кухне. Няня стелется на ночь в коридорчике на полу.

Нечеловечески трудная работа в ленинградской школе, тем более, что я, чтобы в дальнейшем вести своих учеников, взяла пятые классы. А здание наше еще достраивается, и мы полгода работаем в чужом, во вторую смену. Микрорайон школы — рабочий, но не крупнозаводской. Население в большинстве — невысокой грамотности, детьми занимается мало и неумело. Много неблагополучных семей, немало уголовных историй...

Но жизнь приносит и новое. Мои товарищи по работе здесь — духовно значительно выше. Выпрашиваю путевку в институт усовершенствования учителей. Посещаю его целую зиму, сдаю четыре выпускных экзамена. Там интересные лекторы: совсем уже больной поразительный эрудит Пумпянский, еще благополучный Гуковский, надменный и злой Гофман...

А по страницам газет, в повестках дня собраний — все больше «врагов народа». Вот и мой товарищ по занятиям, вспоминая кировские дни в университете, вдруг рассказывает мне историю одной ленинградской семьи: отца взяли, он не вернулся. Потом взяли мать. Она вскоре где-то там выбросилась из окна. Бабушка с восьмилетней внучкой высланы в Вологду; почти ничего не сумели взять с собой... Долго хожу под тяжким впечатлением. Сто вопросов, десять спорящих по подземельям голосов — ни одному не дано не только ответа, не дано и возможности прозвучать...

1938-й. Обмен квартиры. Улица Белинского. Свободнее. Пианино дома. Пытаюсь брать уроки музыки.

Иван работает экскурсоводом в Музее Ленина. У нас разное время работы, разные выходные дни. Никогда не обсуждаю я с ним наболевших вопросов общественной злободневности — щажу его безоблачную партийность. Да и не жду в ответ ничего сверх того, что найду в газетах и могу без подготовки рассказать сама.

Здоровье мое поскрипывает: плохо сплю, напоминает о себе сердце. Говорю Ивану: взять бы мне с осени поменьше нагрузку в школе. Впервые он удивляет меня: категорически отговаривает. Он увлеченно лепит наше гнездо: мебель, патефон с пластинками (сколько там и моих любимых!), маловата уже детская кроватка... Весной узнаю, что потихоньку от меня, для сюрприза, из каких-то своих лекторских приработков откладывает деньги на дачу.

Помню октябрьский праздник. Идем втроем с сынишкой — смотреть иллюминацию на Невском. «Да-да», «вот-вот», «да нет» или молчим. Придумываю, что бы сказать общее, интересное, чтобы разговориться. Нет такого. И вдруг с ужасом чувствую, что человек, который ведет за руку моего сына — по случайности и его сына,— чужой мне, совсем, давно и бесповоротно.

Другиня и Врагиня резонно внушают мне: вполне благоустроена твоя жизнь. По сравнению с поздним детством, юностью, студенчеством — это просто благополучие: дом, семья, работа, добрый материальный минимум, молодость...

Но ни в позднем детстве, ни в годы студенчества, никогда еще, кажется, не было такой кричащей потребности, звериного голода — иначе жить! Общением, требующим всех сил ума; правом на выбор без понуждения обстоятельств, на чувства, увенчанные всей радугой понимания, познания, творчества...

«Арабская сказка это»,— говорит Другиня.

Но во мне есть простор для этого, неспокойный вакуум, алчущий заполнения. И Поэт мой, один среди них меня понимающий, опять подкладывает мне под руку чистый лист:

...Сырой, туманный августовский вечер.
Холодный луч за облаком потух.
И жжет тоска. И вновь заполнить нечем
Зияющую эту пустоту.

75

Тридцать седьмой...

Он начался гораздо раньше поминала и продлился много дольше его. Сначала он еще не имеет собственного имени. Но уже стеной пошли в наступление газеты, радио, митинги, голосования по учреждениям за высшую меру. В печати растут, как грибы, бесчисленные ...истские заговоры, группы, агентуры и охвостья. Многодневные процессы с перечнем и описаниями фантастических злодейств... Это отравляет воздух, стоит в горле, душит, давит. Мучит жалкое неведение, непонимание, незнание ничего доподлинно и — унылое, механическое подчинение, до омерзения к себе...

Мелькают в печати имена Х. Раковского, К. Радека. Мне слабо помнится их письмо, такое коммунистически-обыкновенное; их поведение тогда — мужественное, неприспособленческое; их место до того в ЦК, в Москве... Как это?

А в газетах — данные об анализе мочи Ежова: его-де хотели отравить ...исты. Что это?

И — тихий страх: хуже и хуже теперь где-то... Просачиваются слухи о свинцовых мерзостях лагерных служак.

Миновала непростая наша юность.
Я «умнее», я повычерпала силы.
Может, больше в прорубь жертвы я не сунусь,
О которой так судьбу свою просила.

За сомнительной надеждой не пойду я
И негреющий очаг свой не покину.
Ради горечи скупого поцелуя
Не рискну судьбою маленького сына...

Тридцать девятый.

И с февраля шагает со мною рядом — десятилетие.

Всего десять лет! Душа стоит на своей невеселой вахте.

Выпал тихий теплый майский день
И повис туманом над Невой.
Ты опять, трагическая тень,
Молчаливо следуешь за мной.

Пытаюсь оглянуться рассудочно: не пожалеть ли о случившемся в Череповце? Нет, не могу. Еще яснее: ничего не было великолепнее! Пожалею только о неслучившемся. И не «прощаю», а — благословляю все это неустройство души, мне тогда подаренное...

И стихи — не могу я без них — все стучатся.

1940-й. Дача в Лисьем Носу.

Уснул сын. Приехал к вечеру муж. Вдвоем идем к морю.

Пасмурно. Теплынь. Запах леса. Тонкая волна прилива изредка, шелестя, подкатывается к ногам.

Почему так смертельно одиноко? Почему тихая прелесть природы говорит мне только одно?

Шелестя, заполняя лагуны,
Набегает бессонный прибой.
Так вот в августе, в вечер безлунный
Мы давно не стояли с тобой.

...Друг далекий, ты был или не был?
Но над болью моей, наяву
По глухому и серому небу
В *твою* сторону тучки плывут.

И приходит день необъяснимого приступа тоски, такой силы и свежести, словно я еще не прожила этих десяти лет.

«Сегодня ты болен или умер, или очень тебя обидели сегодня?»

Места себе не найти. Прячу от людей лицо, беру и кладу вещи, сажусь и вскакиваю.

До утра снится, как где-то на севере, в холодной, затоптанной конторе я спрашиваю. Мне не хотят отвечать...

Где-то в этом году приносит газета лаконичное известие: убит Троцкий. История продолжает свою кровавую поступь. Смерть с длинными руками настигла его даже в далекой Мексике.

Давно ничего не понимаю в бытии, не могу вобрать в себя его свирепости, одержимости, человеческих жертвоприношений под тошнотную декламацию о мире, братстве и любви к народу...

Не хочу думать — все равно не пойму.

...Наверное, в редкой семье не заходит, хотя бы в полушутку, разговора о разводе. Говорим иногда об этом и мы с мужем.

Изумительное благородство не покидает его:

— Если ты хочешь выйти за кого-то замуж, выходи. Я оставлю тебе нашу комнату. Одна сотрудница у нас, брошенная мужем, очень одинока, хороший человек. Она примет меня к себе. Только отдай мне сына! У нее маленькая дочка — будут расти вместе.

Сына! Мое единственное родное сокровище! Как я могу подумать отдать?! Никогда, ни за что, ни при каких условиях...

Как-то вечером в разговоре, усталая, отравленная, не удерживаюсь от критической реплики по поводу очередных выборов в местные советы. Муж

смотрит на меня, как раненый. Ничего не отвечает, молчит. Уходит утром в шесть часов, возвращается и кладет передо мною депутатский мандат. Из скромности промолчал все выборы, хотел неожиданно порадовать. Мне стыдно и горько.

К нам начинают приходить со своими нуждами избиратели — так хочется им помочь. Муж просто неутомим.

1941-й. Дача в Тюрисеве.

Закончив занятия в школе, отправив сына на дачу с няней, еще недели две остаюсь в городе — привожу в порядок зимние вещи семьи. Потом, подарив себе многолетнюю свою мечту — набор масляных красок и палитру, выбираюсь на дачу только в субботу двадцать первого июня. Муж приезжает после работы поздно вечером.

Почему, по поводу чего мы поссорились? Не помню. Но росло отталкивание, изменяла сдержанность. И уже в пятом, кажется, часу утра я решительно говорю:

— Довольно. Решено — разводимся...

Утром он уезжает в город на работу, так и не зная еще, что началась война...

Часть VI

ВОЙНА И ПОСЛЕ ВОЙНЫ

76

Война.

Уже 5 июля Иван ушел добровольцем.

Был в Ярославле на курсах политработников. Вскоре отправили на передовую...

Одно большое письмо. Одна открытка. И сгинул человек — никаких вестей ни от него, ни от других.

Потом, постепенно, в течение тридцати последующих лет по отрывочным данным из разных источников, по кускам собрала неполную, недолгую эту и трагическую повесть.

Рассказ домашних с его слов: выбирался из окружения две недели, полз лесом, питался ягодами. Добрался к своим, сохранил-принес винтовку и партбилет. Свои щедро покормили — и на 9 дней попал в госпиталь с перитонитом (5—13 сентября 41 года). Был между жизнью и смертью. Выжил. Получил два дня на поправку — пришел домой. В эти дни написал нам письмо.

«Здравствуйте, мои дорогие мама и сынуля! Крепко, крепко обнимаю вас и целую несчетное количество раз. Наконец, после долгого молчания пишу вам большое письмо. Не знаю, дойдет ли. Надеюсь, что дойдет. Хорошо бы дошло.

Нинуся, пишу это письмо дома, в нашей комнате. Как-то даже не верится. Как будто сон какой. Сегодня проснулся у себя на кровати в 4 часа. Лежу и не верю. Как это получилось?..

Нинуся, послезавтра я снова ухожу на фронт. В свою часть мне, наверное, не попасть. Так что адреса дать тебе не смогу. Ты поддерживай связь с тетей и няней, которые очень по вам скучают. Няню ты не уговаривай приехать. Пусть она живет здесь и сохраняет вместе с тетей квартиру. Немного у нас с тобой добра, но всего жалко. Все нажито нашей с тобой работой. Будем, Нинуся, надеяться, что снова после всех невзгод и трудностей будем вместе. Еще раз повторяю, береги себя во имя сына. Обнимаю и целую вас крепко, крепко, моих любимых хрюкалок. Будь мужественна, Нина, и открыто смотри на жизнь, борясь со всеми невзгодами. Передаю большой-большой привет от няни и тети, которые вас крепко целуют.

Ваш папа. 14 сентября. 41 года».

Потом он еще раз попадет в Ленинград. В командировку. Город уже скован блокадой. Иван опять пишет нам в Ярославскую область (нас за это время

перевозят в Омскую). Открытка сохранилась. Без даты (так спешил?), штемпель неразборчив. Судя по содержанию, писано в октябре. Получено мною в декабре...

«Здравствуйте, мои родные Нина и сынуля. Крепко вас обнимаю и целую. Совершенно случайно удалось ненадолго забежать домой. Все ваши письма перечитал, очень рад, что Юра поправляется. Прости, что редко пишу. Просто не имею возможности. Я здоров, воюю с фашистской нечистью. Денег все, что получу, перешлю через няню. Крепко вас обнимаю и целую и желаю вам быть здоровым и бодрым. Ваш папа.

К бабушке ехать и не думай. Дорога дальняя. Совсем прервется связь с тетей и няней.

Нина! Главное — береги себя для сына. Обо мне не думай и не волнуйся...»

Мы еще не знали, что Ленинград был отрезан от востока страны фронтовой линией. И я про себя ворчала: зачем ему нужен этот зигзаг «через няню», то есть через Ленинград? А в Сибири, за Байкалом, в Кяхте жила сестра моей матери («бабушка»), которая звала нас к себе на время войны.

Не позднее 23 января 1942 года он попадает в госпиталь. Сведения о нем потом сообщит 325-й ОМСБ (отдельный медико-санитарный батальон).

На корешке денежного перевода на имя няни того же 23 января написано (без обращения):

«Шлю привет, жив и здоров. Получение денег сообщите и перешлите по адресу Нины. Часть оставьте себе на расходы. И. Романов».

Конечно, няня почти все переслала мне, но именно потому, что не должна была пересылать все, от меня тогда ускользнула пугающая «некруглость» суммы: 784 рубля (на деньги той поры). И только почти через три года увижу я этот корешок перевода, сохраненный няней: почерк-то на нем *чужой*!..

А ведь едва не умерший от воспаления легких в волховском госпитале в дни финской войны — он писал мне оттуда сам...

Значит — рука? Или резкая общая слабость?

Но писали явно при нем, с его слов: никто не мог знать о няне, моем отъезде, имени... И писавший без него не написал бы, что он здоров. Это он, он настоял: не хотел пугать, надеялся выздороветь...

Двадцать девятого декабря я написала ответную открытку:

«...Вполне сыты. Береги себя для нас, наш родной... Оставляй денег себе и няне. Здесь есть валенки за 500—800. Не послать ли тебе? Юра не велит писать, что он болел...»

Открытка моя шла туда больше месяца и вдруг вернулась с наклейкой: «Адресат в части не состоит». На наклейке дата: 31 января 1942 года...

И все мои письма стали возвращаться.

Долго ждала нового адреса. Потом без числа писала запросы.

И когда через год, в начале 1943-го, мне на дежурстве подали очередной ответ, я взглянула на обратный адрес: п/п 856 — и, не открывая письма, положила конверт в карман: опять будет то же... Свела воспитанников в столовую, раздала им ужин и зашла с сынишкой на минутку в пустую канцелярию прочитать письмо.

«...в бою за социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявив геройство и мужество,

был РАНЕН и УМЕР ОТ РАН...»

Что есть еще на свете страшнее этих строк?

Прыгающими губами сказала мальчику. Он отчаянно разрыдался.

«31 января 42 года»! Да ведь именно в этот день пришла моя открытка в его часть! Какое же обидное, горькое опоздание!.. Не побыли мы с сыном при последних минутах нашего Родного, не согрели их...

«Похоронен 500 метров западнее станции Понтонная Ленинградской области».

«Мы под Колпином скопом лежим...»

77

1941-й. Эвакуация.

Городок Любим Ярославской области. Две тихие речки. Земляной вал, насыпанный по указанию Елены Глинской, чей сын Иван Грозный приезжал сюда на соколиную охоту.

Миниатюрный гостиный двор. Старое купеческое кладбище с наивными надписями надгробий. И поля зреющих хлебов, рощи, сады и птицы, все цветение русского лета, все краски старых пейзажистов, неведомые северянам.

Не верится, что где-то и не так уж далеко — война.

Но она и здесь подает свой голос.

В городке множество детских учреждений, привезенных с запада страны. Еще летом начинаются болезни и частые смерти детей, особенно детдомовских малышей. Это — начало пути маленьких ленинградцев, такого долгого и мученического, что не могу умолчать о нем.

5 августа 1941 года мой пятилетний сынишка заражается корью от ребенка сторожихи. 9-го — в больницу.

После нескольких смертных случаев с эвакуированными детьми в Любиме мне разрешают ухаживать лично. Режим в больнице вопиющий. Детское отделение вообще — одна палата на все болезни. На койке рядом умирает малыш от общего туберкулеза. На койке напротив — круп, дифтерит? Я до утра подаю питье задыхающейся девочке. К утру она умирает. На рассвете приезжает мать... Медиков, вне утреннего обхода, в палате не бывает.

Медики тоже примечательны. Не взяли на войну только одного главного врача, человека средних лет, на костылях, увлекавшегося наукой, писавшего, кажется, диссертацию. Ему в помощь дали эвакуированную студентку или выпускницу мединститута, практикантку — высокую, тоненькую, стройную, волоокую царевну с тихим голосом, опущенными ресницами, певучими движениями. Главврач — он был холост, жил с матерью — делал теперь обходы вдвоем с царевной. От их тихого служебного разговора веяло песней, на них отрадно было глядеть... Но по бедности — аптеки ли, фармакологической ли фантазии эскулапов — всем детям назначались одинаковые два лекарства каждый день (таблетки и порошки, не могу теперь вспомнить — какие, а долго помнила).

Июль. Окна и двери в палате настежь, сквозняки. Койка моего мальчика между окном и дверью. Уже двустороннее воспаление легких. В течение нескольких дней ему все хуже и хуже. В ночь кризиса он мечется, говорит неладное, меня не узнает, отталкивает, мучительно зовет: мама! Ведро со льдом в коридоре. Страшно отлучиться к нему смочить компресс на головку...

По сроку корь проходит, но жар высокий. Направляют в Ярославль, на консультацию в детскую больницу. Везу сама. Приезжаю к ночи. Несу на руках до изнеможения. Кладу на какое-то крыльцо — перевести дух. Шофер мимоидущей машины останавливается — добрая душа — и привозит нас в больницу.

Оказывается — скарлатина. Да, в Любимской больнице врачи не обтирали рук спиртом, переходя от одного больного к другому, даже когда по всем детишкам в палате пошли мокнущие пузыри пиодермии.

В Ярославле сначала долго сидели в боксе, потом нас направили в инфекционную больницу, пообещав, что мне разрешат ухаживать самой. В этой больнице главврач надменно сказала мне, что сейчас столько матерей теряют сыновей, что мне стыдно и тревожиться. Направила к дежурной — она якобы решит. Дежурная записала и: «Несите в отделение». А там предложили мальчика отдать, а самой ехать домой... Над городом уже летали немецкие разведчики, вот-вот внезапная ночная эвакуация детей, и я никогда не найду сына!

— Не уйду, не отдам, буду спать во дворе под окнами, мне обещали...

— Нельзя без главврача.

— Пойду к дежурному опять.

— Идите.

Темно, фонарей не зажигают — затемнение. Иду не к дежурному — это бесполезно — а к воротам. Ворота на запоре!

Пожилой сторож слушает меня и вдруг, как в доброй сказке, говорит:

— Конечно, не оставляйте. Да еще живете в другом городе... Идите, выпущу потихоньку в калитку и бегите на вокзал...

Выпустил, показал дорогу (и города-то не знаю). Темно, безлюдно, глухо, пустыри...

Ночной поезд. Слежу, чтобы в мое купе не принесли детей. На рассвете — в Любиме. Ждем утра на вокзале (не ели оба с прошлого утра). В 9 часов звоню в больницу:

— Говорите, что делать? Если не признаете у нас скарлатину, я должна ехать с ребенком в детский интернат...

Прислали за нами лошадь, посадили в бокс до сорокового дня — карантин по скарлатине. К концу этого срока малыш начинает глохнуть. Держу ему грелки на ушах — не помогает. Отоларинголога в Любиме нет. Начались какие-то нелады с желудком. И — неизменно высокая температура.

Опять направляют в Ярославль. У меня уже совсем нет денег — зарплаты нам не платили 4 месяца. Я по-прежнему доедаю остатки сыновней порции, да из интерната приносят нам молоко.

Уже октябрь. Ребенок от слабости почти не может стоять. Взваливаю его на спину, в руку — корзинку с едой: хлеб, банки с кашей. Ведь уже нигде ничего не купить, даже если бы и было на что...

Ярославль. Ушное отделение «взрослой» больницы.

Пока нас записывают, слышу за дверью палаты дикое пение, хохот, раздирающий стон.

— Что это? — невольно спрашиваю сестру.

— Мальчик умирает от менингита...

Сына берут. Меня не пускают. Ночь. Бегу разыскивать эвакопункт. Приютили, покормили, дали койку.

Утром — в больницу, к главврачу.

— Он у вас один?

— Один... Где муж, что с домом — не знаю. Дома теперь нет никакого. Мы — ленинградцы...

Изумительный этот человек на моем заявлении пишет: предоставить матери койку рядом и питание...

Задыхаюсь от благодарности и только говорю:

— Желаю вам в трудную минуту жизни встречать людей таких, как вы сами!

В палате на четвертом этаже на половине коек — нервнобольные. Это — подобранные после бомбежек женщины, контуженные, не помнящие даже своего имени и адреса. Доктора-ушника в больнице нет. Прекрасный отоларинголог Орлова недавно переведена на работу в госпиталь. Мальчику хуже. Педиатра тоже в больнице нет.

Узнаю адрес Орловой. Натыкаясь на прохожих в непроглядной тьме осени и затемнения, расспрашиваю — все попадают эвакуированные, никто не знает улиц! — разыскиваю поздним вечером квартиру Орловой.

На мой звонок на площадку лестницы выходит нестарая женщина в военной гимнастерке. Держу в руке температурный листок, который веду уже полтора месяца. Молю простить меня...

— Ребенок. В больнице для взрослых, без помощи. Теперь оглох. Ничего не ест. Рвоты... Разучился ходить. Вы — вся моя надежда, столько слышала о вас... Знаю, что заняты очень. Спасите мне его!

— Завтра вечером приеду...

Приехала, сделала прокол обоих ушек (как он, мученик мой, страшно крикнул два раза! Я сидела у двери — меня не пустили). Назначила лечение.

Слух стал возвращаться.

Вскоре врач Головина сказала: уши здоровы, можно выписывать... А мальчику все хуже: рвота, понос, резкое исхудание, полная потеря аппетита. Врачи больницы, прихода которых удается добиться, не могут поставить диагноза. Дитя мое превратилось в призрак — синее тельце с просвечивающими

сосудами, ручки и ножки — узкие синие палки с желтыми узлами суставов, личико совсем треугольное...

Вот уже дней десять живу без всякой надежды. Но в который раз бегу в ординаторскую: ну, хоть направьте терапевта, хоть посмотрите!

Терапевт уныло осматривает, в который раз спрашивает меня: не было у него туберкулеза?

Понимаю: похоже, как никогда.

— Не было,— говорю,— уверена — это что-то другое!..

Врач перекладывает бессильные ножонки, падающие ручки.

— Возьмите-ка вы его лучше домой... Что уж тут...

И я вдруг кричу:

— А вы спросили, где у меня дом? И есть ли он у меня? Отдаете...

Врач уходит.

Мальчик лежит пластом.

Наклонившись к личику, едва разбираю слова: стал гнусавить.

— Почему это? — спрашиваю очередного забредшего врача.

— Это уже от слабости. Нёбо, носоглотка опускаются, не держат...

Не могут поставить диагноза... А легкие все еще целы.

Последние дни он уже не встает, не ест, почти ничего не говорит.

Стараюсь не уходить надолго, чтобы на всю последующую жизнь наглядеться на свое милое дитя... А оно гаснет. Увидит, что я плачу, и спросит:

— Мама, тебе жалко меня, что я болею?

Пора спать — в отделении притухает свет.

Ложусь, чтобы не мешать ему уснуть. Головой к его койке, чтобы слышать. Не раздеваясь, чтобы не пропустить минуты... Увижу ли утром живого? Отчаяние, бессилие, черное, безумное, распирает грудь. Ужас-то какой... Как же я могу его потерять? Чего я еще не сделала нужного? Что я еще могу?

Могу еще молиться!

Вот той Скоропослушнице, чей небольшой черно-белый образок так почитала моя мать.

«...О, прости мне мои измены — спаси эту маленькую жизнь! Она не виновата... Научи, подскажи, подложи мне под руку последнее и единственное верное средство, вложи мне в голову, что делать...

Приди и постой у этой больничной кроватки! У Тебя тоже был Сын, Ты знаешь... Прикоснись, поддержи, повей животворно... Если спасешь мне его — он будет расти крещеным, обещаю Тебе!

А без этой детской жизни моя уже не имеет никакого смысла...»

...Несколько раз встала — спит.

Утром — жив еще. Жар несколько спал. Но утром — обычно...

И вдруг мысль: не дать ли ему чуть-чуть виноградного вина?

Рядом со мною в палате лежала женщина с сынишкой после операции на среднем ухе. Анастасия Федоровна Семенова, из военгородка под Ярославлем. Ее муж был еще здесь, в городе, и каждый день забегал навестить их. Через нее я попросила его достать мне где-нибудь бутылку хорошего портвейна — мне только что переслали из Любима деньги от мужа...

И всегда буду помнить офицера Семенова, ни разу мною не виденного, который сумел обежать-объехать несколько «закрытых» военных магазинов в городе, найти портвейн и в тот же день вечером принести его в больницу — незнакомой женщине, для маленького умирающего ленинградца...

Дрожа от страха, подала я пол чайной ложечки в бледные губки. Не стошнило. Через час лекарство — не стошнило. В обед чуть поел. К вечеру еще пол-ложечки. И лекарство опять удержалось...

Постепенно перевела больного на три чайные ложки в день. Появляется первая тень улучшения. Только желудок никак не налаживается и слабость угрожающа: мальчик только жив, не больше.

Что делать дальше? Выпрашиваю разрешение вызвать врача из детской поликлиники, находящейся близко. Иду туда, объясняю, получаю обещание.

Никто не приходит.

Иду опять, через день. Вхожу в приемное помещение, где из-за тесноты по углам, за ширмочками работает несколько врачей; тут же, за занавеской — регистратура. Останавливаюсь посреди комнаты и кричу навзрыд:

— Есть ли здесь у кого-нибудь свои дети? Знают ли, как они умирают? У меня погибает маленький сын, рядом с вами — и никто не хочет прийти спасти его!

Меня стали успокаивать, обещать.

— Нет,— говорю,— покажите мне врача, который опять обманет меня. Я хочу видеть, с каким лицом он это сделает...

Женщина постарше меня, в белом халате, серьезно, не обижаясь, кратко сказала мне:

— Я приду, после приема...

Пришла.

— Мне не нравится его животик... Нужен анализ...

Вы думаете, анализ — это завтра готов?

В больнице нет стерильной пробирки. Лаборатория на краю города. Два часа очереди — я еще только получаю посуду. На следующий день — очередь сдать. Ответ? Через неделю. Не справляются.

Исполнилось два месяца непрерывной болезни, неспадавшей температуры. И вот первый день — всего 37! Нормальная. Боже мой! Нормальная... Подношу его к окну: посмотри на птичек! Слабо улыбается...

В этот день и приходит ответ на анализ: брюшной тиф...

Больница — заведующая отделением, дежурные — на дыбы: инфекция! Опасность! Срочно — «скорую»!

И маленького моего, только чуть ожившего — увозят в ту же инфекционную больницу, из которой я его тогда увезла тайком...

Бегу в горздрав, показываю записи, рассказываю.

— Он у вас один?

Подписывают разрешение ухаживать лично.

Главврач вспомнила меня. Ребенка уносят «на осмотр». Часа три в легкой кофточке стою во дворе (уже поздняя осень). И не вспомнят. Нет, это — измор. Чтобы ушла. Стучусь, добиваюсь, впускают.

Одну ночь провожу на диване в палате брюшнотифозных. Все мужчины, солдаты, очень слабые. Ночью стонут, зовут — никто не приходит. Иду за дежурными. В конце длинного коридора кухня. Там, постелившись на полу, спят все трое. Бужу, зову...

С утра главврач наседает на меня опять: уходите!

Опять эвакопункт. Воздушные тревоги. Бежать до больницы далеко. Подолгу мерзну в подворотнях, пережидая тревогу. Однажды со мною вместе под какими-то воротами стоял пожилой солдат. Спросила его о войне. Ведь по тогдашним газетам судить было трудно...

— ...Он идет и идет, просто прет... Он и здесь будет...

Теперь мальчик ест не только хорошо — просто жадно. Еще все тот же скелетик, но с набитым глянцевым животишкой.

Еще две недели. Уже порхает снежок (мое пальто по-прежнему в Любиме). Наконец, мне отдают мое бледное длинное сокровище, не умеющее ходить. Выпрашиваю белого хлеба, сухариков, каши, киселя — корзинка тяжелая. И сын на спине...

Заранее сговорившись с Анастасией Федоровной, тоже выписавшейся из ушного, идем с нею в собор, и под очередную воздушную тревогу сын получает звание православного...

Из собора — на вокзал Всполье. Выехали вечером, а утром его вдребезги разбомбили немцы...

Подрожали еще от холода до утра на любимском вокзале, и попутная машина райкома партии доставила нас в интернат. Там переносила своего выздоравливающего с одного подоконника на другой и занималась с детьми. Любимские врачи по очереди приходили взглянуть на человечка, вернувшегося с того света — его историю уже знали все.

Сын мой помаленьку начал ходить, но долго волочил ножки.

И тут начались бомбежки Любима. Днем немецкие разведчики летали так низко, что я сама ясно видела профиль летчика...

78

Ночью 16 ноября всем интернатом — на вокзал: переезд в Сибирь.

Поселили нас теперь в поселке Калачинская, в семидесяти километрах от Омска.

Летом сорок второго появляются там вновь эвакуированные из Ленинграда, блокадники — страшные тени людей.

Мальчик на носилках: сморщенное личико старичка, от слабости с трудом открывает глаза...

К чести местных жителей (сначала мы там были в новинку) — некоторые разбирали детей к себе по домам прямо с вокзала.

Качаясь при каждом шаге, с узлом белья для меня и сына — приезжает к нам наша няня. Наотрез отказывается жить со мною, боясь обременить, разделив с нами тарелку интернатского супа. Поселяется домовничать к местной жительнице, навещает, помогает, поддерживает нас.

Возможно, я больше не заговорю об этом скромном и героическом человеке. Поэтому не могу не упомянуть еще об одном ее подвиге — возможно, совершенно уникальном...

Октябрь месяц 1941 года. Осажденный, голодный уже Ленинград. Настасья Михайловна там не связана ни с единым учреждением, где кормят. И у нее — иждивенческая карточка.

У меня в Ленинграде еще раньше было запасено понемногу риса, сахара, муки, печенья — для ребенка, на случай перебоев в магазинах. А мы о положении в Ленинграде и даже о блокаде долго не знали.

После болезни мальчик мой требовал есть через каждые три часа, при строжайшей диете — общий интернатский обед для него не годился. Получала я 250 рублей (на те, дважды потом десятикратно уцененные деньги), а для примера, сливочное масло на рынке — 900 рублей килограмм. И вот я пренаивно пишу няне: пришлите, что там у меня есть!

Наверное, единственная из ленинградцев, существовавших на иждивенческую карточку, она выслала из осажденного города продовольственную посылку. Прислала все, большой ящик!

Я взяла месяц отпуска за свой счет, готовила дома и выходила сына.

79

Нелегким был состав детей нашей ленинградской школы № 179 (на улице Моисеенко). К тому же, выехав в первые дни войны, мы вывезли с собою своеобразную квинтэссенцию. Тогда еще не многие родители решались отпустить детей — только совсем отбившихся от рук, или и без того заброшенных по обстоятельствам быта, или просто ставших лишними в семье. Это были распущенные подростки уголовных замашек, с засоренным языком, многознающие. 4—5 классы. Еще не научились никого и ничего уважать и уже никого и ничего не боятся. Скученное общежитие почти исключало индивидуальное влияние педагога, недоедание быстро вырабатывало хищничество по отношению к слабым, младшим, ко всем...

Нашу группу поселили в поселке, при местном интернате глухонемых, в районе базара, просто через дорогу от него, при незапирающихся воротах. «Таланты», заложенные еще дома, стали расти. Нежелание учиться, сквернословие, курение, уголовные взаимоотношения вожаков и «шестерок», проигранные на пари и без того скудные завтраки-ужины, круговая порука, издевки над воспитателем и слабыми товарищами... Никогда не было у меня страшнее жизни, горше куска хлеба, от которого нельзя было и отказаться.

Чванов, верзила с железным кулаком, вожак и наглец, держит всех мальчишек в подчинении, собирает с них дань натурой и трудом — никак не уследить, когда и где (воспитатель дежурит одновременно в двух помещениях, разделенных двором). Матери у Чванова нет, отец на фронте.

Вхожу в спальню мальчиков пригласить их на ужин. Чванов стоит ногами на двух сдвинутых койках — циркулем — и обращается ко мне:

— Нина Михайловна, хочу вас спросить — объясните мне! Вот мой отец спал на постели справа, мать слева, а я посредине. А дети родились... Как это получалось?

Чувствую, что даже нашим остальным мальчишкам передо мною неловко: хихикнули и смолкли.

Никто нигде до сих пор не учит педагога, как встречать острые ситуации. Все общие фразы: надо так сказать, чтобы он... А как и что именно сказать — неизвестно. Ищи сам, да и в ту же минуту...

Я говорю:

— Пошли ужинать!

Не могу привести читателю других вопиющих выходок этого Чванова, чтобы не оскорбить слуха. Многое мы подозревали, многое ужасающе раскрылось позднее. Обращались за помощью к милиции — придите, поговорите о законе, о строгостях военного времени, о долге юноши.

— А что с ними сделать? Дети защитников Ленинграда... Не развяжешься потом...

Учителя школы, куда они ходили, были просто в отчаянии. Сотрудники роно отстранились... Чванов же расцветал все более пышным цветом, все изобретательнее издевался. Можно было часами уговаривать худенького болезненного Олега идти в комнату со двора в лютый сибирский мороз — Олег стучит зубами и не идет:

— Я хочу гулять...

Потом окажется: Чванов наказал — четыре часа на морозе...

Сложный был это народ, мальчишки. Обожали мои устные рассказы и чтение вслух, но сами почти не читали, и доброе из книг не прививалось... Ненавидели фашистов, мечтали о победе, но помочь ей трудом, ученьем, понять общий долг в тылу в годы испытаний — никак не хотели. Научила я их шить, штопать платье, даже сообща вышили шторки на окна с ленинградским вензелем — и шили мальчишки! Разводили цветы... Но грубость, неопрятность, лень, бесшабашность — никак не поддавались искоренению, и выше всего стоял блатной закон. Поговоришь в отдельности — почти все неплохой, голодный и несчастный народец. А вместе — тупая, упорная, эгоистическая сила.

В конце концов Чванов был свергнут с престола самими мальчишками: надоело им унизительное подчинение. Сговорившись, они его побили и стали скопом преследовать. Надо было видеть, как он просил защиты у воспитателей и жаловался, что его «сегодня 13 раз били». Мы ходили по двору, обняв его за плечи и ограждая от тумаков... Уже в Ленинграде после войны ко мне зашел один из воспитанников и принес привет от Чванова:

— Сидит в тюрьме. Велит передать вам спасибо, что научили заплатки ставить — сам чинит себе одежду...

Вот такой педагогический хлеб и ела я много лет, хотя он был порою разнообразнее и даже с редкими изюминками, о которых уже — не здесь.

80

А как они тянулись, годы эвакуации!

Опускаю здесь наши долгие, напряженные, ежечасные размышления, беседы, тревоги и надежды — о войне и победе. Утром, ожидая первую радиовесть, стояли под репродуктором, как на молитве. Жили сводками, слухами, письмами, разговорами, вестями о Ленинграде и фронтах. Сажали-сеяли, строили саманные постройки, рубили лес, подписывались на заем, собирали вещи для фронта, и многое было еще!.. Не буду повторять уже написанное многими.

И убивало тогда не обилие заботы и работы. Убивала живучая корысть, несправедливость, мещанский эгоизм и черствость. Они маскировались под военные трудности, зажимали нам рты. От этого часто неуютно и душно было жить...

Далеко не все сибиряки принимали эвакуированных так сердечно, как об

этом рассказали писатели-лауреаты... Далеко не все эвакуированные соглашались понять, что принесли с собою большое стеснение местному населению. Те и другие предпочитали предъявлять права. Мы были в тягость, потому что вызвали перенаселенность, дороговизну, опустение магазинов. Даже не вызвали, а лишь усилили — и в этом винили нас.

Поселковый совет запретил выгонять нас с квартиры, но моя хозяйка поздней осенью выломала две большие дыры в стене и потолке нашей комнаты (постройка саманная), чтобы я с ребенком ушла от холода. А уйти некуда...

В интернате мне отказали в дровах: вдова военного должна снабжаться через военкомат. В райвоенкомате отказали: эвакуированные должны получать топливо через райисполком. В райисполкоме отказали: учителя сельской местности — получают дрова в своей школе.

Наша школа посылает меня на лесозаготовки. Отказаться не смею — обещают дрова. Устраиваю сына в семье, где живет наша няня.

И вот мы за сутки нарубаем целый тракторный прицеп чистой березы. Но по дороге к дому трактор сдает, отцепляет в лесу сани с дровами и еле уходит сам. Несколько дней не дают трактора, и все дрова быстро исчезают неизвестно куда.

Мне в дровах отказывают опять.

По уговору, за «три палки», то есть три бревна, рисую одной бабе целую колоду карт. Она потом жалуется: одну палку у нее уже украли, и отдает мне две. Моя хозяйка притихает на месяц.

А главное — очень часто, очень тяжело болел мальчик.

Потом наша уборщица Лида — святая душа! — видя, как все интернатское начальство навозило себе дров из интерната, в морозный вечер, когда все попрятались,— *крадет* для меня в нашем школьном сарае три «палки», бросает их на попутные дровни, привозит в мой двор. Совершенно бескорыстно...

Вот приношу с интернатской кухни трехлитровый жестяной бидончик горячей воды (бежать по морозу три квартала). Отлив две кружки, купаю в корыте сына (кружка — окатить), после него в этой воде мою себе голову (вторая кружка — окатиться), после этого в той же воде стираю, потом этой водой мою пол.

Еще все свободные вечера вышиваю местным модницам украинские кофточки (крестом — без канвы, считая нитки ткани при коптилке!) — прирабатываю на молоко сыну.

Еще прохожу с ним программу первого класса, чтобы выиграть для него год и не посылать такого слабенького в метель и вьюгу — школа далеко от нас, у вокзала.

Еще я поступаю заочно в Московский институт иностранных языков на немецкое отделение, чтобы помогать сыну, когда он будет изучать язык в школе. В очередях и ночных бдениях выполняю письменные задания — перешла на второй курс, получила справку! А у сына потом окажется английский...

В сорок четвертом подросших воспитанников наших распределяют по ремесленным училищам, нас зачисляют работать в местную школу глухонемых (я преподаю рукоделие и рисование). Над головой нависает угроза — не попасть домой: ведь мы больше не работники ленинградского интерната!

Все кошмары этих лет — я опускаю здесь еще так много! — придавили меня к земле, но не сделали заземленной до отупения.

Окучиваю с сослуживцами картофель; из-за одышки далеко от них отстаю. Чувствую себя загнанной несчастной клячей, но все равно вижу, какой ослепительно синий день стоит над полем, как цветут межи, как веселы под ветром молодые кусты в степи.

И все равно цветами бессмертниками цветут книги, которые урывками все-таки читаю, сама или с воспитанниками. Здесь, в Калачинске, состоится моя первая встреча с изумительным Вашингтоном Ирвингом (ах, как мне еще немного лет — всего за тридцать!..). С «Мистериями» Гамсуна... Научилась читать и вязать одновременно: связала перчатки и прочла «Крошку Доррит»! Странно: каким величественно-мудрым встал опять Диккенс в эти жестокие годы!

Но одной кровожадной страстью
Упоен извращенный век,
И не слышит призыва к счастью
Обезумевший человек...

Вы думали, нет больше стихов? Вот они!

По дороге домой вдруг сворачиваю на пять минут к чахлому саду-стадиону, с единственной березовой аллеей. Послушать тишину, безлюдье. Посмотреть ранний, бесснежный ноябрь. Небо — почти зеленое от резкой синевы.

За селом безмолвие. Кому откликаться?
Вымокшая белая мертвая трава.
Желтые сквозящие прутики акаций
Солнце поздней осени золотит едва.

И дивлюсь себе: жду еще чего-то...

...Нет. Ведь *есть* еще где-то! Весь ужас в том, что есть и что ему *там* сейчас хуже, чем кому-либо... Если додумать до конца, то дня терять нельзя — человек гибнет. Если жив, конечно.

Где ты теперь? Ходишь в ватнике, под номером, остриженный, худой? Я заработала бы на посылку, без ущерба для сына — ну, хоть бы сухари... Всего десять лет назад был в Енисейске.

И я пишу открытку в Енисейск.

Мне не отвечают.

Нет у нас настолько уважения к человеку, чтобы ответить в любом случае. Не знает — промолчит. Знает — не соберется...

Многими ночами думаю: а написать Сталину? Сказать, что хочу спасти человека, что поручусь за его лояльность на дальнейшее?

...А дальше? Отказ. Потом наблюдение. Может быть, высылка... А главное, за всех, больше всех, на всю жизнь будет наказан мой мальчик.

Нет, нельзя.

Не имею права, Шура Афанасьев, былинное ты мое солнышко!.. Не принадлежу себе.

Вот после заключения мира... Поймут же люди, как надо жить между собою! Может быть, оценят доброту, станут щедры от счастья. Такие огромные волны подняла война. Может быть, смоют и очистят они что-то. И жизнь будет иная. Кто знает, какие невероятности принесет она? И

...Гений злой устало крылья сложит.
И ветер добрый, зелень теребя,
На берег мой покинутый, быть может,
Десятым валом вынесет Тебя?

81

А в Ленинграде, после эвакуации, оказалось, что мои заботы, трудности, усталость, нехватка времени на неотложное могут возрасти неслыханно. Могут стать сложнее. Неясные, срочные, они хватают за горло, требуют новых навыков и качеств, порой невозможных для меня.

Приехали мы — а в Ленинграде закрыли прописку (попковские подписи еще проверяются). Без прописки не поступить на работу. Без работы не получить продуктовых карточек. Комната наша сохранилась, а в гороно мне предлагают ехать в Выборг... Отказываюсь — не могу больше в дорогу. Две недели без карточек — ищу работу. Нахожу работу. С правонарушителями. Прописывают. Еще девять дней жду хлебной карточки. Спросить стесняюсь: скажут, работаю ради шкурного интереса (дуреха-то какая еще! Это не я, это все Другиня).

Мы с ребятенком уже забыли вкус мягкого хлеба. К счастью, еще тянутся сибирские интернатские сухари. В конце девятого дня на меня обрушивается секретарша — грубейшая девица:

— Вам на подносе подавать карточку? У меня из-за вас ведомость не закрыта. Все давно честь-честью взяли, а вы сыты, видно... Пайки пропадают, а вам хоть бы что!

Я протягиваю руку: дайте же скорее!

— Нет уж, поедете в Большой дом, в отдел. Я вернула туда, а сейчас меня по телефону выругали: задерживаем документ. Поезжайте бегом: они уже кончают работать.

Тогда в учреждениях еще досиживали до конца рабочего дня. Застала делопроизводителя. Опять меня ругали, ругали... Сунули карточки и, смягчившись, добавили:

— Бегите скорей! Булочная напротив. Сейчас закроется — потеряете сегодняшние талоны...

Кубарем с пятого этажа, кубарем — через улицу, бомбой — в дверь. На два дня на двоих — целые полбуханки! Взяла в руки ароматный, еще теплый золотистый кубик — и поцеловала!

А мальчик опять похварывает — в легких обнаружены пятна...

Стекла еще заклеены бумагой.

На работу нередко вызывают и в воскресенье. Собрания назначаются на 9—10 часов вечера, когда уложим воспитанников,— чтобы не в рабочее время! И я раз, опоздав на последний трамвай, шла домой пешком от Каменного острова на улицу Белинского — пришла домой в два часа ночи.

...Вот вечер поздний. Поужинал и спит сынишка. Собираюсь тоже лечь и смотрю на стол. На тарелке тонкий, вполсреза ломтик черного хлеба. Очень хочется его съесть. Но тогда — мало на утро. Воздерживаюсь. И, тридцатишестилетняя, думаю «на полном серьезе»: когда придет день, что я смогу есть хлеб досыта, не боясь за завтра,— я буду совершенно счастливая...

И много еще было такого всякого, отуплявшего, превращавшего нас в безличные существа в ватниках, с авоськами. И долго еще мы — «винтики», загнанные разноталанные добытчики, трудяги. Митинговщики и бессловесники вместе. Как в анекдоте: у нас даже много счастья, и мы испытываем его искренне, если горит керосин и выкупить паек хватило денег.

Разросся прозаичный долг,
И список прав моих исчез.
А сердце, сердце, словно волк,
В какой-то дальний смотрит лес...

И сама себе удивляюсь: почему же в дальний?

Дальше идут годы тусклых хлопот. Разочарований: служебных, соседских, семейных, творческих и иных. Темных бед. Одиноких поездок в отпуск... Изредка, в бессонную ночь, вне поводов, охватывает душу усталость от несостоятельных усилий в скучной борьбе за бытие. Обидно добиваться признания твоих явных, всеми забытых человеческих прав. Скучно приводить доказательства в том начальству, редакциям, сыну, знакомым, соседям. Неужели вы так и не рассмотрели лучшего во мне? Устала приспосабливать к вашим требованиям все мои силы, дни и ночи... Оказывается, снова одна, совсем одна и, кажется, все больше одна. Словом, существую и спускаюсь вниз, не знаю куда — иду, видно, ко дну...

...Разражается тысяча девятьсот пятьдесят третий.

Я не возлагаю на него больших надежд. Я грамотная, читаю газеты. Но на мне те же дорогие путы, мешающие лечь на крыло и с лета — в железные двери головой, разбить или разбиться...

Вот уже всего десять лет до пенсии. Не хватает каких-то документов о начале работы, вернее, они бестолково составлены, нужно заменить. Приходит в голову: не понадобится ли документ о стаже библиотечной работы? Я начинала ее еще в институте. И иду в свой институт. Через двадцать лет...

Малолюдно, даже малознакомо. Но первым меня встречает тротуар, по которому я бежала за Двойником. Вторым — зеркало, перед которым бросали почту в вестибюле. Незаметно (для дежурного) глажу холодную поверхность. Она видела на конверте — мелко-мелко черным: Нине Михайловне Ивановой...

Я словно расколдована. Молода, потрясена, живу и скорблю смертельно. Бегу по лестнице. Верхний вестибюль. Он был когда-то читальней — здесь писала свой дневник и те «заметки», будущий план Книги жизни. Здесь — общежитие первого года — на подушку мне клали письма — маленький белый конвертик... Осиротевшая, заклеванная, голодная — какая же была я счастливая тогда! Светом этих писем, живой связи, почтового диалога... Справку мне выдают.

А я выхожу из милого здания, обезумевшая от тоски, от кричащего во мне чувства утраты, усиленного, утроенного.

Мне жуток мой незримый след,
Мне страшно тронуть эту дверь:
Я через двадцать с лишним лет
Не знаю, зажило ль теперь...

Что бы я отдала — хоть узнать!

А *увидеть?* Хочу чуда!

...Теперь он пожилой, женатый, детный. Дети, наверное, все в мать. Все равно. Увидеть! Вот именно так: прийти в дом их лишней, не приглашенной даже сесть. И уйти, перекинувшись двумя фразами с главой семьи, смущенно-безразличным... Это будет страшно, непереносимо больно, но, может быть, исцелит меня?

Ведь он, возможно, где-то живет. Ничего больше не прошу: только узнать...

Подари мне на закате это Чудо —
Разыщи мне ту далекую Звезду!
И я больше ни о чем просить не буду,
И на зов Твой, примиренная, пойду...

82

Тысяча девятьсот пятьдесят седьмой.

Отпуск. Я снимаю в Паланге комнатку и уныло пасусь одна вдоль берега моря. В парке играет симфонический ансамбль, в программе есть «У моря» Шуберта. Прихожу слушать каждый погожий вечер.

Вот сижу раз на скамейке, и садится рядом инженер-литовец, хорошо говорящий по-русски. Разговор идет свободно, просто, как говорят люди, не знающие имен друг друга и могущие сохранить это незнание. Он рассказывает о себе.

Вот он считает, что люди скучно лицемерны, порою искренне заблуждаются, исповедуя воздержание, обедняя жизнь. Он семейный, уважает и любит свою семью, но способен к свежему чувству. Вот вчера он проводил свою здешнюю приятельницу — окончился срок ее путевки...

Я осторожно поворачиваю разговор. Расспрашиваю о Литве, новостях последнего времени. Поняв меня в определенном смысле, он отвечает: да, много нового, много вернувшихся из ссылок и лагерей. Полностью реабилитированы, работают.

Я смотрю на него, едва дыша:

— Как это делают? Хлопотали за них?

— У вас кто-то есть там?

— Да. Очень давно. Потеряла и след...

— Муж?

— Даже нет... Друг моей юности. Очень-очень давно. А не забыть...

Лицо его преображается, тон человечески теплеет, и мы говорим, говорим до сумерек. Он рассказывает, как близкие теперь запрашивают, и это безопасно для них. Как им отвечают. Внимательно, вежливо, без задержки, точно. Многих находят, ходатайствуют, восстанавливают в правах, выписывают, встречают... Реабилитированным помогают с жильем, работой, имуществом. Не попрекают, не сторонятся; жалеют, уважают, щадят, стараются вознаградить.

Советуюсь: как узнать? И он диктует мне московский адрес, по которому направляют запросы.

Возвращаюсь в Ленинград.

Смятение мое камнем лежит на душе. Если бы не этот гриф «МВД» на

моем учреждении (не ирония ли судьбы?)! Ведь мы — не Литва... И если бы не элемент «обмана доверия» в самом факте предполагаемого моего запроса об изгое, зашельмованном и замолчанном... Другиня — она жива. Врагиня — тоже. И тихонько спрашивает: а что ты станешь делать, если тебя уволят? Спросить ведь не о божьей коровке, не об овце закланной, как многие другие...

Медлю. Терзаюсь несказанно.

Теперь и в Ленинграде слышу о десятках случаев возвращения, реабилитации. Постепенно проникает это и в газеты. Работаю, живу, хлопочу дома попрежнему. А думаю неустанно.

И 31 октября посылаю запрос по адресу, узнанному от литовца.

Теперь уже все висит на волоске, на последнем, который отделяет меня от Истины. А огнеподобного лица ее смертельно боюсь.

В конце ноября я заболела, лежала дома. И поминутно ползала к двери — взглянуть на почтовый ящик. Почтальон подал мне письмо в руки второго декабря.

Вхожу в прихожую, держу конверт у груди и думаю: последние минуты ожиданий и гипотез. Разорву бумагу, и лопнет тот волосок, на котором висит все. Не лучше ли не знать? Как буду жить, зная, что знать больше нечего?

Другиня отвечает: будешь жить, как жила, разве не все было отнято? Разве не почти что знаешь самое худшее? Много лет думаешь это — не новостью будет...

Поворачиваю конверт, и он легко расклеивается в руках.

«Военная коллегия Верховного Суда Союза ССР 27 ноября 1957 года...

На Ваше заявление сообщаю, что по имеющимся в Военной коллегии Верховного Суда СССР сведениям гр-н АФАНАСЬЕВ А. Н. умер 20 марта 1945 года.

Свидетельство о смерти АФАНАСЬЕВА А. Н. может быть выдано его ближайшим родственникам по их заявлению. Если Вам станет известен их адрес, то просим его сообщить нам, сославшись на наш номер и дату.

Начальник отделения секретариата Военной коллегии Верховного суда СССР подполковник юстиции — (Мазин)»

Подписал не Мазин, не разобрать кто...

На мое черное счастье никого нет во всей квартире, и долго никто не приходит. Не знала до того, что могу выть в голос...

Кому-то, вполне допускаю, захочется упрекнуть меня в умышленном, без прямой необходимости, усиленном поиске трагических случаев из того тридцатилетия. Напрасно. Они шли на нас стеной, сыпались дождем, неотвратимо прослаивали наше время, встречи, судьбы. Я не упомянула еще о десятках этих горьких историй, прошедших или мелькнувших мимо моего пути, услышанных без всякого задавания вопросов — никто их тогда не задавал...

Сегодня опять вокруг — щедрый июнь.

С безудержным цветением и соловьями незакатных ночей.

Между ним и тем, о котором помню я одна,— легло сорок июней — сухие слабые копии, черно-белые снимки.

Ландыши на столе. Покоряющее дыхание их наплывает в лицо, словно — не через исписанные листы, а через все эти выцветшие годы...

Слиняет и этот июнь, ибо подлинник только один.

Но каждый раз так трудно разминуться с ландышами...

Закончено в июне 1972 г.

Владимир ДРОЗДОВ

◆◆◆

В попоне снега будки телефонов.
Провизия в кошелках на балконах.
Грядущий праздник чувствуя во всем,
мороз шампанский крепнет
с каждой ночью,
и елочный базар со всею мощью
забором деревянным обнесен.
Биндюжной маскарадною артелью
дань отдадим российскому веселью,
год завершая средь бенгальских звезд.
Держава нам подарки притаранит:
тому деньгу, другому кнут и пряник,
тому любовь, мгновенную до слез.

Ну, да иных даров и не просили.
Среди снегов рождественской России
привыкнув жить, растем то вкось,
то ввысь.
Хоть стрелки на часах меняют место —
навек над золотым Адмиралтейством
воздушный парашют зимы повис.
Бывают времена еще покруче.
Но, утаив, кому какая участь,
пусть этот праздник нас потешит всласть.
Сдвигая чаши, светимся, как свечи.
Небесною душою человечьей
то опечалясь, то возвеселясь...

Сенатская площадь

Любовь к отчизне. Что сходить с ума
от холодов и спеси черной знати.
Не ангелы, а белая зима
свидетельница: чистой кровью платит

России сын в любые времена
за право жить и думать без опаски.
Любовь к отчизне — вот и вся вина
отдавших кровь своим снегам
декабрьским...

◆◆◆

В глазницах страх. Стрельцы и плахи.
И мощь кремлевских стен глухих.
Поэт в смирительной рубахе
кует железные стихи.

Куда с такими кандалами
он загремит — не знает сам.
И пахнущие кровью длани
Россия тянет к небесам...

Ворон

В книге времени, книге России
глад и смута на тысячу лет.
Полыхнув — как тряпье в керосине,
строит век свой железный сюжет.
Сгустки влаги лежат у дороги.
В избах ткут паутину углы.
В монастырских владеньях — остроги.
Вместо колоколов — кандалы.

И пока страх брякает затвором
от ливонских границ до Кремля,
тать всевидящий — каторжник — ворон
озирает родные поля.
Проверяет: как ветер дневалит,
как декреты диктует картечь.
На устах его отвердевает
о России свинцовая речь.

◆◆◆

Жмется фонарь к заземленным деревьям аллей.
В парк убывает казенный трамвай безбилетный.
Ближе к полуночи холод еще веселей,
воздух огромней, и каждый прохожий заметней.
Дивную стужу январь создает задарма.
Формула жизни в строжайшей содержится тайне.
Лоб, не иначе, трещит от большого ума,
слова не выжать из тюбика мерзлой гортани.
Гайки покрепче мороз норовит завернуть.
Голову в плечи снегирь убирает румяный.
Дым из трубы перед тем, как отправиться в путь,
долго в испуге стоит над землей безымянной...

Юлиан
СЕМЕНОВ

НЕНАПИСАННЫЕ РОМАНЫ

1

Отношения Сталина с Глебом Максимилиановичем Кржижановским, первым председателем Госплана республики, задуманного Лениным как высший совет выдающихся ученых и практиков науки — «не более ста человек первоклассных экспертов» — были натянутыми с начала двадцать первого года.

Сталин знал, что Кржижановский был одним из ближайших друзей Ильича, отношения их сложились еще с конца века, в шушенской ссылке; вместе *выстрадали* эмиграцию, вместе работали над планом ГОЭЛРО, любили одних и тех же композиторов (прежде всего Бетховена), никогда не расходились в вопросах теории и практики большевизма. В двадцать первом — с подачи Орджоникидзе, Дзержинского и Троцкого — Ленин порекомендовал Кржижановскому согласиться на то, чтобы его заместителем стал Пятаков — «у него администраторская хватка, такой вам — интеллигенту с добрым сердцем — поможет по-настоящему, очень талантлив, хоть и крут, подражает Льву Давыдовичу, военная школа...»

Генеральный секретарь разрешал себе подшучивать над Глебом Максимилиановичем иначе — в присутствии тогдашних своих друзей Каменева и Зиновьева: «Кржижановского надо назначать на самые ответственные участки работы, дать ему собрать аппарат себе подобных, затем набраться терпения, пока не напортачит, а после выгнать всех его протеже вашей, а Кржижановского перевести на новую работу,— пусть снова порезвится в подборе так называемых „кадров",— отменная форма бескровной чистки аппарата».

Зиновьев над предложением Сталина хохотал: «Разумно, а главное, без склок и истерик».

Каменев, однако, качал головой: «Не слишком ли по-византийски? Лиха беда начало, не обернулось бы потом против всех, кто мыслит не по шаблону и подвержен фантазиям. Революции нужны фантазеры в такой же мере, как и прагматики».

Кржижановский знал об этом; Ленину, понятно, ничего не говорил, друга щадил, работал из последних сил, день и ночь; благодаря помощи первого «красного академика» Бухарина, привлек к работе Госплана цвет науки: Вавилова, Иоффе, Крылова.

Именно Кржижановский и рассказал семье Подвойских поразительный эпизод, многое объясняющий — не прямо, но косвенно,— из того, что произошло в стране после смерти Ильича.

Когда друзья Ленина приехали в Горки, «Старик» — так называли его самые близкие — уже лежал в гробу: маленький, рыжий, громаднолобый. Каждый из приехавших подходил к нему; слез не скрывали, стояли подолгу, силясь навсегда вобрать в себя лицо друга, человека, который воистину потряс мир.

Всеми нами, вспоминал Кржижановский, владела страшная, пугавшая каждого растерянность: «А что же дальше? Как поступать? Что сказать Надежде Константиновне? Какие найти слова? Когда выносить тело? Мыслимо ли это вообще?!»

— Я, как и все мы,— рассказывал Подвойским Кржижановский,— ощущал себя маленьким ребенком, брошенным на мороз — ужас, одиночество, растерянность.

Прощаясь, мы стояли подле Ильича, не в силах оторвать глаз от его прекрасного, скорбного лица, стояли безмолвно, потом медленно отходили в сторону, уступая место следующему, надеясь, что Зиновьев ли, Калинин, Бухарин, Рыков, Каменев, Бонч найдет в себе смелость прервать этот леденящий душу процесс прощания с *эпохой*, революцией, Россией, в конечном счете.

Первый цикл «Ненаписанных романов» Ю. Семенова публиковался в «Неве» № 6 1988 года. Продолжение и окончание цикла — в последующих номерах этого года.

Но никто из них не произносил ни слова; молча плакали; плечи тряслись,— странный, как в детстве, звук шмыгающих носов, когда безутешно рыдают малыши, стараясь таить свое горе от взрослых...

А потом к гробу подошел Сталин. Глаза его были сухи, только горели лихорадочно, словно у человека, больного тяжелейшим воспалением легких.

Как и все мы, он стоял возле гроба несколько минут, потом вдруг наклонился к Ильичу, обнял его за шею, *поднял* из гроба и поцеловал в губы долгим, *открытым* поцелуем. Это потрясло всех; мы никогда бы не простили ему этого кощунства, если бы он, опустив голову Ильича на подушечку, не сказал сухо, командно даже — всем и никому:

— Выносить тело.

Я никогда не мог и предположить, что именно он, Сталин, найдет в себе дерзостную отвагу *взять* на себя слова такой простой, но столь необходимой всем нам команды.

(Надо бы нам постараться понять, а значит, и объяснить — себе и нашим детям,— для чего революционерам, приехавшим в ту страшную ночь в Горки, людям, испытавшим каторги, эмиграцию, тюрьмы, ссылки, совершавшим побеги из-за Полярного круга, пришедшим в Революцию для того именно, чтобы бороться за личное достоинство сограждан, которое невозможно вне свободы, в условиях абсолютизма, когда за тебя решают, тебе приказывают и от тебя ждут лишь слепого исполнения приказанного,— отчего этим людям, пророкам Революции, потребовалась команда на поступок, резкая, как удар хлыста?!

Каждая секунда истории человечества хранит в себе триллионы тайн. Однозначный ответ на них невозможен, даже если самые совершенные компьютеры будут включены в работу. Впрочем, последние исследования, проведенные с мозгом Альберта Эйнштейна, дали совершенно новое направление философии науки, подтвердив лишний раз, что мы, надменные Земляне, стоим на берегу безбрежного океана таинственного незнания: если ранее — до нового исследования мозга гения — считалось, что главной его субстанцией является нейронная масса, а *глия* — лишь связующее звено между нейронами, то теперь ученые просчитали, что мозг Эйнштейна, провозгласившего новое качество мышления, состоял на семьдесят процентов именно из глии... А ведь вся система компьютеров строилась на нейронном принципе! Значит, и в этом случае человечество избрало ложный путь, лишив себя гигантского объема знаний?!)

— Я никогда не забуду те речи, которые были произнесены над гробом Ильича,— продолжал Кржижановский.— Я не любил и поныне не люблю Сталина, но его речь, нередактированная еще его помощниками Товстухой и Мехлисом,— была самой сильной из всех, хотя и резко отличалась от той, которая опубликована в собрании его сочинений...

Спустя тринадцать лет, в том же Колонном зале, Сталин (когда еще не началось прощание) зарыдал и, прижав к себе голову Серго, убитого по его приказу, повалился — в истерике — на пол, увлекая за собой тело человека, воспитанного Лениным в маленьком французском городке Лонжюмо.

* * *

Когда гроб с телом Сталина выносили из Колонного зала, я стоял возле манежа. Однако среди тех, кто шел в похоронной процессии, был мой друг — журналист Олег Широков, женатый в ту пору на одной из дальних родственниц Иосифа Виссарионовича. Он-то и рассказал мне эпизод, который навсегда отложился в памяти.

Гроб выносили из подъезда Дома Советов Берия и Маленков, ростом значительно ниже сатрапа; во втором ряду шли Хрущев и Молотов. Гроб чуть перекосило. Берия, не скрывая раздражения, *приказал:*

— Выше поднимайте! Выше!

Все вздернули руки. Только один человек не внял его команде.

Его звали Хрущев.

2

Алексей Ильич Великоречин был парторгом того эскадрона, где комсоргом был мой отец; вместе служили на границе с Турцией в двадцать девятом; с тех пор побратались; в начале тридцатых Великоречина избрали секретарем одного из райкомов партии в Горьком, отец стал работать в Москве, в Наркомтяжпроме, у Серго Орджоникидзе.

Великоречина посадили в тридцать седьмом; несмотря на применение «недопустимых методов ведения следствия», он ни в чем не признался; в тридцать девятом состоялся открытый суд, его реабилитировали «подчистую»,— Берия провел по стране около двадцати «показательных» процессов такого рода, нарабатывал образ сталинского «борца за справедливость».

Войну Великоречин провел в окопах, был отмечен солдатскими наградами, получил звание батальонного комиссара; потом закончил аспирантуру, защитился и стал преподавателем марксизма в Горьковском педагогическом институте; единственным человеком, кто осмелился написать письмо моему отцу, когда тот сидел во Владимирском политическом изоляторе, был именно он, Алексей Ильич; люди моего поколения понимают, каким мужеством надо было обладать, чтобы пойти на это.

Вот он-то и рассказал мне, почему единственный раз в жизни напился допьяна — ни до, ни после с ним такого не случалось.

— Я ведь мужик крестьянский, значит, памятливый... Поэтому меня, знаешь, прямо-таки ошеломило постановление Сталина о закрытии «Общества политкаторжан и ссыльнопоселенцев». Произошло это летом тридцать пятого, вскоре после того, как Каменев и Зиновьев были выведены на первый процесс в связи с убийством Сергея Мироновича... В день закрытия «Общества» я поднял в нашей истпартовской библиотеке подшивки номеров журнала «Каторга и ссылка». Просидел над ними всю ночь напролет,— это, кстати, мне потом ставили в вину на следствии: мол, интерес к «троцкистской клеветнической литературе»... И чем больше я читал журналы, тем зябче становилось: и про Дзержинского там были статьи, и про Фрунзе, Каменева, Свердлова, про Ивана Никитича Смирнова, Антонова-Овсеенко, Дробниса, Радека, Енукидзе, Крыленко, Рыкова, Стуруа, Троцкого, Муралова, Пятакова, Шляпникова, Варейкиса, Кецховели, Бадаева, Орджоникидзе, Шаумяна, Бакаева, Мрачковского, Тер-Петросяна — Камо, Литвинова, а про Сталина — одно-два упоминания, всего-то... Писать про него стали после тридцать первого года, когда Зиновьев, восстановленный в партии, короновал Иосифа Виссарионовича «железным фельдмаршалом революции»... А уж как только «Общество старых большевиков» закрыли, и журнал политкаторжан прихлопнули, порекомендовав перевести его на «спецхранение»,— вот тогда и пошли взахлебные статьи про то, что лишь Ленин и Сталин делали революцию.

Понял я той ужасной ночью, зачем Сталину понадобилось уничтожить академика Покровского! Друг Ильича, партийный историк,— вся наша плеяда по его книгам училась! В тридцать первом Сталин писал, что царскую Россию лупили все, кому не лень — за ее отсталость; теперь, когда он стал «вождем», надо было переориентировать народ: «не нас били, а мы бьем и будем бить»! Покровский-то ограничивал рассмотрение советской истории лишь двадцать третьим годом — последним годом работы Ильича; Сталин потребовал продлить *историю*, включить в учебник Семнадцатый съезд — съезд «Победителей», когда он сделался «Великим Стратегом»... А знаешь кому он поручил эту работу в тридцать шестом? Не столько Жданову, сколько Бухарину, Радеку, Сванидзе, Файзулле Ходжаеву, Яковлеву, Лукину и Бубнову, зная уже, что дни этих людей сочтены, все они будут расстреляны! Можешь объяснить его логику?! Я — не могу! Почему именно смертникам он поручил сделать книгу о себе — «великом вожде революции»?! Полагал, что те до конца растопчут себя, принеся ему еще одну клятву в верности? Опозорятся, создав фальшивку? Или ему были нужны имена тех революционеров, которых знал мир,— как таким не поверить?! Но почему же тогда он не дождался выхода этой книги и расстрелял их?!

Алексей Ильич отхлебнул горячего, крепкого чая — волгарь, он был «водохлебом» — и, сокрушенно покачав головой, продолжил:

— Напился я в ту ночь гнусно, до сих пор самого себя стыдно... Теперь-то я понимаю, отчего это случилось: когда я кончил читать старых большевиков, то по всем нормам чести я был обязан на первом же партийном собрании подняться и объявить во всеуслышание то, что я для себя открыл: не был Сталин «великим революционером» в начале века, никто тогда его не знал; не был он — наравне с Лениным — «вождем Октября»! Что ж нам сейчас голову дурачат?! Неужели мы беспамятное стадо, а не союз мыслящих?! Но,— возражал я себе,— отчего же все те, кто работал с Лениным до революции: Каменев, Орджоникидзе, Рыков с Зиновьевым, Бухарин — все они, начиная с тридцатого года, звали партию следовать именно за Сталиным?! Как же им-то не верить?! Ведь Каменев с Зиновьевым начали славить Сталина не в тюрьме, а когда еще жили на свободе! А Радек?! Они, именно они начали создавать его культ, перья-то у них были золотые, воистину! Ну, и придумал я себе тогда оправдание: мол, историки двадцатых годов были необъективны к Сталину, пользовались его скромностью, замалчивали его роль в революции...

Алексей Ильич набычился, голова у него была античной лепки, крепкая, крутолобая; замер, словно роденовский мыслитель, а потом закончил:

— Когда меня привели на пересуд,— ужв после расстрела Ежова,— один из профессоров, шедший со мной по делу, сказал: «Я закончу свои показания здравицей в честь товарища Сталина,— ведь именно он спас ленинцев от уничтожения бандой Ягоды и Ежова». А новый сосед, которого привезли из Москвы,— он раньше в Наркомпросе работал, у Крупской,— процедил сквозь зубы: «Дорогие мои сотоварищи, если даже нонешний суд нас оправдает, то все равно через пару лет шлепнут, ибо по стране все равно *поползет* правда о том, что мы, ленинцы, перенесли, а ее, эту правду, без нового, тридцать седьмого, не изничтожить...»

...Когда отец вышел из тюрьмы, я спросил его, получил ли он письмо Алексея Ильича. Старик ответил, что ни от кого, кроме меня, писем ему не передавали.

А ведь великоречинское письмо я самолично опустил в почтовый ящик...

Алексей Ильич Великоречин умер в горькие годы «застоя»: сердце не могло смириться с ощущением тинной, засасывающей болотности; заплыл далеко в Черное море и не вернулся...

3

В конце июня 1952 года два фельдъегеря из Кремля приехали к директору Первой Образцовой типографии имени Жданова; в сером низком небе (третий день собиралась гроза, парило) — угадывалось рождение рассвета. Было около четырех.

Директор типографии и секретарь парткома, бледные от волнения, вручили подтянутым капитанам пакет.

— Развяжите,— коротко приказал один из фельдов, квадратный, чуть кривоногий, налитой.

Директор типографии развязал шелковую ленточку (доставали загодя, обращались в Минвнешторг, те прислали пять метров импортных лент трех цветов).

Фельд открыл кожаный, довольно потрепанный портфель черного цвета, уложил в него десять книжечек небольшого формата, в красном сафьяне, с золотым тиснением, молча козырнул и вышел; следом за ним, *прикрывая* спину товарища, мягко прошагал второй.

...В час дня, когда Сталин проснулся, эти книги в сафьяне (после соответствующей проверки химиками — затаившиеся враги народа по сю пору мечтают отравить генералиссимуса, ни один предмет из внешнего мира не должен попадать к вождю без надлежащего контроля экспертов МГБ) были вручены ему начальником охраны.

Сталин взял томик в руки, еще с семинарских времен он относился к Слову как к первоначалию бытия почтительно, с долей мистического страха,— из ничего рождалось нечто, на века; только книга есть единственное выявление Памяти человечества, да и архитектура, пожалуй.

Прежде всего он посмотрел на последнюю страницу с выходными данными: тираж — восемь миллионов триста семьдесят пять тысяч (каждый член ВКП(б) должен иметь его биографию); усмехнулся, заметив номер Главлита: А-04305; на том, чтобы и его книга была выпущена в свет цензурой, настоял сам, повторив на заседании Политбюро свои давние слова: «Что Сталин? Сталин человек маленький. Пусть охранители государственных тайн почитают его биографию, возможно, возникнут какие-то вопросы, поспорим, без сшибки мнений жизнь мертва, сие — диалектика...»

Хрущев и Булганин переглянулись, хотя Сталин, казалось, и не смотрел в их сторону, сразу же поинтересовался:

— Как я понимаю, Хрущев — против?

Никита Сергеевич заставил себя рассмеяться, смех был тихий, горло сдавил спазм; отрицательно покачав головой, начал писать что-то на листе желтой «слоновой» бумаги...

Продолжая рассматривать выходные данные, Сталин обратил внимание и на то, что никто не решился поправить его: утверждая макет, он зачеркнул слово «печатных листа» и поставил «бумажных» — так было принято на Кавказе, когда он переправлял своему учителю Авелю Енукидзе для опубликования в бакинской подпольной типографии брошюры Плеханова, Каутского, Ленина, Жордания, Люксембург, Троцкого, Мартова; привычка — вторая натура, ничего не поделаешь...

Никто не посмел возразить, когда он вымарал фамилии технических редакторов и корректоров,— Сталин человек грамотный, корректоры ему не нужны, как, впрочем, и редакторы, Сталин привык сам себя редактировать, себя и никого другого.

Впрочем, единственным, кого он решил сам отредактировать, был Гитлер; в 1927 году выпустили закрытое издание «Майн кампф» — для *аппарата* — с разверну-

тым предисловием Зиновьева. Споткнулся Сталин на «славянском вопросе» — совершенно неприемлемо, хотя многое в этой озорной книге следовало изучать с карандашом, она того стоила. При повторном изучении текста Сталину показалось, что название книги Гитлера было в какой-то мере навеяно его, Сталина, выступлением, когда он разделил свою жизнь в революции на три периода: «ученик, подмастерье, *мастер*». Усмехнулся, вспомнив масонов,— слава богу, никто из «старой гвардии» не провел параллели, а — могли бы...

Фамилии художника и художественного редактора вычеркнул тоже он, Сталин, заметив составителям биографии — Александрову, Митину и Галлактионову: «Это не „жизнь животных", а биография политического деятеля, при чем здесь художники и художественные редакторы?!»

И лишь после того, как он заново просмотрел фотографии, помещенные в книге, оглавление, сноски,— только после этого пробежал — в который уже раз — текст. Каждое слово было знакомо: многое переписывал, порою целые страницы, компоновал фразы, делал купюры. В первом варианте текст его речи третьего июля сорок первого года был приведен полностью. После долгих размышлений Сталин убрал обращение «братья и сестры» и свою заключительную фразу: «Вперед, на врага, под знаменем партии Ленина — Сталина!».

...Перед обедом приехали врачи: фамилии их он до сих пор толком не запомнил, за тридцать лет привык к своим Вовси, Виноградову и братьям Коганам; сейчас они сидят в камерах-одиночках, дают показания Рюмину, читать страшно, звери, оборотни, душегубы в белых халатах.

Новые врачи провели текущий консилиум,— все в порядке, никаких отклонений от нормы. Правда, один из профессоров заметил, что надо бы внимательно посмотреть щитовидку.

Услыхав это, Сталин сразу же явственно увидел лицо Крупской: щитовидная железа — в случае нарушения ее функций — ведет к базедовой болезни. Все, что угодно, только не это...

Сегодня на обед к себе никого не пригласил. Последнее время подогревал, а порою и готовил еду сам на электрической плитке в своих комнатах.

Обычно, когда приносили обед, наливал суп гостям — Маленкову, Булганину, Хрущеву, Берия, внимательно смотрел, как они ели, только потом наливал себе,— раз живы, значит, яда нет. Господь подарил еще один день, спасибо ему...

Позвал коменданта дачи Ефимова,— тот был кандидатом в члены партии лет восемь, не мог поехать на Дзержинку, на партсобрание, жил здесь безотлучно,—налил ему бульона, и пока он сёрбал, отошел к книжному шкафу, достав книжку Крупской, выпущенную в самом начале тридцатых.

Пролистав несколько страниц, нахмурился. Ефимову сказал уйти, к бульону не прикоснулся, взял карандаш, начал делать пометки на полях, то и дело заглядывая в свою «Биографию»...

Потом достал из кармана медный ключик, отпер *заветный* шкаф, вытащил оттуда рукопись Троцкого под коротким названием «Сталин», привычно открыл страницу — вещь знал почти наизусть — и прочитал *страшную* строку: «В юбилейной статье 1918 года (посвящена первой годовщине революции.— *Ю. С.*) он (Сталин) писал: „Вся работа по практическому руководству восстанием проходила под непосредственным руководством председателя Петроградского Совета тов. Троцкого. Можно с уверенностью сказать, что быстрым переходом гарнизона на сторону Совета партия обязана прежде всего и главным образом тов. Троцкому. Товарищи Антонов и Подвойский были главными помощниками тов. Троцкого"».

Сталин перечитал еще несколько пассажей: «Свердлов огласил письмо Ленина, клеймившее Зиновьева и Каменева и требовавшее их исключения из партии... Чтобы развязать себе руки для агитации против восстания, Каменев подал заявление о выходе из ЦК»... Кризис осложнился тем, что в „Правде" появилось заявление редакции в защиту Каменева и Зиновьева (Сталин был одним из редакторов „Правды".— *Ю. С.*)... Пятью голосами — против Сталина и двух других принимается отставка Каменева. Шестью голосами против Сталина выносится решение, воспрещающее Каменеву и Зиновьеву вести борьбу против ЦК. Протокол гласит: „Сталин заявляет, что выходит из редакции"...» ЦК отставку Сталина (в защиту Каменева и Зиновьева.— *Ю. С.*) отклоняет... На заседании ЦК 21 октября он восстанавливает слишком нарушенное накануне равновесие, внеся предложение поручить Ленину подготовку тезисов к предстоящему съезду Советов и возложить на Троцкого политический доклад... 24 октября утром в Смольном, превращенном в крепость, происходит заседание ЦК... В самом начале принято предложение Каменева, успевшего вновь вернуться в ЦК: «Сегодня без особого постановления ни один член ЦК не может уйти из Смольного». В повестке дня стоит доклад Военно-Революционного Комитета... Самое поразительное в том и состоит, что Сталина на этом решающем заседании нет. Члены ЦК обязались не отлучаться из Смольного. Но Сталин вовсе и не появлялся в его стенах. Об этом непререкаемо свидетельствуют протоколы, опубликованные в 1929 году. Сталин никак не объяснил своего отсутствия — ни устно, ни письменно... Дело идет не о личной трусости — обвинять в ней Сталина нет основания, а о политической двойственности...»

Сталин держал эту рукопись в запертом шкафу, оттого что мучительно боялся, как бы это не прочитали дети: нравственная катастрофа, крушение всех иллюзий. Что касается других,— его это не волновало уже: история переписана, отредактирована, все протоколы съездов и конференций *подогнаны* под новую модель общественного мышления: какая может быть вера фашистскому наймиту Троцкому, засланному врагами в состав ЦК?! Люди теперь будут думать так, как им предписано, не в них дело. Единственно, кого следует постоянно контролировать,— так это историков: кто из них имеет доступ к первоисточникам? Впрочем, в этой стране сейчас не найдется ни одного человека, который бы рискнул назвать черное — черным: *масса* верующих в него, Сталина, вотрет сапогами в асфальт каждого, кто посмеет против него выступить; русские, раз поверив, не отступают, вот уж воистину мужик — как бык...

Единственно, что до сих пор ранило и страшило его, так это письмецо Ленина, отправленное Карпинскому в 1915 году: «Большая просьба: узнайте фамилию Кобы: (Иосиф Дж...? мы забыли)».

У Карпинского есть семья.

Впрочем, решился ли он — после уроков тридцать седьмого — рассказывать *своим* об этом документе? Вряд ли. Ну, а если и решился? Теперь никому нет веры, кроме него, Сталина.

Заварив крепкого чая — Чарквиани присылал лучшие абхазские сорта,— Сталин взял с этажерки пятый том «Собрания» своих сочинений, сразу же открыл нужную страницу, на которой он — в далеком двадцать третьем году — приводил цитату Троцкого: «Перерождение „старой гвардии" наблюдалось в истории не раз. Возьмем наиболее свежий и яркий пример: вожди и партии II Интернационала. Мы ведь знаем, что Вильгельм Либкнехт, Бебель, Каутский, Бернштейн, Лафарг, Гед и другие были прямыми и непосредственными учениками Маркса и Энгельса. Мы знаем, однако, что все эти вожди — одни отчасти, другие целиком — переродились в сторону оппортунизма... Мы должны сказать, именно мы, „старики",— что наше поколение, естественно, играющее руководящую роль в партии, не заключает в себе, однако, никакой самодовлеющей гарантии против постепенного и незаметного ослабления пролетарского и революционного духа, если допустить, что партия потерпела бы дальнейший рост и упрочение аппаратно-бюрократических методов политики, превращающих молодое поколение в пассивный материал для воспитания и поселяющих неизбежно отчужденность между аппаратом и массой, между стариками и молодыми... Молодежь — вернейший барометр партии — резче всего реагирует на партийный бюрократизм...»

Да, Троцкий, конечно, обладал пером, не зря Ленин дал ему в девятьсот втором кличку «Перо», подумал Сталин. Я сделал ошибку, позволив включить это его письмо к партии в нынешнее издание... Он посмотрел на последнюю страницу: редактора, понятно, не было. Впрочем, Молотов не возражал против включения в «Собрание сочинений» этой цитаты... Да и Ворошилов — тоже... Почему? Разве они не понимали, что мои возражения Троцкому прямолинейны, а потому неубедительны?

Сталин прочитал свои строки, медленно шевеля старческими, с голубыми прожилками, губами: «Троцкий, как видно из его письма, причисляет себя к старой гвардии большевиков...»

«Но ведь он не причислял,— в который уже раз возразил себе Сталин.— Он написал просто „старая гвардия"...»

Он снова начал медленно читать, вслушиваясь в слова, сказанные им двадцать девять лет назад: «...непонятно, как можно ставить на одну доску таких оппортунистов и меньшевиков, как Бернштейн, Каутский, Гед и старую гвардию большевиков...»

«Но ведь и это не ответ,— признался он себе.— Во-первых, никто из этих людей не был меньшевиком, это ведь наше, русское — „меньшевик"... А во-вторых, они действительно начинали как истинные марксисты, смешно с этим спорить... Отрицать их вклад — на первом этапе — в развитие марксизма — не научно, любой подготовишка от политики опровергнет...»

Сталин усмехнулся: «Если тогда не попробовали, сейчас и подавно не осмелятся... Но в следующих изданиях моих сочинений Троцкого надо будет убрать, перевести в прямую речь, что ли... „Экономические проблемы" и „Языкознание" красят новое издание — теория всегда украшает книгу... В следующем году, после съезда, надо будет подготовить „Марксизм и наука", „Марксизм и культура", „Марксизм и проблемы Востока" и, наконец, „Марксизм и религия" — это, пожалуй, главное».

Он отхлебнул холодный уже чай и, ощутив ноющее жжение под лопаткой, подумал: «А что же будет, когда я уйду?»

...Недавно военные *подбросили* материал против сына, Василия, любимца. Он долго думал, как с ним говорить, все же человек под погонами, генерал-полковник, самый молодой в армии, надо щадить его самолюбие.

Сын должен понять, на то он и сын, не *волчонок же* (так называл Якова, испытывая к нему непонятную самому себе неприязнь)?!

Поэтому, усадив Василия напротив, долго молчал, упершись своими желтыми, немигающими глазами в такие же рысьи глаза сына; потом, глухо откашлявшись, сказал — тихо, с болью:

— Ты думаешь, ты — Сталин? — Он отрицательно покачал головой.— Нет. Ты не Сталин. Думаешь, я — Сталин? — спросил еще глуше и, глубоко, судорожно вздохнув, ответил: — Нет, я тоже не Сталин. Он, Сталин, там,— генералиссимус поглядел на потолок, потом перевел взгляд на окно, кивнув на бездонную синь неба.— Исходя из этого состоявшегося факта, тебе и надлежит контролировать все свои поступки... Слишком много глаз... Русские люди желают видеть сына их Бога человеком идеальным. Понятно? Такой у нас, русских, характер. Изменить его не дано никому. Нация,— Сталин, наконец, улыбнулся,— идеалистических материалистов.

...Перед тем, как выехать в Кремль, он еще раз полистал томик Крупской. Эту первую редакцию ее воспоминаний изъяли еще в тридцать четвертом, большую часть уничтожили, что-то затерялось в спецхранениях, но ведь сколько осталось в личных библиотеках?! Поэтому во время арестов приказал все библиотеки конфисковать; политическую литературу, изданную до тридцатого года, немедленно сжигать; если же обнаружат книги Бухарина, Каменева или Троцкого,— расстреливать по решению «тройки». ЧП случилось с Блюхером. После его ареста не осталось времени перепечатать школьные учебники по истории,— там был помещен его портрет: «легендарный маршал». Кто-то предложил разослать инструктаж всем районо: поручить учителям вместе со школьниками во время первого же урока закрасить лицо *шпиона* черной тушью, объяснив при этом детям, как ловко маскировался японский наймит, готовивший открыть границы Дальнего Востока самураям...

Сталину потом сообщили, что дети не удовольствовались одной лишь тушью... Перед тем, как замазать фотографию, они выкалывали глаза «изменнику и диверсанту»,— первому кавалеру ордена Красного Знамени, герою Волочаевки и Халхин-Гола.

Генералиссимус листал воспоминания Крупской, и тяжелая ярость вновь рождалась в нем: каждая ее строка дышала неприязнью к нему, Сталину. А что он мог сделать с ней в тридцатом? Ничего он не мог тогда сделать, висел на волоске... Найдись кто решительный среди старой гвардии — не жить бы ему сейчас на Ближней Даче...

Он вдруг споткнулся: «жить»? А разве я живу? Разве это жизнь, когда приходится каждую ночь запирать дверь в свои покои, выключать свет, и в темноте, чтобы не заметили охранники, дежурившие в саду,— менять место сна: в каждой комнате стоял низкий диван, он сам переносил подушки и белье, стараясь ступать бесшумно, чтобы никто не узнал, где он ляжет,— кому можно верить на этом свете?! Кому?!

Ночью, вернувшись в Кунцево, спросил Ефимова:

— У нас есть печь в доме?

— Конечно!

— Я имею в виду не электрическую печь,— пояснил Сталин.— Есть ли у нас печь, типа деревенской?

Он бросил в пламя рукопись Троцкого, книгу Бориса Суварина,— первую биографию Сталина, сделанную на Западе, а уж потом кинул в алчно завывшую топку томик Крупской.

...Все мы смертны, сказал он себе, всем своим существом сопротивляясь этим успокоительно-страшным словам. Но с ужаснувшей его кинематографической четкостью представил, как после его смерти сын Василий откроет шкаф и достанет потаенные рукописи, книжку Крупской, ее первое, не отредактированное им издание, представил себе тот удар, который ощутит мальчик, прочитав первое издание протоколов ЦК накануне Октября, странички показаний Бухарина, написанные его, Сталина, рукой, стихи, посвященные ему Николаем, что были написаны накануне ареста. Сталина охватил страх — неведомый ему ранее страх — отца, который оставляет на земле двух сирот... Почти все Аллилуевы в тюрьме — вздумали написать в мемуарах, что он у них в ночь Октябрьского переворота пил чай; правдолюбцы; воистину, услужливый дурак опаснее врага, лили воду на мельницу Троцкого!

Он смотрел на то, как огонь пожирал бумагу, ломал ее, корчил, превращал в черный *монолит*, который сделается пеплом, стоит лишь подуть на него, и почувствовал вдруг, как глаза его наполнились слезами; такого с ним не случалось давно, он уж и не помнил, когда плакал — после июня сорок первого.

Вернувшись к себе, тщательно запер дверь, выключил свет и, сняв мягкие ичиги, пошел в ту комнату, где решил сегодня спать. Раздевался долго, по-стариковски, стыдясь своего кряхтенья, саднящей боли в затылке, тяжелого гуда в ушах, ломоты в пояснице.

Лег на мягкий, очень низкий диван, закрыл глаза, начал считать, чтобы поскорее уснуть, но сон не шел к нему. С трудом поднявшись, он перешел в другую комнату, включил свет и поднял с пола свою «Биографию». Комендант Ефимов раскладывал в каждой книге по одному экземпляру той книги, которую днем читал Хозяин.

Набросив на себя шинель, Сталин присел на краешек стула и начал читать. Постепенно успокоился, пришло тихое умиротворение.

«Несчастные люди алчут простоты и ясности, они устали от сложности и многообразия. Они не забудут меня хотя бы за то, что я поднял их до себя, позволив каждому считать себя мудрым и убежденным в завтрашнем дне. Разве такое благо забывают?! Мы, русские, благодарный народ,— успокаивал себя,— нет народа благодарней».

Вдруг он услышал песню, которую пела мама, когда оставалась одна в их маленьком доме. Она не знала русского, так до смерти и не выучилась, обижалась, бедненькая, когда ей говорили, что любимый сын был исключен из семинарии, говорила всем: «Я сама его оттуда взяла, он заболел легкими, кто мог исключить такого умного мальчика?!» Конечно, в двадцатых это не преминули напечатать в Грузии; слава богу, до России не дошло; того, кто переводил с грузинского, расстреляли, газетчиков ликвидировали.

Сталин понял, что ему не уснуть сегодня. Он пошел в ванную, достал тот порошок для сна, что ему выписывали братья Коганы начиная с двадцать седьмого года; выпил, прополоскав рот глотком боржоми и отправился в самую дальнюю комнату: сон теперь придет быстро, он будет легким, без разрывающих душу сновидений...

Но сон тем не менее не пришел к нему сразу же, как бывало раньше. Он отчего-то явственно увидел лицо матери Меркадера — того испанца, который проломил длинный, яйцеобразный череп Троцкого швейцарским ледорубом.

В сороковом году Берия привез к нему эту женщину, и Сталин вручил ей награду, которой был удостоен ее сын за этот беспримерный подвиг.

Сталин считал, что дни Меркадера сочтены — в общем-то это по правилам, знал, на что шел; его тронули слова испанки, которая, несмотря на годы и горе, смотрелась хорошо, была очень женственна.

— Камарада Сталин, если потребуется моя жизнь,— сказала она,— я отдам ее за вас со слезами счастья.

— Спасибо,— ответил тогда Сталин,— но ваша жизнь, жизнь матери, давшей жизнь сыну, нужна ему. Скоро вы встретитесь, обещаю.

«Где она, интересно? — подумал Сталин.— А сына ее не расстреляли только потому, что смогли перевербовать... Неважно, что на суде он молчал... Мы умеем заставлять говорить в суде, они — в камере, с глазу на глаз с тем, кто сулит жизнь...»

Он вдруг услышал хруст пробиваемого черепа, почувствовал сладкий запах крови, залившей лицо Троцкого, представил себе, как тот пытался вырвать из рук Меркадера ледоруб, чтобы не дать нанести второй удар...

Сталину стало не по себе, и он перешел в самую первую комнату, возле входа в покои, тихо опустился на диван и затаился, прислушиваясь к тихим шагам охраны. Его охватило зловещее предчувствие чего-то неотвратимо страшного, он решил было снова подняться, чтобы взять пистолет, но не смог — провалился в тихое забытье, которого так хотел и одновременно боялся...

4

Мой многолетний партнер по биллиарду, писатель Николай Асанов, был человеком труднейшей судьбы; впервые его арестовали в начале тридцатых, потом выпустили, вскоре забрали снова; каждый день он писал письма наркому внутренних дел Ягоде и прокурору Вышинскому, ответов, понятно, не получал. Отчаявшись, обратился к Сталину. Через две недели, в день Первого мая, в три часа утра, его подняли с нар и повели по бесконечным коридорам внутренней тюрьмы, пока он не оказался в большом кабинете.

Напротив него сидела женщина в глубоко декольтированном платье, ангельской красоты и кротости.

— Я не поверил своим глазам,— рассказывал Асанов, выцеливая шар.— Это была Марьяна, видный работник эн-ка-ве-дэ, жена одного из руководителей нашего писательского Союза. Я потянулся к ней, ощутив слезы счастья на щеках; она, однако, чуть отодвинулась, но сделала это так, что я сразу не ощутил пропасть между нами... Тем не менее ласковым, доброжелательным голосом она спросила, как я себя чувствую, нет ли каких жалоб, а затем предложила объяснить — более подробно, чем в письме товарищу Сталину,— почему я считаю несправедливым происшедшее со мною.

Сбиваясь, путаясь, испытывая желание приблизиться к ней, ощутить ее тепло — ведь мы же были на «ты» раньше,— я принялся излагать свое дело, а это ужасно, когда

тебе приходится оправдываться в том, в чем ты никак не повинен. Наверное, я был смешон, жалок и неубедителен.

А за окном была рассветающая Москва, и гулькающие голуби ходили по отливам окон громадного кабинета Марьяны. Я ощущал тонкий запах ее духов и горечь длинных папирос, которые она курила, сосредоточенно слушая мое бормотание. Марьяна вдруг резко поднялась, и прелесть ее точеной фигуры снова ошеломила меня, сделала арестантом, мастурбирующим на *мечту*, подошла ко мне, протянула папиросу и тихо, с горечью сказала:

— Послушай, Асанов, хватит нитки на ... мотать! Садись-ка лучше за стол и пиши правдивые показания, это, убеждена, спасет тебе жизнь...

Последние ее слова я слышал уже в состоянии полуобморочном, потому что начал сползать со стула на ковер.

Асанов красиво положил шар, посмотрел на меня своими постоянно смеющимися глазами, в глубине которых прочитывалась неизбывная горечь и, намелив свой фирменный кий, купленный за четвертак у нашего маркера Николая Березина, поинтересовался:

— Не правда ли, прелюбопытнейший сюжетец, а?

Асанова вскоре выпустили. А Марьяну убрали — пришел Ежов, начал «подчищать» последние кадры Ягоды; расстрельщик Васюков (официально назывался «исполнитель») с работой не справлялся, пришлось поставить дело на конвейер, убивали из пулеметов; чтобы не было слышно, во дворе заводили грузовики; шоферам велели газовать на всю «педаль» — полная гарантия...

Николай ШАМСУТДИНОВ

Отъезд

Ошалев на ветру, неумолчно канючит калитка,
Подряхлевшими ставнями дом прикрывает глаза.
Выстывает под матицей осиротевшая зыбка...
Уезжая, бросают — такое случается! —
Пса.
Пса! —
Хранителя, доброго ангела старого дома
По испытанной сути своей,
Добродушного друга, укромно,
Упоенно лизавшего в теплые щеки детей.
Пса! —
На волчьем клокочущем горле, спасая хозяина,
Молча, мертвою хваткой сцепившего в схватке клыки.
Пса, по грубому снегу (как плакал хозяин раскаянно!)
Пропахавшего красный, дымящийся след от тайги.

Виноватая спешка...
Бросают бездольного пса — плачут дети.
Словно все понимая, пес тоскливо молчит у стены.
Плачут малые дети на снежном недужном рассвете,
Ведь минуты прощанья отчаяньем отягчены.
Плачут малые дети... Хозяин угрюмый
Их торопит.
Понура, давно выстывает изба.
Плачут малые дети...
Хозяин, подумай! —
Ведь жестокость твоя замахнется потом на тебя.

Но отзывно запел чистый утренний снег под полозьями,
Переулки пошли перебрасывать гаснущий лай.
Чтоб, хозяин, тебя в горькой старости дети не бросили,—
И такое случается,—
пса пожалей...
Не бросай!

На Ладоге

Здесь вещие краснoперы зори,
Ромашкой крашены холсты...
Такая синь сквозит во взоре
Артезианской чистоты!

Серебряное захолустье.
Рассвет.
Полынь в морозном хрусте,
Мерцает иней на капусте,
Отряхивает бронзу клен.
И, вне сомнения и грусти,
Глядит на нас из тьмы времен
Простоволосый русый лен.

По речкам, рощицам теряем
Прародину...
А в горький час
То ль мы к природе припадаем,
То ли природа стонет в нас...
Где чувство общего истока?

В минуты горести тебя
Обстанут клены над протокой —
Языческие братовья.

Часовенка с правобережья,
Ты усыхаешь на глазах,
И синева сквозь бревна брезжит
В твоих исплаканных пазах.
И сердце ноет, что в России,
Как реки в уходящей силе,
Пересыхают имена
Ивана и Анастасии...

Задумчивая сторона,
Глухой тропинкою лесною
Приду сюда —
Лишь тишь со мною —
Сюда, где говорлив родник,
И речь, и душу мне омоет
Прозрачный сестринский язык.

Судьбы

Памяти А. Тарковского

Есть непризнанье — с отсветом
страданья,
Есть грязная игра в страданье... Но
В кромешном отрицанье — пониманье,
Что будущим оно начинено —
Вне догм, постановлений, сроков...
Вот так из праха, сумрачен, тяжел,
Выламывается Набоков,
В забвенье вмят.
И — сокровенный скол
С судьбы молчащих миллионов —
В печальной тяге к будущим мирам,
С мучительным усилием
Платонов
Из бездны боли обернулся к нам,
В былом оттерт от жизни...
А из мрака,
Где певчий дух томится взаперти,
Рябина над могилой Пастернака
Разгневанно стучится к нам —
Впусти
Иззябшую к себе,
Согрей в страданье!
И воспаленно вглядываюсь я
В те лица там,
за пристальною гранью,
Растущей прямо из небытия.
Напластованья муки между нами —
Так что ж в нас потрясенье не кричит?!
Надежно спазматическая память
От сопереживания хранит.
Забвенье, отлучения — вне правил!..
Пора спросить —
(Жаль, не видать лица) —
Того, кто нас на истину ограбил,
Унизив полуправдою
Творца.
И вот, ровесник водородной бомбы,
К любому в мире нервами пришит,
Из маяты прошу:
«Сорвите пломбу,
Холодные соотчи, с души!
Не заблудитесь, увязая в личном,
В потемках тесной бытовщины!..»

Нет! —
Глядят и судят с безразличьем,
Как о перемещении планет.
...Художник, перешагивая Канны,
Ушел — как затушил наветный свет.
Крылами горько бьют киноэкраны,
Стремясь вослед,
А направленья — нет.
Душа набрякла болью. Не от ветра
Глаза красны в неотвратимый час.
И только смерть ждет своего ответа.
А кто из нас его, скажите, даст?

К пурге, видать, в ночи калитка
стонет...
И ощутишь, как, стужей налита,
В раздумия вминаясь,
Тускло тонет
В душе
неискупимая плита,
До самых глубей душу остужая,
Она, сползая, надрывает сон,
Со дна страстей остывших выжимая
Задавленный, пургой размытый
стон...

Вячеслав
РЫБАКОВ

НОСИТЕЛЬ КУЛЬТУРЫ

Фантастический рассказ

Тугой режущий ветер бил из темноты, волоча длинные струи песка и пыли. От его неживого постоянства можно было сойти с ума; на зубах скрипел песок, от которого не спасали ни самодельные респираторы, ни плотно стиснутые губы. С вершин барханов срывались мерцающие в лунном свете шлейфы и ровными потоками летели в ветре.

Дом уцелел каким-то чудом. Его захлестывала пустыня; в черные, казалось, бездонные проломы окон свободно втекали склоны барханов, затканные дымной пеленой поземки. Видно было, как у стен плещутся, вскидываясь и тут же опадая, маленькие смерчи.

На пятом этаже в трех окнах подряд сохранились стекла.

— Это может быть ловушкой,— проговорил инженер.

Крысиных следов не видно, подумал музыкант, и сейчас же шофер сказал:

— Крысиных следов не видно.

— Ты шутишь? — качнул головой инженер.— На таком грунте, при ветре? Они продержатся полчаса.

Долгая реплика не прошла инженеру даром — теперь ему пришлось отвернуться от ветра, наклониться и, отогнув край марлевого респиратора, несколько раз сплюнуть. Плевать было трудно, нечем.

— Войдем в тень,— предложил пилот, почти не размыкая губ.— Мы как мишень. Там обсудим.

— Что? — пробормотал шофер.— Обсуждать что? Глянь на луну.

Мутная луна, разметнувшаяся по бурому небу, касалась накренившегося остова какой-то металлической конструкции, торчащей из дальнего бархана.

— Садится,— сказал друг музыканта. Он очень хотел, чтобы уже объявили привал. Ремни натерли ему плечо до крови.

— Именно,— подтвердил шофер.— Скоро рассвет. Все одно, день-то пережать надо.

— Приметный дом,— проговорил пилот задумчиво.

— Пять дней их не встречали,— ответил шофер.

— Отобьемся,— сказал друг музыканта.— Вам ведь доводилось уже.

Пилот только покосился на него, усмехаясь полуприкрытыми марлей глазами.

— Устали мы очень,— сообщила мать пилоту, и тот, помедлив, решился:

— Оружие наизготовку. Первыми — мы с шофером, в десяти метрах парни, затем вы с дочерью. Инженер замыкает. Вперед.

Музыкант попытался сбросить автомат с плеча так же четко, как и все остальные, но магазин зацепился за металлическую застежку вещмешка, и оружие едва не вырвалось из рук. Музыкант только плотнее стиснул зубы и ребром ладони перекинул рычажок предохранителя. Пилот и шофер уже удалились на заданную дистанцию; из-под ног их, вспарывая поземку изнутри, взлетали темные полосы песка. Увязая выше щиколотки, наклоняясь навстречу ветру, музыкант двинулся за первой двойкой, стараясь ставить ноги в следы пилота. Сзади тяжело дышала мать. С автоматом в руке музыкант

казался себе удивительно нелепым, игрушечным — какой-то несмешной пародией на «зеленые береты». Никогда он не готовил своих рук к этому военному железу, но вот чужой автомат повесили ему на плечо, и теперь палец трепетал на спусковом крючке. Идти было очень трудно.

Они вошли в окно, и в комнате сомкнулись. Пилот отстегнул с пояса фонарик.

— Дверь,— коротко приказал он, левой рукой держа наизготовку автомат.

Инженер и шофер прикладами пробили дверь, намертво завязшую в наметенном песке. Сквозь пробоину пилот направил луч света и открывшуюся комнату и сказал:

— Вперед.

Музыкант, а затем его друг вошли в пробоину, навстречу своим тусклым, раздутым теням, колышащимся на стене.

— Все нормально,— сообщил музыкант, еще водя дулом автомата из стороны в сторону. Здесь было тише, и песка на полу почти не оказалось. В комнату втиснулись остальные.

— На лестницу,— сказал пилот.— Порядок движения прежний.

Они вышли на лестницу. Напряжение стало спадать; отдых неожиданно оказался совсем близким.

— Крысиных следов не видно,— проговорил шофер.

Тонкий слой песка покрывал ступени, смягчая звук шагов. В выбитых окнах завывал ветер, где-то билась неведомо как уцелевшая форточка.

— Интересно все-таки, мутанты это или пришельцы? — спросил друг музыканта, обращаясь к инженеру.— Что по этому поводу говорит наука? — автомат он нес в левой руке, держа за ремень, а правую ладонь, оберегая плечо, подложил под лямку вещмешка.

— Разговорчики,— не оборачиваясь, бросил шедший на полпролета выше пилот.

— Как он мне надоел,— шепнул, наклонившись к уху музыканта, его друг.— Буонапарт...

— А ты представь, как мы ему надоели,— так же шепотом ответил музыкант.— Едим, как мужчины, а проку меньше, чем от женщин...

— Прок, прок... Какой теперь вообще может быть прок? Протянуть подольше в этом аду?

Музыкант молча пожал плечами.

— А зачем?

— Чтобы спокойно было на душе,— помолчав, ответил музыкант. Он задыхался на долгом подъеме, сердце уже не выдерживало.

— Чтобы спокойно было на душе, надо оставаться собой. И когда берешь, и когда даешь. Не насиловать ни других, ни себя. Не обманывать принесением большего или меньшего количества пользы... прока, как ты говоришь... чем естественно. Оставаться собой — максимум, что человек вообще может.

— И максимум, и минимум,— вставил все слышавший инженер.— Смотря по человеку.

— «Не измени себе,— ответил друг музыканта,— тогда ты и другим вовеки не изменишь»... Старик Шекспир в этих делах разбирался лучше нас всех, вместе взятых.

— Разговорчики,— повторил пилот.— Наш этаж. Налево.

Они влетели в квартиру, готовясь встретить засаду, ощетинясь стволами автоматов. В окна, прикрытые грязными стеклами, жутко заглядывала раздувшаяся, словно утопленник, луна. Мебель вполне сохранилась; на большом рояле, в узкой хрустальной вазе, стоял иссохший, запыленный букет.

— Крысиных следов не видно,— опять сказал шофер.

— Отдых,— произнес пилот долгожданное слово, и первым содрал респиратор с лица и хлестнул грязной марлей по колену. На брюках остался рыжий след, облако пыли взвилось в черный спокойный воздух.

— Хорошо без ветра,— сказала мать,— будто домой пришли,— она вздохнула.— Как хочется дом-то иметь!

— Потерпите еще несколько дней,— мягко проговорил пилот и ободряюще тронул женщину за локоть.

— Ты нам сыграешь? — спросила дочь.

— Если этот «Стейнвей» сохранился так хорошо, как кажется...— ответил музыкант, стараясь говорить спокойно. Он взгляда не мог отвести от рояля. Сердце его отчаянно билось в радостном ожидании, колотя снизу по горлу.

— Можно будет сыграть в четыре руки,— предложил друг музыканта.

— Потом, потом,— сказал пилот.— Сначала еда. Отдых.

Они все очень хотели есть. А еще больше — пить. На зубах скрипел песок.

— Правда, что они не трогают носителей культуры? — спросил друг музыканта, жуя ломоть консервированного мяса.

— Теперь все носители культуры,— пробормотал музыкант, и тут же почувствовал щекой испытующий взгляд пилота.

— Да, конечно,— согласился друг музыканта поспешно,— но я имею в виду... действительно... ну, вот хотя бы такого, как он,— он указал на музыканта.

— Не знаю,— ответил пилот угрюмо.

— Кажется, правда,— с набитым ртом сообщил инженер, слизывая с пальцев маленькие крошки мяса.— Они вообще ведут себя очень, очень странно. Та группа... погибшая... мне рассказывали,— он наконец сделал глоток, и речь его стала внятной.— Сам я не знаю, я в них только стрелял. И не без успеха.

— Мы в курсе,— уронил пилот.

— Опять хвастаться начал? — губы инженера растянулись в добродушной широкой улыбке, тусклый жирный блеск прокатился по ним. Инженер коснулся губ языком, потом вытер ладонью.— И не заметил даже... Я хотел только сказать,— ладонь он вытер о рукав другой руки,— что та группа с ними много встречалась в первые дни.

— Г-гадость!..— вырвалось у шофера.

— Погодите,— прервала мать, внимательно слушая инженера,— дайте ему рассказать.

— Да что рассказывать,— ответил тот, отвинчивая колпачок помятой фляги.— Так... легенды. Говорили, будто они телепаты. Говорили, будто они и устроили все это... Много говорили. Удивительно быстро плодятся легенды, когда вокруг бардак.

— А я еще ни одной крысы не видел,— сказал музыкант.

— И не дай тебе бог, парень,— ответил пилот. Инженер, отпив, бросил ему флягу, и пилот ловко поймал ее. Внутри фляги булькнуло.

— Я своими глазами видел,— проговорил инженер,— в той последней стычке, когда только я, наверное, и ухитрился уйти... я рассказывал, да? Один мужик им сдался. Спятил, наверное. Остальных-то они вроде перебили всех, а этого куда-то повели... А детей они, кажется, крадут. Трое детишек в группе были — мы и ахнуть не успели, никто не предполагал,— пилот отдал ему флягу, он отпил еще один маленький глоток и аккуратно завернул колпачок.— Где мой мальчик... где мой мальчик, только что играл здесь...— его передернуло.

— Хватит,— сказал пилот угрюмо. Инженер опять улыбнулся и кивнул.

Пилот извлек из планшета сложенную карту, расстелил ее, отодвинул стол. Они уже отвыкли пользоваться мебелью — на полу казалось безопаснее, спрятаннее.

— А может, они их сохраняют? — опасливо косясь на пилота, вполголоса спросила мать.

— Кого? — не понял инженер.

— Ну... носителей этих.

— Зачем?

— Для культуры! — вдруг захохотал шофер. Пилот, не обращая на них внимания, вглядывался в карту, обеими руками упираясь в пол.

Инженер перестал улыбаться, глаза его свирепо сузились.

— Знаешь, друже,— проговорил он, помедлив.— Те, для кого сохраняют культуру другие, чрезвычайно быстро ее трансформируют. По своему образу и подобию,— он опять вытер губы ладонью.— Шутом при них быть? Нет, не для крыс сохранять Баха.

— Ну, это-то уж...— непонятно сказала мать.— Уж об этом-то не нам...

Наступило молчание. Инженер, невесело посвистывая, подождал немного, потом перекатился по полу поближе к пилоту и тоже уставился на карту. Мать пытливо, оценивающе глядела на музыканта. Музыкант делал вид, что не замечает этого взгляда, потому что не понимал его, и смотрел на мужчин, водящих по карте пальцами и перешептывающихся о чем-то, очевидно, не слишком радостном. Мать встала, а следом за нею и дочь; одна за другой они молча вышли из комнаты. Шофер, рассеянно глядя им вслед, громко высасывал из зубов застрявшие кусочки мяса.

Светало. Стекла стонали от ветра.

Музыкант поднялся — никто не обернулся на его движение. Подошел к роялю, отложил прислоненный к вращающемуся табурету автомат — сел, бережно отер пыль с крышки и поднял ее указательными пальцами. Ну и пальцы, подумал он с болью. Он стыдился своих загрубевших рук, они темнели чужеродно на фоне стройного ряда клавиш. Это напоминало надругательство — садиться сюда с такими руками. Но других рук у него не было.

— Еще километров сто двадцать,— тихо проговорил пилот. Инженер что-то невнятно пробормотал, ероша волосы. Шофер нерешительно начал:

— Женщины...

— Женщины — наше будущее,— резко сказал пилот.— Женщины должны дойти.

— А если там то же самое, что здесь? — спросил, вставая, друг музыканта.

Ему долго никто не отвечал.

— Там река,— произнес наконец инженер.

— Там была река,— стоя вполоборота к ним, ответил друг музыканта.

— Тогда пойдем дальше,— сказал пилот.— За рекой предгорья, и никаких городов. Долины должны были уцелеть,— он сдерживался и лишь мял, тискал циркуль в скользких от нервного пота пальцах,— и люди тоже. Люди тоже. А крысы базируются на города, значит, там их меньше, или совсем нет.

Друг музыканта кривовато усмехнулся — странно и в то же время очень соответственно ситуации было видеть на молодом, еще не вполне оформившемся лице усмешку желчного, изверившегося старика.

— Уступи,— попросил он, подходя к роялю, и музыкант послушно встал.

— Ну и пальцы,— сказал его друг, присев на краешек табурета.

— Ага,— обрадованно закивал музыкант,— я тоже об этом думал. Жуть, правда?

— И раньше-то не слушались...

— Практики мало. Когда мне бывало плохо, я только этим и лечился,— он осторожно, боясь, как бы не нарушить сон рояля, погладил клавиши.— И все равно — все время страх, как бы не сфальшивить...

— А я не хочу бояться! Я не хочу лечиться этим, приравнивать творчество к таблеткам или клизмам! Творчество — это свобода. То, что я делаю, должно получаться сразу. Как взрыв, как вспышка! А если не получается — лучше совсем ничего...

Он умолк, и тогда они услышали приглушенный голос инженера:

— Я посчитал. Конечно, у меня нет никаких приборов, все на глаз. Но ты видишь, как она выросла. Судя по удлинению видимого диаметра, она упадет месяца через четыре.

— То есть наши поиски земли обетованной вообще лишены смысла? — вдруг охрипнув, спросил пилот.

— Н-ну,— помялся инженер,— не совсем... Все же лучше быть там. Во-первых, вероятность того, что луна грохнет прямо нам на головы, сравнительно невелика, а во-вторых, лучше залезть в горы, чтоб не захлестнуло потопом, когда океан пойдет враздрай... Хотя конечно...— он помолчал.— Тектонически эти горы очень пассивны, что тоже нам на руку.

Шофер длинно и замысловато выругался.

— Да, ты сильно меня обрадовал,— проговорил пилот.— Четыре месяца... Успеем.

— Бульдозер,— пробормотал друг музыканта.— Дорвался до власти. Теперь будет нас гнать, пока не загонит до смерти, а зачем? Дал бы уж подохнуть спокойно... Сыграем в четыре руки?

— Потом,— сказал музыкант, чуть улыбаясь.— Наверное, женщины уже спят.

— Пора и нам,— сказал пилот, услышав его слова, и стал неторопливо складывать карту, начавшую уже протираться на сгибах. За окном разгоралось белое мертвое зарево, словно из-за горизонта натекал расплавленный металл.— Чья очередь дежурить первый час?

— Моя,— сказал шофер. Пилот с сомнением посмотрел на него, потом на друга музыканта.— Моя, моя.

— Занавесить бы чем-нибудь окна,— опустив глаза, пробормотал друг музыканта.

Шофер хохотнул и добавил:

— Горячую ванну и духи от этого... от Диора.

— Вам не понять,— вступился музыкант,— он очень чутко спит. Я и сам такой, а вы — нет.

— Спать, спать,— сказал пилот.

— Еще не хочется,— смущенно сказал музыкант.— Как-то... все дрожит. Давайте я подежурю, а?

Инженер, ухмыляясь, развалился на полу, широко раздвинув длинные ноги и подложив под голову вещмешок.

— Пойди лучше погуляй перед сном,— пошутил он.— Соловья послушай в ближайшей роще... цветочки собери...

Музыкант улыбнулся и, сам не зная зачем, послушно вышел из комнаты. Сразу в коридоре, в электросварочном свете сумасшедшего утра, он увидел стоящую откинувшись на стену дочь.

— Что ты тут? — испуганно спросил он.

— Слушаю, что вы говорите,— ответила она без тени смущения.— Не могу спать так сразу. Все еще страшно.

— Ах, ты...— он осторожно провел ладонью по ее склеившимся от пота и грязи волосам. Она испуганно отпрянула:

— Нет, нет, я противная, пыльная! Не надо.

— Что ты говоришь такое!

— Нет-нет,— она вытянула руки вперед, защищаясь, словно он нападал,— правда... Мы дойдем до реки,— мечтательно произнесла она,— до чистой прохладной реки, и сами станем чистыми и прохладными, вот тогда... господи, как я устала. Если бы вы все на меня не оглядывались, я бы уже умерла.

— Я теперь буду идти затылком вперед, хочешь? — серьезно предложил он, и она наконец улыбнулась — едва заметно, но все-таки улыбнулась. Он взял ее за руку.

— Я слышала, что пилот говорил о нас,— тихо произнесла она, глядя в пол, и пальцы ее задрожали в руке музыканта.— Мы ваше будущее, да?

— Как всегда.

— Он ведь очень хороший человек, правда?

— Правда. Теперь нет плохих. Это слишком большая роскошь — быть плохим.

— Ты странно говоришь. Ты думаешь, чем нам хуже, тем мы лучше? А вот мама говорит, все хорошие да добрые, покуда делить нечего.

— А ты сама как думаешь?

— Мама права, наверное... Только я думаю, люди вообще не меняются — уж какой есть, такой и будет, что с ним ни делай.

— Люди меняются,— ласково, убеждающе проговорил он.— В людях очень много намешано, самого разного, и это разное все время друг с другом взаимодействует, а наружу — то одно, то другое выскочит...

— Так сладко тебя слушать,— прервала она и, вдруг подняв лицо, завороженно уставилась ему в глаза.— Будто ты все знаешь и все можешь. Хочу ребенка от тебя.

У него перехватило горло. Он осторожно потянул ее к себе, и она со

вздохом прислонилась щекой к его груди. Сердце его отчаянно билось в радостном ожидании, колотя снизу по горлу. Точно он сел к роялю. Она была такая маленькая... Совсем беззащитная, как ребенок. Ребенок. Он попытался представить ребенка у себя на руках, но не смог. Скрипку мог. Автомат теперь тоже мог. Мы все тоскуем по детству, подумал он, всю жизнь стремимся вернуться в детство... Но сделать это можно одним-единственным способом. Буду очень любить их, понял он. Только бы дойти до чистой реки, туда, где не понадобится дрожать за него ежесекундно и видеть в кошмарных снах, что его утащили крысы.

— Нравлюсь? — спросила она. Руки ее бессильно висели, ничего не желая.

— Да!..— выдохнул он.

— Я очень хочу нравиться. А то совсем не будет сил идти. Вы нас не бросите, правда?

— Ты с ума сошла...— он обнял ее за плечи и прижал к себе.

— А мама боится, что бросите. Она говорит, мужчины не любят бесполезного груза. Ты знай — я не бесполезная.

Он стиснул ее голову в ладонях. Она прятала лицо.

— Дай поцеловать тебя.

— Нет-нет, я грязная...

— Какая глупость! Дай,— он задыхался,— пожалуйста! Ты сразу все поймешь!

Она выскользнула из его рук, медленно отступила, пятясь, к двери в комнату, где ее ждала мать. Поправила волосы.

— Нет, потом... все — потом. Только не бросайте...

Какое теперь может быть «потом», подумал он, но не произнес вслух, боясь уговаривать, потому что уговаривать — все равно, что насиловать. Сказал:

— Спасибо за «потом».

— Я думала, ты разозлишься, что я не дала,— призналась она.— Ты странный. Я могла бы умереть за тебя, правда,— и она скользнула в проем, и дверь плотно закрылась за ней.

...Не спалось. Комнату заливал раскаленный белый свет, нечем было дышать; в густом мертвом воздухе плясала пыль. Пот жег мозоли и ссадины, ныли натруженные мышцы. Мужчины ворочались, расстегивали пуговицы, наконец пилот сел и обхватил руками колени, пустым взглядом уставясь в пустое окно. И тогда музыкант спросил:

— Хотите, я сыграю?

Молчание длилось минуту. Прямоугольник слепящего окна отражался в неподвижных глазах пилота.

— Сыграй,— сказал пилот потом.

За роялем музыканту стало страшно. Это казалось кощунственным — играть здесь. Здесь можно было только стрелять и есть, и брести через барханы — до конца дней. Сейчас, подождите, взмолился он. Я не знал, что это так трудно — сделать первое движение... На него смотрели. Он вдруг увидел, что в дверях стоят и мать, и дочь, и тоже ждут. Он вспомнил ее завороженный взгляд и почувствовал, что сможет все. Еще час назад она была для него лишь насмерть уставшей, почти незнакомой молчаливой девочкой — и вдруг оказалось, она настолько нуждается в нем, что любит его. Он опустил пальцы на клавиши. Ему показалось, будто он опустил пальцы на ее хрупкие плечи. Рояль всколыхнулся; по комнате проплыл широкий, медлительный звук. Такой нездешний... Он словно прорвался из прежней жизни, которая теперь казалась приснившейся в неправдоподобно сладком сне. Он доказал, что она не приснилась, что она была, что она может быть. Он мягко огладил задубевшие лица; он вкрадчиво протек в уши и заколебался там, зашевелился, затрепетал, как ребенок в материнском чреве, готовясь к жизни и пробуя силы... И существование вновь получило смысл; впервые за последние недели музыкант понял, что остался жив. И останется жить дальше. Чистая река и светозарные вершины гор были совсем рядом. А если кипящий океан все же доберется до нас, я поставлю ее у себя за спиной, думал музыкант, и первый удар приму на себя...

Когда он перестал играть, все долго молчали. Он испуганно озирался, ему сразу снова показалось, что он некстати вылез со своей игрой. Полгода назад мне за такой класс голову бы оторвали, смятенно подумал он, и вдруг увидел слезы на глазах пилота.

— Этот мальчик стал бы музыкантом,— проговорил инженер и снова лег, заложив руки за голову.— Э-э!..

Музыкант покраснел. Его друг поднялся, подошел к нему и хлопнул по спине.

— Нормально,— сказал он, как профессионал профессионалу.— Нормально, хотя раньше ты играл чище.

Но никто не плакал, слушая, как я играю чище, подумал музыкант. Он был потрясен. Он все смотрел на пилота. Вслух он сказал:

— Еще бы. Почти месяц уже не работал.

— Да, пальчики того...

— Жаль, дальше идти надо,— вздохнула мать.— Так славно было бы тут остаться... жили бы себе...

— Спасибо, парень,— сказал пилот, зачем-то застегивая пуговицу на воротнике рубашки.— Это было неплохо. Ладно. Всем спать.

— Тс-с! — вдруг прошипел шофер, сидевший ближе всех к окну.

Все замерли. Стало совсем тихо, лишь ветер гудел снаружи.

— Что? — шепотом спросил пилот потом.

— Показалось?..— еще тише пробормотал шофер.— Вроде как мотор...

Все уже стояли, пилот схватился за автомат. Пригибаясь, шофер мягко подбежал к окну.

— Ничего,— сказал он чуть спокойнее и распрямился, заглядывая ниже. Было видно, как он вздрогнул, как исказилось его лицо.

— Следы! — свистящим шепотом выкрикнул он.

— Боже милостивый!..— простонала мать, прижимая к себе дочь.

Все приникли к окну. След гусениц был отчетлив, видимо, машина только что прошла. На глазах ветер зализывал его струйчатыми потоками поземки.

— Спокойно,— сказал пилот.— Парни — к окнам! Ты здесь, ты в кухню. Вести наблюдение, стрелять без команды. Боеприпасы экономить! Женщины в столовую, она от лестницы дальше всего. У вас один автомат, будете в резерве. Мы с инженером выглянем. Шофер — у двери, при необходимости прикроешь. По местам! Может, ничего страшного. Может, они ехали мимо! Сними с предохранителя, не забудь,— совсем спокойно сказал он музыканту.

— Не забуду,— ответил тот. Его колотило.

— Вперед.

Мужчины вышли. Музыкант двинулся было за ними из комнаты и вдруг налетел на завороженный взгляд дочери. Глаза ее были огромными и темными, и дрожали ее губы, которых он так и не поцеловал.

— Ты обещал...— выдохнула она.— Помнишь? Ты обещал!!

— В столовую! — крикнул он, срываясь. У него подкашивались ноги, в висках гулко била кровь.

Он с трудом открыл дверь на кухню. В лицо ему хлестко, опаляюще ударил колючий воздух дня, не прикрытого ни стеклом, ни респиратором. Осторожно, стараясь двигаться мягко, как шофер, музыкант подошел к окну.

Прямо под ним, в десятке метров от стены дома, стоял, чуть накренившись на склоне бархана, бронетранспортер грязно-зеленого цвета, на корпусе которого коробились застарелые, покрытые пылью камуфляжные пятна. Из кузова слаженно, по три в ряд, выпрыгивали громадные крысы в мундирах, таких же грязно-зеленых, как и присвоенный ими человеческий механизм.

На несколько секунд музыкант забыл, зачем он здесь. Все было так реально и нелепо, что казалось театром. Приоткрыв чуть улыбающийся рот, музыкант наблюдал высадку. С автоматами наперевес крысы сомкнутым строем двинулись к дому. Только тогда музыкант с изумлением вспомнил, что крыс необходимо убивать. Это тоже было нелепо и тоже напоминало дешевый спектакль. Но и это надо было сыграть хорошо, по максимуму.

— Все сюда!! — крикнул музыкант, обернувшись внутрь квартиры.— Они тут, подо мной!

Зажав автомат под мышкой, он лихорадочно, путаясь дрожащими пальцами, отстегнул с пояса гранату и, едва не забыв выдернуть чеку, аккуратно спустил ее на строй крыс.

Взрыв ударил по ушам, утробно встряхнул землю и дом; взлетели песок и мелькающие в его облаке клочья тел.

— Сюда! — крикнул музыкант снова. В кухню влетел шофер, на ходу состегивая гранату.

— Вот!..— выкрикнул музыкант и успел увидеть, как что-то отблеснуло в смотровой щели бронетранспортера.— Осторожно! — крикнул он, отшатываясь от окна. Шофер, пластаясь над подоконником, метнул гранату, и в этот миг по потолку тяжело хлестнула пулеметная очередь. Посыпалась штукатурка, дом снова встряхнулся в грохоте, музыкант присел и не сразу понял, что случилось — накрепко притиснув к лицу обе ладони, шофер сделал несколько неверных пятящихся шагов и повалился на спину, вразнобой дергая ногами и как бы всхлипывая. Из-под его судорожно сжатых, иссиня-белых пальцев вдруг стало сочиться красное. Пророкотала еще одна очередь, от деревянной рамы брызнули в разные стороны щепки. Музыкант растерянно сидел на корточках, втянув голову в плечи, и смотрел, как кровь заливает руки шофера и пол вокруг его головы. Ноги шофера бессильно вытянулись и замерли.

— Эй...— позвал музыкант.

И только тогда до него дошло.

Едва сумев распрямиться, на ватных ногах музыкант двинулся вперед, выставив прямо перед собой трясущийся ствол автомата, но пулемет снова зарокотал, воздух у окна снова наполнился невидимым, но ощутимым, горячим железом. Сухой треск автоматных очередей вдруг послышался и совсем с другой стороны — с лестницы. Тогда музыкант, вдруг очнувшись, рванулся в ванную — там тоже было маленькое оконце, почти под потолком — встал на борт ванны и высунулся наружу. На песке валялись трупы и куски трупов, а из транспортера, уже не так браво, как прежде, лезли еще крысы. Поймав ряд треугольных усатых голов в прорезь планки, музыкант нажал на спуск. Да чем же все это кончится, вдруг пришло ему в голову. Задергавшийся автомат обдал его пороховым духом, проколотила по ушам короткая очередь, а когда грохот прервался, стало слышно, как с сухим звоном скатываются в ванную и катаются там, постепенно замирая, выброшенные в сторону гильзы. Ряд кренящихся по ветру фонтанчиков пыли стремительно пробежал мимо ряда крыс, текущих от транспортера, пересек его, пересек снова, глухо вскрикнула от случайного попадания броня, и долгий улетающий визг рикошета напомнил звук лопнувшей струны. Первой же очередью удалось свалить трех крыс, и они бессмысленно задергались на песке, в струях поземки, раскидывая лапки и молотя хвостами. Остальные опрометью бросились в мертвую зону, к дому. Музыкант едва успел нырнуть внутрь — пулемет хлестнул по оконцу ванной. Не переставая вопить что-то несусветно-победное, музыкант метнулся к лестнице, но опоздал — пилот, волоча неподвижные ноги, за которыми оставался кровавый след, вполз в прихожую и стал, стискивая зубы, поворачиваться головой к дверям. «Остальные?! — прохрипел он.— Женщины?!» Музыкант наклонился было к нему, но пилот рявкнул: «Держи дверь!» Музыкант кивнул, стремительно высунулся на лестницу, не глядя, полоснул вниз долгой очередью и, уже стреляя, увидел, как, перепрыгивая через неподвижное тело инженера, проворно бегут снизу несколько крыс, неловко стискивая лапками непропорционально большие автоматы. Им, наверное, с нашим оружием очень неудобно, невольно сочувствуя, подумал музыкант. Пронзительно пища, крысы шарахнулись в стороны, прячась за изгибом стены, а одна рухнула и покатилась вниз, подскакивая, словно тугой мешок, на ступенях и лязгая железом автомата при каждом обороте. Музыкант опять завопил и дал еще очередь, не позволяя крысам высовываться; возле самого его лица пропел и тяжко впаялся в потолок посланный откуда-то снизу ответ. Музыкант отшатнулся. Он испытывал скорее удивление, чем страх, и все не мог понять, чем это кончится и как же они теперь ухитрятся перебить крыс и дойти до реки. А почему я один? Что там, в квартире? Он снова нажал на спуск; автомат, дернувшись, вышвырнул пулю и захлебнулся, и как-то сразу музыкант понял, что магазин опустел. Он захлопнул лестничную дверь и потащил к ней гардероб, стоявший у стены прихожей.

— Рожок!! — крикнул он, надрываясь; в глазах темнело от усилий.— Кто-нибудь, скорее, рожок!!

Снаружи, дырявя дверь, полоснула очередь, другая — музыканта спас гардероб. Да неужто никого уже не осталось?! Как же она? Разве ее тоже могли убить?

— Кто-нибудь!! — прорычал он, задыхаясь; сердце колотилось и в горле, и в мозгу, и в коленях.

— Не могу! — донесся сквозь гул крови захлебывающийся тонкий голос.— Мама не разрешает!..

Музыкант оттолкнулся от гардероба, склонился над пилотом. Пилот не шевелился, окостеневшие пальцы сжимали цевье. Музыкант отомкнул рожок с его автомата — там тоже было пусто.

Как во сне, медленно, гардероб словно бы сам собой поехал назад, навстречу музыканту, в глубь квартиры. В полной растерянности музыкант стоял посреди коридора, судорожно вцепившись обеими руками в бессмысленный автомат. В открывшийся проем хлынули крысы. Да чем же все это кончится, в последний раз подумал музыкант, пытаясь принять вырвавшуюся вперед крысу на штык. Удар отбили. Музыкант увидел, что к нему неспешно подплыло длинное, тусклое трехгранное лезвие, прикоснулось, замерло на какую-то долю секунды и погрузилось. Его собственные руки, по-прежнему наполненные автоматом, болтались где-то ужасающе далеко. С изумлением он успел почувствовать посреди себя невыносимо чужеродный предмет, от которого резкой вспышкой расплеснулась во все стороны горячая боль, успел наконец-то испугаться и понять, чем все кончилось — и все кончилось.

Его друг к этому моменту еще не сделал ни единого выстрела. Он был один там, где его поставил пилот — наедине с полузанесенным следом транспортера и роялем, на котором играли пять минут назад. Он слышал стрельбу, крики, топот, взрывы, чувствовал заполнившую квартиру пороховую гарь. Потом совсем рядом, в прихожей, чей-то незнакомый голос страшно прокричал: «Рожок! Кто-нибудь, скорее, рожок!» Друг музыканта не шевельнулся, руки его сжимали готовый к бою автомат. Он оцепенел. Когда в дверях мелькнули нелепые фигуры затянутых в зелено-серые униформы крыс, в душе у него что-то лопнуло. Он отшвырнул автомат как можно дальше от себя и закричал:

— Нет!!! Не надо!!! — и вдруг, в спасительном наитии пошел навстречу влетевшей в комнату крысе в черном с серебряными нашивками мундире, широко разведя руки и выкрикивая: — Носитель культуры! Носитель культуры!

Топорща усы, крыса в черном резко, отрывисто пропищала какие-то команды и опустила автомат.

— Оставайтесь на вашем месте,— приказала она.— Вам ничто не грозит.

Друг музыканта послушно остановился посреди комнаты. Крыс виднелось не больше десятка. Могли бы отбиться, вдруг мелькнуло в голове, но друг музыканта прогнал эту мысль, боязливо покосившись на того, в черном — вдруг и впрямь телепаты...

Ввели женщин. Первой шла дочь, завороженно уставившаяся куда-то в сторону лестничной двери; ее легонько подталкивала в спину мать, приговаривая:

— Не смотри, маленькая, не смотри... Что уж тут поделаешь. Не судьба.

— Вы носитель? — строго пропищала главная крыса.

— Да,— сипло выговорил друг музыканта.— Я музыкант.

— Это хорошо,— командир крыс перекинул автомат за спину, и у друга музыканта подкосились ноги от пережитого напряжения. Не помня себя, он опустился на пол. Командир внимательно смотрел на него сверху маленькими красноватыми глазками.

— Вы предаетесь нам? — спросил он.

Не в состоянии сказать хоть слово, друг музыканта лишь разлепил онемевшие губы, а потом кивнул.

— Это хорошо,— повторил командир и наклонил голову набок.— Вы будете пока жить здесь этот апартамент. Воду мы пустим через половину часа через водопровод. Ни о чем не надо беспокоить себя.

Мать облегченно вздохнула.

— Во-от и слава богу,— сказала она.— Наконец-то заживем, как люди. Знать бы дело раньше...

— Трупы мы уберем сами,— командир подошел к роялю. Друг музыканта вскочил — его едва не задел длинный, волочащийся по полу розовый хвост. Он почувствовал болезненное, нестерпимое желание наступить ногой на этот хвост, поросший редкими белыми волосками, и поспешно отступил подальше.

— Покидать апартамент можно лишь в сопровождении сопровождающий. Мы выделим сопровождающий через несколько часов. Пока вы будете здесь под этот конвой.

— Да мы уж нагулялись, не беспокойтесь,— сказала мать.— Калачом наружу не выманишь.

— Выходить иногда придется, чтобы оказать посильную помощь при обнаружении другие люди,— ответил командир.— Например, чтобы довести до них нашу гуманность и желание сотрудиться... трудничать,— он перевел взгляд на друга музыканта.— Это хороший инструмент?

— Очень хороший.

— Поиграйте.

— С удовольствием,— сказал друг музыканта. В дверях толпились крысы.

— Прискорбно жаль,— проговорил командир задумчиво,— что так много людей не понимают относительность моральных и духовных ценностей в этот быстро меняющийся мир. За иллюзию собственного достоинства готовы убивать не только нас, но и себя. Дорогостоящая иллюзия! Теперь, когда так тяжело, особенно. Мы поможем вам избавляться от этого вековечного груза.

— Вы ведь и поесть нам, небось, принесете, правда? — спросила мать.— Вот и слава богу... А там, глядишь, и детишки пойдут...— как добрая бабушка, хранительница очага, она сложила руки на животе, оценивающе оглядывая друга музыканта, и того затошнило. Эта потная перепуганная шлюшка, из-за которой он уже начал было завидовать другу, теперь казалась ему отвратительной. И, однако, спать придется с ней, не с матерью же...

Дочь судорожно согнулась, сунула кулак в рот и страшно, гортанно застонала без слез. Из коридора вскинулись автоматные стволы, а потом нехотя, вразнобой опали.

— Что ты, маленькая? Не надо...— сказала мать. Но дочь уже выпрямилась. Из прокушенной кожи на кулачке сочилась кровь.

— Нет, мама, уже все, все...— выдохнула она.— Уже все, правда, все ведь... правда... что же тут поделаешь...

— Дети подлежат немедленной регистрации и передаче в фонд сохранения,— сказал командир, тактично дождавшись, когда она успокоится.— Впрочем, хорошо зарекомен... довавшие себя перед администрацией люди будут допускаться в воспитание. Прошу к рояль.

Первый звук показался другу музыканта удивительно фальшивым. Он вздрогнул, искательно глянул в сторону командира и, словно извиняясь, пробормотал, чувствуя почти непереносимое отвращение к себе:

— Загрубели руки...

Какое падение, подумал он с тоской. Ну что ж, падать так падать. Что мне еще остается. И он добавил самым заискивающим тоном, на какой был способен:

— Вы уж не взыщите...

Крыса в черном смотрела на его руки спокойно и внимательно. Только бы не сбиться, думал друг музыканта, беря аккорд за аккордом. Он играл ту же вещь, что звучала здесь только что. Все равно вчетвером, или даже втроем, мы не дошли бы до реки, думал он. А если бы дошли, там оказалась бы та же пустыня. И если б там даже были кисельные берега, что бы мы стали делать? Как жить? Да если б даже и сумели что-то наладить, скоро упадет луна, и этому-то уж мы ничего противопоставить не сможем. Остается надеяться лишь на крыс, они-то придумают выход. Вначале казалось, будто пилот знает, что делает, но он был всего лишь беспомощным маньяком, не сумев даже спасти нас из этой западни... Интересно, о чем думал тот, когда играл? У него было такое лицо, будто он на что-то надеется. А на что надеяться в этом аду, в этом дерьме? На пилота? На крыс? Господи, а ведь я, быть может, последний музыкант-человек. Самый лучший музыкант на планете... Самый лучший! Только бы не наврать... не сфальшивить! Ну... ведь получается, черт бы вас всех побрал. Нравится вам, а?! Нравится?! Ведь получается! Я музыкант! Ну, что ты стоишь, тварь, что молчишь, я кончил...

— То, как вы играете, пока не хорошо,— сказала крыса в черном и наставительно подняла короткую лапку, выставив указательный коготок прямо перед носом друга музыканта.— Вам следует чаще тренировать ваши пальцы.

Когда бурая луна перестала распухать от ночи к ночи, и стало очевидно, что орбита ее каким-то чудом стабилизировалась; когда одинокий дом, рассекший льющийся над пустыней и руинами ветер, постепенно заполнился изможденными, иссохшими, подчас полубезумными людьми, друг музыканта репетировал уже по девять-десять часов в сутки. С автоматом на груди он сидел на вращающемся табурете, ревниво озирался на теснившихся поодаль новых и, как расплющенный честолюбивой матерью семилетний вундеркинд, долбил одни и те же гаммы. И мечтал. Мечтал, что вечером, или завтра, а может, хотя бы послезавтра, слегка усталый после очередной операции, но, как всегда, безукоризненно умытый и затянутый в чернь и серебро, без пятнышка крови на сапогах, придет его властный друг — возможно, вместе с другими офицерами; взглядом раздвинет подобострастную толпу и, то задумчиво, то нервно подрагивая розовым хвостом, будет слушать Рахманинова или Шопена. Дочь, не щадя ни себя, ни будущего ребенка, который начинал уже нежно разминаться и потягиваться в ее набухшем, как луна, чреве, ночи напролет проводила в окрестных развалинах, едва ли не до кипения прокаленных свирепым дневным полыханием, и рылась в металлической рухляди, в человеческих останках, разыскивая для мужа, опасавшегося хоть на миг отойти от рояля, недостреляннные обоймы. Ближе чем на пять шагов друг музыканта никого не подпускал к инструменту; даже случайные посягательства на невидимую границу он ощущал физически, как неожиданное влажное прикосновение в темноте — и его тренированные пальцы в панике падали с белоснежных клавиш «Стейнвея» на спусковой крючок «инграма». По людям он стрелял без колебаний.

ПИСЬМА АРИАДНЫ СЕРГЕЕВНЫ ЭФРОН

(1942—1955 гг.)

Человек, который так видит, так думает и так говорит, может совершенно положиться на себя во всех обстоятельствах жизни. Как бы она ни складывалась, как бы ни томила, и даже не пугала временами: он вправе с легким сердцем вести свою, с детства начатую, понятную и полюбившуюся линию, прислушиваясь только к себе и себе доверяя.

Радуйся, Аля, что ты такая.

Б. Л. Пастернак. Ариадне Сергеевне Эфрон.

— Сивилла! — Зачем моему
Ребенку — такая судьбина?
Ведь русская доля — ему...
И век ей: Россия, рябина...

Марина Цветаева. «Але»

АВТОБИОГРАФИЯ

Я, Ариадна Сергеевна Эфрон, родилась 5/18 сентября 1912 г. в Москве. Родители — Сергей Яковлевич Эфрон, литературный работник, искусствовед. Мать — поэт Марина Ивановна Цветаева. В 1921 г. выехала с родителями [1] за границу. С 1921 по 1924 гг. жила в Чехословакии, с 1924 по 1937 гг.— во Франции, где окончила в Париже училище прикладного искусства Art et Publicite (оформление книги, гравюра, литография) и училище при Луврском музее Ecole du Louvre — история изобразительных искусств. Работать начала с 18 лет; сотрудничала во французских журналах «Россия — сегодня» («Russie d'Aujourd'hui»), «Франция — СССР» («France — URSS»), «Пур-Ву» («Pour-Vous»), а также в журнале на русском языке «Наш Союз», издававшемся в Париже советским полпредством (статьи, очерки, переводы, иллюстрации). В те годы переводила на французский Маяковского, Безыменского и других советских поэтов. В СССР вернулась в марте 1937 г., работала в редакции журнала «Ревю де Моску» (на французском языке) — издававшемся жургазобъединением; писала статьи, очерки, репортажи; делала иллюстрации, переводила.

В 1939 г. была арестована (вместе с вернувшимся в СССР отцом) органами НКВД и осуждена по статье 58-6 [2] Особым совещанием [3] на 8 лет исправительно-трудовых лагерей. В 1947 г. по освобождении работала в качестве преподавателя графики в Художественном училище в Рязани, где была вновь арестована в начале 1949 г. и приговорена, как ранее осужденная, к пожизненной ссылке в Туруханский р-н Красноярского края; в Туруханске работала в качестве художника местного Районного дома культуры. В 1955 г. была реабилитирована за отсутствием состава преступления.

Вернувшись в Москву, подготовила к печати первое посмертное издание произведений своей матери. Работала и работаю над стихотворными переводами. Сейчас готовлю к печати сборник лирики, поэм, пьес М. Цветаевой для большой серии Библиотеки поэта.

Мать, Марина Ивановна Цветаева, вернувшаяся в 1939 году в СССР вместе с сыном Георгием, погибла 31 августа 1941 г. в г. Елабуге на Каме, где находилась в эвакуации. Брат Г. С. Эфрон погиб на фронте в 1943 г. [4]

Отец, Сергей Яковлевич Эфрон, был расстрелян в августе 1941 г. по приговору Военного трибунала. Реабилитирован посмертпо за отсутствием состава вреступления.

7/II—63 *А. Эфрон*

---

[1] Точнее, выехала вместе с матерью за границу, где в это время находился отец.

[2] «58-6. Шпионаж, то есть передача, похнщенне или собкрание с целью передачи сведений, являющкхся по своему содержанию специально охраняемой государственной тайной, иностранным государствам, контрреволюцяонным организациям илк частным лвцам...» («Уголовный Коденс РСФСР», ОГИЗ, 1935).

[3] 10 июля 1934 г. ЦИК вынес постановление: «При аародном комиссаре вкутревних дел Союза ССР органкзовать Особое совещание, которому, на основе положения о нем, предоставить право прменять в административном порядке высылку, ссылиу, заключение в исправительво-трудовые лагеря ка срок до пяти лет и высылку за пределы Союза ССР». (Опубликовано в № 160 «Известий ЦИК Союза ССР и ВЦИК» от 11.07.1934).

[4] Описка — Г. С. Эфрон погиб летом 1944 г.

Большая часть публикуемых ниже писем А. С. Эфров к Е. Я. Эфрон и З. М. Шврkевич иаходится в ЦГАЛИ.

Первые деснть писем (с 18.04.1942 по 8.03.1947) каписаны А. С. Эфрон в исправвтельио-трудовых лагерях.

На конверте: ст. Ракпас Коми АССР.
18 апреля 1942 г.

Дорогие мои Лиля [1] и Зина [2], ничего не знаю про нас уже бог знает сколько времени, и пишу так, на авось, потому что думается мне, что вы навряд ли остались в Москве. Но, в случае, если висьмецо мое вас застанет, умоляю сообщить мне, известно ли вам что-нибудь о папе, маме, Муре [3] и Мульке [4]. Я много-много месяцев ничего ни о них, ни о вас не знаю и беаумно беспокоюсь. Почтовая свяаь здесь налажена очень хорошо, т. ч. ваше коллективное молчание очевидно никак нельзя отнести на счет почты. Очень, очень прошу вас написать мне, даже если что с кем и случилось, все лучше, чем неизвестность.

Сама я жива, здорова, в полном порядке, работаю по ударному, относятся ко мне все хорошо, одним словом обо мне можете не беспокоиться.

Итак, с нетерпением жду от вас ответа, крепко вас обиимаю и целую. Пишите!

Ваша *Аля*

---

[1] Лиля — Елкзавета Яковлевва Эфрок (1885—1976) — сестра отца Ариадны Сергеевны, театральный педагог, режиссер художественного слова.

[2] Зина — Зинакда Митрофановна Ширкевич (1895—1977) — друг Е. Я. Эфрон, учктельница, бвблиотекарь. Будучк «лишевкой» как дочь священника, она была прописаиа у Е. Я. Эфрок в качестве домработницы. В военные и первые послевоенные годы работала как художннк-прикладник.

[3] Мур (в другвх письмах — Мурзик, Мурзвл) — брат Ариадны Сергеевны Георгнй Сергеевич Эфрок (1925—1944).

[4] Мулька — Самуил Давыдович Гуревич (1904—1952) — журналкст, работал секретарем правления Жургазобъединенин, а затем заведовал редакцкей журнала «За рубежом». Был связан с Арвадной Сергеевной вааимяой любовью; письма, адресованные ей в лагерь, подписывал: «Твой муж».

Комн АССР, Железнодорожный район, ст. Ракпас, Комбинат ООС, Швейный цех
15 мая 1942 г.

Дорогие мои Лиля и Зина! Так давно, с самого начала войны, ничего о вас ве анаю, что уж стала терять надежду узнать что нб. И не писала вам, т. к. была уверена, что вы эвакуировались. Наконец, после долгого, долгого перерыва, получила письмо от Нины [1], и уэнала, что вы обе в Москве, и все такие же хорошие, как и прежде. И вот пишу вам.

Дорогие мои, ву как же вы там живете все эти дни, и недели, и месяцы? Не могу передать вам, как мне обидно и горько, что именно в это время я не с вами, в Москве! И как я соскучилась по всем вам, по всем своим! От мамы и Мурзика известий ве имею с вачала войны, о папе просто ничего не знаю, от Мульки последнее письмо получила в октябре, и с тех пор тоже ничего. Очень прошу вас, если знаете адреса наших, пришлите мне, хорошо? Также очень хочется мне узнать про Веру [2] и ее мужа [3], про Кота [4], Нютю [5], Нюру и Лизу [6], про милого Димку и про Валю [7] — где кто, и как? Если бы вы только знали, как часто вспомиваю всех и вся!

Сама я жива-здорова, чего и вам желаю (так домработница наших болшевских соседей начинала свои письма). Да, в данный момент желаю вам главным образом только этого — жизни, и поелику возможно — здоровья. Остальное приложится.

Весна у нас по-настоящему начивается только теперь. Снег стаял совсем ведавно, ночи, утра и вечера морозные, еще выпадает снег, но тает моментально, а сегодня первый теплый, хороший день, и в голубом, чистом небе красиво полощется красный флаг над нашим комбинатом. Живем мы здесь уже скоро год — от прежнего места жительства отъехали на каких нб. 10—12 километров. Здесь очень просторно, много зелени, березки без конца — и этот кусочек жилой земли отвоеван у тайги. Часть построек

воздвигались еще при нас, и весь наш поселочек, и весь комбинат приятно поблескивает атласом свежеотесанного дерева. Есть у нас цеха — швейный, ремонтный, обувной, кирпичный, столярный, слесарный, предполагаются еще и другие. Все у нас свое — и кухня, и баня, и прачечная, и пекарня, словом — целый городок. Бытовые условия вполне приличные, а по нынешним временам и просто хорошие — в общежитиях прекрасные печи, зимой было тепло, производство тоже хорошо отапливалось, всюду электричество. Есть даже клуб и подобие спектаклей, иногда приезжает кино. Питание — приблизительно, как до войны. Мы обеспечены горячим обедом, хлеб — по выработке, как до войны. Работаю много и с удовольствием, хотя и устаю очень. Но не будь этой усталости — жилось бы совсем тоскливо. Только в работе — пусть она даже не совсем по специальности! — отвожу душу.

Очень мне хочется домой, хотя и не сообразишь теперь, где дом и где семья. Очень я обо всех соскучилась, стосковалась. Дорогие мои, на это первое, бестолковое письмо прошу ответить мне поскорее, мне так хочется узнать про вас и про наших, и, если возможно, получить адреса. Лиля, родненькая, напишите про Вашу работу, над чем работаете сейчас и с кем? Нина писала, что продолжаете заниматься с детьми [8]. Напишите поподробнее, все мне так интересно. Зинуша, и так часто Вас вспоминаю! У меня с собой маленькое полотенце, суровое, с мережкой, Ваш подарок. Мои товарки делают красивые кружева, вышивают, и каждое мало-мальски красивое дело рук человеческих в здешней скудной жизни напоминает Вас и Ваши работы, и наши вечера.

Когда я еще была в Москве, то прочла — с огромным наслаждением — «Корень жизни» Пришвина [9] — это значит, что на всем протяжении книги была с Лилей. Здесь у нас так убийственно тихо и так далеко от всего, что еще можно воспринимать весну, как таковую, и умиляться пенью птиц.

Лилечка, у меня нет ни одной папиной карточки — если у Вас сохранились мои, то пришлите мне, хорошо?

Если можно, пришлите мне карточки — ваши и родных и если есть снимки того лета, что мы были вместе. Обнимаю вас, пишите, мои дорогие.

Ваша *Аля*

Позвоните Нине и попросите ее, чтобы когда она будет писать мне, то прислала бы мне свою карточку.

---

[1] Нина — Нина Павловна Прокофьева-Гордон (р. 1908) — подруга А. С. Эфрон, работала одновременно с ней в Жургазобъединении.

[2] Вера — Вера Яковлевна Эфрон (1888—1945) — сестра отца Ариадны Сергеевны, актриса Камерного театра, затем режиссер художественной самодеятельности, с 1930-го — работник Государственной библиотеки имени В. И. Ленина. В 1942-м была выслана в Кировскую область.

[3] Ее муж — Михаил Соломонович Фельдштейн (1885—1944) — профессор, специалист по истории государства и права, переводчик; с 1943-го — работник Государственной библиотеки имени В. И. Ленина. В 1938-м — арестован. Умер в заключении.

[4] Кот — уменьшительное имя Константина Михайловича Эфрона (р. 1921) — сына В. Я. Эфрон и М. С. Фельдштейна; в 1942-м — студент биофака, вскоре был мобилизован в армию.

[5] Нютя — Анна Яковлевна Трупчинская (1883—1971) — сестра отца Ариадны Сергеевны, преподаватель истории.

[6] Нюра и Лиза — Анна Александровна (1909—1982) и Елизавета Александровна (р. 1910) Трупчинские — дочери А. Я. Трупчинской. Первая работала в это время в обсерватории, вторая — была аспиранткой Сельскохозяйственного института.

[7] Димка и Валя — народный артист СССР Дмитрий Николаевич Журавлев (р. 1901) — мастер художественного слова, с начала 30-х работавший в тесном творческом содружестве с Е. Я. Эфрон, и его жена Валентина Павловна Журавлева (р. 1906), певица.

[8] Е. Я. Эфрон режиссировала программы ряда мастеров художественного слова и ставила с детьми спектакли в Доме писателя, а так же вела кружок художественного слова в Центральном Доме художественного воспитания детей.

[9] Так первоначально называлась повесть М. Пришвина «Женьшень».

Ракпас, 30 мая 1942 г.

Дорогие мои Лиля и Зина! Не так давно писала вам, с нетерпением жду ответа — не знаю, дошло ли до вас мое письмецо? Ужасно хочется мне узнать, как вы живете, что у вас слышно — ведь известий от вас не имею с самого начала войны, уже скоро год. Только благодаря Нинке недавно узнала, что вы живы, здоровы, и в Москве, и мне так захотелось хотя бы письменно услышать ваш голос.

Лилечка, известно ли Вам что-нб. насчет Сережи? [1] Я пыталась навести о нем справки отсюда, но ответа пока не имею. Сами можете себе представить, как мне хочется узнать, что с ним, где он? Я очень о нем беспокоюсь.

На днях получила письмо от Мульки, из Куйбышева, и таким образом кое-что узнала насчет мамы и брата [2], от которых тоже не имею известий с начала войны. Мулькино письмо очень меня обрадовало — я уже не знала, что о нем и думать. С ноября прошлого года уже все регулярно получали письма, только моя семья упорно молчала. И из-за этого молчания я чуть в самом деле с ума не сошла. Стала было такой вспыльчивой, такой нестерпимой злюкой, что никто меня не узнавал. А с тех пор, что получила первые весточки от Нины и от Мули, поуспокоилась, и опять стала, как:

> Оглянитесь, перед вами
> ангел кротости стоит,
> осыпает вас цветами,
> незабудку вам дарит,

как было написано в Зинином альбоме.

Зинуша, дорогая, как-то Вы живете? Напишите мне хоть несколько строк — я знаю, как вы с Лилей долго собираетесь писать ответы на самые срочные вопросы, но может быть на этот раз по знакомству просто возьметесь за карандаш, и, не откладывая в долгий ящик, напишете мне.

Дорогие, есть к вам большая просьба — если возможно, пришлите чего-нб. почитать — журналов, газет, что найдется, центральных газет не получаем, и вообще насчет какого бы то ни было чтения чрезвычайно слабо. И, если у вас есть карточки — Сережи, мамы, брата, ваши собственные, м. б. даже мои — пришлите, пожалуйста! М. б. у вас осталась часть моих фотографий, когда это вам будет нетрудно.

Вчера и сегодня у нас, после самой настоящей зимы, и почти без перехода началось вдруг лето. Грянула самая наилетняя жара — а березки стоят абсолютно голые!

Между этой последней фразой и той, что пишу сейчас, прошло несколько часов, и за эти несколько часов березы зазеленели буквально на глазах. Вообще о северном лете (не говоря уже о зиме!) можно писать целые книги. Такого неба, звезд, луны, солнца, как здесь, я в жизни никогда не видела. Это — баснословно красиво. Зимой наблюдала северное сияние, лунное затмение. Сейчас у нас уже белые ночи — на светлом, дневном небе, красная, и ужасно близкая луна.

Живу я, дорогие мои, неплохо, обо мне не беспокойтесь, только об одном прошу — пишите хоть по несколько слов, но почаще. Думаю о вас всех бесконечно много, с любовью, тоской и тревогой. Сама тоже буду писать почаще — наверстывать потерянное. Не забывайте и вы меня.

Крепко-крепко обнимаю вас и целую

Ваша *Аля*.

---

[1] Сережей Ариадна Сергеевна называла своего отца — Сергея Яковлевича Эфрона. О его аресте она узнала во время следствия, а о том, что он был расстрелян в 1941 г.— только в 1955 г.

[2] С. Д. Гуревич не сообщал Ариадне Сергеевне о самоубийстве матери. Вот что он пишет Е. Я. Эфрон 24.06.1942: «До сих пор я писал Але,— в моему примеру следует Мур,— что Марина совершает литературную поездку по стране. Все это, я знаю, ужасно дико. Но надо щадить душевные силы Аленьки...»

Ракпас, 13 июля 1942 г.

Дорогие мои Лиля и Зина! Ваше письмо с известием о смерти мамы получила вчера. Спасибо вам, что вы первые прекратили глупую игру в молчанки по поводу мамы. Как жестока иногда бывает жалость!

Очень прошу вас написать мне обстоятельства ее смерти — где, когда, от какой болезни, в чьем присутствии. Был ли Мурзик при ней? Или — совсем одна? Теперь: где ее *рукописи*, привезенные в 1939 году, и последние работы — главным образом переводы — фотографии, книги, вещи? Необходимо сохранить и восстановить все, что возможно. Напишите мне, как и когда видели ее в последний раз, что она говорила. Напишите мне, где братишка, как, с кем, в каких условиях живет. Я знаю, что Мулька ему помогает, но — достаточно ли это? Денег-то я могла бы ему выслать.

Ваше письмо, конечно, убило меня. Я никогда не думала, что мама может умереть. Я никогда не думала, что родители — смертны. И все это время — до мозга костей сознавая тяжесть обстановки, в которой находились и тот и другой — я надеялась на скорую, радостную встречу с ними, надеялась на то, что они будут вместе, что, после всего пережитого, будут покойны и счастливы.

Вы пишете — у вас слов нет. Нет их и у меня. Только — первая боль, первое горе в жизни. Все остальное — ерунда. Все — исправимо, кроме смерти. Я перечитывала сейчас ее письма — довоенные, потом я ничего не получала — такие живые, домашние,

такие терпеливые... Боже мой, сколько же человек может терпеть, и терпеть, и еще терпеть, правда, Лиля, а потом уж сердцу не хватает терпения, оно перестает биться. Напишите мне про мамины рукописи — это сейчас самое главное.

Крепко обнимаю вас и целую обеих. Жду от вас писем. Благодарна вам бесконечно за все то добро, которое мы все от вас видели.

Ваша *Аля*

23 июля 1942 г.

Дорогие мои Лиля и Зина, писала вам два раза с тех пор, что получила ваше письмо с известием о смерти мамы. Не знаю, дошли ли до вас мои письма. Еще раз повторяю вам большую мою благодарность за то, что вы все же решили сообщить мне об этом. Родные мои, я всегда предпочитаю *знать*. И недаром говорит пословица «много будешь знать — скоро состаришься». Сколько у меня теперь седых волос!

В каждом письме задаю вам один и тот же вопрос: знаете ли вы, что с мамиными рукописями? *Очень* прошу ответить. И еще прошу — если есть какие-нб. фотографии — мамы, папы, брата, мои собственные, пришлите, у меня тут только две карточки мамы с братом.

От Мульки получаю известия более или менее регулярно, знаю, что и вам он написал. Он, как будто бы, собирается, если удастся, съездить на месяц в Москву. Вот бы хорошо. Я бы тоже очень хотела, но пока не могу. Но все же не теряю надежды. Обо мне не волнуйтесь, родные мои. Я нахожусь в полной безопасности, работаю, сыта — значит — жива. Что эта жизнь, особенно по нынешним временам, никак меня не удовлетворяет, вы и сами знаете. Не могу сказать, как мне больно и обидно, что все это время я была не с мамой, не с вами, что была не в состоянии вам помочь. Если бы я была с мамой, она бы не умерла. Как всю нашу жизнь, я несла бы часть ее креста, и он не раздавил бы ее. Но все, что касается ее литературного наследия, я сделаю. И смогу сделать только я.

Родные мои, переживите как-нибудь всю эту историю, живите,— как мне хочется отдать вам все свои силы, чтобы поддержать вас. Но сейчас я ничего не могу сделать. Зато потом я сделаю все, чтобы вы были спокойны и счастливы. И так будет.

Напишите мне про родных — Мишу, Веру, Кота, Нюру, Лизу, известно ли что о Сереже, пишут ли Ася [1] и Андрей [2]? Что с Андреем? Ему уж пора быть дома — или на фронте. Что Дима и Валька? Напишите!

Обнимаю вас и целую, родные мои.

Ваша *Аля*

---

[1] Ася — Анастасия Ивановна Цветаева (р. 1894) — сестра матери Ариадны Сергеевны. Была арестована в 1937 году и в 1942-м — находилась в заключении.

[2] Андрей — Андрей Борисович Трухачев (р. 1912) — сын А. И. Цветаевой; в 1937—1942-м был репрессирован, в 1942-м — призван в армию.

5.8.42

Дорогая моя Зина, получила сегодня Ваше письмо от 14.7. Отвечаю немедленно. Спасибо Вам и Лиле, родная, за Вашу любовь, память, за Ваше большое сердце. Два дня тому назад отправила Вам маленькую записочку с двумя рисуночками. Вы, верно, ее уже получили. Боюсь, что в тот же конверт случайно попал черновик моего заявления в Президиум Верховного Совета — если да, не удивляйтесь. Моя рассеянность безгранична, вместо того, чтобы положить названный черновик в пустой конверт, я, видимо, сунула его в письмо — не то к Вам, не то к Мульке.

Сердце мое, мысли мои рвутся к вам. Вас обеих, всю вашу жизнь в эти страшные дни и месяцы я представляю себе так, как если бы разделяла ее с вами [1]. Много-много думаю о вас, и ужасно хочется помочь Вам, снять с вас часть всех этих внешних тягот — но, к сожалению, я совсем беспомощна, могу только думать о вас, да писать вам.

Моя жизнь идет все по-прежнему, так же и там же работаю, работа нетяжелая, я свыклась с ней. Вы беспокоитесь о моих легких, но производство не вредное, скорее наоборот — мы производим зубной порошок, и от меня приятно пахнет мятным маслом, а хожу я в белом халатике, как медсестра. Я рада, что работаю теперь не на швейной машине — мне гораздо легче, меньше устаю, чувствую себя лучше.

Отчего Вы ничего не пишете мне насчет Димки? Мне очень за него тревожно — что он, где? Напишите, пожалуйста. Грустно мне было узнать о смерти маленького моего племянника, [2] какой он был славный и странный мальчик — как, впрочем, и все мальчики в нашей семье. Я помню, как любила его Лиля.

Очень прошу вас, дорогие, написать мне про мамины рукописи — пишу вам об

этом в каждом письме, прислать адрес брата, и, если есть, фотографии, кроме того, напишите, что известно вам про Андрея и Асю. Как обидно, что Асе не пришлось увидеться с мамой!

Мамину смерть как *смерть* я не сознаю и не понимаю. Мне важно сейчас продолжить ее дело, собрать ее рукописи, письма, вещи, вспомнить и записать все о ней, что помню,— а помню бесконечно много. Скоро-скоро займет она в советской, русской литературе свое большое место, и я должна помочь ей в этом. Потому что нет на свете человека, который лучше знал бы ее, чем я. Я не верю, что нет больше ее зеленых глаз, звонкого, молодого голоса, рабочих, загорелых рук с перстнями. Не верю, что нет больше единственного в мире человека, которого зовешь мамой. Но на все это не хватает слов, вернее — трудно писать об этом так, как пишу я это письмо — наспех, за общим столом в общежитии, об этом я впоследствии напишу книгу, и тогда хватит слов, и все слова встанут на место.

От Мульки и Нины получаю письма не особенно часто, но регулярно. Я очень люблю их обоих, и очень рада, что оба они оказались друзьями на высоте, друзьями в тяжелые дни. И Сережа и мама также очень любили их, да и вы к ним относитесь неплохо.

Ужасно мне надоело здесь, в глубоком тылу. Ужасно силой судеб оставаться в стороне, когда гитлеровские бандиты терзают нашу землю, все наши горести — их вина. Не знаю, помогут ли мои заявления, но почему-то надеюсь.

Крепко обнимаю и целую обеих. Пишите.

Ваша *Аля*

---

[1] В письме от 1.08.42 Ариадна Сергеевна пишет: «недавно видела в кино Москву, и разбитый памятник Тимирязеву — какой ужас, ведь вы так близко!» — они жили в Мерзляковском переулке, 16, невдалеке от Никитских ворот, где стоял памятник Тимирязеву, пострадавший во время бомбежки.

[2] По дороге в эвакуацию из блокированного Ленинграда А. Я. Трупчинская с тяжело заболевшими внуками — Мишей Седых (р. 1934) и Сашей Прусовым (1939—1941) — была снята с эшелона в Котельниче; в местной больнице старший поправился, а младший — умер.

Ракпас, 17.8.42

Дорогие мои Лиля и Зина, пользуюсь нашим выходным, чтобы написать вам несколько слов. Недавно получила Зинино большое письмо, которое очень обрадовало меня. Спасибо вам за вашу любовь, память, чуткость. Очень люблю вас обеих, очень мечтаю вновь увидеть вас, я так по вас соскучилась! Я ничего не написала Зине по поводу ее утраты [1]. Да вы сами понимаете, что ни писать, ни говорить по этому поводу нельзя, вернее — можно только потом, когда мы, наконец, встретимся, и сможем крепко обнять, поцеловать друг друга. Все это более чем горько, более, чем обидно. Смерть единственное непоправимое.

Живу я все по-прежнему. Так же встаю в 5 час. утра, в 6 выхожу на работу, перерыв от 12 до 1 ч., кончаем в 7. Прошла уже пора, странная пора белых ночей. Казалось именно в такую пору библейский герой приказал солнцу остановиться — и все замерло. Теперь — обычные летние ночи, темные и короткие. Лето-то уже кончается. Была как бы долгая весна, и сейчас же за ней — осень. Деревья, длинные наши «пирамидальные» березки, вот-вот пожелтеют, так и чувствуется, что уже последние дни стоят они в зеленом уборе. За это лето мне удалось три раза сходить в лес по ягоды. Ходили бригадами по 25 человек. Лес — не наш, почва — болотистая, ягоды — черника (разливанные моря, все черно!), морошка, брусника, клюква. Но в лесу — тихо, как в церкви, и вспоминаются все леса, в которых я бывала. В которых мы бывали с мамой. В первый раз, что я попала в лес — 12 часов на воздухе (впервые за три года!) я буквально заболела от непривычного простора, солнца, от необычности такой, по сути дела, привычной обстановки. Последующие два раза было просто очень приятно.

О работе своей уже писала вам — работа легче, чище и приятней предыдущей. Сейчас работаю на производстве зубного порошка, пропахла мятой и вечно припудрена мелом и магнезией.

Окружающие люди относятся ко мне очень хорошо, хотя характер мой — не из приятных, м. б. именно потому хорошо и относятся. Я стала решительной, окончательно бескомпромиссной, и, как всегда, твердо держусь «генеральной линии». И, представьте себе, меня слушаются. Есть у меня здесь приятельница [2], с к-ой не расстаемся со дня отъезда из Москвы. Она — совершенно исключительный человек, и очень меня поддерживает морально. Лилечка, Вы уже давно обещали мне прислать карточки. Сделайте это, если Вам не трудно. Видаете ли Мульку? Известно ли что про Сережу, Асю, Андрея? Лиля, если паче чаяния будет какая-нб. оказия ко мне, пришлите мне, пожалуйста, верхнюю кофточку вязаную, просто кофточку вязаную, юбку и блузку,

белья и чулки (все это должно быть в моем сундуке) — да, и резинки, а то я обносилась окончательно. Хорошо бы еще и платок, а то впереди такая холодная зима! Хотя вряд ли такая оказия представится.

Крепко обнимаю и целую вас обеих.

Ваша *Аля*

---

[1] В блокадном Ленинграде умерли от голода мать З. М. Ширкевич Ольга Васильевна и сестра Антонина Митрофановна. По дороге в эвакуацию — десятилетняя дочь Антонины Митрофановны Галя.

[2] Тамара Владимировна Сланская (р. 1906) в 1925—1929 гг. была работником Советского торгпредства в Париже. По возвращении в СССР работала в Совторгфлоте, училась на факультете иностранных языков педагогического института имени А. И. Герцена, пела в самодеятельности. Перед самым арестом была приглашена на роль Снегурочки в одноименной опере А. Н. Римского-Корсакова в Ленинградский Малый оперный театр. Во время следствия ее настойчиво расспрашивали о С. Я. Эфроне и его дочери, которых она никогда не видела. Ариадну Сергеевну расспрашивали о Т. В. Славской, пытаясь «сшить дело» о шпионской группе. Когда вызывали на этап, то, услышав знакомое имя, они бросились друг к другу и впервые познакомились.

Ракпас, 25.8.42

Дорогая Лилечка, дорогая Зинуша, получила вчера Лилину открытку, где она еще раз подтверждает существование маминых рукописей и, хоть несколько слов, рассказывает о своей работе. Я очень рада, что вы мне пише — *(часть текста утрачена)* я соберу всех вас вместе, в один прекрасный день или вечер, тогда я действительно окажусь «дома». Я удивлена, что Лиля не получает моих писем, я пишу часто, хоть по несколько слов, хотя писать особенно нечего, все убийственно по-прежнему, и, в общем, все неплохо. Послезавтра будет ровно три года, что я в последний, действительно последний раз видела маму[1]. Глупая, я с ней не попрощалась, в полной уверенности, что мы так скоро с ней опять увидимся, и будем вместе. Вся эта история, пожалуй, еще более неприятна, чем знаменитое «Падение дома Эшер» Эдгара По,— помните? Это не По, это не Шекспир, это — просто жизнь. В общем-то, мой отъезд из дому — глупая случайность, и от этого еще обиднее.

Ну, ладно. Здоровье мое неплохое, лучше, пожалуй, чем раньше. Первое время, первые месяцы, даже вобщем первый год здесь, на севере[2], мне было довольно тяжело в непривычной обстановке после того уединения, в котором я находилась последние полтора года в Москве[3]. Я все, все время хворала, температурила, и все время работала. А теперь приспособилась, да и работа легче, последние три месяца. Окружающие относятся хорошо. Бытовые условия вполне приличные, ибо наш комбинат — образцово-показательный. Но как-то скучно обо всем этом писать, хочется домой, вот и все. Мне еще тоскливее на душе, чем раньше, из-за того, что творится на свете, и полной невозможности именно сейчас работать продуктивно и быть полезной.

Крепко-крепко целую вас, дорогие мои, и с нетерпением жду обещаных фотографий. Буду иметь возможность переснять их — есть фотолаборатория. Пишите, и, если какие неприятности — не скрывайте, раз на самом деле любите меня.

Ваша *Аля*

---

[1] Об аресте дочери М. И. Цветаева пишет: «Разворачиваю рану, живое мясо. Короче, 27 августа в ночь ⟨арест⟩ Али. Аля — веселая, держится браво. Отшучивается.

Забыла: последнее счастливое видение ее было дня за 4 на С.-Х. выставке „колхозницей" в красном чешском платке, моем подарке, сияла. Уходит, не прощаясь!! Я — что же ты, Аля, так, ни с кем не простившись? Она, в слезах, через плечо — отмахивается!» (см.: М. Цветаева «Неизданные письма», Paris, УМКА-PRESS, 1972).

[2] Из московской тюрьмы в лагерь на станцию Ракпас А. С. Эфрон прибыла 16.02.1941 г.

[3] Имеется в виду тюрьма.

Ракпас, 3.9.42

Дорогая Зинуша, получила открытку от 17.8, спасибо, что не забываете. Каждое письмо, каждая весточка — такая радость!

Часто-часто перечитываю мамины письма и все не могу себе представить, что больше *никогда* не открою конверта, надписанного таким родным, таким живым почерком. Она не выходит у меня из головы, а говорить о ней не с кем.

Живу и работаю по-прежнему. Некоторое приятное изменение в нашей судьбе принесло введение 10-ти часового, вместо 12-ти часового, рабочего дня. Остается побольше времени для сна, для своих мелких делишек, штопки, стирки. Со всем этим

ужасно хочется домой. Очень тоскливо на сердце, тяжело. Муру писала, от него пока ничего не имею, кроме письма, еще мартовского, Мульке, которое он переслал мне. И за него очень беспокоюсь. У нас тоже было холодное лето, я даже не заметила, что оно прошло. Необычайное здесь небо. Только с ним говорю о маме.

Крепко-крепко целую вас обеих. Пришлите карточки, вы же обещали!

Ваша *Аля*.

Ракпас, 11.10.42

Дорогие Лиля и Зина! Довольно давно не писала вам, а от вас получила две фотографии — мамину и ту, где мы с Мурзиком на помосте для ныряния. Большое спасибо вам обеим. Это было очень приятно. Мулька пишет мне реже, вероятно очень занят, а от Мурзика письма приходят регулярно, и, как правило — письма очень умненькие. Лилечка, у вас там остались папины вещи, кое-что из них нужно продать, для Мурзика, принимая во внимание, что вещи — восстановимы, и что мальчишке, который вот-вот будет призван на фронт, необходимо обеспечить нормальное существование. Речь идет, конечно, о вещах *новых*, т. е. имеющих ценность объективную, а не семейную. Я написала Мульке насчет своих вещей, но они все порядочно потрепанные, и навряд ли удастся что-нб. на них выручить. В общем, всю эту операцию следовало бы поручить Мульке, а Вас лично я бы только попросила выбрать из папиных вещей то, что там наименее папино, и наиболее магазинное. Я бы, конечно, но затрагивала ни этого вопроса, ни этих вещей, если бы не военное время. Не сегодня-завтра Мурзик попадет на фронт, и неизвестно, увидим ли мы его. Поэтому и хочется, чтобы последний его ученический год прошел бы для него без всяческих материальных забот. Оказывать ему какую бы то ни было помощь отсюда я не в состоянии, т. к. зарабатываю настолько мало, что об этом и говорить не стоит — мне-то хватает, т. к. я — на всем готовом, но вообще-то зарплата ерундовская. Вы не сердитесь на меня за то, что я касаюсь этих дел, но по Мулькиным намекам я догадалась, что на Мурзикином фронте не все благополучно. Ну, ладно.

У меня все идет по-прежнему. Налаживается новое производство, которое очень меня интересует — игрушечное. Игрушки делаются из отходов швейного цеха — тряпья, ваты, тряпье превращается в пластмассу для кукольных голов, в частности, а из ваты, которую я превращаю по изобретенному мною способу тоже в своего рода пластмассу, делаются очаровательные елочные украшения. Мне ужасно жаль, что вы не можете на них посмотреть, они бы вам действительно понравились. Я писала уже вам, что нашим драмкружком руководит режиссер Гавронский[1], которого Вы, Лиля, должны помнить, т. к. он Вас прекрасно помнит, равно как и всех артистов Завадского[2]. Он — человек одаренный и культурный, работать с ним приятно, ибо эта работа что-то дает. Первый наш спектакль — две ерундовских пьески и одна не ерундовская («Рай и ад» Мериме, знаете?) прошли с небывалым у здешней публики успехом. Оформление (по принципу «из ничего делать чего») — мое. Снисходительный режиссер нашел у меня «настоящий драматический дар» и сулит мне роль Василисы в «На дне». Я ее когда-то играла, но была, как говорится, молода и неопытна, с неопределившимся еще характером, и роль делала наугад, на слух и на ощупь. Теперь — не так, я чувствую, что внутренне доросла. Как бы не перерасти, черт возьми!

Дни стоят великолепные, и ночи тоже. Днем — все голубое, даже снег, ночью — все черное, даже снег. А такое звездное небо, как здесь, не над каждой страной бывает. Слежу за тем, как передвигаются и перемещаются созвездия — Орион, например, летом пропадает вовсе, и возвращается лишь поздней осенью. Это — одно из моих любимых созвездий, совершенно правильное. Жаль только, что в карте звездного неба перестала ориентироваться — позабыла. А ребенком знала ее настолько прилично, что вряд ли было что, видимое простым глазом, чему я не знала бы названия. Вновь появилось северное сияние — оно, между прочим, гораздо менее красиво, чем я представляла себе по сказке Андерсена «Снежная королева».

Ответа из Президиума еще не получила, но по срокам он должен прибыть вот-вот. Вряд ли он что-нб. изменит в моем существовании. Лилечка, а где Пастернак? Вы про него ничего не писали, а я, кажется, не спрашивала.

Если будет минуточка времени, напишите мне о своей работе, давно вы мне ничего о ней не сообщали.

Пока крепко, крепко целую обеих, жду известий.

Ваша *Аля*

---

[1] Гавронский Александр Иосифович (1888—1958). Происходил из семьи богатейших чаеторговцев Высоцких. За революционную деятельность был приговорен царским правительством к расстрелу, бежал за границу. Окончил философский факультет Марбургского и филологический Женевского университетов, а также институт Ж.-Ж. Руссо. Автор работ «Логика чисел»

и «Методологические принципы естествознания». В 1916—1917 гг. работал режиссером Цюрихского и главным режиссером Женевского театров. По возвращении в Россию в 1917 г. был режиссером Незлобинского театра, а затем ответственным режиссером Гостеатра-студии имени Шаляпина. Один из первых режиссеров советского кино.

[2] В 1924 г. молодой режиссер Юрий Александрович Завадский (1884—1977) с группой из шести актеров, в числе которых была и Е. Я. Эфрон, ушел из Вахтанговского театра и начал строить новый театр. В 1924—1931 гг. Е. Я. Эфрон была режиссером этого театра и педагогом студии при нем. В 1931 г. из-за тяжелой болезни ей пришлось выйти на инвалидность.

1 сент. 1944

Дорогие мои Лиля и Зина! Давно не писала вам, и от вас очень давно ничего не имела. Получила от Зины открыточку давным давно, после письма от 4-ого июня от вас, от Нины и от Мульки ничего не получала. Такое всеобщее молчание бесконечно меня беспокоит. За полгода от Мульки получила одну открытку, два письма ведь это действительно чересчур мало, на него совсем не похоже. Что там у вас делается? Очень-очень прошу писать хоть изредка, держать меня в курсе ваших событий. Я надеюсь, дорогие мои, что все вы живы, если даже и не здоровы. Я ведь знаю — здоровых у нас в семье нет! Еще и еще раз спасибо за присланное. Все дошло, и конечно все пригодилось. Только ужасно жаль, что не прислали мне ничего из литературы, о к-ой я просила, и без которой мы пропадаем. Зина обещала какой-то альбом Родена, но и его не видать на горизонте. В первый раз в своей жизни я нахожусь в таком бедственном — в плане чтения и рисовально-письменных пособий — положении. Сейчас пишу, п. ч. на несколько минут дорвалась до ручки и чернила, вот и тороплюсь, как на курьерский.

Чувствую себя значительно лучше, целый месяц каждый день пила по много молока, покупала масло и очень поправилась [1] Стала почти круглая, во всяком случае все мои острые углы закруглились. Работаю ужасно много, гораздо больше, чем от меня требуют, но иначе не могу, да и время идет гораздо скорее. За работу свою каждый месяц получаю премии и благодарности, несмотря на свои седые волосы, чувствую себя девчонкой, первой ученицей в классе.

Обо всех вас очень тоскую, с каждым днем все больше и глубже. И все больше и глубже ощущаю свое сиротство и одиночество. Только мама была способна соединить семью, даже рассыпавшуюся, а теперь ее нет, нет и «дома» «Дома» — это там, где мать. А теперь дома нет.

Людей кругом много, со всеми ровно хорошие отношения. Товарищей много, друзей нет. У меня их и раньше-то было немного, а в этой обстановке и вовсе нет. Увы мне, я чересчур требовательна, и, да простит меня Бог, чересчур умна!

Напишите мне, что с Мулькой, где он, если что с ним случилось, не скрывайте. От него ни слова, ни звука, уже третий месяц. От Мураика получила за все время одну записочку, на мои письма ответа нет.

У нас здесь есть довольно захудалая карта Франции, я могла все эти дни следить за событиями. До чего все это интересно! И до чего мне обидно, что я никак не могу в этих событиях участвовать, как и сколько я ни работаю, мне все кажется, что я сижу без дела, что нужно еще больше, еще лучше работать. Пишите мне, дорогие мои. Большой привет всем — Нине, Мульке, Диме.

Крепко вас целую и за все благодарю.

Ваша *Аля*

Пришлите что-нб. читать — пусть старые газеты, журналы, а то я совсем одичаю!

---

[1] Лагерная подруга Ариадны Сергеевны Т. В. Славская рассказывает: «Весной 1943 г. Ариадну Сергеевну вызвали в лагерное управление и предложили ей стать стукачкой — она отказалась. Тогда ее перевели на Крайний Север в штрафной лагпункт. Условия там были тяжелые: работа на лесоповале без выходных, предельно скудные нормы питания. Аля очень похудела, стала сильно кашлять. Я участвовала в агитбригаде, обслуживавшей всю огромную территорию Севжелдорлага; перевозили нас в тех же вагонах, что и вольных. Как-то, когда не было поблизости охраны, мне удалось попросить у кого-то из вольных конверт и написать ее мужу, адрес которого я знала на память: „Если Вы хотите сохранить Алю, постарайтесь вызволить ее с Севера“. И довольно скоро ему удалось добиться ее перевода в Мордовию, в Потьму. Там расписывали ложки-плошки, а она ведь была художницей».

1 январи 1945 года

С новым годом, дорогие Лиля и Зина! Дай нам Бог всем остаться в живых и встретиться — нет у меня больше других желаний. Получила уже давно от вас обеих весточки в ответ на мой вопрос о Мульке. Свое молчание он мотивировал тем, что вот-

вот ждал меня домой. Со дня на день. Я на своем скромном опыте постигла, что из дней слагаются годы, и поэтому предпочитаю, чтобы мне писали и сама стараюсь писать по мере возможности. Сама я рвусь домой безумно, безумно хочется к маминым рукописям, ко всему тому, что от нее и о ней осталось. Память о ней не слабеет, и со временем горе и боль не утихают. Думаю о ней постоянно, то вспоминаю, что было при мне, то каким-то, я уверена, не обманывающим чутьем воссоздаю все, что было без меня. И вот мне хочется возможно скорее собрать все и все записать о ней — «Живое о Живом», как называется одна из ее вещей — воспоминания. Пока еще живы сказанные слова, люди, слышавшие их, видевшие ее. Непременно напишите мне вот о чем: когда я уезжала с Севера, я оставила там на хранение моей подруге мамины письма и фотографии, зная, что в дороге могу все растерять. Вчера получила от нее письмо, в котором она сообщает, что послала это Вам, Лиля (по моей просьбе); но от Вас подтверждений в получении не имеет. Ради Бога, Лиля, напишите скорее мне, получили ли Вы, или нет, и если да, то что именно? Я ужасно боюсь, как бы это, невосстановимое, не пропало, а у нее тоже храниться вечно не могло, ведь мы подвержены таким случайностям! Так что подтвердите мне получение или неполучение. Есть ли что-нб. от Мура? Если нет, то наводили ли справки? Я от него за все время получила одно письмо весною. М. б. и его больше нет в живых.— Да, если получили от Тамары письма и карточки, передайте их, пожалуйста, Мульке, чтобы он приложил их к маминым рукописям. И не показывайте чужим — это не стихи, не для всех. И стихи-то не для всех, а письма — тем паче. Дай Бог, чтобы они до Вас дошли, вот бы камень с плеч! Пишите мне, я очень одинока. Под Новый Год видела во сне Сережу, живого. И сердце мне твердит, что мы с ним увидимся. Неужели и Мур погиб? — Я живу и работаю все также. Чувствую себя, за исключением сердца, хорошо, и впервые за эти годы действительно поправилась. Домой хочется.

Крепко обнимаю и люблю. Берегите себя. Мы скоро опять будем вместе.

Ваша *Аля*

---

[1] М. И. Цветаева написала носящие это название воспоминания о своем близком друге поэте М. А. Волошине в 1932 г., сразу же, как только узнала о его кончине.

1 января 1946

Дорогие мои Лиля, Зина и Кот! Получила от вас однажды одну единственную телеграмму, а больше ничего «в мой адрес» не поступало. Кроме того от Мульки получила, тоже однажды, тоже одну единственную, и тоже телеграмму. Таким образом, узнала, что все вы живы, и временно успокоилась.

А если бы вы видели, какая в нашем цеху елка! Ужасно мне захотелось встретить этот новый (в седьмой раз, все новый и новый, и все одинаковый) год «по настоящему». И я прямо с 1 декабря начала готовиться к празднику, заставляя решительно всех елочные игрушки делать после работы, и все делали, ворча, неохотно, вздыхая о прошлом, отворачиваясь от будущего. Из старого журнала «Смена», выкрашенного во все цвета радуги, наделали километры цепей, из старых коллективных договоров и стенгазет сооружали самолеты, собачек, кошечек, домики, мельницы, балерин, хлопушки, и вообще все, что полагается. Прослышав, что для начальственной елки свечи готовятся, мы и себе выпросили 6 штук, разрезали пополам, вышло 12 — одним словом, все, кроме елки, готово, а вот самую елку достать труднее всего, п. ч. хоть в лесу живем, а в лес не ходим. Ну вот все же выпросили себе одну, нам принесли, высоты и худобы необычайной, совсем лысую. Выпросили вторую, а та совсем кощей. Потом, уже 31-го, принесли сразу 5 мал мала меньше, хоть плачь. Ну, понарубили ветвей, и из нескольких елок сделали одну, дато такую красавицу, прелесть! Пока убирали ее игрушками, кошки забрались в цепи и поразодрали их, пришлось подклеивать. И вот, когда все готово, двери распахиваются настежь, и входит... нет, не дед Мороз, значительно хуже! — начальник пожарной охраны! Короче говоря, мы его задобрили игрушками, отделавшись испугом до полуобморочного состояния.

А когда стемнело, зажгли свечи, и все по детски глядели на елку, и у всех в глазах отражались такие же огоньки, как давно, бывало. Все всё вспомнили, и всем было грустно.

Сегодня веселились до упаду. В 12 ч. дня было кино. В столовой набилось людей, как семечек в стакане торговки. Ждем полчаса, час. Нет напряжения. Наконец, оно появляется, легкое, как крылья мотылька. На экране являются бледные тени имен режиссеров, кинооператоров, действующих лиц. Потом показывается какой-то расплывчатый силуэт не то капитана, не то майора, но госбезопасности. Потом все исчезает с остатками напряжения вместе, из будки доносится явственно голос приезжего кинооператора: «к любимой матери такую работу!» Он является зрителям, как некий

полубог, собирает звуковые кинамонатки и... исчезает. Вот и вся картина. Называлась она, как говорили знатоки, «Поединок!»

Вечером зато был концерт. Участники хор-кружка с успехом продемонстрировали нам новогоднюю программу: «Догорай, моя лучина», и «В воскресенье мать старушка к воротам тюрьмы пришла». В заключенье спели еще «Буря мглою», и руководитель кружка прочел наизусть полуторачасовой отрывок, озаглавленный «Смерть Иоанна Грозного».

Словом, я давно так не веселилась. Оделась я во все кобеднишное — была прекрасна, насколько возможно в данных условиях и в мои лета.

Теперь я вообще стала чувствовать себя лучше, а то все последние месяцы хворала, боялась, как бы не легкие, температура была такая, похожая. Нашла выход из положения, простой и чудесный,— перестала ее мерить и над ней задумываться, в стиле «и никто не узнает, где могилка моя». Помогло. А вот с сердцем у меня пошли что-то сногсшибательное — склероз аорты. Единственный шанс на спасение и на неправильность диагноза — это то, что слушавший меня врач по-моему просто ветфельдшер, лучше разбирающийся в заднем проходе лошади, чем в человеческом сердце. Работаю пока без всяких перемен, и жизнь идет, как во сне. Только разве кто, раз в полгода, пришлет телеграмму, да и то не по собственной инициативе, а так, выпросишь ее с великим трудом у Бога и у людей.

Часто, часто думаю о вас всех, и так все хорошо знаю и понимаю, как если бы мы были вместе — а м. б. и еще лучше, из моего «прекрасного далека».

Совсем темно, и буквы мои, почти для меня невидимые, пляшут.

Крепко вас всех всех, мои родные, целую, желаю вам хорошо провести праздники, и не только праздники, но и будни.

Ваша *Аля*

От Аси довольно часто получаю письма, и сама пишу так часто, как только возможно.

16 февраля 1946 г.

Дорогая Зина, дорогая Лиля ⟨...⟩ У меня все по-прежнему, только в последнее время стала прихварывать, заразившись Зининым примером [1]. Но надеюсь, что теперь она уже совсем поправилась и давно дома. От Зины получила две открытки, обе из больницы. Теперь жду открытки домашней. У этих открыток Зининых один недостаток — тот же, что и у моих писем — одни сплошные вопросы, и никаких ответов — например: «как вы поживаете? как ваше здоровье? получаете ли письма?» и т. д. А по существу-то, очень мало и узнаешь.

Короче говоря, писать мне решительно нечего. День за днем, день за днем идут настолько похожие друг на друга, настолько ничем не отличаются и не отделяются, что чувствуешь себя каким-то потонувшим колоколом или кораблем, и потихоньку обрастаешь илом и русалками. Никаких звуков извне, и никаких лучей. Хочется, наконец, выплыть на поверхность, поближе к солнцу. Хоть немного поплавать, ежели ты корабль, хоть немного звякнуть, если ты колокол. Потом мне хотелось бы послушать настоящей музыки, пусть в исполнении архаического репродуктора, висевшего когда-то у Лили в ногах, но чуть повыше. Потом в театр сходить хотелось бы тоже.

Но все это пустяки. Живу, в общем, неплохо. Сыта, работаю в тепле, работа легкая и даже подчас творческая. А что однообразно — на то остается внутреннее разнообразие во всем его неискоренимом великолепии. Но в общем есть Бог и для бедных людей. Только успела я пожелать себе немного музыки, как открылась дверь, в нее вошла гитара, а за ней — старый, страшный, но по своему величественный гитарист, похожий на Дон Кихота в последней стадии. Сыграл мне «Чилиту», «Синий платочек», польку «Зоечка», вальс «На сопках», незаметно переходящий в «Дунайские волны», и в конце концов «Болéро». Встал, церемонно поклонился и сказал: «Больше ничем помочь не могу». Я поцеловала его в ужасную, морщинистую и колючую щеку и, честное слово, расплакалась бы, если бы слезы все давно не иссякли. Передайте Нинке мою записочку. Крепко вас всех люблю и целую.

Пишите. *Аля*

---

[1] З. М. Ширкевич с детства была больна туберкулезным кокситом; в результате лишений военного времени у нее началось обострение туберкулезного процесса.

7 ноября 1946

Дорогие мои Лиля и Зина! От Зины получила в прошлом месяце две открытки, одну совсем старую, другую — новее, но обе еще с дачи. Как-то вы живете, мои дорогие? Ваши, такие редкие, весточки, всегда очень сдержанны на этот счет, остается только предполагать, а я, как чуткая натура, всегда предполагаю правильно. Очень, очень я по вас стосковалась. Ведь так давно мы не виделись, я особенно в последнее время я чувствую вес всех этих лет. Сегодня праздник, 29-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции. Своевременно поздравить вас не успела, т. к. была очень занята, много работы было в связи с предоктябрьским трудовым соревнованием. Теперь полегче, и вот — пишу.

Живу я по-прежнему, перемен особых нет, только разве что пайки изменились. Работаю так же и там же, считаю дни, недели, месяцы, надеюсь на встречу с вами, впрочем, довольно проблематическую, приехать к вам не удастся, разве что когда отпуск дадут, а до отпуска еще с августа год работы — разве можно так далеко заглядывать и загадывать? Но надежда меня все равно не покидает, из меня ее и палками не выбьешь, все же в самой глубине души, приблизительно на уровне левой пятки, если еще не глубже, я — оптимистка.

Очень попрошу вас написать мне о Мульке. Писем от него не имею больше года, и ничего о нем не знаю. Если не трудно исполнить мою просьбу — позвоните ему, узнайте, как его дела, и напишите мне. Я ведь очень беспокоюсь, я даже не знаю, жив ли он или нет, я помню, как меня мучили с маминой смертью, все скрывали, вот мне и кажется, что и тут — скрывают. Мне по сути дела во всей этой истории только и важно, чтобы он был жив и здоров, ибо только смерть — непоправима. О себе, о своей судьбе и о прочем «о» уже и не думается. Прошлое вспоминаю, а в будущее не заглядываю, оно все равно придет само.

Но все же все силы приложу к тому, чтобы, как только будет возможность, малейшая,— встретиться с вами.

Уже заблаговременно заготовляю скромные подарки — вяжу вам носки, варежки теплые, м. б. удастся на кофточку, шарф пряжи подобрать. Если не смогу сама привезти, пришлю с кем-нб.

Здоровье мое ничего, если бы не грызла постоянная тревога за последних моих оставшихся в живых. Все же пишите почаще, хоть по несколько слов. Дай вам Бог здоровья и сил. От Нины не получила ни письма, ни телеграммы. Передавайте ей от меня сердечнейший привет, пожелайте счастья и покоя. Напишите о ней и Юзе [1], что знаете. И простите за постоянные поручения! Целую и люблю.

Ваша *Аля*

---

[1] Юз (в других письмах — Кузьма, Кузя) — Иосиф Давыдович Гордон (1907—1969), муж Н. П. Прокофьевой-Гордон, режиссер-монтажер кино. В 1937-м был арестован. Отбывал наказание на Колыме, в мае 1945-го, получив паспорт с ограничением мест проживания, жил в Рязани. В 1951-м арестован повторно, сослан в Красноярск, реабилитирован в 1954 г.

30 ноября 1946

Дорогие мои Лиля и Зина! От вас, конечно, опять давно вестей нет, а я за столько дней не могу привыкнуть к вашему равнодушию к эпистолярному искусству и тревожусь — о вашем здоровье и состоянии. У меня все та же пустота и одиночество — среди стольких людей! Постоянное *ожидание* чего-то, сама не знаю — плохого или хорошего. Вчера видела сон — глупо сны рассказывать, еще глупее в письмах писать, но хочется поделиться: я в большом городе, вроде того, откуда я к вам приехала, ищу кладбище, где мама похоронена. Спрашиваю у встречного почтальона — «где кладбище бедных и самоубийц»? Он мне указывает — «туда, на юг». Приезжаю, нахожу — между четырех улиц — вроде пустыря, но там не земля, а пепел, прах. Ничем не огорожено. Разыскиваю сторожиху, спрашиваю про могилу, причем во сне правильно указываю дату маминой смерти. Та отвечает: «О, так давно... тела вы не найдете, мы их всех вместе хороним, тела сжигаем, а пепел — вон он!» Я ищу в пепле — нахожу только черепа, но не те, страшные, а маленькие, темно-восковые лики, похожие на лики мощей. Но мамы — нет. Подходит папа, спрашивает: «Нашла?» — «Нет».— «Ну, мы тогда откупим у города это кладбище, и сделаем одну большую могилу, поставим один большой памятник — маме, и всем тем, кто умер, как она». Мы идем с папой по улицам большого города, он говорит: «Все вышло, как она хотела. Ни ограды, ни могил, ничего, что душит. Этот пепел разойдется по всему миру... Она ведь писала: „Схороните меня среди — четырех дорог [1]"». Вот и все. Самое удивительное, что приблизительно такие строки есть среди ее стихов. Я проснулась с мирным, хорошим чувством, сон был не горек и не страшен, просто мама дала мне знать, что делать, если я не найду ее тела. Я ведь не знаю, где ее могила, и есть ли она, а Мура, который знал, нет с нами...

Живу я по-прежнему, немного труднее. От Мульки ничего не получаю, наверное и не получу. По этому поводу мне более, чем грустно. Чувствую себя ничего, только дает себя знать большая усталость всех этих лет. Но теперь осталось не так-то много,

авось доживу как-нб. Не представляю себе только, куда деваться потом, видимо предоставлю себя воле Бога и администрации, куда пошлют совместно!

Целую вас крепко — да, забыла поблагодарить за телеграмму, онэ дошла. Привет Коту и Нине.

Аля

---

[1] У М. Цветаевой: «...А настанет срок —
Положите меня промеж
Четырех дорог».
(*в стих. «Веселись, душа...», 1916*)

9 марта 1947

Дорогая Лиленька! На днях получила вашу бандероль — каталог выставки и Пушкина, а сегодня — открытку от 21 февраля. Спасибо, дорогие, за память. Рада была узнать, что Вы, Лиля, чувствуете себя несколько лучше, а вот о Зинином здоровье ничего на этот раз не написали. Надеюсь, что тоже терпимо, а то написали бы. Спасибо Борису [1] за привет, он сам знает, что я в последнее время особенно о нем думаю, хоть и вообще никогда не забывала. «Ромео и Джульетта», «Антоний и Клеопатра», «Ранние поезда» всегда со мною и имеют очень много читателей и почитателей. ⟨...⟩

Жизнь моя все та же, неинтересная и скудная какая-то, во всех отношениях. Здоровье тоже сдает, все прожитое и пережитое сильно дает себя знать, и все недохваты переносятся с гораздо большим трудом, чем раньше, ибо глуше звучит та «высокая нота», которая раньше помогала все преодолевать, заглох какой-то внутренний двигатель. Видимо, просто очень устала. И сознаю, что очень глупо с моей стороны уставать тогда, когда так нужны силы, целый аварийный запас сил — на предстоящее, т. к. после трудностей, переживаемых теперь, ожидают новые, на каком-то, еще неведомом мне новом месте.

И в самом деле, скоро выберусь я из своей усадьбы, покину чудотворные леса (здесь недалеко Саров, где некогда обитал Серафим Саровский) и — куда направлю стопы свои, одному Богу известно. Как ни фантазируй, ничего не угадаешь. Признаюсь, раньше я в какой-то мере рассчитывала на Мульку в этом вопросе, а теперь, видимо, расчет может быть только на собственные силы — которых уже нет. Но — не буду преждевременно предаваться меланхолии, какая-нб. кривая да вывезет!

Лиля, если возможно, пришлите в конверте несколько марок, у меня совсем не осталось, и, бандеролью, парочку газет на курево.

Еще раз спасибо за все. Дай вам Бог здоровья и сил! Целую и люблю.

Ваша *Аля*

---

[1] Б. Л. Пастернаку.

22 февраля 1948

Дорогие Лиля и Зина! Сегодня я получила Лилину открытку и сейчас же оценила, какая я свинья: не написала вам о результатах моих предварительных хождений по мукам [1], правда, Мулька, с которым я говорила по телефону, обещал вам позвонить, но, конечно, обманул.

У меня пока что все в порядке: завуч в конце концов вернулся и все мои дела оформил очень быстро. На моем паспорте красуется долгожданная печать «Областного Рязанского художественного училища», я зачислена на работу с 1-го февраля, и даже уже получила вчера свою первую зарплату — около 200 рублей. Ставка, как видите, небольшая, 400 с чем-то [2], но не в этом соль на данном этапе!

Преподаю графику на всех четырех курсах. Первые занятия были мне, как сами представляете себе, очень трудны, т. к. не только никогда не преподавала, но и училась-то очень мало. А нужно было сразу взять нужный тон — кажется, это мне удалось.

Задача моя очень усложняется необычайно пестрым контингентом учеников — от совсем маленьких мальчиков и девочек до бывших фронтовиков на одном и том же курсе — причем все — очень различных уровней развития, художественного и вообще. А главным образом усложняется она тем, что я сама очень плохо подготовлена теоретически, да еще этот многолетний антракт. Книг и пособий у меня никаких, а между тем такую ответственную область графики, как шрифты, я не знаю совсем. Это просто ужасно меня тревожит. Просила Мульку помочь мне с литературой, но пока результатов никаких. Мне нужны были пособия по шрифтам и по методам графики. Страшно обидно будет, если из-за этого сорвется вся моя, на данном этапе такая удачная, работа. Ваши обе книги я основательно изучила, но практического материала там мало, и кроме того они порядком устарели. Но тем не менее они очень мне помогли. Нужны ли они вам? Я могу вам выслать бандеролью, а не то сама привезу в свой следующий визит.

Время от времени получаю письма от Аси. Она хочет летом ехать со мной в Елабугу. А я совсем не хочу. Хочу поехать сама или с Ниной, но никак не с Асей. Мое горе — иного диапазона и иных проявлений — да тут и объяснять нечего, вы и сами все знаете и понимаете. Для меня мама — живая, для Аси — мертвая, и поэтому мы друг другу не спутники в Елабугу. Но как написать, как отговориться — не представляю себе.

«Счастье — внутри нас», пишите Вы, Лиленька. Но оно требует чего-то извне, чтобы проявляться. И огонь без воздуха не горит, так и счастье. Боюсь, что за все эти годы я порядком истощила запасы внутреннего своего счастья. А чем их пополнить сейчас — не знаю еще.

Пока целую вас обеих очень крепко, жду весточки.

Ваша *Аля*.

Сердечный привет Коту.
И Нюрке-«анделу» тоже привет! [3]

---

[1] 27 августа 1947 года закончился срок заключения Ариадны Сергеевны и, получив паспорт с ограничением мест проживании, она поселилась в Рязани.

Примечание ред.: К сожалению, мы лишены возможности сообщить читателям в чем именно состояли эти ограничения, устанавливаемые статьей 39 тогдашнего «Положения о паспортах». Главное управление охраны общественного порядка МВД СССР на наш запрос сообщило в письме №4/6-1520 от 26.08.88. г. «что в период с 1940-го по 1953 год на территории СССР действовало Положение о паспортах, утвержденное постановлением СНК СССР от 10 сентября 1940 года № 1667. Что касается статьи 39 данного положения, то ее текстом мы не располагаем».

[2] То есть чуть больше сорока рублей в месяц в переводе на нынешний масштаб цен.

[3] Нюрка-«андел» — Анна Егоровна Серегина, домработница соседей Е. Я. Эфрон по коммунальной квартире.

10.5.48

Дорогие мои Лиля и Зина! Получила от вас две хворые открытки и очень огорчилась вашим болезням. Надеюсь, что теперь, с солнышком, стало полегче или хотя бы веселее на душе. Очень огорчена, что мое поздравленье не дошло до вас — и посылала такую же «хворую» двадцатикопеечную открыточку, т. к. совсем не было времени самой нарисовать что-нб. приличествующее случаю. Ваша телеграмма пришла как раз к празднику и очень обрадовала меня. Вообще, на этот раз у меня получился настоящий праздник, т. к. на три дня приезжала Нина, принезла чудный кулич, а пасху я сделала сама, и даже на базаре достала пасочницу и покрасила несколько яичек. Мы с Ниной ходили к заутрене, в церковь конечно и не пытались проникнуть, а простояли снаружи, и было очень хорошо, только жаль, крестного хода не было, т. к. рядом какая-то база с горючим и не разрешено. И погода все эти дни была чудесная. Мне вообще кажется, что для того, чтобы поправиться, мне нужно только солнце, много-много солнца и воздуха. Чтоб выветрился и исчез весь мрак тех лет. Да и вообще, я, как и все сумасшедшие, очень сильно реагирую на погоду. И какая погода, такое и настроение, и самочувствие. А когда я в пятницу была в церкви, потом пасхи святили, такая огромная вереница куличей и пасох, и огромная толпа народу. Я стояла позади и смотрела, как старенький батюшка кропил пасхи, и вид у меня, наверное, был самый радостный, потому что батюшка, случайно взглянув на меня, из всей толпы подозвал меня, дал крест поцеловать, благословил и поздравил с праздником. И я вспомнила того Ивана Сергеевича, о к-ом вам рассказывала, и почувствовала, что это как бы он меня благословил. Пока кончаю, скоро напишу еще, так живу ничего, только бедность слегка заедает. Крепко вас целую.

Ваша *Аля*

15 июня 1949 г. Рязань. Тюрьма № 1. Эфрон А. С.

Дорогая Лилечка. вы давно не имеете от меня известий и наверное беспокоитесь. Я жива и по-прежнему здорова. Очень прошу вас позаботиться о моих вещах, оставшихся в Рязани на квартире, а я, когда приеду на место, сообщу вам, куда и что мне переслать. Простите меня за беспокойство, я надеюсь, что вы обе здоровы по мере возможности. Лилечка, если вы не на даче, и если вам не очень трудно, то пришлите мне сюда, только поскорее, немного хотя бы сухарей, сахару на дорогу, цельную рубашку и какую нб. кофту с длинными рукавами и простынку. Можете прислать письмо. Мне еще очень нужен мешок для вещей — или наволочка от матраца. Но я не знаю, где мои вещи сейчас, еще в Рязани на квартире или их перевезли к вам. Лилечка, я надеюсь, что по приезде устроюсь на работу неплохо и смогу вам помогать, а то все вы мне

помогаете. Будьте здоровы, мои родные, очень жду от вас весточек, перееду на место — сообщу подробно о себе. Позаботьтесь о моих вещах и о деньгах, которые остались у бабки, где я жила, и к-ые мне будут оч. нужны по приезде. Крепко вас целую всех.

Ваша *А. Эфрон*

Если можете — пришлите и напишите поскорее. Еще очень нужен пояс с резинками и майка или футболка.

25 июля 1949 г.

Дорогие мои Лиля и Зина! Пишу вам на пароходе, везущим меня в Туруханский край, куда направляют меня и многих мне подобных на пожизненное поселение. Это — 1500 километров на север по Енисею, и еще сколько-то вглубь от реки. Точного адреса пока не знаю, телеграфирую его вам, как только прибуду на место. Буду находиться в 300 кил. от Игарки, т. е. совсем, совсем на севере. Едем по Енисею уже 3 суток, река огромная, природа суровая, скудная и пудная. По-своему красиво, конечно, но смотрится без всякого удовольствия. На месте работой и жильем не обеспечивают, устраивайся, как хочешь. Наиболее доступные варианты — лесоповал, лесосплав и кое-где колхозы. Всякий вид культурно-просветительной работы нам запрещен. Зона хождений — очень ограничена и нарушать ее не рекомендуется — можно получить до 25 лет каторжных работ, а эта перспектива не очень воодушевляет. В Рязани ко мне на свидание пришли мои ученики, они сказали, что мои вещи и деньги перевезены в Москву, я думаю, что они находятся у вас, а не у Нины. Сейчас у меня на руках есть немного меньше 100 р., вначале деньги у меня были, но все время приходилось прикупать продукты, т. к. везде было очень неважно с питанием. По приезде на место телеграфирую вам и попрошу прислать денег телеграфом, сколько можно будет из тех, что у вас (или у Нины) остались. Кроме того, мне необходимы кое-какие вещи, ибо то, что у меня с собой и на себе, от тюрем и этапов уже пришло в почти полную негодность. Если из Москвы не принимают, то м. б. можно будет организовать через Рязань, Тася [1] (Кузьма и Нина ее знают) не откажется послать. Мне совершенно необходимо белье, большая моя простыня, синее платье, то, что покрепче из одежды, и то, что потеплее — вязаные мои кофточки, и оставшиеся клубки и мотки шерсти и ниток, а также мои вяз. спицы и крючки. Очень нужны какие нб. теплые штаны, Мурина вроде замшевая курточка, непромокаемый серый плащ. Кроме того, необходимы акв. краски и кисти разн. размеров и возможно больше бумаги писчей и рисовальной, цветные, простые и химич. карандаши, черн. порошок, чернильница пластмассовая. Все это у меня имелось в наличии. Теперь — необходим какой-нибудь минимум посуды — кружка и мисочка у меня есть — нужно хотя бы 2 алюм. кастрюли с крышкой, 2 миски, 2 вилки, 2 ножа, 2 ложки больших и чайных и что нб. из пластмассы, какие нб. тарелочки, завинчивающуюся коробочку, пару стаканчиков. Необходимы ножницы (у меня было 2 пары — маленькие и побольше), иголки, нитки, пуговицы, и щипцы для ногтей, кот. у меня тоже были. Посуду придется купить из моих денег — если они вообще существуют и находятся у вас (было 900 р., кот. прислал мне Борис накануне моего отъезда — я оставила их у бабки). Т. к. нужно отправить много кое-чего, то м. б. принимают посылки багажом, это было бы проще всего. Тогда можно было бы все послать в 1 и 2 чемоданах. Если Мулька цел и не отказался, то надеюсь, что он поможет организовать отправку вещей. Да, у меня там был кусок сатина, пожалуйста, пришлите тоже, и синенькие босоножки, и вообще не только нужное, а и что нб. из приятного, п. ч. все имеющиеся в наличии лохмотья совершенно осточертели. Но это, конечно, неважно.

Привет всем друзьям.

Ваша *Аля*

---

[1] Таисия Трофимовна Чубукина, сослуживица Ариадны Сергеевны по Рязанскому художественному училищу.

(Дата и начало текста не сохранились.)

В который раз приходится просить прощения за эти бесчисленные — в который раз! — поручения. Я знаю, что вы не сердитесь и все понимаете. Пишу вам это сугубо-утилитарное письмо, то есть это письмо в таком сугубо-утилитарном стиле, потому что очень надеюсь получить необходимое подспорье, т. к. навигация здесь кончается в первых числах сентября, и потом наступает зима до начала июня, а перезимовать без необходимого, думается, совсем невозможно. В таких тяжелых условиях, в какие попадаю теперь, я еще не бывала за все эти годы, несмотря на то, что пережить пришлось немало. Зимой здесь все же должна быть почтовая связь телеграфом и самолетом. А еще на оленях и на собаках. Морозы до 60 гр., сильные ветры, близко Карское море. Все бы ничего, если бы не пожизненно, очень уж страшно звучит — бедная жизнь моя! Дорогие мои, думаю о вас постоянно, счастлива, что хоть повидаться удалось, многих везут сюда из лагерей без пересадки, люди даже не смогли повидать своих. Мне еще хорошо, я хоть немного отвела душу и подышала родным воздухом. Передайте Мульке, что я ему напишу 25 п/о до востр., чтобы он это письмо непременно востребовал, а то он бывает очень рассеян по этой части. Передайте мою глубокую благодарность Нине и Кузе за их отношение, пусть на меня не обижаются, я совсем ни при чем, что пришлось так скоро расстаться. Насколько соображаю, Кузя пока ничем не рискует, но отношение к нему самое пристально-внимательное. Мне кажется, он умеет держать себя, но — пусть избегает большого количества поверхностных знакомств. Нине напишу подробнее на Валю. Целую очень крепко и люблю.

Аля

Простите за нелепое письмо, пишу в трудных условиях, жилья нет, угол найти нелегко, но я все же надеюсь, что хоть минимально все наладится. Пока что рада очень, что удалось найти работу здесь, на месте [1]. Хоть и тяжело мне будет, но хоть письма буду получать, если кто напишет. Если бы вы знали, как я устала от всех этих переживаний и от всех этих дорог! Но пока что жива, несмотря ни на что. Пишите мне авиапочтой. Получили ли мое письмо с парохода? Дорогие мои, простите за все причиняемые вам хлопоты — ну что я могу поделать!

Ваша *Аля*

---

[1] В последних числах июля пароход с партией ссыльных прибыл в с. Туруханск на Енисее. Было объявлено, что те, кому в трехдневный срок удастся найти работу, смогут остаться здесь. Остальных отправят в дальний колхоз. Ариадну Сергеевну страшила «перспектива быть отрезанной от почты, телеграфа, газет, одним словом, от культуры», и она судорожно искала работу. «Боже мой, что это было, ни в сказке сказать ни пером описать. Кажется, не осталось ни одной двери, в которую я бы не постучалась в где бы не получила отказа»,— пишет она в письме от 1.08.49. Наконец, ей посчастливилось получить работу уборщицы в школе с окладом 180 рублей. В обязанности ее входили сенокос, колка и пилка дров, ремонт и побелка школьного здания, мытье полов и т. д.

6 сентября 1949

Дорогие Лиля и Зина! Сегодня я получила вторую вашу посылку, отправленную Нютей: там был сахар, сухари, баночка молока, пластмассовая посуда, чудная кастрюлечка, три блокнота, мыло детское и хозяйственное, нож, вилка, три ложки, чеснок, кажется, все перечислила. Спасибо вам всем, дорогие мои. Я просто в отчаяньи от ваших хлопот и расходов, да еще и пересылка стоит 30 с лишним руб.— это ужасно. Я знаю, как вы сами всегда перебиваетесь, как нуждаетесь в питании и отдыхе, и как вы все это отрываете от себя ради меня. Я все же надеюсь и верю, что хоть в этих краях я в недалеком будущем, наконец, стану на ноги и буду в состоянии хоть немножко вас поддерживать. Знаю, что пока что эти слова звучат смешно и нелепо при 180 руб. заработка, но я почему-то уверена, что все будет к лучшему. Впервые за много лет у меня такая уверенность, впрочем пока что, к сожалению, ни на чем реальном не основанная. Работаю пока что на прежнем месте, устаю зверски, настоящая замарашка — но меня радует, что кругом столько ребятишек, шуму, нелепых прыжков, пронзительных криков на переменах. Очаровательны все эти северные пионеры и пионерки в красных галстуках. Сквозь закрытые и приоткрытые двери я слышу, как срывающиеся от волнения голоса рассказывают о прошедшем, настоящем и будущем человечества, и о том, как Магеллан снова сел на «пароход» и отправился открывать новые земли, и о том, что горизонт — оттого, что земля круглая, и о многом другом. Маленькая девочка со смуглым плоским личиком и блестящими узкими глазками спокойно докладывает учительнице, что «дер эйзель» по-немецки обезьяна, а «дер аффе» — осел. Время от времени по неизвестным причинам летят вдребезги стекла, падают доски, ломаются парты, а на дверях и стенах возникают надписи, гласящие о том, что Вова — дурак, класс 5-в — плохой, Клава — задается, а учительница астрономии — беременна.

Учатся в две смены, что значит, что убирать помещения приходится ночью. Это очень утомительно — м. б. оттого, что я еще слаба,— м. б. просто утомительно. А сколько эти маленькие грамотеи щелкают кедровых орешков, заполняя скорлупой парты, чернильницы, печки и умывальники! Боже мой, все страшно интересно, только бы чуточку больше сил и зарплаты,— и только бы это все не навечно! Впрочем, в последнем я убеждена.

Дорогие мои, дровами на зиму я уже запаслась, не знаю, на всю ли, но на большую часть — определенно. Купила себе телогрейку, материи на рабочий халат, а то обносилась и обтрепалась на работе невероятно. Вчера удалось купить сапоги, совершенно

необходимые здесь, где после каждого дождя грязь по колено, а дожди не реже четырех раз в сутки. Это пока, а дальше будет значительно пуще. Сапоги — 250 р., дрова — около трехсот, телогрейка — 111, халат — 75. Теперь вожусь с ремонтом нашего жилья, заказала вторые рамы и прочие необходимые детали, без которых не перезимуешь. Признаюсь, что эту зиму, такую дальнюю и такую в одиночестве ожидаю без особого энтузиазма. Снега здесь наметает вровень с крышами, правда крыши не особенно высокие, но все же. Очевидно, для того, чтобы попасть на работу, надо будет лезть в трубу.

Дорогие мои, пока кончаю свой очередной отчет. Сейчас буду пить брусничный чай с московским сахаром и сухарями, только обстановка уж совсем не та. А как хочется поскорее повидать вас, рассказать вам о своем житье-бытье, и о том, какое здесь необыкновенное небо, и земля, и вода, и люди, и собаки с пушистыми хвостами. Но все же, несмотря на то, что все это очень интересно, почему-то тянет домой, к вам. Сколько ни менялось у меня понятие «дома» за эти годы, а все же единственным оставалась Москва, Мерзляковский. Мне бы очень хотелось получить что нб. из домашних фотогр.— папу, маму, Мура и себя — только — заказным. Спасибо вам, дорогие мои. Привет всем. Пишите! Ваша Аля.

Очень прошу, напишите мне, как Мулька, Нина и Кузя, как Ася. Ни о ком ничего не знаю уже восьмой месяц.

Дорогие мои, еще немножко продолжаю утром. Дождь идет необычайный — вообще погода здесь непохожа ни на одну из испытанных мной. Вообще все абсолютно ни на что непохоже, поэтому очень интересно. А главное я счастлива, что благодаря вашей помощи я уже оживаю и чувствую себя лучше. Еще недавно мне казалось, что такого путешествия мне не пережить, уж очень плохое было у меня состояние, да и попала я сразу на очень для моих сил тяжелую физическую работу. А теперь опять ничего, привыкаю еще раз к новым условиям, и опять моя новая работа кажется мне увлекательной. По-прежнему я рада, что живу в такой стране, где нет презренного труда, где не глядят косо ни на уборщицу, ни на ассенизатора. Правда, я считаю, что работая в другой области я была бы более полезна — это раз, и способна не только себя, но и вас прокормить — это два, но надеюсь, что и это утрясется, не все сразу. В школе я немножко буду работать и по специальности — пока что выкрасила масляной краской все окна и двери, потом буду графически оформлять разные правила, таблицы и т. д. Все это, конечно, совершенно бесплатно, но надеюсь, что в скором времени смогу выполнять и кое-какие платные заказы. Если бы у меня были масляные краски, то было бы совсем легко, т. к. местное население испытывает величайшую нужду в разных ковриках с девами, гитарами, беседками и лебедями, но здесь их не достать, а там покупать — безумно дорого. Ну, в общем там видно будет. Сейчас я из всех сил готовлюсь к зиме — нужно заготовлять очень много дров — зима очень длинная и суровая, нужно утеплять и ремонтировать квартиру — избушку на курьих ножках, состоящую главным образом из щелей и клопов, все обваливается, все протекает, отовсюду поддувает и т. д. Нужно закупить картошки, которая хоть и дорога по сравнению с вашими ценами, но все же дешевле всего остального. И все это вместе взятое стоит сумасшедших денег и усилий. Спасибо вам и Борису за помощь, дрова я уже купила целый плот, теперь нужно организовать доставку и распиловку. Часть перетаскали на себе, но мечтаю нанять лошадь, ибо все же предпочитаю, чтобы лошадиную работу выполняла именно она, а не я. Да, я узнала, что в этом году навигация будет открыта приблизительно до середины октября. Если сможете послать еще посылку, то пожалуйста, вышлите и подушечку с одеялом, и большую простыню с мережкой, и наволочку (зеленую) с недавно мною купленного матраца, а то я сплю на пальто с кулаком под головою, что не приносит пользы ни мне, ни пальто. Пришлите и мою красненькую тканую сумочку, а то не в чем держать свои документы и деньги, пришлите авоську, и главное, не забудьте хоть какую нб. паршивенькую посуду, здесь ничего нет — ни у хозяйки, ни у нас. Не забудьте и вязальные спицы и крючки подходящих размеров. И еще и еще раз простите за бесконечные поручения, вы сами понимаете и догадываетесь, что я нахожусь в условиях совершенно иных, чем в Рязани, и что предстоит мне зимовка очень серьезная. Если бы все было несколько проще, я никогда не позволила бы себе доставлять вам столько хлопот.

Как мне жаль, что я не виделась с Нютей! В последний раз мы виделись в том же Болшево, но на другой даче, и уже тогда она была совсем старенькая и седая, а с тех пор пошел одиннадцатый год! Милые мои, как я счастлива, что нам удалось повидаться, что побывала я в вашей милой комнатке, повидалась и с Котом и с Митей, и что хлебнула я родного воздуха. Ведь и этого могло не быть. Но, повторяю, мне отчего-то думается и чувствуется, что скоро мы с вами будем вместе и жизнь наша — т. е. вернее моя — изменится и наладится. М. б. это только оттого, что человек не может жить без надежды? А м. б. и в самом деле предчувствие. Я вам писала, что 17 февр. видела маму во сне — она мне сказала, что придет за мною 22-го февр., что дорога моя будет вначале трудной и грязной, «но это — весенние ливни», сказала мне мама, «потом дорога наладится и будет хорошей». И в самом деле 22-го я начала свой очередной новый путь, не из легких, но убеждена, что дорога скоро наладится, и что все будет хорошо. Крепко, крепко вас целую и люблю.

Ваша *Аля*

8 ноября 1949

Дорогие мои Лиленька и Зина! С некоторым запозданием поздравляю вас с 32 годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции, и надеюсь, что вы хорошо провели этот замечательный праздник. Вы не обижайтесь, что не смогла и вас поздравить своевременно, но вся подготовка к праздникам прошла у меня настолько напряженно, что не было буквально ни минутки свободного времени. В этих условиях работать необычайно трудно — у дома культуры ни гроша за душой, купить и достать что-либо для оформления сцены и здания невозможно, в общем намучилась я так, что и передать трудно. Сейчас, когда эта гора свалилась с плеч, чувствую себя совсем, совсем больной, столько сил и нервов все это мне стоило. Праздновать не праздновала совсем, а поработать пришлось много-много.

У нас уже морозы крепкие, градусов около 30. Представляете себе, какая красота — все эти алые знамена, лозунги, пятиконечные звезды на ослепительно-белом снеге, под немигающим, похожим на луну, северным солнцем! Погода эти дни стоит настоящая праздничная, ясная, безветренная. Ночи — полнолунные, такие светлые, что не только читать, а и по руке гадать можно было бы, если бы не такой мороз! Было бы так все время, и зимовать не страшно, но тут при сильном морозе еще сногсшибательные ветры, вьюги и прочие прелести, которые с большим трудом преодолеваются человеческим сердцем и довольно легко преодолевают его.

В нашей избушке терпимо только тогда, когда топится печь. Топим почти беспрерывно. Дрова все время приходится прикупать, т. к. запастись на такую прожорливую зиму просто физически невозможно. Воду и дрова возим на собаках — кажется, пишу об этом в каждом письме, настолько этот вид транспорта мне кажется необычайным. Представьте себе — нарты, в которые впряжены 2-3-4 пушистых лайки, которые, лая и визжа, тянут какое нб. бревно или бочонок с водой. Потом на них находит какой-то стих, они начинают грызться между собой, и все это сооружение летит под откос кверху тормашками, сопровождаемое выразительным матом собачьих хозяев. Здешние обитатели говорят на многих и разных языках, но ругаются, конечно, только по-русски. Живут бедно, но зато празднуют так, как я в жизни не видывала,— варят какую-то бражку, гулять начинают с утра, к вечеру же все, старые, малые и средние, пьяным пьяны. По селу ходят пьяные бабы в красных юбках, ватных штанах и поют пьяными голосами пьяные душещипательные песни, мужики же все валялись бы под заборами, если были бы заборы — последние к зиме ликвидируются, чтобы не пожгли соседи. Где-то кого-то бьют, где-то сводятся старые счеты, кого-то громогласно ревнуют — Боже ты мой, как все это далеко, далеко и еще тысячу раз далеко от Москвы! Потом начинается утро, и — все сначала.

Вот Нина мне пишет, что жить можно везде, и всюду есть люди. Да, конечно, каждый из нас живет до самой смерти там, где ему жить приходится. Что же касается людей, то здешние совсем непохожи на тех, кого я знала раньше. Старики доживают свой век, а молодежь растет в условиях очень необычных, и это наложило на всех глубокий отпечаток.

Пишу вам в 6 ч. утра в пустом клубе, где дежурю на праздник. У вас сейчас только 2 ч. ночи. Очень жду от вас весточки. Хочется, чтобы у вас все было хорошо, а главное, чтобы были вы здоровы. 〈...〉

Очень крепко целую всех вас.

Ваша *Аля*

19 ноября 1949

Дорогая Лиленька, я так давно ничего от Вас не имею, что начала ужасно беспокоиться, все ли у вас благополучно, как здоровье. Я так далеко от вас, и тем более хочется чувствовать вас близко, а вы все молчите. Всегда успокаиваю себя вашей занятостью и нелюбовью к письмам, но все же предпочитаю быть уверенной в этом. Так что скорее напишите открыточку, или заставьте вечную жертву Вашей корреспондентской лени — Зину. Я очень, очень жду весточки от Вас.

Шла сейчас с работы и думала о том, что лет мне еще не так много, а я, как очень старый человек, окружена сплошными призраками и воспоминаниями — как это странно! Почти всю свою сознательную жизнь я, как только остаюсь наедине с собою, начинаю мысленно разговаривать с теми, кого нет рядом, или с теми, кого уже никогда рядом не будет. И вспоминаю то, что никогда не повторится и не вернется. Жизнь моя,

кончившаяся в августе 39-го года, кажется, мне положенной где-то на полочку до лучшего случая, и все мне кажется, что, оборвавшаяся тогда, она свяжется на том же самом оторванном месте, и будет продолжаться так же. Казалось, вернее. На самом-то деле я давно уж убедилась, что все — совсем иное, и все же иной раз мне мерещится, что я вернусь в ту свою жизнь, настоящую, где все и все — по своим местам, где все и всё ждет меня.

Но бываю я наедине с собою только тогда, когда иду на работу — еще не рассвело — или с работы — уже стемнело. И все кругом настолько странно и призрачно, настолько ни на что не похоже, что кажется — еще один шаг, и вот я уже в той странной стране, которой нет на свете — где ждет меня моя, уже так давно прерванная жизнь.

Дорогая Лиленька, я сама чувствую, насколько бестолково все то, что я пытаюсь Вам написать. Я ужасно устала, все эти дни, когда праздники следуют за праздниками, проходят у меня в постоянной, беспрерывной, совсем без выходных, работе, в работе очень плохо организованной и поэтому гораздо более трудоемкой, чем ей полагалось бы. «Дома» почти ничего не успеваю делать, т. к. тащу с собой опять-таки работу, над которой сижу очень поздно. Благодаря московской помощи хоть топлю вдоволь, не сижу в холоде. Хоть и очень дорого это удовольствие обходится, но предпочитаю себе отказывать в чем нб. другом. Зато на работе частенько приходится мерзнуть. Вообще условия работы очень нелегкие, всячески.

Лиленька, имеете ли известия от Аси и Андрюши? Если да, то напишите мне. От Мульки давным давно получила открыточку, на к-ую ответила дважды, и с тех пор ничего от него не имею и о нем не знаю, и, конечно, очень беспокоюсь. Была ли у Вас Татьяна Сергеевна [1]? Как она Вам понравилась? Она мне пишет чудесные письма, которые меня постоянно радуют. Она и ее муж [2] — действительно редкие люди. Бесконечно я им благодарна и за дружбу, и за помощь, и за все на свете.

Как только будет у меня выходной, напишу Вам как следует, а пока просто захотелось сказать Вам о том, что я вас люблю и помню постоянно, очень тревожусь, подолгу ничего не получая, и о том, что человеческие слова вообще и мои, в частности, бессильны передать все то, что так хотелось бы!

И на прощанье — очередная просьба — очень нужен Мольер — скажем, «Лекарь поневоле» или что нб. в том же духе полегче из его вещей, для самодеятельности. У нас очень плохо с пьесами.

Целую Вас очень крепко. Напишите мне про Кота.

Ваша *Аля*

---

[1] Татьяна Сергеевна — Т. С. Сикорская (1901—1984) — поэт, переводчик. Была эвакуирована в Елабугу одновременно с М. И. Цветаевой.

[2] Ее муж — Самуил Борисович Болотин (1901—1970) — литератор.

Туруханск, 3.1.50

Дорогие мои Лиля и Зина! Под самый Новый Год получила две Лилиных открытки, которые как раз и создали мне что-то вроде новогоднего настроения. Только про Зину Лиля ничего не пишет, надеюсь, это обозначает, что она здорова, насколько возможно. Безумно жаль, что посылку вернули — без красок и кистей работать очень, очень трудно, а еще того более жаль, что вы столько денег потратили. Ведь и краски, и кисти — дорогое удовольствие, да и сама посылка — тоже.

Лиленька, Вы спрашиваете, с кем и как я живу. Живу с очень милой женщиной [1], с которой мы ехали вместе с самой Рязани, она там тоже преподавала. Живем с ней в общем довольно дружно, хотя очень друг на друга непохожи, ⟨...⟩ но сердце у нее золотое, и человек она благородной души и таких же поступков. ⟨...⟩

Квартира у нас очень и очень неважная — холодная, сырая и неудобная. Вечером выдвигаем наши койки на середину, а то за ночь одеяло примерзает к стене. Под кроватью — большой слой снега, в общем, что-то вроде ледяного домика Анны Иоанновны. Помимо двух коек есть стол, табурет и хромая скамейка. С нами же живет старая ведьма-хозяйка и ее внучонок, очаровательный шестилетний мальчик. По здешним понятиям — квартира неплохая, ну и слава Богу. С продуктами после закрытия навигации стало легче, т. к. кроме местного населения никто ничего не покупает, а то все расхватывали пассажиры пароходов и прочих видов речного транспорта. В частности, стало легко с хлебом, летом же — это большая проблема. Из продуктов есть крупа, конфеты, сливочное масло, соленая рыба. Иногда бывает сахар. Картошки, каких бы то ни было овощей в каком бы то ни было виде в продаже нет, как и мяса, и, конечно, фруктов. Иногда охотники привозят мороженую дичь, и я однажды впервые в жизни ела глухаря. Летом же ни конфет, ни сахара, ни масла в продаже не было, с крупой бывали большие перебои. Да, Лиленька, если к маю будете посылать мне ту посылку, очень

Акварельная живопись АРИАДНЫ ЭФРОН



Слияние Тунгуски и Енисея



Июль в Туруханске





Эскизы театральных костюмов. (Акварель, цветные карандаши)







Летний день



Станок



Домик в снегу



Комната

попрошу прислать мне пары две простых чулок, здесь их нет и не бывает. Впрочем, до мая еще долго, долго!

Бесконечно благодарна буду за Мольера! Хоть и трудно будет оформлять его без красок, но все же постараюсь, чтобы была хоть иллюзия красочности. Очень хочется мне увидеть его на здешней сцене, настолько он жизнерадостен и доходчив, что, кажется мне, здешняя публика примет его хорошо. Участвовать в спектаклях я не буду, с меня будет вполне достаточно, если смогу хорошо оформить спектакль с такими негодными средствами. Что есть хорошего в Москве из одноактных пьес и скетчей для небольшого коллектива любителей? У нас тут очень плохо с литературой, отсюда — расцвет так называемых «концертов», весьма низкопробных. Правда, однажды ставили «Без вины виноватые», но на подготовку дали слишком мало времени, роли знали плохо, а то и вовсе не знали, в общем, представляете себе. Руководитель драмкружка — рвач и халтурщик, который безумно хвастается тем, что когда-то работал в Красноярске (!), но, видимо, и Красноярск не смог вытерпеть его искусства, раз он очутился в Туруханском районном доме культуры. А коллектив — молодежь — такая же как везде: тянется к лучшему и легко поддается худшему. Очень обидно мне, что здесь я, вспоенная в смысле сценического вкуса, Вами и Дм. Ник., могла бы быть очень полезной, но увы, нельзя. Спасибо за то, что хоть временно удается работать более или менее по специальности.

Вы спрашиваете насчет 100 руб., посланных Вами в Куйбышев. Я их не получила, попробую написать отсюда, ведь не должны же они пропасть. Спасибо вам за все, за все, мои родные.

Лиленька, еще одна просьба — если не очень это затруднит, но я думаю, можно попросить кого нб. из Ваших учениц — купить в магазине ВТО на ул. Горького около Елисеева немного театральных блесток, знаешь, такие разноцветные? И прислать мне немного в 2—3 конвертах, так, чтобы они не очень в конверте прощупывались. Также в письме попросила бы прислать мне немного красок для х-б тканей, ярких — напр., красную, желтую, зеленую, они очень бы меня выручили. Только нужно, чтобы конверт был плотный, а то и дорога ведь очень долгая.

Как хочется, чтобы здесь, наконец, были яркие, радостные, красивые спектакли, а все выходит таким серым и унылым из-за отсутствия материалов! Как хочется именно здешнюю публику радовать — ведь снега бесконечные кругом, и, боже мой, как же я беспомощна! Как хочется, еще больше, чем радовать население села Туруханск, побыть хоть часок с вами, поговорить. Еще года нет с тех пор, как я была у вас и смотрела на Ваши печальные глаза и легкомысленный нос, а кажется мне, что очень, очень давно мы не виделись, будто этот перерыв еще дольше того.

Работаю я бесконечно много. Ужасно, как никогда, устала и как-то опустошена — но что же иного может дать усталость на усталость? С середины октября по сегодняшний день вряд ли было у меня 3—4 выходных дня. Праздник за праздником, годовщина за годовщиной — оформление сцены, стендов, фотомонтажей, писание лозунгов и реклам, все это без красок, кистей, на одной голой изобретательности. Да еще оформление концертов, постановок, костюмы и пр. Но с другой стороны все это, конечно, значительно интереснее и приятней, чем, скажем, работа в лесу или рыбная ловля, о чем я никогда не забываю.

Получаю письма от моих рязанских учеников, необычайно сердечные и трогательные, таким образом, я — по-прежнему в курсе всех дел своего училища. Под новый год получила от них перевод в 88 руб.— они сложились и прислали мне от своей стипендии. Ждут меня обратно. Советуются насчет дипломных работ и т. д. Лиленька, очень прошу Вас написать мне насчет Мульки. В единственной открытке, к-ую я получила, уже давно, он жалуется на здоровье. ⟨...⟩ Иной раз мне кажется, что м. б. и в живых его нет. Вообще всегда очень терзаюсь, когда долго нет известий, поэтому шлите мне хоть по нескольку слов, но почаще. ⟨...⟩

Крепко целую и люблю.

Ваша *Аля*

---

[1] Адой Александровной Федерольф-Шкодиной (р. 1901). В 1937—1947 гг. была репрессирована; до ареста преподавала английский язык в ИФЛИ, по отбытии срока и до повторного ареста жила в Рязани. Знакомство, а затем дружба ее с А. С. Эфрон начались в камере рязанской тюрьмы.

11.1.50

Дорогая Зинуша! Только что получила Вашу «попытку письма» с амуром и с издевательским пожеланием, чтобы меня настигла его стрела. Это в моем-то возрасте и при моих-то обстоятельствах! Действительно, для полноты картины мне нехватает только влюбиться при помощи этого маленького санкюлота. Я предполагаю, что Лиля и не

подозревает об этом Вашем новогоднем пожелании, а то она заступилась бы за свою племянницу, которая и так в течение многих лет является мишенью для острот судьбы.

Что же касается змеи, которую на картинке попирает крылатый божок, то по мифологии она обозначает измену, почему ее и попирают, а она выпирает. Кстати, здесь говорят не «муж изменил жене», а «муж изменил жену», «жена изменила мужа» — в смысле «сменила».

Шутки в сторону — очень, очень рада была, наконец, получить от Вас весточку, еще не совсем такую подробную, как мне хотелось бы, но все же настоящую весточку. Я знаю, дорогие мои, как вам трудно писать письма, и знаю, какая я свинья, что все пристаю к вам. Боюсь, что эта бесконечная переписка надоела вам, но тут я безумная эгоистка. Правда, когда долго ничего не получаю, то всякая чушь лезет в голову и в сердце. Очень прошу написать про Мульку.

У меня пока что все по-прежнему, т. е. работаю по 12—14 часов, совершенно изматываюсь, ни на что, кроме работы, не остается времени. Что до некоторой степени является моим спасением — мысли мои забиты поисками коровьей шерсти для изготовления кистей, напр., и всяким прочим тому подобным. Так и живу — от мемориальной даты к празднику, и т. д. Пишу массу лозунгов, готовлю монтажи и всегда ужасно нервничаю — чтобы все получилось как следует.

Недавно получила письмо от Бориса. Он писал мне, что был у вас, и что вы мне о нем напишете, в чем, конечно, жестоко ошибся. У меня к Борису совершенно особое чувство, большой неясности и гордости за него, чувство, которое трудно определить словами, как всякое настоящее. Во всяком случае он мне родня по материнской линии, понимаете? Так что мое чувство к нему плюс ко всему еще и кровное.

Денег из Куйбышева я не получала, теперь затребую через соответствующую инстанцию, так вернее будет. Впрочем, м. б. вы лучше их затребуете себе?

Лиля пишет, что новосибирские морозы, передаваемые по радио, заставляют ее ежиться. А здесь еще гораздо крепче Новосибирска. На Игарке часто бывает теплее, т. к. там море ближе, чаще ветра, а при ветре редко бывают очень сильные морозы.

В январе потеплело, и у нас — 35°, что, по сравнению с предыдущими 50° очень чувствительно. Но все же топить приходится беспрестанно, иначе температура комнаты немедленно догоняет наружную.

Простите за нелепое письмо, я до того устаю, что к 12 ч. ночи по местному времени (или к 10 ч. вечера по московскому) у меня вместо головы на плечах оказывается что-то на нее похожее только по форме, но никак не по содержанию. ⟨...⟩

Крепко целую вас и люблю.

Ваша *Аля*

7.2.50

Дорогие Лиля и Зина! Спасибо большое, большое за чудесные краски, которые дошли в целости и сохранности. Я получила всего три конверта с красками — 2 пакета красной, 1 зеленой, 1 васильковой, 1 желтой. Теперь я смогу хоть какие-то яркие пятна бросить на декорации (попытку декораций!) «Мнимого больного». Потом напишу Вам поподробнее, как «оно» будет получаться. Очень хочется сделать эту вещь поярче, понарядней, ибо всю, всю зиму все наши постановки идут в очень безрадостном декоративном и реквизитном окружении. А я без красок почти как без рук, да и собственным глазам надоела эта бесцветность, как иногда надоедает пресная и однообразная пища, и хочется чего-то острого, или просто вкусного.

Еще и еще раз спасибо за краски!

Лиленька, у нас день понемногу прибавляется, солнышко на несколько часов показывается на небе, а то его вовсе и видно не было. И сразу на душе делается немного легче — как эта долгая безнадежная темнота, это существование с утра и до ночи при керосиновой подслеповатой лампе действует на эту самую душу.

А главное — сегодня впервые за все зимние месяцы я услышала как, радуясь еще не греющим, но уже ярким солнечным лучам, зачирикала на крыше какая-то пичужка. Ведь зимой тут совсем нет птиц, ни галок, ни ворон, ни единого воробушка. Как-то поздней осенью я, правда, видела стайку воробьев, совсем непохожих на наших — белых, только крылышки немного рябенькие, а с тех пор ни одной птицы. А сегодня вдруг защебетала какая-то одна, и сразу стало ясно, что весна несомненно будет. Хоть еще очень, очень нескоро, ведь навигация у нас откроется только в июне!

Сейчас у меня много работы в связи с предвыборной кампанией, все пишу лозунги, оформляю всякую всячину, и очень этой работе рада. Ведь здесь предвыборная кампания совсем не то, что там у вас в Москве! Здешние агитаторы добираются до избирателей района на лыжах, на собаках, на оленях, проделывают походы в несколько сот километров при 45—50° мороза. Избиратели нашего, да и не одного нашего, а и более отдаленных районов живут не только в домиках и избушках, как здесь, в самом Туруханске. Многие еще живут в чумах, учатся ходить в баню, печь хлеб, обращаться к врачу и отдавать детей в школу. Представляете себе, насколько интересна и ответственна работа агитатора в этих условиях? Мне только жаль ужасно, что и не имею возможности работать так, как мне хочется и как я могу — очень ограничено поле моей деятельности! тем не менее, спасибо и за него.

В нашем поселке есть радио, и некоторые учреждения электрифицированы. Когда утром бегу на работу и вечером, слышу по единственному городскому репродуктору обрывки передач из Красноярска и иногда из Москвы.

В 12 ч. дня, когда мы уже порядочно поработали и успели вторично проголодаться, нам передают московский урок гимнастики со всякими прискоками и приседаниями, и жутким в нашем климате финальным советом: «Откройте форточку и проветрите комнату!» Сегодня, идя на работу, в течение нескольких минут слышала голос Обуховой, паривший и царивший над всеми нашими снегами и морозами. Правда, мешали какие-то посторонние шипящие звуки, благодаря которым казалось, что певица занимается своими трелями и руладами, поджариваясь в это же самое время на сковородке. Но все же было хорошо и странно — этот такой московский голос над этим таким туруханским пейзажем! Вообще же здесь кое что бывает хорошо, а странным кажется все и всегда.

Ничего нового у меня пока что нет, ни плохого, ни хорошего. По-прежнему устала и по-прежнему сердце на ниточке, и по-прежнему душа радуется каждому мало-мальскому просвету и проблеску в жизни и в небе.

Крепко, крепко целую вас обеих, желаю вам побольше сил, здоровья и радости в жизни.

Напишите мне про Дм. Ник.— как и над чем он работает, много ли выступает, часто ли бывает у вас? Поцелуйте его от меня.

Ваша *Аля*

8.2.50

Дорогая Лиленька! Только что отправила письмо Вам и Зине, и сейчас же получила Ваши две открытки. Я просто в отчаяньи, что Вы так поняли все мои шутки насчет Вашего новогоднего амура! Меня, правда, иной раз предупреждают, что мой юмор далеко не всегда доходчив, но я, честное слово, никак не могла предположить, что до Вас-то он не дойдет! И что Вы все это примете всерьез, тем самым приняв меня за дуру и еще хуже — за неблагодарную, черствую дуру и эгоистку!

Дорогие мои, я же вас обеих так знаю, чувствую, понимаю и люблю, что несточки ваши мне нужны только как какая-то *осязаемость* вашего существования. У меня просто нет иной возможности *знать*, что вы обе живы и очень относительно здоровы. Обо всех прочих тонкостях я всегда и так догадываюсь и уверена, что очень часто мысли мои о вас совпадают с вашими обо мне. И мне так хочется отсюда, из всех этих морозов и льдов, согреть вас обеих моей постоянной к вам любовью, моей постоянной за вас гордостью, постоянным к вам, и пожалуй, только к вам одним — да еще к Борису — человеческим доверием.

Возвращаясь же к амуру — он меня действительно очень тронул, растрогал и позабавил, этот такой голый и такой крылатый малыш, залетевший в край, где зимой крылья увидишь только у самолетов, и где ходят в оленьих шкурах!

В своем, только что посланном Вам письме я рассказывала вам о том, что зимой здесь совсем нет птиц. Первыми сюда прилетают... снегири, правда, занятно? Я раньше и не представляла себе, что есть такие снега, в которых даже снегирю зимовать холодно!

Что касается Туруханска, то, если Вы искали его в старой энциклопедии, то вряд ли могли его там найти, вроде декабриста Морковкина[1]. Дело в том, что до революции назывался он селом Монастырским и м. б. даже под этим названием не удостоился чести попасть в наш словарь. До революции здесь был большой мужской монастырь — единственное каменное здание на тысячи километров в округе! — да несколько деревянных избушек. Теперь это порядочное районное село с почтой, больницей и всеми полагающимися учреждениями. Некоторые дома электрифицированы и есть радиоузел. Мне очень жаль, что в избушке, где мы живем, нет радио, было бы в жизни хоть немного музыки, для нейтрализации всех жизненных какофоний! Вообще, Лиленька, я с большой радостью пожила бы на севере — конечно, в иных условиях, чем я сейчас нахожусь. Тут столько интересного, что мало писем, чтобы хоть немножко рассказать обо всем, нужны книги, и я так хорошо могла бы писать их — если бы могла! Сейчас это — самое для меня мучительное. Надоело вынужденное пустое созерцательство многих лет, хочется писать, как дышать.

Письмишко это, как, вероятно, и все мои послания, вышло должно быть бестолковым и сумбурным, вокруг меня целая орава ребятишек, хозяйкиных внучат, и гам стоит невообразимый. Бабка — старая потомственная кулачка, должно быть и внучата ее — существа хозяйственные, работящие и жадные до умопомрачения. «Сейчасош-

ный» скандал у них разгорелся из-за чьих-то 20 копеек и чьего-то карандаша — каждый старается присвоить себе эти сокровища. Вообще самая ярко выраженная из их страстей — страсть к присвоению и накоплению. Правда, для контраста есть среди них один, маленький и совсем не такой. Остальные считают его дурачком и сомневаются — долго ли он проживет на свете, отдавая свое и не отнимая чужого?

Крепко целую вас обеих, дорогие мои.

Ваша *Аля*

---

[1] Вымышленный персонаж домашнего розыгрыша в семье Е. Я. Эфрон.

27.2.50

Дорогие Лили и Зина! Я очень удивлена тем, что вы, судя по Лилиной открытке, давно не получаете от меня писем. Я ведь пишу очень часто. М. б. отправка почты отсюда иногда задерживается из-за погоды, ведь письма идут только самолетом. Я же, наоборот, в последнее время часто получаю ваши весточки, чему несказанно рада. Вести «с большой земли» моя единственная радость, причем с сожалением должна заметить, что доставляют ее мне очень немногие. Ножницы древней Парки неумолимо отрезают все канаты, нити и ниточки чужих судеб от моей — и не только чужих! Написала — и самой немножко смешно стало: очень уж высокопарно получилось — как у чеховского телеграфиста, у которого, плюс к песеннику, была бы еще греческая мифология.

Живу я очень странной жизнью, ничуть не похожей на все мои предыдущие. Все, как во сне — и эти снега, по которым чуть-чуть черными штрихами отмечены, очень условно, контуры предметов, и серое низкое небо, и вехи, через замерзшую реку, по которым и через которую медленно тянутся возы с бурым сеном, влекомые местными низкорослыми Россинантами. И работа — как во сне: лозунг за лозунгом, монтаж за монтажом, плакат за плакатом в какой-то бредовой и совсем для работы неподходящей обстановке. Все мы — контора, дирекция, драмхор- и духовой кружки, и я, художник, работаем в одной и той же комнате, в одни и те же часы. На столе, на котором я работаю, стоит ведро с водой, из которого, за неимением кружки, все жаждущие пьют через край, на этом же столе сидят ребята, курят и репетируют, тут же лежит чья-то краюха хлеба, тут же в артистическом беспорядке разбросаны чьи-то селедки, музыкальные инструменты и всякая прочая белиберда. С утра до поздней ночи стоит всяческий крик: начальственный и подчиненный, артистический и халтурный, культурный и колоратурный. Зарплату, кстати, получаем не как в Советском Союзе — денег не выдают месяцами. За январь и февраль, например, я получила половину январского оклада, как и все прочие, кроме директора, который по линии всяких авансов уже, по моим подсчетам, празднует май. Это положение вещей красиво иллюстрирует поговорка, изобретенная работниками местного «Дома культуры» — «жрать охота и смех берет».

Устаю я ужасно, причем утомляет не столько самая работа, как обстановка, как вся эта ежедневная неразбериха, отнимающая уйму времени и сил. При любой, самой утомляющей, самой напряженной работе я всегда чувствовала себя хорошо, лишь бы она, работа, была хорошо организована, налажена. Здесь же этого нет, а наладить хотя бы свой участок работы я не в состоянии, т. к. сие от меня не зависит. Главное, что основательно расклеилось сердце, которое, видимо, весьма отрицательно относится к здешнему климату, в чем я ему вполне сочувствую.

Погода последнее время стоит замечательная, тихая, теплая, снежная, грустная какая-то. Все равно скоро весна! Уже воробьи чирикают — откуда они взялись — не знаю, в морозы их совсем не было. Видимо — перебрались сюда из Ташкента. ⟨...⟩

Пока целую очень крепко, скоро напишу еще.

Ваша *Аля*

Окончание следует

Составление, текстология и примечания
Р. Б. ВАЛЬБЕ

ПОЛИТИЧЕСКИЙ КЛУБ «АЛЬТЕРНАТИВА»

«НАДО ВЕРИТЬ В ТОРЖЕСТВО СПРАВЕДЛИВОСТИ...»

Из откликов на статью
Л. САМОЙЛОВА
«Правосудие и два креста»
(«Нева», 1988, № 5)

К сведениям о беззакониях периода культа личности мы уже привыкли, а беззаконие и произвол застойных лет только начинаем называть. Трудно представить, что все, описанное автором статьи, происходило на самом деле. Жестокость машины правосудия потрясает. Не оставляет чувство, что такое надругательство над человеком уже было: царские тюрьмы, сталинские лагеря. Уж не там ли мы черпали вдохновение? Сломить волю и сделать человека песчинкой... Но если те тюрьмы и лагеря — память истории, то сегодняшние «Кресты» — это реальность нашего времени.

Надо верить в торжество справедливости, в то, что перестройка коснется правовой системы. Горько сознаваться, но верится в это с трудом. Я рад бы бороться за это, но не знаю, как.

Н. ЧАУР, *пос. Комиссаровка Донецкой обл.*

Прочла в № 5 статью о «Крестах» и пришла в ужас: мой сын находится там под следствием. Удивляюсь, как эту статью напечатали. Что же нужно делать? Как бороться за улучшение условий содержания подследственных, особенно молодых и впервые попавших, не знающих жизни?.. Если можно, мои адрес и фамилию нигде не упоминайте.

Н. С., *Ленинград*

Стоит задуматься над тем, почему у нас в таком почете прокуроры и следователи, аппарат розыскной и карающий, и совсем в тени адвокаты, представители милосердия и защиты. Именно первые у нас герои литературы. Это одно из наследий сталинского времени.

Система народных заседателей («кивал») — жалкая пародия на старый суд присяжных. Почему бы вновь не вернуться к нему? В комментарии к статье Л. Самойлова юрист И. Быховский выступает против этого: мол, сейчас криминалистика поднялась до такого уровня, который не постичь дилетантам. Но ведь и прокурор не вдается в детали технологии и методологии проведения экспертиз — ему докладывают лишь конечные результаты. Что же мешает доложить все «за» и «против» присяжным?

С. КАРГОПОЛЬЦЕВ, *Ленинград*

Прочитав статью, я не был потрясен, потому что сам прошел через это. Бутырская тюрьма, 1983/85 гг. После длительного общения со следователем К. я с реактивным психозом был направлен в тюремную больницу (практически такая же камера). Потом суд, на котором адвокат требовал оправдания, но разве кто-либо получал такие приговоры! Судья Б. спустилась ко мне в камеру, где я дожидался вызова в зал суда, и сказала: будешь молчать, пойдешь домой. Адвокат Г. попросил меня о том же самом и сказал, что это пожелание судьи. Суд вынес приговор: ограничиться отсиженным. Как только я вышел, я написал жалобы во все инстанции. Все оказалось бесполезным. Три года я пишу, а воз и ныне там.

За 70 лет сколько у нас было честных министров внутренних дел — которые бы сами не были преступниками? То-то и оно. А что можно тогда ждать от их подчиненных? Если вам понадобятся показания о беззаконии в следствии и в условиях содержания в изоляторах, я всегда и везде готов их дать.

А. РУМЯНЦЕВ, *г. Калининград Московск. обл.*

Ясно осознаешь: описываемое Львом Самойловым — наша современность. Это происходило вчера, происходит сегодня и будет завтра.

Прочитав статью, я поймал себя на мысли, что практически не узнал ничего нового. У меня есть знакомые юристы, они мне рассказывали. Я прекрасно представлял, что содержание обвиняемых и преступников в следственных изоляторах, зонах, лагерях неизбежно связано с унижением, попранием человеческого достоинства, антисанитарией и т. п. Невольно ставил себя на место автора. Не скрою, меня охватывал ужас. Странная ситуация: большинство людей знает о подобных нарушениях, но молчат. Либо привыкли к этой мысли, либо считают нарушения естественными, неизбежными. Опасное привыкание!

Особенно печально, что закон в сложившейся системе оказывается наиболее суровым не к закоренелым преступникам, ибо они уже вошли в этот мир и заняли в нем выгодные структурные позиции. Закон оказывается суровее к впервые по-

павшим под карающий меч или случайно угодившим под него (такое тоже случается). Систему, сложившуюся за многие десятилетия, невозможно изменить одной инструкцией или одним законом. Система должна умереть, и этого надо добиваться упорно и последовательно.

Комментарий доктора юридических наук И. Быховского, следующий за статьей Л. Самойлова, не лишен противоречий. Быховский — против присяжных. Он выдвигает аргумент о необходимости высокой компетентности судей при исполнении сложных современных экспертиз. Но на процессе судья не проводит экспертизу, а лишь оперирует ее заключениями, в которых выводы уже сделаны специалистами и на общедоступном языке. Присяжные не связаны корпоративной солидарностью (попросту: круговой порукой), им легче судить с нравственных позиций. Точную степень виновности от них не требуется определять — это прерогатива судьи-профессионала, а жизненного опыта им хватит на то, чтобы определить, виновен ли человек или нет в предъявленном обвинении.

В. ЕСИПОВ, *Иркутск*

Мне бы хотелось надеяться, что Вы продолжите дело, начатое в этой статье. Дело-то общее.

И. ЮРГЕНЕ, *г. Пушкин*

Лев
САМОЙЛОВ

ПУТЕШЕСТВИЕ В ПЕРЕВЕРНУТЫЙ МИР

Пять точек — это четыре вышки по углам, а в серёдке я.
Объяснение наколки «зона»

1. Вышки в степи. Когда, поеживаясь спросонья, мы вылезали из палаток, над степью только занимался рассвет. В синей дымке вдали проступали контуры вышек и паутина колючей проволоки, нереальные, неправдоподобные, будто неоконченный набросок какого-то средневекового острога. Лишь отчетливо слышный лай овчарок да крики команд выдавали, что за этим неправдоподобием таится реальная жизнь, что это не декорация, не мираж. Там жили наши землекопы.

Я был тогда студентом и работал в археологической экспедиции при одной из великих строек коммунизма — на Волго-Доне. С вольной рабочей силой было туго, и для экспедиции строительство уделило несколько сотен из своих заключенных. Наша работа считалась не из самых тяжелых, и нам дали женские отряды.

В шесть утра распахивались ворота лагеря и издалека слышался тенорок кого-то из конвоиров:

— Па-па торкам! Па-па торкам!

Сначала я не мог понять, о каком папе речь и кого там «торкают». Позже до меня дошло: конвой большей частью состоял из среднеазиатов, а они говорили с сильным акцентом, и крик означал: «По пятеркам!» — заключенных выпускали пятерками, чтобы легче было считать. Затем длиннющая колонна направлялась к месту работ, сотни сапог взбивали пыль, а над степью разносилась залихватская — с гиком и свистом — песня, вылетавшая из сотен женских глоток: «Гоп, стоп, Зоя!...»

Серая масса зэков растекалась по участкам, каждый студент-практикант (или студентка) получал примерно по десятку человек, конвой вставал рядом, и начинался рабочий день. Солнце поднималось все выше и вскоре уже нещадно палило, в худых руках мелькали лопаты и кирки, густая пыль застилала неглубокий котлован.

Постепенно мы знакомились ближе с нашими подопечными, узнавали про их беды и вины, ужасались их исковерканным жизням. Но мы не могли примерить к себе их судьбы, а в их речах, суждениях и поступках многое ставило нас в тупик. Нам были непонятны их обиды, странны их радости. Казалось, эти женщины подчиняются какой-то особой логике, а о чем-то важном упорно молчат. «Вам этого не понять»,— часто говорили они. Словом, это был другой, чуждый нам мир, в который нам доступ был закрыт — и слава богу. Мы довольствовались внешним знанием этого мира — достаточным, чтобы общаться и поддерживать рабочие отношения. О прочем старались не думать.

На ночь конвоиры уводили заключенных в лагерь, ворота закрывались, и все снова начинало напоминать мертвую декорацию или средневековый острог. С болезненным любопытством мы бродили вокруг, пытаясь углядеть что-то за оградой, но конвоиры не подпускали нас близко, и никогда никто из нас не бывал внутри. Внутренность лагеря оставалась недоступной нашему взору, как другая сторона луны.

На следующий год мы прибыли снова на то же место, и опять нас ждали вышки, конвой и лай собак, опять серые ряды заключенных. Но одного из студентов — синеглазого смешливого Сашки — уже не было с нами. Где-то в таком же лагере он стоял в рядах заключенных: по пьянке он совершил преступление. А кроме того не было среди нас и одного из научных сотрудников. Этот никакого преступления не совершал, но прежде сидел по подозрению в политической неблагонадежности, а теперь таких сажали снова — для профилактики. Все это задевало каждого из нас: это были люди нашего круга. Сашку мы жалели открыто, иные поругивали («сам виноват»), а об исчезнувшем ученом вспоминали только шепотом. Или молча. Но тут мы впервые задумались о вечных вопросах — о преступлении и наказании, случае и воле, характере и судьбе, вине и исправлении. Потому что старались себе представить, каким Сашка вернется много-много лет спустя из далекого лагеря, который должен его покарать и исправить.

Через много лет ученый снова появился из небытия, постаревший, какой-то облезлый и злой, а Сашка исчез навсегда. Наши пути более не пересекались.

Прошло тридцать лет. За это время я проделал шестнадцать экспедиций, пять последних — в качестве начальника экспедиции, написал полтораста научных статей и несколько книг. У начальников экспедиций в те времена было так много обязанностей и так мало прав, деятельность их была скована такой уймой бессмысленных запретов и предписаний, что им то и дело приходилось встречаться с ревизорами и с сотрудниками ОБХСС, и частенько перед ними маячили следствие и суд, но меня судьба миловала. И вот когда я уже перестал ездить в экспедиции и поверил, что меня минула чаша сия, потому что за мной теперь грехов и быть не может, пришел мой черед. По бокам встали молоденькие конвоиры, я оказался на жесткой скамье — сначала перед разговорчивыми следователями, потом перед молчаливыми судьями, а в промежутках все это время — в тюремной камере, перед понурыми сокамерниками.

Не буду описывать, как я добивался оправдания, а не добившись и отбыв срок полностью — реабилитации. Речь не о том. Когда прозвучал приговор и я понял, что мне предстоит долгий путь, пройденный до меня многими, я подумал, что в любых обстоятельствах надо оставаться верным своему призванию — науке. В сущности мне предстоит семнадцатая экспедиция — этнографическая. Вероятно, это будет самая трудная из моих экспедиций, может быть, опасная для здоровья, но, пожалуй, и самая интересная. Экспедиция в мир, совершенно чуждый, не освещенный в литературе (или выборочно освещенный в неподцензурных мемуарах), плохо изученный. И я вскинул свою котомку на плечо, готовый наблюдать, запоминать и осмысливать.

Из далекого прошлого возник полузабытый образ отгороженного пространства с вышками по углам, виденного только снаружи. Наплывом, как в кино, он придвинулся ко мне, и я очутился в кадре.

Что там? То бишь, что тут — за двумя стенами с контрольной полосой между ними, с единственным входом-выходом через шлюз? Машина входит в шлюз, как судно на Волго-Доне: закроют ворота сзади, тогда лишь откроются ворота спереди. И — вот она, внутренность тайны, другая сторона луны. Пугающая и все-таки притягательная.

2. Другая сторона луны. Внутри лагерь разгорожен на зоны высоченными — в три человеческих роста — решетками и поэтому напоминает цирковую арену при показе хищных зверей (потом я понял, что это не зря и что здесь люди бывают опаснее зверей). Зона, где сосредоточены производства (небольшие заводики), столовая зона, несколько жилых зон — отделены одна от другой во избежание междоусобных драк, плац для построений, карантин — этот для новоприбывших.

Огляделись. Какие-то худые серые фигуры, опасливо озираясь, бродят по зонам, жмутся к стенкам. Перед ними деловито проходят другие фигуры, тоже явно из заключенных, но поосанистее. И над всем веет какой-то готовностью к тревоге, хотя видимых причин для нее нет. Какой-то напряженностью, которая здесь разлита во всем и ощущается сразу. Некий глухой, затаенный ужас — в согнутых позах, в осторожных движениях, в косых взглядах. Будто незримый террор связывает всех. Между тем офицеры из администрации лагеря выглядят добродушными людьми, разговаривают порой грубовато, но доброжелательно.

Однако у меня за плечами был уже год пребывания в тюрьме. Еще там и понял,

что главная сила, которая противостоит здесь обыкновенному, рядовому заключенному и господствует над ним,— не администрация, не надзиратели, не конвой. Они в повседневном обиходе далеко н образуют внешнюю оболочку лагерной среды, такую же безличную и непробиваемую, как камни стен, решетки и замки на дверях. Силой, давящей на личность заключенного, повседневно и ежечасно, готовой сломать и изуродовать его, является здесь другое — некий молчаливо признаваемый неписаный закон, негласный кодекс поведения, дух уголовного мира. Его не оспаривают. От него не уклоняются. Избежать его невозможно. Он непохож на правила человеческого общежития, принятые снаружи.

Первое, что меня поражало в тюрьме, это кровавые исступленные драки в прогулочных двориках. Не сами драки, а как они происходят. Дерутся молча, дико, без меры и ограничений. Бывает, несколько бьют одного. Лежачего бьют — ногами. Разнимать не положено, все молча стоят вокруг и смотрят. Это «разборка» — решение конфликтов, которые тебя не касаются, ну и стой тихо.

Поражало, как все подчиняются дурацкой процедуре «прописки» — изуверским обрядам при поступлении новичка в камеру. Он должен ответить на каверзные вопросы, выдержать жестокие испытания. «Отвечай: кол в задницу или вилку в глаз?» (выражение смягчаю). И по лицам старожилов новоприбывший понимает, что ведь не шутят — выполнят, что выберешь. Стать педерастом на усладу всей камере или же лишиться глаза? Только опытный зэк знает, что надо выбрать вилку: вилок в камере не бывает. «Летун или ползун?» — кем ни признаешь себя, все может выйти боком. «Ползуну» велят носом протирать грязный пол, а согласившись, станет он общим слугой, даже рабом. «Летуну» придется с верхних нар падать с завязанными глазами на разные угловатые предметы, расставленные на полу. Если новичок пришелся ко двору, его подхватят, если не привлек расположения — предметы незаметно уберут, если вовсе не понравился — расшибется в кровь, ребра поломает. А что, сам согласился, сам падал. Придумок много. Хорошо еще, что так встречают новичков не во всех камерах: попадаются ведь камеры, где еще не завелись такие традиции, где просто нет бывалых уголовников. Уж как повезет.

А бывалые приговаривают: это еще цветочки, ягодки впереди. Вот прибудем в лагерь... И встречи с лагерем ждут все (уж скорее бы!): одни со страхом, другие — с покорностью, третьи, немногие — со злорадным вожделением.

Лагерь охватывает человека исподволь, еще в тюрьме. Гангрена души. Камеры в корпусе подследственных — еще со сравнительно либеральными нормами, с дележом передач на всех, с равенством прав; камеры осужденных — мрачнее и суровее, здесь уже произошло расслоение, обозначилось, кто есть кто; этапные камеры (где ждут отправки по этапу) — еще суровее, отрешеннее, здесь уже каждый держится за свою котомку и крепчают лагерные нравы. Когда после многодневного путешествия в «столыпинских» вагонах «черные вороны» доставляют контингент к шлюзу лагеря, люди уже психологически готовы принять лагерные нормы жизни.

3. Лютая зона, дом родимый. Мне повезло: мой маршрут был коротким, лагерь находился поблизости от Ленинграда. У каждого лагеря свое лицо, свое прозвище, под которым он слывет в тюрьмах. У нашего очень миленькое: «лютая зона». Он был ненамного хуже других, в чем-то даже лучше, поскольку город близок. Во всяком случае прокламированная прозвищем лютость не означала каких-то зверств его администрации. Как я потом убедился, первое впечатление было верным: в администрации и охране здесь работали такие же люди, как и везде,— одни грубее, другие культурнее, как и в любом советском учреждении. Попадались пьяницы и проходимцы, но именно у офицеров (большинство с университетским образованием) я встречал здесь и подлинную человечность, а ведь сохранить добрые человеческие качества в здешних условиях нелегко.

Лагерь вообще не принадлежал к числу тех, которые предусматривали особые строгости в содержании заключенных, положенные по наиболее суровым приговорам. Это не был лагерь усиленного или строгого режима. Наш был «общак» — лагерь общего режима. Но как раз такие имеют недобрую славу среди заключенных. В лагеря более сурового режима попадают за особо тяжкие и масштабные преступления. Там содержатся преступники крупного калибра, люди серьезные, с размахом, они на мелочи не размениваются и суеты в лагере не любят. Сидеть им долго, и они предпочитают спокойный стиль поведения (хотя в любой момент готовы к побегу и бунту). Да и строгости режима сковывают возможную нервность их нрава. В «общаке» таких строгостей нет, режим вольнее, и для дурного нрава уголовников больше возможностей реализации. А сидят здесь в основном уголовники не того пошиба — хулиганы, воры, наркоманы, насильники. Почти все они — пьяницы. Это люди низкого культурного уровня, истеричные и конфликтные. Сшибка таких характеров непрестанно высекает нервные разряды,

и в атмосфере нагнетается грозовая напряженность. Верх берут те, кто наиболее злобен и агрессивен, и под внешним порядком устанавливается обстановка подспудного произвола — «беспредела», как это звучит на жаргоне заключенных.

«Беспределом» наш лагерь действительно отличался, хотя в других «общаках», по отзывам побывавших там, примерно то же самое, может, лишь самую малость помягче. Впрочем, у нас говорилось и так: «Кому лютая зона, а мне — дом родимый». Насчет дома, это, конечно, бравада, но у всякой палки две стороны. Одна — у тех, кто бьет.

Может быть, дело в том, что мой глаз был изощрен исследовательским опытом в социальных науках, но с самого начала то, что выглядело снаружи серой массой, расслоилось. Я увидел, что равенством тут и не пахнет. Все заключенные очень четко и жестко делятся на три касты: воры, мужики и чушки́.

«Вор» — это не обязательно тот, кто украл. По лагерной терминологии, вор — это отпетый и удалой уголовник, аристократ преступного мира, господин положения. По специализации он может быть грабителем, убийцей, бандитом, а может и спекулянтом. Важно, чтобы он лично был опасен и влиятелен. В лагере он если и ходит на работу, то не трудится за станком, а либо руководит, либо надзирает, либо снисходительно делает вид, что работает, а норма ему записывается за счет мужиков и чушков. Воры должны следовать определенному кодексу воровской чести: не сотрудничать с «ментами», не выдавать своих, платить долги, быть смелыми и тому подобное. Но зато они обладают и целым рядом самочинных прав (например, отнимать передачи у других). Воры образуют в лагере высшую касту.

«Мужики» — из преступников помельче. Название определяется тем, что они в лагере «пашут». За себя и за воров. Нередко в свою смену и в следующую за ней. У них много обязанностей и некоторые права — так, нельзя отнимать у них пайку хлеба (это «положняк», то, что положено), остальное можно. Это средняя каста.

«Чушок» — это раб. Чушки работают в свою смену и в следующую, а кроме того, несут непрерывные наряды по зоне и обслуживают воров лично. У чушков — никаких прав. С ними можно проделывать все, что угодно. А угодно многое. Это низшая каста — каста неприкасаемых, париев. Сюда попадают грязные (отсюда и название), больные кожными заболеваниями, слабые, смешные, малодушные, психически недоразвитые, чересчур интеллигентные, должники, нарушители воровских законов, осужденные по «неуважаемым» здесь статьям (например, сексуальным) и те, кто страдает недержанием мочи.

Особую категорию чушков составляют «пи́доры» — педерасты. С ними вор или мужик не должен на виду даже разговаривать или находиться рядом. Если случайно окажется рядом, то — процедить сквозь зубы: «Дерни отсюда (то есть поди прочь), пидор вонючий!» Вот и все, что можно сказать пидору на людях. Или врубить ему по зубам и демонстративно вымыть руку.

В пидоры попадают не только те, кто на воле имел склонность к гомосексуализму (в самом лагере предосудительна только пассивная роль), но и по самым разным поводам. Иногда просто достаточно иметь миловидную внешность и слабый характер. Скажем, привели отряд в баню. Помылись (какое там мытье: краи один на сто человек, шаек не хватает, душ не работает), вышли в предбанник. Распоряжающийся вор обводит всех оценивающим взглядом. Решает: «Ты, ты и ты — остаетесь на уборку»,— и нехорошо усмехается. Пареньки, на которых пал выбор, уходят назад в банное помещение. В предбанник с гоготом вваливает гурьба знатных воров. Они раздеваются и, сизо-голубые от сплошной наколки, поигрывая мускулами, проходят туда, где только что исчезли наши ребята. Отряд уводят. Поздним вечером ребята возвращаются заплаканные и кучкой забиваются в угол. К ним никто не подходит. Участь их определена.

Но и миловидная внешность не обязательна. Об одном заключенном — маленьком, невзрачном, отце семейства — дознались, что он когда-то служил в милиции, давно (иначе попал бы в специальный лагерь). А, мент! «Обули» его (изнасиловали), и стал он пидором своей бригады. По приходе на работу в цех его сразу отводили в цеховую уборную, и оттуда он уже не выходил весь день. К нему туда шли непрерывной чередой, и запросы были весьма разнообразны. За день получалось человек двадцать. В конце рабочего дня он едва живой плелся за отрядом, марширующим из производственной зоны в жилую.

Касты различаются по одежде и месту для сна. Воры ходят в ушитой по фигуре и отглаженной форме черного цвета, похожей на эсэсовскую. Предпринимаются всякие усилия, чтобы раздобыть черную краску и выкрасить полученную со склада стандартную форму в черный цвет. Или выменять на продукты чью-то отслужившую форму — пусть ветхую, но зато черную! Мужики ходят в синей, реже в серой «робе», отутюженной, но не ушитой. Она висит на мужике мешком и должна так висеть. Нечего ему модничать. Но он должен быть чистым и часто стирать свою робу. Ну, а чушки — те в серой

рвани, из обносков. Утюга им не дают. Чушок тоже должен следить за собой, но при его обязанностях (регулярно чистить постоянно засоряющиеся коллективные уборные и прочее) это очень трудно, так что и спрос не велик. А вот пидоры обязаны быть безукоризненно опрятными.

Спят воры на нижнем ярусе коек, мужики — на втором и третьем ярусах, чушки и пидоры — в отдельных помещениях похуже, часто без окон — в «обезьянниках». Даже мимо «обезьянника» проходишь — шибает в нос жуткая вонь; это из-за тех, у кого недержание мочи.

Перед ворами все расступаются, они с гордо поднятой головой разгуливают по центральной части двориков и помещений, обедают за почетными местами — во главе стола, получают все первыми. Мужики скромно ждут, когда дойдет до них черед, кучками собираются у стен, стараясь поменьше попадаться ворам на глаза. Чушки стоят в конце стола, получают все в последнюю очередь, часто довольствуются объедками (вору и даже мужику объедки подбирать негоже, «западло»). Чушка можно узнать по согнутой фигуре, втянутой в плечи голове, забитому виду, запуганности, худобе, синякам. Пидорам вообще не разрешается есть за общим столом и из общей посуды — пусть едят в уголке по-собачьи.

Администрация делает вид, что ничего не знает о делении на касты. На деле знает, признает это деление и учитывает при своих назначениях бригадиров, старшин и прочих. Иначе должности будут пустым звуком. Просто невозможно себе представить, чтобы вор стоял навытяжку перед мужиком или — еще того хуже — чушком или чтобы чушок посмел хоть что-нибудь приказать вору. Даже не смешно.

4. Двоевластие. Людей в лагере тьма тьмущая, и судьба каждого, по идее, зависит от благоволения администрации. Сумел завоевать его честной работой и примерным поведением — приблизил освобождение. Администрацию составляют начальник лагеря и его заместители, начальники отделов, офицеры — начальники отрядов. В нашем лагере отрядов было двенадцать. Администрация может поощрять заключенных премиями, разрешением добавочных передач и тому подобное, а главное — представлять к сокращению срока. Нарушители порядка наказывают. Он лишается передач и права переписки, может попасть во внутрилагерную тюрьму — ПКТ, то есть помещение камерного типа (прежнее название БУР — барак усиленного режима), а то и пойти снова под суд и получить надбавку к сроку. Механизм действует продуманно и отлаженно.

Распоряжения начальников подлежат неукоснительному исполнению. Исполнение обеспечивают солдаты внутренних войск (ВВ), которые не только охраняют лагерь снаружи, но и проводят периодические обыски («шмоны») внутри, стоят на страже у дверей из зоны в зону, когда двери открыты. Они же уводят нарушителей. Это сила, олицетворяющая здесь государственную власть. За ней мощь государства. Сопротивляться ей бессмысленно и глупо. Да прямо вроде никто и не сопротивляется.

Но все представители этой силы — от солдата до начальника лагеря — проходят внутрь лагеря только безоружными. Чтобы не напали, не отняли, не овладели оружием. В каждом из 12 отрядов есть комнатка для начальника отряда. Не всякий день он появляется в ней, а когда появляется, то хоть и можно попасть к нему на прием, но пройдешь под сотнями глаз, и если он узнает что-либо лишнее, то будет ясно от кого. Поэтому лишнего он и не узнает.

Как положено каждому коллективу в нашей стране, отряды обладают и самоуправлением (тоже, конечно, под контролем администрации): во главе отряда стоят председатель совета отряда и старшина, из заключенных. Совет отряда помогает начальнику решать вопросы перевоспитания, следить за чистотой, организовывать культмассовые мероприятия («Вечерний звон, вечерний звон, как много дум наводит он...»). Старшина распоряжается повседневным бытом — назначает дежурных, раздает наряды и тому подобное. Есть, как всем известно, и бригадиры («бугры»), которые распоряжаются на производстве, но опекают своих рабочих и в быту. Все опять же продумано до мелочей, все поднадзорно и подконтрольно.

Но вся эта разветвленная сеть власти оказывается сугубо поверхностной. Она действует только днем, точнее часть дня, и даже тогда ее воздействие ограничено. А уж ночью и подавно. Когда наступает темнота и офицеры с солдатами уходят, подымают голову те, кого «зона» воспринимает как истинных властителей. Конечно, и днем их молчаливое присутствие ощущается всеми. Все делается с оглядкой на них. Таким тайным властителем в отряде является некто, избираемый ночью на «сходне» влиятельных воров. В старину его называли «паханом», нынешнее название — «главвор» (терминология по стилю уже советская или, точнее, советизированная). Он избирается на весь свой срок заключения в этом лагере. Его мрачная власть безусловна и почти безгранична. Когда я попросил одного бывшего художника сделать для меня рисунок, он должен был обратиться за разрешением к главвору. Авторитет главвора поддерживают «бойцы» из воров с наиболее низким лбом и наиболее тяжелыми кулаками. Это его свита и боевая дружина, человек 7—8.

Хоть власть главвора и тайная, но начальник отряда знает, кто у него главвор. Ведь старшина может управлять, только если назначен с согласия главвора и подчиняется ему. Иногда старшиной просто становится главвор (так было в нашем отряде). Обычно известен и будущий главвор, который займет трон, когда уйдет сегодняшний. Но это не гарантировано — бывают и кровавые стычки воровских кланов за место главвора. На «сходне» всех главворов лагеря один из них объявляется главвором «зоны» (всего лагеря). Это фигура почти недосягаемая для простого смертного.

Но и главвор отряда стоит достаточно высоко в «теневой» лагерной иерархии. Ниже его располагаются его подручные — «главшнырь» (так сказать, завхоз), «угловые» (влиятельные персоны, спящие на нижних угловых койках), старшина и «бугры», «бойцы», затем уже идут прочие «воры» и «подворики». И все это верхняя каста!

Главвора никто не называет по «кликухе» (кличке), обращаются к нему по имени-отчеству, разумеется, на «вы». Он обедает за отдельным столом, с ним могут разделять трапезу только угловые, старшина или бугры. От всех передач ему относят лучшую долю.

В условиях лагеря одному очень трудно продержаться. Каждый заключенный вступает в своеобразный союз с 1—3 зэками своего же ранга, своей касты — «кентами». Кенты — это как бы побратимы. Они поддерживают друг друга участием и материально, составляя «семью». Главвор обычно не имеет семьи: она ему не нужна, да и кто же был бы ему равен? Зато он ведет семейную жизнь в ином, более точном смысле. Почти у всех главворов, да и у некоторых других крупных воров, есть «жены» — юноши, обслуживающие их сексуально. Этих не уважают, но и не задевают. Они даже одеваются в черное. Пидорами их (не говоря уж о самих главворах) не зовет никто.

Когда в большом помещении, где стоит телевизор, весь отряд собирается смотреть передачу (подразумевается, воспитательную, например «Гражданин и закон», «Человек и закон», а на деле — футбол или детектив), все располагаются по рангу: впереди на кресле — главвор, вокруг у ног его — бойцы, на двух скамьях за ними — знать: угловые, главшнырь, старшина, бугры, затем несколькими рядами — воры, далее на койках навалом мужики, а стоя у стен и выглядывая из дверей — чушки.

Создается впечатление, что в этой уголовной иерархии, как в зеркальном отражении, в перевернутом виде, в искаженном свете, но все же повторяется официальная иерархия административной части лагерного общества. Как отклик: на силу — сила, на лестницу — лестница, на систему — система. Карикатура — и какая обидная!

5. Шкала террора. Итак, две власти. Которую боятся больше? Ту, которая бьет сильнее.

Администрация ограничена в своих наказаниях правом и формальностями. Выход за эти рамки возможен, но сопряжен с опасностью: самоуправство, произвол наказуемы, могут подпортить карьеру. Главвор такими рамками не стеснен. Никакие наказания, налагаемые администрацией (штраф, лишение переписки и передач, ПКТ и тому подобное), не могут сравниться по силе с наказаниями за проступки против воровской власти и воровского «закона».

Существует целая шкала наказаний. За мелкие нарушения воровского порядка двое-трое «бойцов» по мановению главвора тут же на месте быстро и точно избивают нарушителя. Молча. Слышны только возгласы: «Руки!» (заслониться руками нельзя). После экзекуции дня 2—3 придется отлеживаться. Это первая мера наказания. Она обозначается простым и нецензурным глаголом (скажем, «отъездить»).

Наказания за более серьезные проступки производят ночью в общественной уборной — «на дальняке». За проступки лишь немного более тяжелые полагается «тубарь», «тубаретка»: бьют табуреткой, стараясь угодить по черепу, пока не разломается то или другое. Обычно ломается табуретка: качество работы плохое, древесина подгнившая. Но и черепу достается: сотрясение мозга, правда, вылечивается быстро — аномалии психические могут остаться надолго.

Еще тяжелее, если решат «опустить почки»: нарушителя держат за руки и бьют ногами по пояснице, пока не начнет мочиться кровью. Следствие этого наказания — пожизненная инвалидность. Могут счесть, что и этого недостаточно, что нарушителя надо «заглушить» — набрасываются на него скопом, валят на пол и топчут до потери сознания и человеческого облика, оставив на полу нечто истерзанное и кровоточащее, с множественными переломами, с пробитым черепом, с разрывами внутренних органов. Может и умереть, конечно, но как цель это не стояло. Помер, «откинул копыта» — значит, слабак, не выдержал. Если же добиваются смерти, то приговор звучит не «заглушить», а «замочить». Этот приговор в каждой зоне приводят в исполнение по-своему. Говорят, что где-то на севере

запихивают приговоренного в тумбочку и выбрасывают с верхнего этажа. Не знаю, как они могут это осуществить: ведь на окнах — решетки. У нас просто инсценировали самоубийство: повесился. Сам. Утром придете, а он уже висит.

Но и это не самое тяжелое наказание — ведь тут смерть мгновенная, без муки. В запасе у воров есть еще медленная смерть: начинают убивать вечером, кончают утром. На моей памяти к этому наказанию прибегли только один раз, и то, когда я уже покинул лагерь. Мне рассказали те, кто вышел на свободу позже. В лагерь прибыл «транспорт» наркотиков, пронес кто-то из обслуживающего персонала. Груз застукали и конфисковали, канал доставки провалился. Кто-то выдал? «Запалить коня» (выдать канал доставки) — это считается тягчайшим преступлением против воровской морали: «пострадала вся зона». Подозрение пало на белобрысого паренька, которому оставалось несколько месяцев до выхода — уже разрешено было отращивать волосы. Я его знал. Скорее всего подозрение ложное, но тут у воров все, как у людей: надо было найти козла отпущения. Парня приговорили. Не потребовалось ни свидетелей, ни улик, ни прокурора, ни адвоката. Вечером к нему приступили с ножами. Сначала пытались его кастрировать (судя по многочисленным порезам внизу живота), но он отчаянно извивался и операция не удалась. Потом просто кололи ножами, выпускали кровь, резали понемногу. Потом обливали кипятком, но парень все еще жил. Потом бросили его в люк канализации, но медицинская экспертиза установила, что и там он умер не сразу.

Палачей, исполнителей этого зверского убийства, выявили и отдали под суд, их постигнет суровое возмездие, но, каким бы оно ни было, свой, воровской, приговор они привели в исполнение. В назидание всему лагерю.

Еще в тюрьме я завоевал авторитет среди заключенных. Вероятно, потому, что стойко переносил тяготы, в камере много занимался физкультурой (несмотря на возраст), не терял чувство юмора, а главное — добился пересуда, отмены первого приговора (второй был уже помягче), помогал и другим добиваться пересмотра. Поэтому, несмотря на принадлежность к интеллигенции и неподходящий профиль (не вор, не грабитель, не убийца и так далее), я стал «угловым», то есть лицом высокого ранга, неприкосновенным. Звали меня исключительно по имени и отчеству. За все время в лагере меня никто ни разу не ударил и не обругал. Я пользовался относительной свободой поведения.

Офицер, начальник нашего отряда, был недавним выпускником философского факультета Университета и любил беседовать со мной о жизни и науке. Но как-то он сказал: «Не надо нам встречаться наедине. Прекратим это. Каждое утро я прихожу с чувством тревоги: не случилось ли с вами беды». От подозрения и наказания меня не могли обезопасить ни высокий ранг, ни благоволение главвора, ни внимание начальства.

Я изложил стандартную шкалу физических наказаний. Но случается и импровизация. Так, однажды проштрафился главпидор — старейшина этого цеха, по прозвищу Горбатый. Он хотел отнять у новичка пайку хлеба, то есть неотъемлемое. Положенное наказание боем не подходило: инвалид, слабый, не выдержит, а терять его не хотелось (нужный человек). Главвор был в полной растерянности и обратился за советом к свите. Кто-то сдуру предложил (смягчаю): «Выделать его, и все дела!». Главвор на это: «Сказал тоже! Это ему в кайф». И решено было задать главпидору публичную порку. Построили весь отряд (около 200 человек), перед строем разложили горбуна, спустили с него штаны и выпороли широким ремнем.

Есть наказания и не связанные с физическим насилием. Для воров существует такое наказание, как перевод в низшую касту. Это называется «опустить» человека. За поведение, несовместимое со статусом вора (не платит долги и тому подобное), с него торжественно снимают черную одежду и выдают ему синюю или серую рвань. Это расценивается как огромное несчастье. «Опустить» могут и без «суда». Как-то двое мужиков, доведенные до отчаяния свирепым «беспределом» одного крутого вора, поймали его на отшибе и... изнасиловали. Мужиков жестоко наказали («заглушили»), но вор ничем не мог отстоять свой опозоренный статус. Его «опустили» в чушки, и он стал пидором. По ночам знатные воры подзывали бывшего товарища к своим койкам, и он выполнял все, что требовалось. Был тихим, скромным и забитым. Я его застал уже таким, и при мне его былое свирепство существовало только в легенде.

Вообще же какие-то наказания производились почти каждую ночь, и стоны истязаемых, доносившиеся с «дальняка», мешали спать остальным — и воспитывали. Всех.

В дополнение, чтобы поддерживать обстановку террора, дружина «бойцов» проводила раз-два в месяц мероприятие, называемое «замес». Среди ночи по этому слову все «мужики» и «чушки» отряда обязаны вскочить с постелей и бежать к двери. А там уже стоят «бойцы» с тяжелыми кулаками и ножками от табуреток, готовые молотить всех подряд. Пробежав сквозь строй «бойцов» и получив свою порцию ударов (тут можно закрываться руками), заключенные отправляются в умывальню, смывают кровь и — пожалуйста, досыпай спокойно. Избиение производится ни за что, просто «для порядка, чтобы знали, кто мы, а кто они». Это «профилактическое» мероприятие очень напоминает регулярные избиения илотов (рабов) в древней Спарте.

Так чья же власть перевешивает в «зоне»? Кто больше может? Кто истинный повелитель? Кто способен формировать нормы и установки? Кто тут воспитывает?

6. Педагогическая трагедия. На официальном языке огороженные колючей проволокой городки с вышками по углам давно уже не называются ни «лагерями», ни «зонами». Вместо тюрем у нас следственные изоляторы, вместо лагерей — ИТК, исправительно-трудовые колонии. В основе всей нашей пенитенциарной системы идея исправления коллективным трудом. Эта идея сформулирована и внедрена в нашу жизнь замечательными книгами А. С. Макаренко. Гуманизм ее в применении к преступникам не надо доказывать: общество не только налагает кару на своих оступившихся членов, но и заботится об их исправлении, очищении от скверны, возвращении к честному труду в коллективе свободных людей. Недаром начальники отрядов набираются из офицеров с гуманитарным высшим образованием — философы, историки, педагоги, юристы.

Когда они принимали назначение и шли сюда работать, некоторые втайне мечтали о стезе Макаренко — о массовом перевоспитании преступников, о возвращении заблудших на истинный путь. Все это так красиво выглядело в книгах и кинофильмах о перековке. Убеждение, воодушевление, прозрение, трудовой энтузиазм, благодарственные письма от бывших питомцев, скупые слезы на твердых небритых скулах... Реальность быстро остудила эти идеальные представления. «Опускаются руки,— говорил мне один такой идеалист.— Ничего не получается. Только выйдут на свободу, глядишь — возврат, многие по нескольку раз. Исправленных ужасающе мало, да и ненадежны они. Все говорим о доверии, доверии. Вот недавно подписали одному досрочное, отличные были характеристики, а через неделю — взят за убийство».

Мой опыт общения с зэками говорил о том же. В откровенной беседе лишь некоторые делились намерениями начать новую жизнь, «завязать» с уголовным прошлым. Господствовало просто желание больше не попадаться — действовать умнее, хитрее, ловчее, но в старом духе. Ссылались на то, что иначе не проживешь по-людски, что все так думают. «Я что, я как все. Пахать дураков нет. Зарплата — хо, это разве бабки? Смех один. На раз в кабак сходить».— «Так ведь опять сюда загремишь».— «Зачем же! С умом надо». И умолкал. А по ночам в разных углах под стакан чефира шли шепотом бесконечные совещания «деловых» о том, как это — с умом. Обмен опытом. Замыслы. Планы.

Думал и я. О том, в чем ошибка, *коренная ошибка*. И пришел к выводу, что ошибочна сама вера в магическую силу труда и в повсеместную благотворность коллектива. И труд и коллектив были на всякой каторге, у галерников. Каторжный труд нередко убивал, но никого не мог изменить. Бандиты оставались бандитами (а декабристы — революционерами). Лагерь — это пародия на педагогическую поэму.

Макаренко тут ни при чем. Его учение нельзя распространять на лагеря и тюрьмы. У него был совсем другой коллектив: юношеский, не столь уж подневольный (без охраны и ограды), набранный не из закоренелых уголовников, а из беспризорников, не говоря уж о том, что во главе стоял гениальный воспитатель. К тому же коллектив был разношерстный, неопытный, без сложившихся традиций, и Макаренко, будучи гениальным воспитателем, сумел передать ему энтузиазм всей страны, зажечь молодежь новыми идеями, создать новую романтику, открыть увлекательную жизненную перспективу. В исправительно-трудовой колонии — совершенно другая картина.

7. Педагогическая пародия: труд и коллектив. Труд сам по себе никого и никогда не исправлял и не облагораживал. Учит и лечит труд сознательный, целенаправленный, товарищеский и, главное, свободный. Труд, справедливо вознаграждаемый, связанный с положительными эмоциями. От всего этого труд в ИТК далек. Это труд подневольный, тяжелый и монотонный, никак не связанный с увлечениями работников или хотя бы с их профессией. Условия работы скверные (они же не могут быть лучше, чем на воле), вознаграждение мизерное (оно же не может быть выше, чем на воле). Такая обстановка может внушить (и внушает) только отвращение и ненависть к труду, в лучшем случае — равнодушие.

Единственное, что помогает администрации добиваться выполнения плана, это главворы со своими подручными, ставшие по сути надсмотрщиками — в обмен на право не работать физически самим: кто же следит, чтобы мужики и чушки выполняли нормы, кто наказывает их (по-своему) за отлынивание, кто отправляет их, только что вернувшихся со смены, повторно на работу, на следующую смену? За это наш лагерь кличут еще и «сучьей зоной»: «воры ссучились».

По-моему, администрация хорошо по-

нимает, что это так. В штабе, куда я был вызван по какому-то делу, я слышал, как начальник лагеря спрашивал офицеров: «Когда же, черт возьми, мы научимся выполнять план без кулаков главворов?!»

Власти издавна старались изыскать иные дополнительные стимулы. В сталинские времена действовало правило: за ударный труд — сокращение срока. Экономически это было действенно. Но при этом физическая сила получала преимущество над совестью, и сильным бандитам втрое сокращался срок. В наши дни стимулом считают соревнование — по образцу свободного труда, только здесь оно носит название не «социалистического», а «трудового». Отряды должны вызывать друг друга, принимаются обязательства (чуть было не сказал «соцобязательства»), подсчитываются итоги в процентах по разным показателям, выделяются передовики и так далее. Эффективность соревнования и на воле, как мы знаем, оставляет желать лучшего, чаще все сводится к формалистической суете и показухе. А уж тут, за колючей проволокой...

Меня интересовало, относятся ли наверху к этому спектаклю всерьез, и я проделал небольшой эксперимент. В лагерь прибыла проверочная комиссия. Три дня перед тем все мыли, скребли и красили. Комиссия объявила, что хочет выслушать претензии и предложения и что прием будет идти с глазу на глаз. Я вызвался и мимо побледневших офицеров прошел в заветную дверь. Передо мной сидел статный и суровый полковник. «На что жалуетесь?» — спросил он. Я сказал, что, по-моему, учет трудового соревнования в лагерях организован нерационально, и предложил построить его иначе. Полковник откинул голову, и я испугался, что его хватит апоплексический удар. «И это все?» — помолчав, спросил он. «Все»,— сказал я. Внезапно на лице его отобразилась смесь подозрения, презрения и отвращения. «А вас не подослало здешнее начальство?» — спросил он, наклоняясь вперед. «Что вы! — заверил я.— Легко проверить: я же весь день был со своим отрядом».— «Ступайте»,— отрезал он и даже не прибавил стандартного «мы разберемся».

Словом, ни для кого не секрет, что такое на деле трудовой энтузиазм в лагере.

Воздействие же коллектива целиком зависит от того, какой это коллектив, у кого он в руках. В ИТК с самого начала создается коллектив преступников, воровской коллектив — со своим самоуправлением, абсолютно независимым от администрации, со своей моралью, совершенно противоположной всему, что снаружи, за колючей проволокой. Очень многие ценности, к которым мы привыкли, здесь фигурируют с обратным знаком. То, что там — зло, здесь — добро, и наоборот. Украсть, ограбить — почетно и умно; убить — опасно и все же завидно: нужна отвага; работать — глупо и смешно; интеллигент — бранное слово; напиться вдрызг — кайф, услада. Попасть на лагерную Доску почета — ужасное несчастье, позор. Я видел, как бегали по лагерю, скрываясь от фотографа, назначенные администрацией «передовики производства».

Именно в этом коллективе заключенный проводит все время — весь день и всю ночь, долгие годы. Воздействие администрации — спорадическое, слабое, формальное, мало индивидуализированное, большей частью не доходящее до реального заключенного. А коллектив всегда с ним. И какой коллектив! Жестокий, безжалостный и сильный. Сильный своей сплоченностью, своей круговой порукой и своеобразной гордостью. У этого коллектива есть свои традиции, своя романтика и свои герои.

Жизнь в этом перевернутом мире регулируется неписаными, но строго соблюдаемыми правилами. Часть из них бессмысленна, как древние табу. Здесь это называется «западло» — чего делать нельзя, что недостойно уважающего себя вора. Табуировано много действий и слов. Нельзя поднять с пола уроненную ложку: она «зачушковалась», надо добывать новую. Нельзя говорить «спасибо», надо — «благодарю». Табуирован красный цвет: это цвет педерастии («голубыми», как на воле, здесь «гомосеков» не зовут). Красные трусики или майку носить позорно, выбрасываются красные мыльницы и зубные щетки. И так далее. Пусть эти правила бессмысленны, но само знание их возвышает опытного зэка в глазах товарищей и подчеркивает принадлежность к коллективу, цементирует коллектив. Ту же роль играют и разнообразные обряды, например «прописка» или разжалование. Скажем, человек совершил недостойный вора проступок, все это знают, но пока нарушителя не «опустили» по всей форме (то есть совершили положенный обряд) и не «объявили» (то есть по заведенной форме огласили совершенное), он пользуется всеми привилегиями вора.

Столь же формализована и знаковая система — одежда, распределение мест (где кто сидит, стоит, спит). В числе таких знаков — татуировка, «наколка». Она вовсе не ради украшения. В наколотых изображениях выражены личные достоинства зэка: прохождение через тюрьму и «зону», приговор (срок), статья (состав преступления), пристрастия и девизы и тому подобное. Изображение церкви — это отсиженный срок: число глав или колоколов — по числу лет, которые зэк «отзвонил». Кот в сапогах — воровство. Кинжал, пронзающий сердце,— «бакланка» (статья за хулиганство). Джинн, вылетающий из бутылки,— статья за наркоманию. Портрет Ленина и оскаленный тигр — «ненавижу советскую власть». Четырехугольные звезды на плечах — «клянусь, не надену погон», звезды на коленях — «не встану на колени перед ментами». И так далее. За щеголяние «незаслуженной» наколкой полагается суровое наказание (принцип: отвечай за «наколку»), так что не знавшие этого принципа случайные щеголи предпочитают вырезать с мясом неположенные им изображения. Фиксация социального статуса столь важна для уголовника, что оттесняет соображения конспирации: ведь «наколка» заменяет паспорт. Но это тот паспорт, которым уголовник дорожит и гордится.

Впрочем, как у нас бывают «отрицательные характеристики», так в лагере встречается и позорящая «наколка», например петух на груди или родинки над бровью, над губой (так помечаются разные виды пидоров). Их нельзя ни вырезать, ни выжигать. Положено — носи.

Вот в какой коллектив мы, будто нарочно, окунаем с головой человека, которого надо бы держать от такого коллектива как можно дальше. Вот какой коллектив мы сами искусственно создаем — ведь на воле нет такого конденсата уголовщины, такого громадного скопления ворья! Вот какому коллективу противостоит администрация, появляющаяся в лагере на короткое время, большинству заключенных недоступная, личных контактов с ним не имеющая.

Свою систему ценностей воровской коллектив навязывает новичкам посредством кнута и пряника. Изгнанные обществом, отвергнутые, презираемые им уголовники находят здесь ту среду, в которой другая система ценностей и другие оценки человеческих качеств. Здесь отверженные получают шанс продвинуться наверх, не дожидаясь далекого освобождения. И они начинают восхождение к трудным вершинам воровской иерархии. Они находят здесь то, что потеряли там (или не имели надежды приобрести там) — престиж и уважение. Оказывается, есть среда, где ценятся те качества, которых у них в избытке, и не нужны те, которых у них нет.

Надо видеть, с каким достоинством и с какими надменными лицами расхаживают здесь особы, принадлежащие к верхам иерархии, с какой гордостью напяливают новопроизведенные счастливцы свою эсэсовскую форму,— надо видеть все это, чтобы понять, какой воспитательной силой обладает этот коллектив! Уголовники здесь становятся закоренелыми преступниками, изверги — изощренными извергами. Проявляется сила этого коллектива и по отношению к слабым духом. Здесь из них выбивают последние остатки человеческого достоинства, делают угодливыми и согласными на любую подлость, готовыми переносить любые унижения ради мелких поблажек. Своеобразная форма адаптации. Эти бесхребетные существа — тоже создания этого коллектива, тоже проявление его силы.

А ведь мы постоянно воспроизводим и поддерживаем его существование самой системой «исправительно-трудовых»!

8. Перековка, перестройка, революции. Перевернутый мир лагеря занимал меня поначалу, естественно, в сугубо личном плане: как тут нормальному человеку уцелеть, выжить, не утратив человеческого достоинства. Вроде бы для меня лично этот вопрос был решен самим фактом моего возвышения. Но столь же естественно для меня как ученого было поставить вопрос в обобщенной форме. Не всякий может стать «угловым». В конце концов в каждом бараке только четыре угла. Коль скоро ранг обеспечивает мне лично «экстерриториальность», то я, надо полагать, выживу и, придерживаясь невмешательства, сохраню здоровье. Но если не вмешиваться, то можно ли сохранить достоинство при виде всего, что творится вокруг?

От наблюдений и размышлений я перешел к более активному поведению. Используя свою влиятельность, свой авторитет, стал помогать жертвам «беспредела» — тем, кого «напрягали» (притесняли). Особенно старался выручить людей, случайных в уголовном мире, молодых. Но их было так много! Мои жалкие потуги терялись, тонули в беспредельном море «беспредела». По-настоящему помочь можно было, только сломав этот порядок. Кого можно было поднять против него?

С самыми угнетенными — с чушками — разговаривать было и немыслимо («западло» даже подходить к ним) и незачем (убоятся, а то и выдадут ворам). Иное дело — с мужиками. Да и среди воров было много недовольных, обделенных, обиженных. Возможность для тайных бесед была: по строгому правилу «зоны», если двое «базарят» (беседуют), третий не подходи, жди, пока пригласят: мало ли о чем они сговариваются — может, о «деле», о «заначках» и тому подобное. Не знать лишнего — полезнее для здоровья. Осторожно, исподволь я заводил разговоры о зловредности кастовой системы, о несправедливости воровского закона, о возможности сопротивления — если сплотиться, организоваться... Люди слушали, глаза их загорались, и кулаки сжимались. Постепенно созревал план ниспровержения воровской власти. Было понятно, что без боя воры не сдадут своих позиций. Надо было запасаться союзниками и точить ножи.

В ходе этой подготовки, однако, я все четче осознавал, что вряд ли смогу направить эту стихию в то русло, которое для нее намечал. Мне становилось все яснее, что заговорщики мыслят переворот только в одном плане: свергнуть главвора со всей его сворой и самим стать на их место — «а они пусть походят в нашей шкуре!». Конечно, цели свои заговорщики представляли благородными: мы будем править иначе — справедливее, человечнее: уменьшим поборы, наказывать будем только за дело и тому подобное. Качественных перемен ожидать не приходилось. Зная своих сотоварищей, их образ мышления, их идеалы и понятия, я видел, что в конечном счете все вернется на круги своя.

Бунт созрел, когда меня уже не было в лагере, но так и не разразился: воры пронюхали опасность, и заговор был жестоко подавлен. Как-то не по себе становится при мысли, что и я мог оказаться в числе «заглушенных».

Между тем, еще будучи в лагере, я искал и другие пути изменения ситуации. Как прервать и обескровить эти злостные воровские традиции? Я подумал, нельзя ли тут применить ту теорию, которую я как раз замыслил и разрабатывал на воле. Это коммуникационная теория стабильности и нестабильности культуры, живучести традиций. Коротко суть ее в следующем. Если культуру можно представить себе как некий объем информации, то культурное развитие можно представить как передачу информации от поколения к поколению, то есть как сеть коммуникации наподобие телефонной, радиосвязи и прочее. Физиками давно выявлены факторы, которые определяют устойчивость и эффективность коммуникационных сетей: исправность контактов, достаточное количество каналов связи, повторяемость информации и прочее. Нарушения этих факторов ведут к разрыву сети, к нарушению передачи. Стоит лишь определить, какие явления в культуре можно приравнять к подобным дефектам в сетях коммуникации (скажем: конфликт поколений, убыль воспитания в семье, ускоренная смена занятий и тому подобное), и можно будет решать задачи о культурных традициях.

Не буду детализировать здесь свои соображения. Скажу лишь, что я направился в штаб, изложил их подробно начальнику лагеря и вывел из них ряд практических рекомендаций. В числе их перетасовку отрядов, иной принцип распределения по отрядам (отделяющий старожилов лагеря от новоприбывших), разрушение знаковой системы — всех одеть в черную форму и так далее. Начальник отнесся к этому очень серьезно, а кое-чем прямо вдохновился («Представляю, какие у воров будут лица, когда увидят всех чушков в черной форме!»). И тотчас отдал распоряжения начать подготовку к такой перестройке. Однако предстояло сделать немало. Тем временем мой срок в лагере подошел к концу, а вскоре и начальника перевели в другое место. Так планы и остались на бумаге.

Кроме того, и это ведь полумеры. Ну, лишим воров отдельной формы — придумают другие отличия. Затрудним передачу уголовного опыта — все равно будут его передавать, хоть и медленнее.

Нужна коренная ломка.

Перековка преступников всегда считалась у нас гарантированной всем ходом дел в наших исправительно-трудовых лагерях. Сейчас, когда в стране началась революционная перестройка всего общества и введена гласность, мы впервые можем подвергнуть сомнению любые догмы. Пора усомниться и в этой. Она обходится нашему обществу слишком дорого.

Об экономической рентабельности ИТК мне трудно судить: я не экономист, и в моем распоряжении нет нужных числовых данных. Я знаю лишь, что подневольный труд всегда малопроизводителен, это азы экономики. И что для убогого труда здесь мы изъяты из свободного производительного труда там. Правда, часть заключенных в своей жизни на воле вообще не трудилась, но для их труда здесь нужны ведь и станки, и сырье, и труд смежников — все это связано с затратами, а окупаются ли они, мне неясно, и хорошо ли они применяются — тоже вопрос. Зато о воспитательной роли ИТК я могу судить.

По моим впечатлениям, ИТК работают как огромные и эффективные курсы усовершенствования уголовных профессий и как очаги идеологической подготовки преступников и антисоциальных элементов вообще. Если часть заключенных все же выходит из ИТК с намерением приступить к честной жизни, то это происходит не благодаря деятельности ИТК, а вопреки ей — просто под страхом наказания или в результате раскаяния, которые бы наступили у данного человека в любых условиях. Независимо от целей администрации лагерь как раз предпринимает все возможное, чтобы эти чувства в человеке погасить. Пребывание в коллективе себе подобных, да еще столь организованном и сильном, лишь консервирует и укрепляет черты преступного характера, поддерживает в уголовнике его ценностные установки, морально усиливает его в борьбе с обществом и государством.

Как я увидел, более всего уголовники боятся одиночного заключения. Там преступник остается наедине с собой и со своей совестью. Там надо размышлять и переживать, а это для него — пытка. Год одиночки поистине равен десяти годам в коллективе своих. Длительные сроки вообще не очень целесообразны. Шок и психологическую встряску вызывают лишь первые несколько недель или месяцев пребывания в заключении. Если результат закрепить освобождением, очень велик шанс, что в общество вернется человек исцеленный. В дальнейшем же заключении происходит адаптация и ожесточение. А тут еще поддержка среды! Как ни странно, в лагере ощущение сравнительной длительности времени исчезает. Разница между долгими и короткими сроками утрачивается. Та часть срока, которая впереди, кажется ужасающе длинной — каждый день растягивается на века — одинаково для любого срока, сколько бы ни оставалось сидеть, а все отсиженное время сжимается в один очень длинный и нудный день. По воспитательному воздействию на заключенных длительные сроки почти ничем не отличаются от коротких — тринадцать лет от трех. Возрастает лишь тюремный опыт и авторитет длительно сидевших. И число колоколов на груди.

Вся наша система наказаний нуждается в пересмотре. Мне кажется, нужно резко, во много раз уменьшить длительность сроков заключения и одновременно усилить интенсивность их прохождения — заменить пребывание в коллективе заключенных одиночным заключением. Это не требует больших затрат: ведь в одном и том же помещении вместо десяти заключенных, вместе отбывающих десять лет, будут находиться те же десять заключенных, но сидя по году друг за другом в одиночестве. С точки зрения гигиены их заключение станет более здоровым (не столь скученным), а общество получит свободных работников в девять раз больше!

В нашем правосознании уже произошел сдвиг в сторону сокращения норм, охраняемых законом. Пора вывести целый ряд их нарушений из числа наказуемых по суду. Когда есть гласность и общественное мнение, то со многими нарушениями (сквернословие, плагиат, мелкое мошенничество, бродяжничество, тунеядство и тому подобное) общество может справиться, не прибегая к суду и даже к административным наказаниям. Иногда клеймо позора действеннее, чем реальное клеймо, выжигавшееся палачом. Другие деяния, бывшие подсудными, оказываются не преступлениями, а патологическими состояниями (гомосексуализм) или нормальной деятельностью (некоторые виды экономической предприимчивости). Но и когда необходимо карать, тюрьма в большинстве случаев не лучшая кара. Кроме штрафов и других видов наказаний (вычеты, принудработы без лишения свободы), надо использовать новейший зарубежный опыт частичной изоляции — домашний арест (с закреплением на заключенном радиосигнализаторов), заключение на часть суток (днем на свободе, ночью в заключении или наоборот) и так далее.

В Ленинграде «Кресты» — не единственная тюрьма. А сколько лагерей на окраинах города и в пригородах? Я-то знаю, сколько! Любой зэк это знает. Но, к сожалению, привести эти числа не представляется возможным. Как и числа заключенных. Что их тут десятки тысяч, можно лишь предполагать, прикидывать. Да еще причислим сюда тех, кого услали по этапу в места не столь отдаленные на лесоповал и карьеры. Выходит, что сидит у нас в процентном отношении во много раз больше, чем в Шотландии. А ведь Шотландия — район с наибольшим в Великобритании процентом заключенных (в среднем по Великобритании приходится 0,6 заключенных на тысячу человек, в ФРГ — 0,8). Неужто мы такой воровской и разбойный народ? А ведь нам все годы твердили, что в СССР уровень преступности один из самых невысоких в мире. Судя по отзывам приезжих, это действительно так. Но тогда зачем же такая уйма людей за решеткой и колючей проволокой?

Вспоминается ахматовское:

> И ненужным привеском качался
> Возле тюрем своих Ленинград.

А может, не город — ненужный привесок? Может, наоборот? Ну, тюрьмы, к сожалению, еще понадобятся, но лагеря...

Ясно одно: лагерей принудительного труда не должно быть вообще. Их нужно упразднить — всю гигантскую сеть, весь архипелаг. Неужели мы придем в XXI век с этим пережитком XX века — одним из самых мрачных его пережитков? Да только ли пережиток эта сеть? Ох, не только. Это ведь оружие, припасенное прошлым на наше будущее. Оружию безразлично, в кого целиться. У лагерей есть память. Они помнят годы своего расцвета, когда здесь на нарах умирали лучшие из лучших. Вышки, овчарки, колючая проволока — сегодня для уголовников. Но в любой момент они могут снова открыть свои шлюзы другому потоку, более широкому...

9. Далекое близкое. Вспоминаю некоторые мрачные физиономии вокруг меня в лагере — с давящим свинцовым взглядом, с жесткими чертами, с презрительной циничной ухмылкой. Боже мой, какие типы! А их злобные мечтания, их примитивная логика! Я и тогда, там, смотрел и думал: этих-то можно ли вообще исправить? Не поздно ли? В Индии были найдены дети, воспитанные волками. Ка-

залось, что, попав к людям, они через два года достигнут хотя бы уровня двухлетних, через пять — пятилетних. Но нет, усилия были тщетны. Дети так и не научились разговаривать, только рычали и кусались.

Всему свое время. Упущенное в раннем возрасте оказалось невозможным наверстать. Здесь парни, воспитанные не в логове волков, но в тех закоулках повседневности, где живут по волчьим законам. В таких обстоятельствах сформировался их характер, сложились жизненные ориентиры, вылеплена психика. Возможно, что спасение опоздало.

Видимо, надо признать: есть небольшое количество закоренелых преступников, исправление которых вообще проблематично и которые социально опасны и много лет спустя после преступления. Я бы отнес сюда только тех, кто злостно и хладнокровно посягал на человеческую жизнь и здоровье человека. Больше никого. Для них нужно сохранить длительные сроки изоляции от общества — не ради наказания, а ради безопасности сограждан.

Иными словами, можно заменить массовые лагеря лучшими, более гуманными местами отбывания наказаний, но никакие средства исправления не всесильны. В борьбе с преступностью главный акцент должен лежать не на исправлении преступников, а на предупреждении преступлений. Уголовная среда в лагере — это среда вторичная. Она образуется ведь вне лагеря, на свободе. Как бы ни был уродлив этот перевернутый мир, в нем отражаются язвы и пороки, да и просто черты того прекрасного мира, в котором мы все в обычное время живем. Эти черты узнаваемы, очень узнаваемы.

Дело не только в том, что в лагерный быт внедряются типичные неологизмы по советским образцам: главвор, главшнырь, аббревиатуры на «наколках» (очень часто выколото «СЛОН» — Смерть Легавым От Ножа).

Вся многоступенная иерархия лагерной среды напоминает привычную бюрократическую табель о рангах, а тяга уголовников к униформе родственна нашей затаенной и вошедшей в кровь и плоть любви к мундирам и погонам (даже для школьников). Во всеобщем покорном подчинении кастовым разграничениям, с привилегиями для одних и запретами, рогатками для других, не сказалась ли длительная приученность к издержкам реального социализма — к социальной несправедливости, неравноправию? Во всевластии главворов, в их поборах и «беспределе» не проглядывает ли подражание недавно столь могущественным советским вельможам — главам целых бюрократических кланов, магнатам коррупции и произвола? Каждое преступление — это авария души, крушение морали, но в каждом случае все обрушилось потому, что было изъедено ржавчиной раньше и глубже — в сознании общества, в том, что мы на многое закрывали глаза, о главном молчали и ко всему притерпелись.

Но в том, что лагерное общество уголовников отразило какие-то черты всей жизни советского общества за последние десятилетия, нет ничего удивительного: заключенные приезжают не из каких-то заграниц, лагерь построен нами, и самая идея лагеря рождена у нас, в нашей стране, преступления рождались в нашей действительности, из ее несообразностей и конфликтов. Гораздо удивительнее, что я увидел и опознал в лагерной жизни целый ряд экзотических явлений, которые до того много лет изучал профессионально по литературе,— явлений, характеризующих первобытное общество!

Для первобытного общества характерны обряды инициаций — посвящения подростков в ранг взрослых, обряды, состоящие из жестоких испытаний; такой же характер имели у дикарей и другие обряды перехода в иное состояние (ранг, статус, сословие, возраст и тому подобное).

У наших уголовников это «прописка». Для первобытного общества характерны табу — бессмысленные запреты на определенные слова, вещи, действия. Абсолютное соответствие находим этому в лагерных нормах, определяющих, что «заподло». Будто из первобытного общества перенесена в лагерный быт татуировка — «наколка». Там она точно так же делалась не ради украшения, а имела символическое значение, определенный смысл: по ней можно было сказать, к какому племени принадлежит человек, какие подвиги он совершил и многое другое.

На стадии разложения многие первобытные общества имели трехкастовую структуру — как наше лагерное,— а над ними выделялись вожди с боевыми дружинами, собиравшими дань (как наши отнимают передачи).

В довершение сходства многие уголовники в лагере вставляют себе в кожу половых членов костяные и металлические расширители — шарики, шпалы, колеса,— очень напоминающие «ампаланги», которые Н. Н. Миклухо-Маклай видел у папуасов. О языке я уж и не говорю: фразы куцые, словарь беден, несколько бранных слов выражают сотни понятий и надобностей. Правда, первобытные люди были очень религиозны, а современные уголовники как правило нет. Но христианская религия для них просто слишком сложна, а ее заповеди («не убий», «не укради») не подходят.

Зато уголовники крайне суеверны, верят в приметы, сны, магию и всяческие чудеса — это элементы первобытной религии.

Откуда это потрясающее сходство? Мне приходит в голову только одно объяснение. За последние 40 тысяч лет человек биологически не изменился. Значит, его психофизиологические данные остались теми же, что и на уровне позднего палеолита, на стадии дикости. Все, чем современный человек отличается от дикаря, а современное общество от первобытного, *наращено культурой*. Когда почему-либо образуется дефицит культуры, когда отбрасываются современные культурные нормы и улетучиваются современные социальные связи (мы говорим: асоциальное поведение, асоциальные элементы), из этого вакуума и нам выскакивает дикарь. Когда же дикари сосредоточиваются в своеобразной *резервации* и стихийно создают свой порядок, возникает (с некоторыми отклонениями, конечно) первобытное общество.

Система обладает замечательной воспроизводимостью. В тюрьме и лагере для самых несчастных, преследуемых и обижаемых заключенных, чтобы спасти их от гибели, учреждены особые камеры — «обиженки» — и такие же отряды, особо охраняемые. Можно было бы ожидать, что в этих убежищах «обиженные» находят мир и покой. Не тут-то было! В «обиженках» немедленно появляются свои воры и свои чушки, а отряд быстро приобретает знакомую структуру — с главвором, главшнырем, пидорами, «замесами» и всеми прочими прелестями. Нет культуры — нет и нормального человеческого общежития.

Вот почему моя семнадцатая экспедиция оказалась для меня необычайно увлекательной. Я впервые наблюдал воочию общество, которое раньше только раскапывал. Сообразив это, я смог более глубоко понять, даже прочувствовать значение культуры.

Многие десятилетия наше общество недооценивало эту сферу жизни. Мы развивали производство и технику, а в области гуманитарной культуры обращали внимание прежде всего на политическую пропаганду. В школе у нас обучение преобладало над воспитанием, знание — над культурой. Мы отбросили религию, мы всячески старались ее ослабить и преуспели в этом, но не позаботились о том, чтобы вовремя заменить ее чем-то в функциях организации и поддержки морали, общественной и особенно личной. Не сумели развить другие, более прогрессивные формы духовного творчества — философию, искусство, литературу — так, чтобы они доходили до сердца и совести каждого человека. Нам не хватало мудрости, тонкости и искренности. Вот почему мы теряли людей. Освобождаясь от неграмотности и религии, заодно и от норм культуры, они становились грамотными дикарями, преступниками.

Таким образом, одно из лучших, самых безболезненных и эффективных средств предотвращения преступности — развитие и обогащение духовной культуры народа. Экспедиция помогла мне сформулировать и аргументировать эту мысль.

Духовная культура — это не только литература, искусство, наука, как у нас обычно трактуют это понятие. Это также философия, религиозная или атеистическая мораль, вошедшая в быт народа. Сложившийся набор ценностей, отношение к ладу и конфликту, порядку и безалаберности, новшествам и традиции, трезвости и пьянству — как относятся к работяге и лодырю, праведнику и разбойнику. Это также атмосфера семьи, система отношений в ней, отраженная в чувствах людей,— она может быть скудной и унылой, а может и богатой, вдохновляющей. Но это и уровень сексуальных отношений в обществе, присущее ему понимание любви — грубое, убогое, ханжеское или развитое, гуманное. Принятая в данном народе система воспитания, отношение к детям — это тоже духовная культура. Как и мера уважительности к родителям, к предкам, к старикам, к умершим (уход за кладбищами). Вообще милосердие и участие — добрый ли народ. Конечно, степень грамотности и навыки гигиены, представления людей о необходимой мере опрятности, аккуратности, чистоты — от замусоренности улиц до состояния общественных уборных. Добавим сюда эстетические идеалы народа, его стремление к красоте и представления о ней, вкус, проявляемый в одежде и организации жилья. Не забудем также систему обрядов и обычаев, которой общество стабилизирует свои предпочтения, свои идеи о нормах жизни. Наконец, политические идеи, живущие в обществе, гражданственность его членов, наличие или отсутствие общественного мнения и так далее. И все это сказывается на уровне преступности в стране.

Вот о чем нужно заботиться, чтобы было меньше воров и убийц, насильников и мошенников, сутенеров и мафиози. В идеале — чтобы их совсем не стало. Неужто это утопия?

Не такой уж секрет, как вырастить нормального человека. Для этого нужно, чтобы в семье ребенок получал сполна ласку, заботу, внимание, чтобы у родителей было достаточно времени и средств на это, да и просто чтобы имелись сами родители. Чтобы смолоду человеку были привиты элементарные представления о добре и зле, своем и чужом, о святости жизни каждого, о милосердии к слабым, честности и порядочности. А это невозможно в семье, которая столь плохо рабо-

тает или столь скудно оплачивается, что с пониманием относится к несунам. Невозможно в семье, где вслух говорят одно, а шепотом другое. В обществе, где радио и газеты ежедневно возглашают ложь и умалчивают правду. Как это важно, чтобы атмосфера семьи и общества не порождала в человеке отвращения и протеста!

Надо бы, чтобы в школе отечественную и мировую литературу, которая учит видеть мир и понимать человека, не «проходили», а читали, учили читать, приохочивали к чтению. Школа должна выпускать не тиражированного в миллионах и упрощенного донельзя историка литературы, не теоретика-литературоведа, не социолога-толкователя, даже не знатока литературы, а умелого, увлеченного и благодарного Читателя. Ныне все преподавание литературы в школе нацелено на то, чтобы так или иначе увязать личность писателя и его творчество с историей общества, а требуется совсем другое — чтобы начинающий читатель мог улавливать связь произведения с окружающей нас жизнью, чтобы он увидел красоту и силу искусства, мог оценить и воспринять его уроки. Пусть каждый человек научится хотя бы сопереживать литературному герою. Тогда он сможет лучше представить себя на месте другого человека, ощутить его боль.

Не я один размышляю о том, как в обществе возродить идеалы и духовные ценности. Чтобы чистая совесть ценилась выше, чем власть, а трезвость и самостоятельность выше, чем слепое послушание. Чтобы завидовали только мастерству и здоровью, а простого достатка было просто достаточно. Чтобы общественное благо не заслоняло самоценной личности, ибо иначе личность восстает против общества и разрушает блага. Чтобы чувство собственного достоинства не позволяло человеку пользоваться тем, что он не заработал. Чтобы даровые сласти имели горький вкус, а незаслуженные ордена обжигали грудь. Но такие нормы возможны только в обществе, где все рождаются действительно равноправными, где нет кастовых перегородок, где нет монополий — на средства производства, на блага культуры и самой вредной — на власть. Монополий и их непременного спутника — массового дефицита. Где нет обязательного единомыслия, а значит, и тайного инакомыслия. Где власть не отождествляется с обществом и общественное мнение не покрывается официальным толкованием. И самое важное — чтобы обстановка в обществе не порождала ни в ком чувства бессилия и личной бесперспективности. Чтобы никто не ощущал себя изгоем.

К такому обществу нам еще долго продираться сквозь завалы прошлого.

Нам... Мне-то еще отсюда бы выйти поскорее. Выйти и все забыть. Но я еще не знаю, что, выйдя, на многое стану глядеть другими глазами и во многом увижу знакомые черты. Ведь слышал же и раньше рассказы демобилизованных об армейской службе — о так называемых неуставных отношениях (дешифруем: «дедовщина»): «деды», «черпаки», «салабоны» и все их дружеские забавы — господи, да те же воровские порядки. Тот же «беспредел», те же «чушки», та же «прописка» и все прочие прелести. Или вот публикации о стихийных полубандитских формированиях подростков («Серые волки», «Пентагон», и другие) — опять та же структура: «молодые», «суперы», «шелуха», та же агрессивность и криминальная романтика. А все общество в целом — сколько времени оно признавало за норму всевластие и произвол «номенклатуры», безропотную «пахоту» масс на фоне ада, уготованного отверженным — зэкам, ВН и РВН, тем, кто был в плену или оккупации, диссидентам.

Мы ищем частные рецепты — как избавиться от «дедовщины», от «беспредела» «черной кости» в лагерях, от опасного террора подростковых стай в новых городских районах. А ведь корни этих явлений, похоже, общие.

Вот и окончился мой срок. Перечеркнута последняя клеточка на затрепанной таблице — самодельном календаре.

Слышны чьи-то рыдания. Это плачет маленький «мент», горько и по-детски безутешно, давясь и всхлипывая. Он должен был освободиться в один день со мной и готовился к выходу, даже успел себя почувствовать снова человеком. Но ошибся в расчетах: ему ждать еще три дня. Три долгих дня. Это значит, еще полсотни встреч в грязной цеховой уборной.

Я уже бессилен жалеть его. Я его уже не воспринимаю. Я уже не здесь.

Главворы из «зоны» уходят ночью, их вывозят на машинах подальше от стен лагеря, иногда на самосвалах или мусоровозах. Потому что обычно за воротами их подкарауливают вышедшие раньше «подданные» с ножами и кастетами, жаждущие мести и крови.

Я выходил среди бела дня. До шлюза меня уважительно провожал главвор отряда, за ворота вывел начальник лагеря. Обменялись рукопожатием.

Стою снаружи. Незабываемо. Над головой в безоблачном небе сияет солнце. По шоссе с праздничным шорохом проносятся автомашины. Чувствую, что отвык от простора и скорости. Ощущения неясные, то ли я очнулся после очень долгой болезни и все это привиделось мне, то ли я в самом деле вернулся из далекой экспедиции. Не верится, что только что я оставил другую сторону луны, первобытное общество, перевернутый мир. Что он тут вот, рядом, за спиной.

ЛИТЕРАТУРНАЯ
КРИТИКА

Николай
КРЫЩУК

МАЯКОВСКИЙ НАЧИНАЕТСЯ С СЕБЯ

Этюды о творческом поведении

Маяковского мы знаем плохо. Это не парадокс. Душа его избежала тленья, но не уберeглась от хрестоматийного глянца. И виноват в этом не читатель, который быстро охладевает к кумиру, переведенному в разряд классиков. Люди, наводившие глянец, прекрасно сознавали цель своей работы, не уставая и после смерти поэта присматривать за ним. До сих пор не опубликованы многие важнейшие воспоминания о Маяковском, его письма и письма к нему Л. Ю. Брик, страницы дневника 1923 года и так далее. Западные издатели, как это случалось уже не раз, оказались намного разворотливей.

Такова была практика предшествующих десятилетий. Несмотря на издаваемые каждый год огромными тиражами сборники и собрания сочинений Маяковского, монографии, конференции и праздники, ему посвященные, стихотворные строки, в виде лозунгов висящие на домах, мы имеем дело с усеченным Маяковским, судьба которого полна неразрешенных загадок и противоречий, на разрешение которых некогда был наложен запрет. До сих пор у нас нет даже полноценной биографии поэта.

Уверен, процессы, происходящие сегодня в обществе и в литературе, должны не только познакомить наших современников с забытыми писателями и деятелями культуры, но и вызволить из насильственных стереотипов живые судьбы классиков. В ожидании этого Маяковский стоит одним из первых.

Предлагаемые читателям «Невы» этюды представляют собой главы из моей книги «Искусство как поведение», которая готовится к выходу в издательстве «Советский писатель». Это не фрагменты биографии и тем более — не очерки творчества. Человек, «личная жизнь в истории» (Г. Винокур) — вот ствол, на котором ветвится повествование.

Французский писатель и филолог Марсель Швоб обмолвился: «Идеи великих людей — общее достояние человечества, каждому из них в сущности безраздельно принадлежали только его странности». Привожу это суждение, чтобы не согласиться с ним.

Эти этюды — о «странностях» поведения, которые одновременно являются «странностями» времени, а поэтому столько же принадлежат истории, сколько отдельному человеку.

Говоря о поведении, нельзя миновать слой житейский: прически, привычки, манеру одеваться и подавать руку, карманные расходы, обманы, смех за дверью, болезнь, трамвайные встречи и прочую экипировку будней. Но застрять в этом слое — значит совершить подлог. «Мало ли, как мы ведем себя в жизни,— воскликнул Пришвин,— и это называется поведением. Это не поведение, а повторение механическое диктата среды. Напротив, поведение наше настоящее исходит из того, что лежит за душой и находит выход в творчестве».

Эти этюды — о творческом поведении; не о походке обывателя, а о манере поэта, в которой тропинки житейские и поэтические тропы причудливо перепутаны.

Мне показалось интересным сопоставить некоторые моменты судьбы Маяковского с судьбой его старшего современника — Блока. Они как бы аккумулировали в себе характернейшие черты двух соседних эпох, а поэтому не только поэзия, но и жизнь каждого из них принадлежит истории культуры. Быть может, это последние поэты-романтики, герои и жертвы магически притягательной идеи «жизнестроительства».

Эпоха войн и революций вызвала к жизни тип, который большей и лучшей частью своего существа жил в будущем, который был уверен, что человек «не есть нечто сложившееся, а есть требование духа» (Г. Гессе). С этой верой они проводили эксперимент на собственной жизни, процесс и результаты которого потрясают и сегодня.

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ПЕРЕСЕКАЮТСЯ:

а в перспективе иного возраста даже меняются местами; пока же речь о детстве Блока и Маяковского.

> *Я в старом парке дедов рос...*
> ***Александр Блок***
>
> *Столбовой отец мой*
> *дворянин...*
> ***Владимир Маяковский***

Дворянское детство Блока. Дворянское детство Маяковского. Дворянское?

Отец-лесничий вставал в шесть утра и работал до двенадцати ночи. Мать вела

хозяйство. Нянь почти не было, бонн и гувернанток тем более. «3-е воспоминание» маленького Маяковского — о рассрочке платежа. С семи лет отец начал брать его в верховые объезды лесничества.

Не потому ли поразил он своей «странностью» законоучителя подготовительных классов Шавладзе. «Хорошо ли было для Адама, когда бог после его грехопадения проклял его и сказал: „В поте лица своего будешь ты есть хлеб свой"?»,— спросил тот учеников. «Очень хорошо,— ответил Володя.— В раю Адам ничего не делал, а теперь будет работать и есть. Каждый должен работать».

Есть ли в детстве Блока и Маяковского хоть какие-то точки соприкосновения? Есть. Но они же и точки расхождения.

Оба любили верховую езду. Но Блок выучился ей уже в юности, чтобы совершать прогулки по окрестным лесам, Маяковский сел на лошадь в семь лет, чтобы сопровождать отца во время объездов лесничества.

И Блоку и Маяковскому в детстве много читали. Стихи и, конечно, сказки. Маленький Сашура слушал их самозабвенно, до упадания в сон:

И пора уснуть, да жалко,
Не хочу усвуть!
Конь качается качалка
На коня б скакнуть!

Луч лампадки, как в тумане,
Раз-два, раз-два, раз!
Идет конница... а наяву
Тянет свой рассказ...

Володю же сказки занимали недолго, и он тут же просил прочесть что-нибудь «правдушное».

Героическое из книг переходило игрой в жизнь. И тот и другой обзавелись в свое время мечом. Маленький Сашура обижался на бабушку, которая продолжала музицировать, не обращая внимания на нанесенный ей «смертельный» удар: «сидит мертвая, и играет!» Маяковский вспоминал: «разил окружающее».

С одиннадцати лет Маяковский регулярно читал газеты. Блок едва ли читал их еще в раннем студенчестве.

И того и другого одевали в свое время в матросский костюм. Увлекались морем и кораблями. Сашура рисовал парусники и оклеивал ими стены детской. Володя срисовывал крейсера.

В первый же день в гимназии Блок оказался «третьим на парте», заметным учеником так и не стал, а в конце концов перебрался на «камчатку», где можно было при случае «соснуть или списать». Маяковский с гордостью вспоминал: «иду первым. Весь в пятерках».

У Блока дед — профессор ботаники, у Маяковского отец — лесничий. Отношение к природе не созерцательное. Лесничий не мог же во время объездов не рассказывать сыну о лесе, не учить его языку. Блок тоже совершал с дедом, правда, не лесные объезды, а лесные обходы, иногда делали десятки верст, дед выкапывал травы и злаки для коллекции, учил внука начаткам ботаники. Но хоть и запомнил Блок много ботанических названий, уроки пошли не впрок. Как и уроки отца-лесничего маленькому Володе. Первый, забыв ботанический курс, вскоре связал с природой свои мистические и романтические переживания, ловил в ней тревожные знаки. Второй ловил вечерами жучков-светлячков и подолгу рассматривал их на ладони, чтобы понять, почему они светятся.

Оба в детстве знали наизусть много стихов. Маленький Блок не любил публичности, серьезные стихи читал только для себя, в одиночестве. Например, эти — Полонского:

Снится мне: я свеж и молод,
Я влюблен. Мечты кипят.
От зари роскошный холод
Проникает в сад.

Пятилетний Володя декламировал на дне рождения отца «Спор» Лермонтова:

Берегись! — сказал Казбеку
Седовласый Шат,—
Покорился человеку
Ты недаром, брат!
Он настроит дымных келий
По уступам гор;
В глубине твоих ущелий
Загремит топор;
И железная лопата
В каменную грудь,
Добывая медь и злато,
Врежет страшный путь.
Уж проходят караваны
Через те скалы,
Где носились лишь туманы
Да цари-орлы...

Позже Маяковский вспоминал по этому поводу: «„Соплеменные" и „скалы" меня раздражали. Кто они такие, я не знал, а в жизни они не желали мне попадаться. Позднее я узнал, что это поэтичность, и стал тихо ее ненавидеть».

Однако нельзя не заметить и того, сколь близки Маяковскому-поэту эти лермонтовские стихи. Человек, подчиняющий себе природу — это ли не тема Маяковского! Если даже выбор этого стихотворения был случаен, то все равно в этой случайности уже видны игры судьбы.

Впрочем, параллельные линии двух детств не только то и дело пересекаются, но в перспективе другого возраста даже меняются местами. «Аристократ» Блок был физически необычайно силен и физический труд любил. Он как-то даже высказался в том духе, что работа везде одна: что печку сложить, что стихи написать. «Демократа» Маяковского за физической работой никто из мемуаристов не заставал. Сам же про себя он писал:

...Кожа на моих руках тонка.
Может,
я стихами выхлебаю дни,
И не увидав токарного станка.

Но все это, конечно, так — уточнения и оттенки, которые, однако, помогут нам избежать прямолинейности лубка.

ВЗРОСЛОЕ ДЕТСТВО: *в детстве он был не «другим», не «никаким», не «еще неизвестно каким» — это был уже маленький взрослый Маяковский, которого знают все.*

Детство Блока затянулось. Обожавшие его мать, бабушка и тетки — женское воспитание, «дворянское баловство». Игры с двоюродными братьями, которые были младше его. Идиллические письма родным еще и в четырнадцать лет, когда он почти совсем перестал читать и наклеивал в альбом картинки из «Нивы».

Его рост был подземным, редкие толчки доходили до поверхности. Долгие годы никакого жизненного опыта. Высыпался как Илья Муромец. Даже предчувствие аритмии грядущих событий склонен был считать перебоями собственного сердца. Уже студентом попал в комическую ситуацию, явившись к профессору с «Гамаюном». Профессор пристыдил: занимаетесь чепухой, когда вокруг студенческие беспорядки и вообще черт знает что творится.

О детстве Маяковского можно сказать только, что его не было. Не в том смысле, в каком говорят о трудном и безрадостном детстве. Но в детстве Маяковский был не «другим», не «никаким», не «еще неизвестно каким» — это был уже маленький взрослый Маяковский, которого сегодня знают все.

Маленьким обижался на мать:

— Зачем говорить, сколько мне лет!

Он любил участвовать в играх взрослых и играл в то, во что играл сам став взрослым. Например, соревнование на придумывание возможно большего количества слов на одну букву.

Уже тогда он не только превосходил многих взрослых в своем азарте, но был упорнее других, подчиняя себе большинство, когда большинство от игры утомлялось. По воспоминаниям матери, «в таких случаях всю организацию игры он обычно брал на себя».

Любая затея имела над ним сильную власть, он же, как ее полномочный представитель, брал власть над людьми. Азарт приведения плана в исполнение, доведение дела до задуманного конца. Так в одной из поездок с Лавутом он составил «график поведения»: «до станции такой-то — играем в карты, до такой-то — не курим, затем читаем, затем обедаем, затем поем».

Рассказывать глупости, например, никчемное занятие, но если р е ш е н о рассказывать глупости, то это уже серьезно, это д е л о, и обещанное надо выполнять. Так по графику выпало играть в «1000» до станции Гудермес. Поезд катастрофически запаздывал, до абсурдности затягивалась и игра. Лавут пользовался всяким случаем, чтобы выбежать из купе.

— Довольно бегать и прикидываться! Будьте человеком слова! — сказал Маяковский.

— А почему наш поезд — не человек слова?

— Меня это не касается — мы люди, а не поезда.

Как бы мы ни пытались отыскать вехи взросления Маяковского — не удастся. Он как будто родился подростком, а в возрасте подростка казался зрелым юношей. В том возрасте, когда Блок сообщал в письме бабушке о самочувствии кисы и о том, как они с Франциком наряжают елку, двенадцатилетний Маяковский писал сестре: «у нас была пятидневная забастовка, а после была гимназия закрыта четыре дня, так как мы пели в церкви марсельезу. ...По газетам видно, что у вас большие беспорядки».

Дело, разумеется, и в эпохе. Письмо Блока писалось в 900-е годы, письмо Маяковского — в октябре 1905-го. Время уже заявилось лепкой бойцов.

Но и при этом вступление Маяковского в РСДРП (большевиков) в четырнадцатилетнем возрасте — факт необычный. Если о времени можно сказать, что оно нуждалось в Маяковском, то о Маяковском — что он родился в свое время. Он выглядел взрослее своих лет. В учетной карточке Маяковского, составленной Московским охранным отделением, в описании примет сказано: «Возраст по нар. виду — 17-19 лет». Ему в то время было пятнадцать.

В детстве он любил, когда товарищи звали его, сокращая фамилию, Володя «Маяк». Взрослым писал в стихах:

Деть,
будьте как маяк!

Не о себе, конечно, о настоящем маяке. Но все равно постоянство пристрастий симптоматичное.

В тюрьме политические выбрали Маяковского своим старостой. Он уже и тогда был «горлопаном» и «главарем». Смотритель Мясницкого полицейского дома просил перевести Маяковского в другое место заключения: «Владимир Владимирович Маяковский своим поведением возмущает политических арестованных к неповиновению чинам полицейского дома, настой-

чиво требует от часовых служителей свободного входа во все камеры, называя себя старостой арестованных... Маяковский, обозвав часового „холуем", стал кричать по коридору, чтобы слышали все арестованные, выражаясь: „товарищи, старосту холуй гонит в камеру", чем возмутил всех арестованных, кои в свою очередь стали шуметь». К своей просьбе смотритель присовокуплял, что и к нему Маяковский был переведен из Басманского полицейского дома за возмущение. На заявлении резолюция: «Перевести в Пересыльную тюрьму в одиночную камеру».

Как видим, возможностями своего ораторского голоса Маяковский стал пользоваться довольно рано. Прошел ли он вообще через ломку голоса? Ведь еще в детстве забирался он в перевернутые пустые кувшины для хранения вина (в первом этаже их дома был винный завод), прося сестру:

— Оля, отойди подальше и послушай, хорошо ли звучит мой голос.

С конфликта на Мясницкой можно отсчитывать и ненависть Маяковского ко всякого рода полицейским регламентациям и их ревнителям. Когда через много лет его попытались не пустить ночью в гостиницу, он написал в жалобной книге: «зав. мне сообщил, что выходить после часа незачем, а если я выйду, то никто мне открывать не обязан, а если я хочу выходить позднее, то меня удалят из гостиницы.

Считаю более правильным удаление ретивого зава и продолжение им работы на каком-нибудь другом поприще, менее связанном с подвижной деятельностью. Например, в качестве кладбищенского сторожа».

Там холуй и здесь холуй. Там не выпускали, здесь не впускают. Подобрать им другое поприще! На кладбище их! На кладбище истории или хотя бы сторожем — на советское.

«О, дайте, дайте мне свободу!» Эти слова оперного князя Игоря он особенно любил.

О каламбурах Маяковского знают все. Но и здесь как не подивиться тому, что то оружие, которое так пригодится через несколько лет во время футуристических гастролей, а спустя еще годы окажется удачнейшим способом устанавливать короткий контакт с аудиторией послереволюционной России, что оружие это, словно зная о своем историческом предназначении, уже теперь оттачивается в первых схватках. Во время третьего ареста на квартире жены И. Морчадзе Е. А. Тихомировой на вопрос пристава, кто он такой и почему пришел сюда, Маяковский ответил:

— Я, Владимир Маяковский, пришел сюда по рисовальной части, отчего я, пристав Мещанской части, нахожу, что Владимир Маяковский виноват отчасти, а посему разорвать его на части.

Быть может, общий хохот, отозвавшийся этой каламбурной тираде, был первым гонораром шестнадцатилетнего Маяковского.

Все привычки, страхи и странности взрослого Маяковского тоже из его взрослого детства. Мать вспоминала: «Володя любил порядок, и ему никогда не нужно было напоминать об уборке. Когда оставались на полу бумажки, опилки, обрезки, он всегда выметал их сам — мне никогда не приходилось за ним убирать».

Редкое для ребенка свойство. Разве что для взрослого ребенка. Зато у взрослого эта привычка походила иногда на ребяческую странность. П. И. Лавут вспоминал, что за критический срок до отхода поезда Маяковский вдруг принялся прибирать постель, потом комнату:

— Пока не уберу, не уйду. Успеем. Спокойно!

Вскочили в уже отходящий поезд.

В детстве Маяковскому, заболевшему брюшным тифом, врач наказал беречься и не пить сырой воды. Этого приказа он не ослушался во всю свою жизнь. Когда же в Ростове засорился водопровод, Маяковский, несмотря на то, что авария произошла месяц назад и все ростовчане давно уже пользовались водой из кранов, не только пил вместо нее нарзан, но и умывался нарзаном, и кипятил чай из нарзана. Он и в прощальной поэме не забыл сообщить потомкам об этой своей странности — необязательная тайна.

Еще один страх — страх портновской иголки — берет свое начало также с детства. Как известно, уколовшись ржавой булавкой, от заражения крови умер его отец. В доме у Маяковского иголки никогда не водились. Одолжив же иголку, он после использования ее выбрасывал, как будто считал, что вещь эта одноразового пользования, вроде спички.

Жизнь без внезапных скачков, умозрительных открытий, возрастных уклонов в прекрасные заблуждения. И в то же время вся — затянувшийся на годы скачок. Если маленький Маяковский кажется на удивление взрослым, то взрослый не кажется ли во многих своих проявлениях на удивление подростком?

Впрочем, это уже другая тема.

В СНОПЕ БЕСПОВОРОТНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ: *до стихов; он все, за что ни брался, д е л а л, и все делал с а м.*

Если н и сказал, что Манковский от рождения был Маяковским, то это вовсе не значит, конечно, что он уже в это время был и поэтом, и художником, и агитатором. Но работать он умел. Это в нем было всегда и осталось навсегда.

Так, за работу чертежника в автошколе генерал наградил его медалью «За усердие»[1]. Так потом на эстраде он по-рабочему снимал пиджак. Так просиживал сутки над «Окнами РОСТА». Так каждую минуту на улице, в поезде ли выбармативал стихи. Он действительно все, за что ни брался, д е л а л, и все делал с а м, словно бы для того, чтобы скрыть, как адюльтерную улику, свой «божий дар». «Я — с а м», «Как д е л а т ь стихи», «д е л а т ь жизнь с кого»; «Сергею Есенину» — «с д е л а т ь жизнь значительно трудней». Идите сюда, непосвященные, я научу вас, как делать стихи и как делать себя.

Еще подростком он начал выступать в рабочих кружках. К докладам готовился добросовестно. Но новый материал, вероятно, подавлял его темперамент. «Прямо, как по книжке читает»,— говорили рабочие. Без темперамента какой же агитатор!

Агитатором он стал.

Преподаватель художественной студии П. И. Келин вспоминал, что, когда к нему пришел Маяковский, подготовлен он был слабо, рисунок шаблонен. Первый экзамен в Школу живописи он провалил. Но (это уже собственно Маяковский) пришел к Келину жизнерадостный:

— Я хочу у вас еще годик основательно позаниматься.

За год он пропустил только три занятия. Объяснял:

— Знаете, Петр Иванович, если я не приду работать в студию, мне будет казаться, что я сильно болен — мне тогда и день не в день.

Келин уводил учеников от шаблона: «Рисунки на экзаменах не подписывались, а я всегда знал по почерку: вот это тот-то, это тот-то. И Маяковский сразу понял, что у него должна быть своя линия».

Вскоре Маяковский выработал свою линию и поступил в Школу живописи. Мы его линию знаем по РОСТА.

Стихи? Первые свои стихи он уничтожил. В то же время, вероятно, еще и не было стихов — «стихов еще не было, а масштаб — был» (В. Альфонсов).

Борис Пастернак писал в «Охранной грамоте» о Маяковском: «Он в большей степени, чем остальные люди, был весь в явленьи. Выраженного и окончательного в нем было так же много, как мало этого у большинства... Он существовал точно на другой день после огромной душевной жизни, крупно прожитой впрок на все случаи, и все заставали его уже в снопе ее бесповоротных последствий».

Да, он сразу начал с мнений и поступков окончательных, как будто все было решено еще вчера и не было смысла лукавить и прикидываться Гамлетом.

[1] В это же время и Блок проходил воинскую службу в инженерных войсках, и начальство не хотело его отпускать как особо исполнительного и добросовестного работника. Характерная черта наших поэтов.

Всегда была ненависть к буржуазности:

— Какой из него выйдет художник?! По ногам видно, что в душе он портной.

Всегда было презрение к жеманности и фамильярничающему благополучию, для которых не считалась излишней любая грубость.

Натурщица (о богатом художнике): «представьте, после каждого сеанса он преподносил мне шикарную коробку конфет».

Маяковский: «ну, а у нас, кроме коробки углей, преподнести нечего».

«За его манерою держаться,— вспоминал Пастернак,— чудилось нечто подобное решенью, когда оно приведено в исполненье и следствия его уже не подлежат отмене».

Всегда было суждение прямолинейное и «резкое, как „нате!"». Петру Ивановичу Келину, пестовавшему его в художественной студии, когда тот показал ученикам свой этюд: «этюд мне не нравится». Или: «бросьте портреты писать, начните чтонибудь другое».

К человеку он шел как бы сквозь него — к его вещам, к его значению. Тому же Келину после похорон Серова от чистого сердца:

— Подождите, Петр Иванович, вас мы еще не так похороним.

На этом же основана и идейная непримиримость и принципиальность Маяковского — на различии, которое он делал между просто лицом и лицом деловым, общественным, идейным. Он играл с Уткиным в бильярд и часто непримиримо и жестко критиковал его поэзию. Генерала, который выдал ему медаль за усердие, Маяковский, говорят, арестовал.

Корней Чуковский вспоминал, что в ту пору футуризм ему был чужд, но он почеловечески любил многих футуристов, в том числе Маяковского: «ему хотелось, чтобы я любил его дело, а я любил только его самого. Этого ему было мало. Люди в ту пору интересовали его лишь с одной стороны — союзники они или враги. Я же был не союзник и не враг, и едва только Маяковский почувствовал это, он тотчас отошел от меня».

До конца дней разделял он мир на своих и врагов. И у самого у него было поэтому как бы два облика. С друзьями часто был нежен и предупредителен до чрезвычайности. С врагами — непримирим. Не монолит, но человек принципа. Эту черту, близкую ему самому, он выделял и в Ленине:

Не сатрапья твердость,
триумфаторской коляской
мнущая тебя,
подергивая вожжи.

Он
к товарищу
милел
людскою лаской.
Он
к врагу
вставал
железа тверже.

Да, все это было в молодом Маяковском, еще не пишущем стихи. И с самого начала — острое чувство масштаба. Своего и окружающего. Чувство грандиозности духовного всегда было связано в его восприятии с огромностью физической. Еще тринадцатилетним мальчиком поехал смотреть Воробьевы горы. Потом жаловался:

— Я проехал, как оказалось, чуть не до конца Воробьевых гор, но гор все не видел. Тогда я спросил: «далеко ли еще до Воробьевых гор?» Ответ был, что я нахожусь на Воробьевых горах.— Одним словом, никакой горы нет, а название одно. Знал бы, не терял бы времени.

Вот уж кого, вероятно, бессмысленно было спрашивать, сколько еще осталось пройти до такого-то пункта. Скажет: столько-то с гаком. А гак у него многокилометровый. Все примерял на себя и все ему было маловато, иногда до ощущения игрушечности. Отсюда и миллионные массы — десятки не в счет, и некая (гулливерова) шутливость:

— Осторожней, Владимир Владимирович! Трамвай!

— Ничего, не беспокойтесь, отскочит.

«Еще не известно,— писал В. Альфонсов,— чем он поначалу больше взял — действительно ли неотразимостью уже ранних своих опытов или той заряженностью, значительностью, которой дышал весь его облик, сам по себе исключительный.

Маяковский и внешне похож на свои стихи,— может, это стихи похожи на него? В стихах он буквально эксплуатирует свою внешность. Природа выдала ему авансом не только исключительную одаренность, но и первое зримое удостоверение, его исходный, так сказать, художественный образ».

ПРОЗВИЩЕ: П О Э Т: *о зигзагах преемственности и судьбах, самоистребительно просящихся в сказки.*

Эволюцию блоковского представления о поэте можно представить следующим образом. На смену возвышенному представлению о поэте-теурге приходит скромное и достойное, но не лишенное все же и некой старомодной горделивости признание: «я только рыцарь и поэт». Эта промежуточная достойность, однако, быстро сваливается разоблачительно-издевательским выражением «был он только литератор модный, Только слов кощунственных творец». Рядом с этим возвышается горько-ироническая заглавная буква в строке «начертят прозвище: Поэт» и его печальный синоним «сочинитель». И наконец из этого пепла вновь возникает поэт, но уже не теург, а «человек общественный, художник, мужественно глядящий в глаза жизни».

Маяковский словно эстафету подхватил блоковскую мечту о том, чтобы слово стало делом. Не мечту подхватил, а кинулся воплощать ее, не заметив существования той трагической щели между словом и делом, которую острее всего чувствовал его предшественник.

Современники так и восприняли Маяковского — как явление сверхпоэтическое. «Для комнатного жителя той эпохи Маяковский был уличным происшествием. Он не доходил в виде книги. Его стихи были явлением иного порядка» (Ю. Тынянов).

Он внедрялся в литературу через ниспровержение ее, усердно изгоняя всякую «поэтичность» из слова и из жизни. Мариенгоф вспоминает: «на входной двери московской квартиры знаменитого автора, явившегося в мир, „чтоб видеть солнце“, сияла, как у зубного врача, медная дощечка:

Поэт
Константин Бальмонт

А вот Маяковский в военкомате на вопрос писаря: „Кто вы будете по профессии?“ — замявшись, ответил: „художник“. Выговорить „поэт“ ему, очевидно, не позволил пристойный вкус».

Дело не в пристойном вкусе, конечно, но в привкусе жеманно-салонном, который чудился молодому Маяковскому в этом слове.

Поэтизация в эти годы отвращала не только его. «Осанки сладкогласца», как чумы, бежал Пастернак. Мандельштам гением нового времени провозглашал не Моцарта, а Сальери, экстазу и наитию противопоставляя ремесло:

Я скажу это начерно, шепотом,
Потому что еще не пора:
Достигается потом и опытом
Безотчетного неба игра.

Маяковский этого стихотворения знать уже не мог. Строчку о «небе» он наверняка бы отверг — с небом он рассчитался еще в юности; уже без вызова, с грустью заглянул в него еще раз, за несколько дней до гибели. А вот мысль о рукотворности прекрасного Маяковскому определенно должна была понравиться.

Тут вообще много неожиданных (по эпохе) совпадений при глубинном несходстве. Тяготение к вещной, земной природе слова, например, было почти всеобщей реакцией на бесплотность символистской поэзии.

А и м я? «Нет имени тебе, мой дальний»,— писал Блок. Мечтал:

Будет день, словно миг веселья.
Мы забудем все имена.

Воплощение чревато пошлостью и обманом. Обитель духа — несказанное. Идеал не может иметь имени.

Новые поэты решительно отвергли это. Обескровленный дух страшил их (или смешил).

«Но дай мне имя, дай мне имя!» — умолял Мандельштам, дивясь отсутствию эха. Маяковского и это уже не смущало. Имя он себе присвоил сам, а эхо (не всегда исправно) заменяли свистки, рев и аплодисменты слушателей. Мандельштам именем впечатывал день сегодняшний в контекст мировой культуры. Маяковский (настал день) восторженно поименовывал вещи и явления, словно впервые после сотворения мира, и, не ведая метафизических бездн, советовал делать жизнь «с товарища Дзержинского».

Казалось, можно ли быть дальше, чем он, можно ли быть враждебнее, чем он по отношению к символизму. Но в одном существеннейшем моменте Маяковский оказался символизму парадоксально близок, гораздо ближе, чем менее радикально настроенные Пастернак и Мандельштам, который еще и в тридцатые годы «Ленинград» перекладывал «Петербургом».

Новая литературная эпоха — это всегда выявление новых отношений искусства и жизни, личности и общества, и прежде всего это. И тут под внешними сломами и ниспровержениями проходит непрерывная линия преемственности. Ее рисунок больше может сказать историку, чем внутрилитературные амбиции того или иного направления.

Очевидно, что максимализм задач Маяковского требовал столь же четкого следования избранной роли, определенности образа, что и мессианство символистов.

Но если исторический характер Блока, например, формировался медленно и иногда вопреки его личным свойствам, то индивидуальность Маяковского в высшей степени соответствовала его исторической миссии.

В этом последовательном ведении роли Маяковский в большей степени «поэт», чем Блок.

То же относится и к Есенину. Примечательно: близкий друг Есенина считал, что и на Дункан и на Толстой тот женился «для биографии». Заботы о внешней биографии у того и другого было действительно много.

И что важно: эстафету они приняли не от Блока десятых годов и тем более советских лет, а от раннего Блока. Пастернак верно заметил, что романтическое представление о поэте «владело Блоком лишь в течение некоторого периода. В той форме, в которой оно ему было свойственно, оно его удовлетворить не могло. Он должен был либо усилить его, либо оставить. Он с этим представлением расстался. Усилили его Маяковский и Есенин». Пастернак же в «Охранной грамоте» дал исчерпывающее, ставшее уже классическим определением этого явления: «...в этом полагающем себя в мерила жизни и жизнью за это расплачивающемся поэте, романтическое жизнепонимание покоряюще ярко и неоспоримо. В этом смысле нечто непреходящее воплощено жизнью Маяковского и никакими эпитетами не охватываемой судьбой Есенина, самоистребительно просящейся и уходящей в сказки».

Но вне легенды романтический этот план фальшив. Поэт, положенный в его основанье, немыслим без непоэтов, которые бы его оттеняли, потому что поэт этот не живое, поглощенное нравственным познаньем лицо, а зрительно-биографическая эмблема, требующая фона для наглядных очертаний. В отличие от пассионалий, нуждающихся в небе, чтобы быть услышанными, эта драма нуждается во зле посредственности, чтобы быть увиденной, как всегда нуждается в филистерстве романтизм, с утратой мещанства лишающийся половины своего содержанья».

Зрительно-биографическая эмблема — это, в сущности, маска — органичная, сформированная, как у Маяковского, по своему же внешнему подобию, исторически оправданная, но все-таки маска. Мариенгоф рассказывает, как уже зрелым человеком встретил в поезде некогда знакомую даму:

«— Я вас узнала с первого взгляда,— сказала она.— А вы меня?

— Простите, с третьего.

Я так и не научился быть очень приятным. У каждого человека есть своя маска. Ее не так-то легко сбросить».

Скорее всего это была не столько личная маска, сколько отголосок общей манеры поведения времен его литературной эпатажной юности.

Наличие маски неизбежно рождает конфликт, чреватый трагедией, когда речь идет о крупной личности. После смерти Маяковского Тынянов писал Шкловскому: «он устал 36 лет быть двадцатилетним». Двадцатилетность — маска, от которой романтик избавляется вместе с жизнью.

Рубежный момент в развитии советской поэзии — не смена одной поэтической школы другой, а отказ от этого романтического представления о жизни как жизни поэта. Новое время требовало уже не пророка, не мага, не уличного певца и не глашатая, но собеседника, одного из многих.

ДВОЙКА, ТРОЙКА, ВАЛЕТ: *Владимир Маяковский, герой лирики Маяковского и главное действующее лицо его биографии.*

Название поэмы Николая Асеева «Маяковский начинается» можно было бы продолжить: «Маяковский начинается с себя». Пастернак писал, что встреча Маяковского с собственной гениальностью «когда-то так его потрясла, что стала ему на все времена тематическим предписаньем, воплощенью которого он отдал всего себя без жалости и колебанья».

Возможно ли представить Маяковского похожим на кого-то? Похожим можно было быть только на него. Подражающим? Само понятие это было, как бы сегодня сказали, его самым опасным аллергеном. Еще в пору его ученичества преподаватель нашел в рисунке Маяковского подражание Врубелю. Маяковский возражал. Петр Иванович шутя заметил, что фамилия Врубель нравится ему, во всяком случае, больше, чем фамилия Маяковский.

— А мне фамилия Маяковский нравится гораздо больше,— ответил тот без тени смущения.

Он ощущал свою явленность миру задолго до стихов.

Марина Цветаева писала: «у Маяковского было имя всегда, раньше, чем он сам. Ему потом пришлось догонять. С Маяковским произошло так. Этот юноша ощущал в себе силу, какую — не знал, он раскрыл рот и сказал: — Я! — Его спросили: — Кто — я? — Он ответил: — Я — Владимир Маяковский.— А Владимир Маяковский — кто? — Я!»

А мог ли сам Маяковский быть предметом для подражания?

Вряд ли. Лидия Яковлевна Гинзбург в разговоре с автором этих строк говорила, что Маяковский не вызывал у современников желания строить свою жизнь по его образцу, как это бывало с яркими романтическими личностями. Он был по самой своей задаче самороден, бесподобен, сам из себя сделан. Для подражания ему нужен был хотя бы такой же материал, но все его запасы, находящиеся в природе, ушли на создание Маяковского.

К нему можно было испытывать только два чувства: ненависть или любовь. В любящих недостатка не было (в ненавидящих, впрочем, тоже). Олеша вспоминал, что мог легко не пойти на свидание с любимой, если знал, что в этот вечер он увидит Маяковского.

Первая книга стихов Маяковского называется «Я». Первая трагедия — «Владимир Маяковский». Стоит ли говорить, что первым исполнителем роли Маяковского в его трагедии был сам Маяковский. «Играя самого себя,— вспоминал современник,— вешан на гвоздь гороховое пальто, оправляя на себе полосатую кофту, закуривая папиросу, читая свои стихи, Маяковский перебрасывал незримый мост от одного вида искусства к другому и делал это в единственно мыслимой форме, на глазах у публики, не догадывавшейся ни о чем».

Однако Маяковский перекидывал незримый мост не только между лирикой и драмой, о чем пишет мемуарист, но и между жизнью и искусством. «Поэт разложил себя на сцене, держит себя в руке, как игрок держит карты. Это Маяковский — двойка, тройка, валет, король. Игра идет на любовь. Игра проиграна» (В. Шкловский).

Новый герой нес новую форму взаимоотношений жизни и искусства. Новый герой — Владимир Маяковский, герой лирики Маяковского и, одновременно, главное действующее лицо его биографии.

Маяковский, по выражению Пастернака, «фамилия содержанья». «В отличье от игры в отдельное,— писал Пастернак,— он разом играл во все, в противность разыгрыванью ролей,— играл жизнью».

Эту серьезную подоплеку мало еще кто различал тогда. Видели театр, и никто не знал, где «кончается искусство и дышит почва и судьба».

Все вы на бабочку поэтиного сердца
взгромоздитесь, грязные, в калошах
и без калош.

Скажем честно: поэт сам долго провоцировал публику на этот акт. Может быть, и не переоценил себя, но публику недооценил, это точно.

В первые после Октября дни в Москве открылось «Кафе поэтов» — вотчина футуристов. Молодой тогда поэт Сергей Спасский вспоминал об одном из типичных вечеров в кафе: «...вошел Маяковский, не снимая кепки. На шее большой красный бант. Маяковский пересекает кафе. Он забрел сюда просто поужинать. Выбирает свободное место. Если места ему не находится, он садится за стол на эстраду. Он зашел отдохнуть.

...Маяковский не замечает посетителей. Тут нет ни малейшей игры [1]. Он действительно себя чувствует так. Он явился провести здесь вечер. Если кому угодно глазеть, что ж, это его не смущает. Папироса ездит в углу рта. Маяковский осматривается и потягивается. Где бы он ни был, он всюду дома. Внимание всех направляется к нему.

Но Маяковский ни с кем не считается. Что-нибудь скажет через головы всех Бурлюку. Бурлюк, подхватив его фразу, подаст уже умышленно рассчитанный на прислушивающуюся публику ответ. Они перекидываются словами. Бурлюк своими репликами будто шлифует нарастающий вокруг интерес. Люди, как бы через невидимый барьер, заглядывают на эту происходящую рядом беседу. Сама беседа является зрелищем. Но внутрь барьера не допущен никто.

И это для многих обидно».

Обидно, конечно. Но в этом и заключается художественный эффект ужина на эстраде. Так и было задумано. А дальше... Дальше по законам драматургии неизбежно должно произойти «вдруг».

«И вдруг Маяковский обернулся.

Он даже поздоровался с артистом, и тот польщенно закивал головой. Закивали головами другие, ловя благорасположенность Маяковского. А тут поднялся Бурлюк и самыми нежнейшими трепетными нотами, с самым обрадованным видом делится с публикой вестью:

— Среди нас находится артист такой-то. Предлагаю его приветствовать. Он, конечно, не откажется выступить.

Публика дружно рукоплещет».

Вряд ли кто из посетителей кафе догадывался о коммерческих целях этого представления. Тем более никто и не думал о принципиальной важности таких экспериментов в творческой судьбе Маяковского.

Вся эта сцена напоминает булгаковский сеанс «черной магии». Маяковский — Воланд, Бурлюк — Бегемот. Публика? Публика все та же.

Один отделился
и так любезно
дремотную немоту расторг:
«Ну, как вам,
Владимир Владимирович,
нравится бездна?»
И я отвечаю так же любезно:
«Прелестная бездна.
Бездна — восторг!»

Публика та же, но Маяковский — не Воланд. Он — человек и поэт — не мог улизнуть в бессмертие от бесцеремонной толпы, предстояло платить, и плата должна была быть посерьезней, чем космический скепсис и вековечный ревматизм мессира.

...как чашу вина в застольной здравице,
подъемлю стихами наполненный череп.

Пока же Маяковский играет без оглядки.

По воспоминаниям одного из современников, в те годы он «немного придерживался стиля "vagabond". Байроновский поэт-корсар, сдвинутая на брови широкополая шляпа, черная рубашка (вскоре смененная на ярко-желтую), черный галстук и вообще все черное,— таков был внешний облик поэта...» Поэт-корсар или, по определению другого очевидца, «член сицилианской мафии, игрою случая заброшенный на петербургскую сторону». Облик еще оттачивался. Менялись костюмы. Иногда по два раза на день.

В 1918 году Маяковский подготовил книжку «Кофта фата». Она тогда не вышла. Шкловский вспоминал: «книга была маленькая, делилась на кофту оранжевую, голубую и так далее.

Это — душа в разных одеждах.

В то же время Маяковский носил цилиндр, а из первых денег купил очень хорошее оранжевое кашне. Вообще он хотел одеваться».

Всякий облик примерялся серьезно до чрезвычайности, вводя в заблуждение даже близких людей. Вспоминает Бенедикт Лившиц: «купив две шикарных маниллы в соломенных чехлах, Володя предложил мне закурить. Сопровождаемые толпою любопытных, пораженных оранжевой кофтой и комбинацией цилиндра с голой шеей, мы стали прогуливаться.

Маяковский чувствовал себя как рыба в воде.

Я восхищался невозмутимостью, с которой он встречал устремленные на него взоры.

Ни тени улыбки.

Напротив, мрачная серьезность человека, которому неизвестно почему докучают беззаконным вниманием.

Это было так похоже на правду, что я не знал, как мне с ним держаться.

Боялся неверной, невпопад интонацией сбить рисунок замечательной игры».

Конечно, Маяковский играл в серьезность. Но и играл он серьезно.

В этот же день, решив, что наряд его примелькался, потащил Лившица в магазин и, купив желтой в полоску материи, принес ее матери. Мать ослушаться не смела. Так появилась на свет его знаменитая кофта.

Я сошью себе черные штаны
из бархата голоса моего.
Желтую кофту из трех аршин заката.
По Невскому мира, по лощеным полосам его,
профланирую шагом Дон-Жуана и фата.

Из трех аршин материи он скроил стихотворение и недолгую литературную роль с далекой перспективой.

Обо всем этом принято говорить как о юношеском индивидуалистическом протесте против общественных приличий, против буржуазно-мещанской умеренности. Конечно, это так. Есть и более прозаическая причина — необходимость привлечь к себе внимание. Этим в то время занимались все футуристы. Чего стоит такая деталь: на некоторые вечера касса в обязательном порядке продавала свистки. Но не менее важно и другое. Все эти переодевания — след работы по конструированию образа, которая началась, вероятно, еще в допоэтическую эпоху и продолжалась всю жизнь. Широкополую шляпу и цилиндр позднее сменили вполне

[1] Позволим себе усомниться.

ДВОЙКА, ТРОЙКА, ВАЛЕТ: *Владимир Маяковский, герой лирики Маяковского и главное действующее лицо его биографии.*

Название поэмы Николая Асеева «Маяковский начинается» можно было бы продолжить: «Маяковский начинается с себя». Пастернак писал, что встреча Маяковского с собственной гениальностью «когда-то так его потрясла, что стала ему на все времена тематическим предписаньем, воплощенью которого он отдал всего себя без жалости и колебанья».

Возможно ли представить Маяковского похожим на кого-то? Похожим можно было быть только на него. Подражающим? Само понятие это было, как бы сегодня сказали, его самым опасным аллергеном. Еще в пору его ученичества преподаватель нашел в рисунке Маяковского подражание Врубелю. Маяковский возражал. Петр Иванович шутя заметил, что фамилия Врубель нравится ему, во всяком случае, больше, чем фамилия Маяковский.

— А мне фамилия Маяковский нравится гораздо больше,— ответил тот без тени смущения.

Он ощущал свою явленность миру задолго до стихов.

Марина Цветаева писала: «у Маяковского было имя всегда, раньше, чем он сам. Ему потом пришлось догонять. С Маяковским произошло так. Этот юноша ощущал в себе силу, какую — не знал, он раскрыл рот и сказал: — Я! — Его спросили: — Кто — я? — Он ответил: — Я — Владимир Маяковский.— А Владимир Маяковский — кто? — Я!»

А мог ли сам Маяковский быть предметом для подражания?

Вряд ли. Лидия Яковлевна Гинзбург в разговоре с автором этих строк говорила, что Маяковский не вызывал у современников желания строить свою жизнь по его образцу, как это бывало с яркими романтическими личностями. Он был по самой своей задаче самороден, бесподобен, сам из себя сделан. Для подражания ему нужен был хотя бы такой же материал, но все его запасы, находящиеся в природе, ушли на создание Маяковского.

К нему можно было испытывать только два чувства: ненависть или любовь. В любящих недостатка не было (в ненавидящих, впрочем, тоже). Олеша вспоминал, что мог легко не пойти на свидание с любимой, если знал, что в этот вечер он увидит Маяковского.

Первая книга стихов Маяковского называется «Я». Первая трагедия — «Владимир Маяковский». Стоит ли говорить, что первым исполнителем роли Маяковского в его трагедии был сам Маяковский. «Играя самого себя,— вспоминал современник,— вешая на гвоздь гороховое пальто, оправляя на себе полосатую кофту, закуривая папиросу, читая свои стихи, Маяковский перебрасывал незримый мост от одного вида искусства к другому и делал это в единственно мыслимой форме, на глазах у публики, не догадывавшейся ни о чем».

Однако Маяковский перекидывал незримый мост не только между лирикой и драмой, о чем пишет мемуарист, но и между жизнью и искусством. «Поэт разложил себя на сцене, держит себя в руке, как игрок держит карты. Это Маяковский — двойка, тройка, валет, король. Игра идет на любовь. Игра проиграна» (В. Шкловский).

Новый герой нес новую форму взаимоотношений жизни и искусства. Новый герой — Владимир Маяковский, герой лирики Маяковского и, одновременно, главное действующее лицо его биографии.

Маяковский, по выражению Пастернака, «фамилия содержанья». «В отличье от игры в отдельное,— писал Пастернак,— он разом играл во все, в противность разыгрыванью ролей,— играл жизнью».

Эту серьезную подоплеку мало еще кто различал тогда. Видели театр, и никто не знал, где «кончается искусство и дышит почва и судьба».

Все вы на бабочку поэтиного сердца
взгромоздитесь, грязные, в калошах
и без калош.

Скажем честно: поэт сам долго провоцировал публику на этот акт. Может быть, и не переоценил себя, но публику недооценил, это точно.

В первые после Октября дни в Москве открылось «Кафе поэтов» — вотчина футуристов. Молодой тогда поэт Сергей Спасский вспоминал об одном из типичных вечеров в кафе: «...вошел Маяковский, не снимая кепки. На шее большой красный бант. Маяковский пересекает кафе. Он забрел сюда просто поужинать. Выбирает свободное место. Если места ему не находится, он садится за стол на эстраду. Он зашел отдохнуть.

...Маяковский не замечает посетителей. Тут нет ни малейшей игры [1]. Он действительно себя чувствует так. Он явился провести здесь вечер. Если кому угодно глазеть, что ж, это его не смущает. Папироса ездит в углу рта. Маяковский осматривается и потягивается. Где бы он ни был, он всюду дома. Внимание всех направляется к нему.

Но Маяковский ни с кем не считается. Что-нибудь скажет через головы всех Бурлюку. Бурлюк, подхватив его фразу, подаст уже умышленно рассчитанный на прислушивающуюся публику ответ. Они перекидываются словами. Бурлюк своими репликами будто шлифует нарастающий

[1] Позволим себе усомниться.

вокруг интерес. Люди, как бы через невидимый барьер, заглядывают на эту происходящую рядом беседу. Сама беседа является зрелищем. Но внутрь барьера не допущен никто.

И это для многих обидно».

Обидно, конечно. Но в этом и заключается художественный эффект ужина на эстраде. Так и было задумано. А дальше... Дальше по законам драматургии неизбежно должно произойти «вдруг».

«И вдруг Маяковский обернулся.

Он даже поздоровался с артистом, и тот польщенно закивал головой. Закивали головами другие, ловя благорасположенность Маяковского. А тут поднялся Бурлюк и самыми нежнейшими трепетными нотами, с самым обрадованным видом делится с публикой вестью:

— Среди нас находится артист такой-то. Предлагаю его приветствовать. Он, конечно, не откажется выступить.

Публика дружно рукоплещет».

Вряд ли кто из посетителей кафе догадывался о коммерческих целях этого представления. Тем более никто и не думал о принципиальной важности таких экспериментов в творческой судьбе Маяковского.

Вся эта сцена напоминает булгаковский сеанс «черной магии». Маяковский — Воланд, Бурлюк — Бегемот. Публика? Публика все та же.

Один отделился
и так любезно
дремотную немоту расторг:
«Ну, как вам,
Владимир Владимирович,
нравится бездна?»
И я отвечаю так же любезно:
«Прелестная бездна.
Бездна — восторг!»

Публика та же, но Маяковский — не Воланд. Он — человек и поэт — не мог улизнуть в бессмертие от бесцеремонной толпы, предстояло платить, и плата должна была быть посерьезней, чем космический скепсис и вековечный ревматизм мессира.

...как чашу вина в застольной здравице,
подъемлю стихами наполненный череп.

Пока же Маяковский играет без оглядки.

По воспоминаниям одного из современников, в те годы он «немного придерживался стиля "vagabond". Байроновский поэт-корсар, сдвинутая на брови широкополая шляпа, черная рубашка (вскоре смененная на ярко-желтую), черный галстук и вообще все черное,— таков был внешний облик поэта...» Поэт-корсар или, по определению другого очевидца, «член сицилианской мафии, игрою случая заброшенный на петербургскую сторону». Облик еще оттачивался. Менялись костюмы. Иногда по два раза на день.

В 1918 году Маяковский подготовил книжку «Кофта фата». Она тогда не вышла. Шкловский вспоминал: «книга была маленькая, делилась на кофту оранжевую, голубую и так далее.

Это — душа в разных одеждах.

В то же время Маяковский носил цилиндр, а из первых денег купил очень хорошее оранжевое кашне. Вообще он хотел одеваться».

Всякий облик примерялся серьезно до чрезвычайности, вводя в заблуждение даже близких людей. Вспоминает Бенедикт Лившиц: «купив две шикарных манилы в соломенных чехлах, Володя предложил мне закурить. Сопровождаемые толпою любопытных, пораженных оранжевой кофтой и комбинацией цилиндра с голой шеей, мы стали прогуливаться.

Маяковский чувствовал себя как рыба в воде.

Я восхищался невозмутимостью, с которой он встречал устремленные на него взоры.

Ни тени улыбки.

Напротив, мрачная серьезность человека, которому неизвестно почему докучают беззаконным вниманием.

Это было так похоже на правду, что я не знал, как мне с ним держаться.

Боялся неверной, невпопад интонацией сбить рисунок замечательной игры».

Конечно, Маяковский играл в серьезность. Но и играл он серьезно.

В этот же день, решив, что наряд его примелькался, потащил Лившица в магазин и, купив желтой в полоску материи, принес ее матери. Мать ослушаться не смела. Так появилась на свет его знаменитая кофта.

Я сошью себе черные штаны
из бархата голоса моего.
Желтую кофту из трех аршин заката.
По Невскому мира, по лощеным полосам
его,
профланирую шагом Дон-Жуана в фата.

Из трех аршин материи он скроил стихотворение и недолгую литературную роль с далекой перспективой.

Обо всем этом принято говорить как о юношеском индивидуалистическом протесте против общественных приличий, против буржуазно-мещанской умеренности. Конечно, это так. Есть и более прозаическая причина — необходимость привлечь к себе внимание. Этим в то время занимались все футуристы. Чего стоит такая деталь: на некоторые вечера касса в обязательном порядке продавала свистки. Но не менее важно и другое. Все эти переодевания — след работы по конструированию образа, которая началась, вероятно, еще в допоэтическую эпоху и продолжалась всю жизнь. Широкополую шляпу и цилиндр позднее сменили вполне

скромная шляпа и кепка, на смену разноцветным блузам, апельсиновым пиджакам и сюртуку пришел простой серый костюм. Осыпались под машинкой поэтические кудри, обнажив скульптурный череп. Никакой богемности — четкость, сухость, сдержанная энергичность. «Что-то было в нем от интеллигентного рабочего высокой квалификации — не то монтер-электрик, не то железнодорожник... От него шла сдержанная, знающая себе цену сила. Он был вежлив, может быть и подчеркнуто вежлив» (П. Антокольский). Изменение облика прочно увязано с изменением установки, о чем тут же и был издан «приказ»:

> Мастера,
> а не длинноволосые проповедники
> нужны сейчас нам.

Но (наивно думать) и то было не просто богемной маской, и это не просто лицо. «Я — поэт. Этим и интересен. Об этом и пишу».

Лицо поэта, но поэта, который то желтой кофтой, то серым пиджаком боролся с «черным бархатом таланта в самом себе». Пастернак вспоминал: «...он был молод... Тема же была ненасытима и отлагательств не терпела. Поэтому первое время ей в угоду приходилось предвосхищать свое будущее, предвосхищенье же, осуществляемое в первом лице, есть поза.

Из этих поз, естественных в мире высшего самовыраженья, как правила приличья в быту, он выбрал позу внешней цельности, для художника труднейшую и в отношении друзей и близких благороднейшую. Эту позу он выдержал с таким совершенством, что теперь почти нет возможности дать характеристику ее подоплеки».

ЕДИНСТВЕННЫЙ ПСЕВДОНИМ: *Маяковский остро почувствовал заказ на Маяковского и всю свою жизнь посвятил его исполнению.*

Слова Тынянова о том, что Блок — главная лирическая тема Блока, можно было бы еще в большей степени отнести к Маяковскому. Маяковский словно бы поставил себе задачей снять, как поэтическую условность, границу, разделяющую лирического героя и автора. «Я» в стихах Маяковского — это всегда сам Маяковский. Если он называет стихотворение «Мое к этому отношение», то мы можем не сомневаться, о чьем отношении идет речь. Или: «Себе, любимому, посвящает эти строки автор». Никаких лирических тайн и недомолвок.

Биографическая подоплека многих стихов Блока, даже целых лирических циклов и книг общеизвестна. В редчайших случаях он даже вводил в стихи подлинное имя: «Валентина, звезда, мечтанье...» Но чаще героиня оставалась безымянной, скрываясь за скромно стоящим в титуле: «Посвящается Н. Н. В.» или просто: «Л. А. Д.». Но даже и такие посвящения воспринимались некоторыми близкими Блоку людьми как нескромные. «Насчет посвящения В. А. Щ., то тут лично я против»,— писал Блоку Алексей Михайлович Ремизов. Ремизов был знаком с мужем Валентины Андреевны — литературоведом Щеголевым и посвящение Блока осуждал в бытовом плане как компрометирующее. Поэт возражал: «насчет "Трех посланий" Вы не правы. Вы не смотрите на посвящение, а смотрите на стихи. Или Вы не можете отвлечься, или, если осуждаете, так не знаете этих стран».

«Страны», по Блоку — особое душевное состояние, особый круг представлений. Тут нужно было уметь именно «отвлечься», оторваться от земли и быта. Потому что «Снежная маска» и «Фаина», например, живут действительно в другой «стране», нежели Наталья Николаевна Волохова. Тем более «Кармен» и Л. А. Дельмас. Попытки прочитать эти стихи в биографическом ключе часто приводили к недоразумениям. Наталья Николаевна Волохова укоряла Блока, обнаружив, что роман между лирическими героями содержит больше интимности, чем это было между ней и Блоком. Поэт оправдывался, говорил, что «под соусом вечности» это допустимо. Последнее стихотворение цикла привело, наконец, к глубокой обиде и разрыву. Наивное смешение стихов и жизни не входило в планы Блока.

У Маяковского нет и намека на «соус вечности». Стихи — документы. «Лиличка! Вместо письма». Не надо обращаться к биографическим документам, само стихотворение уже является им. К тому же и с обложки поэмы «Про это» Лиля Брик смотрит на читателя своими огромными глазами.

Так у Маяковского и в других случаях. Одесская Мария из «Облака» Марией и была. Стихи Татьяне Яковлевой тоже не прикрывались скромным «Т. Я.» или чем-нибудь вроде «Письмо русской парижанке», а назывались прямо — «Письмо Татьяне Яковлевой».

Эта ориентация лирики на собственную биографию проводится Маяковским последовательно и педантично, иногда вплоть до бытовых мелочей:

> Не волнуйтесь,
> сообщаю:
> граждане —
> я
> сегодни —
> бросил курить.

Ну что ж, это и правда соответствовало решению, принятому по дороге из Севастополя.

Наивно искать объяснение этого в каком-то гипертрофированном эгоцентризме Маяковского. Как и у всякого поэта, поступки его имеют основой не только свойства личности. Вообще не стоит уподобляться читателю-современнику, который то и дело спрашивал поэта:

— Почему вы так хвалите себя?

— Я говорю о себе, как о производстве,— отвечал Маяковский.— Я рекламирую и продвигаю свою продукцию, как это должен делать хороший директор завода.

Другой вопрос: «Почему вы так много говорите о себе?» Маяковский не без остроумия парировал:

— Я говорю от своего имени. Не могу же я, например, если я полюбял девушку, сказать ей: «мы вас любим». Мне это просто невыгодно. И наконец, она может спросить: «сколько вас?»

Этими импровизированными объяснениями, однако, не исчерпывается решение проблемы. Ссылка на право лирика говорить от собственного имени столь же справедлива, сколь и обща. Представление же о себе как о «заводе» появилось уже в советскую пору. Между тем «я» Маяковского, изменившись по содержанию, никогда не меняло главенствующего места в его творчестве.

Справедливо писал Альфонсов: «с чрезвычайной, из ряда вон выходящей дерзостью, минуя все промежуточные ступени, Маяковский приписал свое самоощущение некоему человеку вообще, чудо-человеку, предтече будущего... Человек в заявке Маяковского — „готовый", с реальными страстями и претензиями. Он никому и ничему не обязан, он как бы сам себя произвел. Все это мало похоже на философию, скорее отдает презрением к философствованию. Но все это оказалось на стыке важнейших для нашего времени проблем, несущих в себе как раз большой философский смысл».

За этой из ряда вон выходящей дерзостью стояла, конечно, вера в свое поэтическое призвание, опыт первой русской революции, безотчетные волны предреволюционного искусства, на гребне которых сразу оказался Маяковский. Но может быть наиболее важной была вера в свое человеческое предназначение, в то, что его, Маяковского, пульс и пульс истории бьются в одном ритме. Окончательно его в этом убедила революция, в нетерпеливом прогнозе которой он ошибся на год.

Маяковский остро почувствовал социальный заказ на Маяковского и всю свою жизнь посвятил его выполнению.

При том, что ощущение силы и призванности существовало в Маяковском изначально, образ выработался не сразу. Сам поэт с этой работой, возможно, так бы и не справился. Окончательный выбор был за революцией, окончательное решение — в выборе Маяковским революции.

В десятые годы Маяковский то представлял себя «Дон-Жуаном и фатом», то «грубым гунном», то метался по мировой культуре в поисках подобия, называя себя «величайшим „Дон-Кихотом" и „чудотворцем"», «новым Ноем», то виделся себе «тринадцатым Апостолом». От ощущения огромности открывшегося ему в себе «готового» человека — и космизм раннего Маяковского. Ему мало́ время, а он еще в своем неведении полагает, что пространство:

> Если б был я
> маленький,
> как Великий океан,—
> на цыпочки б волн встал,
> приливом ласкался к луне бы.
> Где любимую найти мне,
> такую, как и я?
> Такая не уместилась бы в крохотное небо!

Он то и дело «врывается к богу»: просит, требует, задирается, умея пока выяснить отношения только с этим «небесным Гофманом». Эта гипертрофия собственного (и вообще человеческого) «я» совсем как у подростка сочеталась с обидой на непонимание, невзаимность, которые рождали то агрессию, то сентиментальность. И одиночество свое герой трактовал не иначе, как абсолютное:

> Я одинок, как последний глаз
> у идущего к слепым человека!

Сентиментальности он не чуждался, ибо это была сентиментальность титана. В порыве он готов был броситься на шею одинокой скрипке или даже требовал вздернуть его в урочный час, «Млечный Путь перекинув виселицей».

Но, может быть, не эта космическая атрибутика была самым грандиозным и поразительным в Маяковском, а тот обнаженно человеческий голос, почти мольба, несокрушимо детская мольба о счастье и понимании, которой до этого русская поэзия не знала. Все равно, будь это обращение к женщине:

> Ведь для себя не важно
> и то, что бронзовый,
> и то, что сердце — холодной железкою.
> Ночью хочется звон свой
> спрятать в мягкое,
> в женское.

Или в русской достоевской традиции обращение к людям, к миру:

> Слушайте ж:
>
> все, чем владеет моя душа,
> — а ее богатства пойдите смерьте ей! —
> великолепье,
> что в вечность украсит мой шаг,
> и самое мое бессмертие,
> которое, громыхая по всем векам,
> коленопреклоненных соберет мировое
> вече,—

все это — хотите? —
сейчас отдам
за одно только слово
ласковое,
человечье.

Люди!

После революции семнадцатого года Маяковский, по выражению Шкловского, полюбил людей. Он был уверен, что огнем революции было выжжено все хладное, одинокое, мелкое. И даже когда убедился, что это не так, и занялся сатирой, бесповоротности его любви это никак не затрагивало.

В революции он признал силу, равновеликую его требованьям к миру, и уже без былой эпатажности готов был подчиниться ей, пусть и в качестве ее главного глашатая и работника. Она получила над ним большую власть, чем бог, потому что (в чем он был убежден) имела большую власть над миром и превосходила бога в своем новосозидательном пафосе. Индивидуалист нашел возможным умалиться, став частью этой силы: «я рад, что я этой силы частица». Абстрактно-интернациональный пафос сменился граждански патриотическим. Не осталось места и сентиментальным жалобам. Откристаллизовался образ внешней цельности, который так поражал Пастернака и о котором Цветаева, предлагая внимательней вглядеться в лицо поэта, писала: «русский? Нет. Рабочий. В этом лице пролетарии всех стран больше, чем соединились — объединились, сбились в это самое лицо. Это лицо такое же собирательное, как вто имн».

Явился поэт, органически воспринимающий себя государственным поэтом, в котором гипертрофированное чувство «я» объединялось с родовым мышлением: «у советских собственная гордость».

ВТОРАЯ РАБОТА: *публика не понимает — она права; как из Петрограда в 1916 году исчезали красивые люди; борьба за взаимность; публика не понимает; «Всем!»*

Иногда представляется соблазнительным то или иное различие в поведении Блока и Маяковского объяснять исключительно различием их характеров, темпераментов, вкусов. Это ведь так естественно и обыкновенно — разные люди. Неужели во всем нужно непременно искать причины исторические?

Вот, например: Блок не любил выступать на литературных вечерах, вообще сторонился публичности, Маяковский — признанный поэт-трибун — только на людях, в сущности, и мог жить. Если посмотреть на вещи просто, то все как будто просто и объяснится. Блок по натуре человек замкнутый, с детских лет, проведенных в атмосфере дворянской интеллигентской семьи, привыкший ценить общение узкого круга. К тому же голос у него глуховатый, не приспособленный для эстрады и больших залов. Маяковский — демократ по воспитанию и по натуре, с задатками лидера. Голос — громовой бас, да и фактура соответствующая. Казалось бы, все ясно.

Но дело в том, что, приводя эти «простые» доводы, мы уже невольно хитрили, отбирая только нужные нам факты. Так, мы как будто забыли, что в юности Блок был чтецом-декламатором и вообще готовился к актерской карьере. И в зрелые годы чтение им стихов не походило на поэтически-монотонное распевание. Вл. Пяст, например, вспоминал, что одна его знакомая актриса «ходила на вечера Блока со специальною целью благоговейно учиться исключительно манере чтения Блока, находя ее не только безупречной, но потрясающей». Стоит вспомнить также, что писал С. М. Алянский о вечере Блока в Большом драматическом театре: «читал он, как всегда, просто и ровно, не возвышая голоса, и удивительно, что в самых отдаленных местах эрительного зала голос его был отлично слышен (об этом мне потом говорили многие)». Стало быть, голоса у Блока хватало и для больших аудиторий. В то же время о Маяковском надо вспомнить: прежде, чем бороться с непослушным залом, ему надо было побороть природную застенчивость, о которой вспоминают многие мемуаристы. Могло служить препятствием и отсутствие большинства зубов, маниакальная боязнь простудиться или заразиться гриппом. При таком подборе фактов уже приходится удивляться, почему каждым из них были выбраны те, а не иные роли.

Ответ на эти вопросы можно найти, только анализируя исторический характер, и историческую и литературную ситуацию.

У Блока был свой, пусть по современным масштабам и не очень многочисленный читатель, но... не было аудитории, то есть того резонатора, без которого слово не может вполне осуществить свою общественную функцию, не может стать делом. «Он не любил в себе литератора,— вспоминал Чуковский,— и считал это слово ругательным. ...Он не из книг, но на опыте всего своего творчества знал, что поэзия не только словесность, и то обстоятельство, что нынешним молодым поколением она ощущается именно так, казалось ему зловещим знамением нашей эпохи». Примечательно, что ту часть молодежной аудитории, которой «подавай гражданские мотивы; если поэт прочтет скверные стихи с „гражданской" нотой — аплодируют, прочтет хорошие стихи без гражданской ноты — шипят»,— Блок считал «л у ч ш е й частью публики». Но очевидно, что и эта часть публики — не его. Гражданских стихов в том публицистическом духе, как понимала их аудитория, у него не было. Гражданскую ноту в его стихах надо было уметь услышать. Массовому слушателю для этого не хватало культуры, читателю интеллигентному мешала инерция восприятия Блока как лишь тонкого лирика.

Разумеется, Блок не мог принять скверных стихов с «гражданскими» мотивами, хотя считал, что такие стихи «не только можно, а, пожалуй, и нужно читать на литературных вечерах», потому что в этом случае, по крайней мере, видно, что автор хочет передать ими слушателям, а прием и лица в аудитории говорят о том, что ему это удалось.

Ситуация неудовлетворенной читательской, а еще более слушательской потребности радикально настроенной молодежи имела объективный характер. Революционно-демократическая поэзия в те годы только еще зарождалась и часто была не способна в адекватнохудожественных формах выразить настроение и психологию эпохи. Верно заметил критик В. Кулешов, что для ее качественного совершенствования «нужно было многое и многое, в том числе и революция, и время, и умение».

Позже, в советские годы, к скверным «гражданским» стихам Блок относился уже не так снисходительно. В 20-е годы он говорил Павлович, что пролетарские поэты не «выражают» время. А когда Зоргенфрей заметил, что «пролетарские поэты бессовестно заимствуют у „буржуазных"», Блок мрачно отозвался: «Если бы только это...» Воспитанная же на подобных стихах публика требовала и от него: «О России, о России!» «Это все — о России»,— гневно отвечал он, закончив чтение «Плясок смерти».

Но сейчас, когда до революции еще оставались годы, главную опасность видел он не в революционной риторике, а в безыдейном творчестве новых поэтов, способствующем «размножению породы людей „стиля модерн", дни которых сочтены». Поэтому он считал, что отказываться от участия в литературных вечерах «г р а ж д а н с к и й д о л г» писателя, что проведение их не только не нужно, но и вредно. «Вредно потому, что новые поэты еще п о ч т и н и ч е г о н е с д е л а л и; потому, что нельзя приучать публику любоваться на писателей, у которых нет о р е о л а о б щ е с т в е н н о г о, которые еще не имеют права считать себя потомками священной русской литературы; вредно потому, что нельзя приучать публику к любопытству насчет писателей в ущерб любознательности насчет литературы; вредно потому, что б о л ь ш и н с т в о новых произведений ...недоступно большой публике, и она п р а в а, когда чистосердечно н и ч е г о н е п о н и м а е т».

В том, что публика «ничего не понимает», Блок видел один из примеров трагического разрыва между интеллигенцией и народом, и народ в своем непонимании был для него несомненно прав. В этой недоступности был грех символизма, его, Блока, беда, беда уходящей в прошлое дворянской культуры. Изменить положение вещей могла только революция. Будущее, однако, показало, что проблема эта лежит не только в исторической плоскости, во всяком случае, очертания этой плоскости мы себе пока еще не представляем.

Но так или иначе, революция не могла не отразиться и на отношении Блока к публичным выступлениям. В. А. Зоргенфрей вспоминал: «1917—1921 гг. вывели Блока, как поэта, из его творческого уединения и тысячи людей пересмотрели и прослушали его с высоты эстрады. Впервые после революции выступил он в Тенишевском зале весною 1917 года, а затем неоднократно появлялся на эстраде перед публикою...»

Однако этот энтузиастический период длился недолго. Блок очень скоро устал от публичности. Причин этому было много, одна из главных — поэтическая глухота и немота, которые поразили его после «Двенадцати» и «Скифов». Часто, отправляясь на выступление, он говорил, что идет заниматься нечестным делом — читать то, что давно написано и пережито. Стихи свои помнил плохо, иногда перед вечером два дня учил их заново наизусть.

И вдоль виска — потерянным перстом —
Все водит, водит...

Таково впечатление Марины Цветаевой. Сам после вечера говорил, показывая на грудь: «Все же э т о г о не было!»

Маяковский не стал дожидаться революции, чтобы выйти на большую аудиторию. Он словно бы изначально чувствовал свою призванность говорить голосом «безъязыкой улицы», а значит, не только потребность, но и право разговаривать с любой аудиторией. Можно сказать, что слушателей он приобрел раньше, чем читателей.

Дореволюционные выступления футуристов носили богемно-анархический характер, билеты стоили дорого, что предопределяло буржуазный состав аудитории. Но, говоря по существу, футуристы и нуждались именно в ней. Кого бы они иначе эпатировали, перед кем обнаруживали свой антимещанский пафос? Парадокс же заключался в том, что публике футуристический эпатаж чаще всего приходился по вкусу. Отрицатели буржуа-

зии — футуристы в то же время были прекрасными выразителями неблагополучия ее, которое та сама ощущала и публично-эстетическое разрешение которого находила в футуристических сборищах.

Однако прав Асеев: «если бы двигающей силой этого литературного движения была только инерции движения капиталистического общества, то необъяснеными остаются факты широкой демократизации искусства, раскрепощение его от индивидуального потребителя». Футуристы, и более всех Маяковский, были сильны жаждой нового читателя. Это вовсе не значит, что они знали его в лицо и говорили с ним на одном языке. Нет. Для Маяковского первых поэтических опытов люди — масса безликая и по большей части враждебная или же презренная: «а люди и лошади — это только грумы [1]». Толпа — «стоглавая вошь». Совершенно согласно романтическим канонам он, отшатнувшись от этой страшной в своем озверелом обывательстве толпы, готов себя считать поэтом сифилитиков и проституток, то есть людей дна. Только в стихотворении 15-го года появляется у него человек, достойный сострадания:

> Знаете ли вы, бездарные, многие,
> думающие, нажраться лучше как,—
> может быть, сейчас бомбой ноги
> выдрало у Петрова поручика?..

Но Петров все же так — в виде примера и укора. От сытого же буржуа поэт бежит не к нему, а все по тому же старому адресу:

> Вам ли, любящим баб да блюда,
> жизнь отдавать в угоду?!
> Я лучше в баре блядям буду
> подавать ананасную воду!

Представление о своем читателе у Маяковского пока вполне туманное. Он, этот читатель,— еще в будущем. Как юные символисты чаяли обновления людей Апокалипсисом, так юные футуристы жаждали обновления революцией. Людская масса, прошедшая через ее очистительный огонь,— вот их читатель. Ему они готовы были служить, его они заранее любили. Еще несколько месяцев назад Маяковский возглашал:

> ...помните:
> в 1916 году
> из Петрограда исчезли красивые люди.

А уже 26 октября он поднялся в радостной уверенности, что улицы Петрограда вновь наполнены красивыми людьми. Он верил, что в это утро все проснулись воистину новыми и что взаимность ему обеспечена.

Так думал не один Маяковский. За несколько дней до февральского переворота Николай Иванович Кульбин написал плакат: «Жажду одиночества», а на третий день Февральской революции умер счастливым, формируя народную милицию.

Конечно, жизнь, как и следовало ожидать, оказалась значительно сложнее. Вскоре уже аудитория обнаружила свою разнородность и косность. Взаимность была, мягко говоря, неполной. Революционный эпатаж стал отдавать буржуазной старомодностью. Претензия на роль государственного искусства встретила сопротивление не только среди тех, кто враждебно относился к новому строю, но и в партийном руководстве и в самой демократической аудитории, которая, провозгласив диктатуру пролетариата, в поэзии диктатуру отвергала.

Всячески поддерживая ощущение монолитности рядов, Маяковский, в сущности, давно уже пробивался в одиночку. Он серьезнел, жадно сгребая в свои стихи время, чутко улавливая настроение массы. Он уже понял, что ничто, даже революция, не может подарить ему его читателя, что читателя нужно воспитывать, за него нужно бороться, и борьбу эту воспринял как часть грандиозной борьбы революции за нового человека. Для того же, чтобы полноценней в этой борьбе участвовать и честно делать свое дело, необходима была аудитория и признание аудитории. Вот одна из причин саморекламы, в которой его так часто упрекали.

По этой же причине радовало его всякое внимание со стороны партии и правительства.

— До чего приятно! Специально слушают в Совнаркоме! О чем? Об освобождении лекций Владимира Маяковского от налогов! Постановили... Что постановили? Принимая во внимание агитационно-пропагандистское значение... Освободить! Дайте еще раз посмотреть! — протягивал он руку к номеру газеты.— Поймите — это сильно. Значит, я нужный поэт.

Маяковский был готов, не жалея сил, сражаться своим словом за и против, но... было одно «но», против которого его оружие оказывалось бессильным, ибо это «но» как раз и выбивало у него из рук то самое оружие. Обычно молниеносно и остроумно отвечавший на записки из зала, он с трудом подыскивал аргумент на записку, которую посылали ему чуть ли не в каждой аудитории: «Маяковский, ваши стихи непонятны». Иногда, получив такую записку, он устраивал импровизированное голосование: «поднимите руки, кому мои стихи понятны. Теперь, кому непонятны. Вот видите — вас меньшинство». Но в общем-то и сам, наверное, чувствовал, что это выглядит неубедительно. Тогда он пытался почти по-учительски объяснять, что восприятие стихов требует определенной культуры, знаний,

[1] Грум — слуга *(англ.)*.

лексического запаса, наконец. Когда этот запас пополнится, стихи будут понятны всем.

Подобные инциденты его огорчали всерьез и надолго.

В чем же был выход из этого положения? А все в том же: как можно больше выступать. С голоса стихи воспринимались гораздо лучше — об этом ему тоже не раз писали в записках. «Один мой слушатель,— говорил Маяковский,— это десять моих читателей в дальнейшем».

И он мотался по городам Союза, не жалея времени, отнятого от работы. Потому что выступления тоже были работой: «вторая работа — продолжаю традицию трубадуров и менестрелей».

Можно прибавить, что вторая работа была порой посложнее первой. Почему-то часто представляют поездки Маяковского в этаком победоносном духе, под восторженный рев и аплодисменты битком набитых залов. В действительности залы бывали нередко полупустыми. Шутил: «зал наполовину пуст, будем считать, что наполовину полон». Иногда, помогая кассирше, «сам на себя» продавал билеты. Случалось, что причиной полупустых залов или сорванных выступлений был сознательный саботаж устроителей, но все списывать на него было бы неправильно.

«Теперь, из исторической дали,— вспоминал Александр Гладков,— вероятно, кажется, что все наше поколение было влюблено в Маяковского, как был влюблен я. Грубо говоря, это верно, но необходимо сделать оговорку. На всю нашу огромную школу в Старокопюшенном переулке, носившую гордое наименование „имени Томаса Эдисона", где было по три-четыре параллельных группы таких, как я, в старших группах в годы 1926—1928 было всего двое — и это на полтораста или больше мальчиков в одной из лучших школ Москвы». Другие отдавали свои симпатии цирку, французской борьбе, кино. Из поэтов же, кроме Есенина, популярностью пользовались Уткин, Жаров, Безыменский, Маяковский для большинства оставался «фигурой спорной, фельетонной и даже анекдотической».

Не была бесспорной его репутация и в «Комсомольской правде», где Маяковский активно сотрудничал. Там «мэтрами» считались Иосиф Уткин и Джек Алтаузен, а Маяковский почитался только как талантливый фельетонист.

Лавут вспоминает, что молоденькая воспитательница детского сада, с которой Маяковский познакомился в поезде, не только не знала его стихов для детей, но лишь в этом разговоре услышала впервые имя поэта.

Борьба за слушателя и за аудиторию — одна из важнейших и драматических страниц биографии Маяковского. Он изнурял себя в этих поездках не меньше, чем за рабочим столом или круглосуточной работой в РОСТА. По свидетельству П. И. Лавута, в 25-м году «поэт провел вне Москвы 181 день... посетил сорок городов и свыше ста раз выступал (не считая диспутов и литературных вечеров в Москве)».

Это титаническое единоборство не было завершено. Вспомним, что за две недели до рокового дня Маяковский начал терять голос. Да только ли голос? Иногда казалось, что в нем что-то надломилось и он близок к отчаянию.

— За каким чертом они ходят меня слушать? — говорил он приятелю после одного из выступлений.— Из двадцати записок — половина ругательных... Что я им — забор, что ли, чтобы марать на мне матерщину?

Но все-таки это в разговоре с товарищем, когда погасла рампа, к тому же чувствуется привычная работа над словом: «что я им — забор, что ли...» А вот другой эпизод. Обсуждается «Баня». На сцену выходит «нечто безграмотное, нелепое что-то» — в общем, персонаж, привычный ему партнер для публичных реприз. «И вдруг,— вспоминает Н. К. Розенфельд,— я не узнал Маяковского. Мне стало жутко. Он весь сморщился, его передернуло, он вскочил из-за стола,— а он мог убить этого человека одной фразой! Он этого не сделал, он выскочил из-за стола, прямо простонал: „я не могу это слушать! Чушь! Это ужасно! Я не могу"». И убежал.

«Помните: в 1916 году...»

Последнее выступление в Плехановском институте:

— Товарищи! Меня едва уговорили выступить сегодня. Мне выступать надоело. *(В зале засмеялись.)* Я говорю серьезно. *(Снова раздался смех.)* Когда я умру, вы со слезами умиления будете читать мои стихи. *(Кто-то хихикнул.)*

Завтра он напишет свое предсмертное завещание: «В с е м!».

СМЕРТЕЛЬНАЯ РОЛЬ: *Владим Владимыч, это вы? идеологические сказки; человек будущего не может быть одинок; не судите просто.*

Сколь бы ни был откровенно театрализован поэтический мир Блока, мы и в Гамлете, и в Дон-Жуане, и в рыцаре Прекрасной Дамы, и в поклоннике Кармен легко обнаруживаем подлинный облик самого поэта. Сюжетно-биографического наложения может и не происходить, но психологическая, душевная адекватность обязательна (исключение — некоторые стихи второго тома, которые сам Блок не любил за «декадентство»).

Поэзия же Маяковского, как уже говорилось, чаще даже, чем блоковская, пря-

мо исповедальна по интонации. Автор не доверяет посредничеству лирического героя, в каждой строке присутствует он сам. Лирический сюжет развивается почти синхронно биографическому, как в дневнике, вплоть до деталей. А между тем, читая его стихи, мы все время держим в уме какой-то допуск. Как будто каждый сборник сопровождает какая-то инструкция, правила пользования. Мы никогда не читали их, вероятно, затерялись они где-то в жизненных черновиках, но почему-то знаем о их наличии, чувствуем их, как чувствуем законы страшной сказки, которым ведь нас тоже никто не учил. Понимаем, что это не то что не правда, а не взаправду.

И дело, как может показаться, не только в метафорической грандиозности созданного Маяковским мира, который меньше всего стремится к жизненному правдоподобию. Вот же в «Про это» и героя зовут Владим Владимыч, и номер телефона Лили — настоящий, только герой превращается в медведя. Не в этом суть. Кто из нас не превращался в зверей и пострашнее, попечальнее этого — реальность.

Сверхфантастичными представляются часто как раз прямые высказывания, в которых меньше всего ожидаешь встретить игру ума. Например: «я люблю смотреть, как умирают дети». Прочитал и думаешь: нет, это он не всерьез, это он что-то имеет в виду. Начинаешь сразу правила вспоминать. Может, он таким способом хотел как-то Иннокентия Анненского уязвить, спародировать или перещеголять, вспоминая знаменитые его строчки:

Я люблю, когда в доме есть дети
И когда по ночам они плачут.

А возможно, просто нас, читателей, эпатировал. Дети здесь, во всяком случае, ни при чем.

Если поэтика Маяковского и поэтика сказки, то сказки идеологической. Гипербола его — форма заострения идеи:

Что мне до Фауста,
феерней ракет
скользящего с Мефистофелем в небесном
паркете!
Я знаю —
гвоздь у меня в сапоге
кошмарней, чем фантазия у Гете!

Что это — раздраженное бормотание обывателя? Очень похоже, если забыть о правилах.

По Маяковскому же, это — ода человеку, единственной непреходящей ценности мировой культуры и всего мироздания:

Ей, вы!
Небо!
Снимите шляпу!
Я иду!

Читая Маяковского, всегда нужно прежде, чем задаваться вопросом: «что сказано?» понять: «зачем сказано?» Тут, как ни странно это звучит по отношению к стихам, эмоции свои надо порой сдерживать, фантазию стреножить:

А мы —
не Корнеля с каким-то Расином —
отца,—
предложи на старье меняться,—
мы
и его
обольем керосином
м в улицы пустим —
для иллюминаций.

Неужели автор, сотворяя эти стихи, представлял то, что описывал? Реально? Собственного отца, облитого керосином, и как он пускает его бегать по улицам горящим факелом? Нет, конечно. Да и повод-то выбран уж больно ничтожный и праздный — для иллюминаций — чтобы заставить себя вообразить такую чудовищность. Тут опять же важнее не «что», а «зачем». Чтобы сказать, что для революции не может быть больших жертв:

Мы смерть зовем рожденья во имя.
Во имя бега,
паренья,
реянья.

Не столько эти стихи должны тревожить воображение, сколько закалять сознание.

Эта идеологичность образов была у Маяковского всегда. В советскую эпоху его установки стали сознательно политичны.

Политичным было и его отношение к собственной личности. Он к слушателю и читателю выходил очищенным от бытовизма, личных недомоганий и слабостей. Это было для него так же органично и необходимо, как дипломату, который не может прийти на официальный прием с подвязанной щекой.

Собственная жизнь — художественный материал. Ненужное отбраковывалось, полезное шло в ход. Вспоминают, что в жизни он был «мнителен, чистоплотен и брезглив до болезненности... Боялся любой царапины, грязи... никогда не выпьет из чужого стакана, не съест из чужой тарелки, в чужих домах, в гостиницах всячески старался не прикоснуться к дверной ручке, по возможности избегал городского транспорта, предпочитал шагать через весь город пешком, лишь бы не дотрагиваться к чему-нибудь руками, десятки раз в день мыл руки и всегда держал для этой цели одеколон».

При этом ранний Маяковский в своей поэзии откровенно физиологичен: телеса, мясо, кровь, похоть, плевки... Личная чистоплотность и брезгливость тут как-то не пришлись ко двору. Зато очень пригодились, когда он стал работать в РОСТА и писать агитки. С большой охотой сове-

товал он перед едой мыть овощи и фрукты горячей водой, а также здороваться друг с другом и провожать без рукопожатий.

Характерно, что мнительный и чистоплотный Блок всегда и в стихах осторожно пользовался физиологией. В последние годы, правда, нечто в нем изменилось, что, как всегда у Блока, не могло не отразиться и на стихах. Пятого июля 1919 года Чуковский записал в дневнике: «любопытно: когда мы ели суп, Блок взял мою ложку и стал есть. Я спросил: не противно? Он сказал: „Нисколько. До войны я был брезглив. После войны — ничего“. В моем представлении это как-то слилось с „Двенадцатью“. Не написал бы „Двенадцати“, если бы был брезглив». Да, и «мясо белых братьев жарить» тоже бы не написал.

Вообще здесь у Блока и Маяковского процессы происходили едва ли не противоположные. Блок выходил из роли последовательно, иногда до полного разрыва с прежними художественными установками. Маяковский все убедительнее врастал в роль, порой до полного своего исчезновения в ней. Мораль и ответственность были моралью и ответственностью в предложенных обстоятельствах, так же и правда, если ее оценивать по законам сотворившего ее.

Образ поэта-великана, символизирующий своим физическим могуществом социальную мощь рабочего класса, был в некотором смысле более реален, чем бытовой облик. Конечно, и последний в чем-то менялся, приноравливаясь к историческому двойнику. Маяковский — и поэт и человек — становится с годами строже. Его язвительность и непреклонность получают четкий социальный адрес. Оставаясь верен своей индивидуальной походке, он соизмеряет поэтический шаг с шагом миллионов, видя себя впереди колонны исторических поколений. Роль ответственная, расслабляться нельзя. Говорят, не позволял себе этого даже дома: всегда в «свежевымытой сорочке», чисто бритый, подтянутый. Он был саркастичен, находчив, зол — смеялся он редко. Да и оптимизм его был политичен. Случалось, нападала на него депрессия, острое чувство одиночества, которое не могли заполнить многотысячные аудитории. Но он уже не принадлежал себе. Человек будущего не может быть одинок. Ему ли, предтече, жаловаться?

Он принял на себя смертельную роль человека-утопии.

Вот почему всяческие указания на несоответствия выглядят неубедительно и наивно. Не там ищут. Будто пиши Маяковский о своей мнительности и подверженности гриппу, он в большей степени выразил бы себя и свое понимание времени.

Всякие издевательства Маяковского над «сытыми», проклятья тем, «кто старательно работает над телячьей ножкой», значили разве, что сам он был аскетом и в телячьей ножке не знал толка? Достаточно прочитать, с каким чувством выбирал он блюда в духане, с каким знанием дела угощал друзей, чтобы понять, что это не так. Но ведь в стихах он имел в виду совсем другое.

Тут надо понимать.

А нашумевший автомобиль с личным шофером — притом, что он публично сообщил, что ему и «рубля не накопили строчки»? Хотел казаться лучше, чем есть? Да нет, не лучше, а таким, каким надо. Корысти тут не было. Иначе зачем с такой последовательностью уничтожительно писать о природе, если известно, что относился он к ней очень трепетно, был, например, заядлым грибником.

Или возьмите, что писал он — в «Юбилейном»:

Ту́шу
вперед стремя́,
я
с удовольствием
справлюсь с двоими,
а разозлить —
и с тремя.

Был ли Маяковский действительно силен в драке, мы не знаем. Похоже, однако, что в этом «жанре» он себя вовсе не пробовал. Но ведь нельзя не признать, что в общем построении образа эта поэтическая фигура выглядит органично и вполне уместно.

Или «Во весь голос»:

И мне
агитпроп
в зубах навяз,
и мне бы
строчить
романсы на вас —
доходней оно
и прелестней.

Из переписки с Лилей Брик мы знаем, что работа в РОСТА была основным источником материального существования Маяковского в те годы. Вряд ли «романсы» были бы «доходней». А главное, Маяковский делал то, что хотел и умел. «Романс» просто не был его стихией. Но ведь стихи совсем о другом. Это он лирику в штыки атакует, подчеркивает драматическую значимость своего труда:

Но я
себя
смирял,
становясь
на горло
собственной песне.

Точно так же ему было необходимо зазвать в гости солнце, чтобы сказать во всеуслышанье о призвании поэта.

ДВЕ ИСТОРИИ: *Катя и Алиса ищут спасения.*

Две истории совпали как бы ненароком в моей памяти. Любопытные сами по себе, они образовали союз слишком поверхностный, воспользовавшись, должно быть, какой-то тривиальной потребностью моего ума.

Первая история рассказана в воспоминаниях Ольги Форш «Маяковскому». Второй посвящен очерк Вл. Орлова «Игра с огнем». Маяковский и Блок. Начнем со второго.

Героиня блоковской новеллы — Катя Рудомазина — интеллигентная девушка, влюбленная в поэзию Блока. Она чрезвычайно одинока и бедна. Ночами шьет себе туфли из тряпок, чтобы было в чем пойти на службу, и с ужасом думает о предстоящей зиме.

Героиня маяковской новеллы — некая Алиса — старший манекен в большом модном доме в Париже. Она не бедна, но тоже очень одинока и несчастна. На днях гарсон обмахнул ее, как болвана, и не из желания унизить, а по невнимательности спутав с деревянным манекеном.

Время действия — двадцатые годы. Место действия — Москва и Париж. Вечер Блока в Москве — завязка первой истории. Выступление Маяковского в Париже — развязка второй.

Катя впервые увидела своего кумира на выступлении весной двадцатого года в Политехническом. Сразу после этого, ночью девятого мая она написала ему первое письмо: «мне хочется познакомиться с Вами, потому что с той минуты, как я услышала первую строчку Ваших стихов, я была охвачена безумной мечтой о Вас, для меня вы были гениальным поэтом всех времен и всех народов, самым прекрасным человеком, самой отзывчивой душой во всем мире... На каждый порыв души я находила отклик в Ваших стихах».

Кто это пишет — поклонница или влюбленная? В том-то и дело, что, когда речь шла о Блоке, эти слова часто обозначали одно и то же. Он и сам знал это. Стихомания — частное проявление декадентского сознания, противопоставляющего искусство жизни и оттого нередко смешивающего жизнь и искусство. Часто не имевшая для пропитания даже куска хлеба, Катя тем не менее последние свои деньги тратила на поэтический или музыкальный вечер, чтобы подкормить не менее голодную душу. Стихи казались ей приветом с другого берега. Блок был олицетворением неведомой прекрасной жизни; прекрасное было искусством; она влюбилась в поэта: «Вы можете только мимоходом бросить мне тысячную долю Ваших несметных богатств и гордо сказать: „на, лови!“ — и для меня это будет невозможное счастье, после которого не жалко умереть».

Любя и жизнь и прекрасное, она наибольший отклик себе находила в стихах Блока о гибели и тщете жизни, объяснялась поэту строчками из его же стихов, умоляла, чтобы ее облагодетельствовали властным капризом и готова была принести в жертву этому невозможному счастью самую жизнь.

Так в конце концов и случилось. Блок мягко отклонил просьбу о встрече, написав, что давно не был в Москве, а «потому должен ходить в тысячи мест — и для дела, и для души». Между тем некий Д., устраивающий московские выступления Блока, предложил Кате поехать с ним в Петроград и познакомить с Блоком. Форма, в которой было сделано предложение, не оставляла сомнения в том, какова должна быть плата за услугу. Должно быть, первой реакцией Кати были инстинктивный испуг и отвращение. Но желание познакомиться с Блоком победило. И в своем истерическом отчаянии она, возможно, приняла этот мелкий обман за ту жертву, которая рисовалась ее воображению. Уже осенью, то есть после долгих колебаний, она пришла к Д. Шаг этот закончился трагически — прямо из окна его квартиры Катя выбросилась на мостовую.

Историю парижскую можно рассматривать в некотором роде как негатив только что описанного сюжета.

Отчаявшись побороть одиночество и обрести независимое существование, Алиса приготовила объявление для одной из парижских газет, адресованное неизвестному. В этом объявлении «девица, блондинка, свежая кожа, талия сорок восемь», предлагает неизвестному договориться о встрече.

— Не правда ли, совсем, как про лошадь,— усмехается автопортретистка.

Отговаривая Алису от этого шага, подруга дает ей какие-то революционные листки, портрет французской коммунистки Луизы Мишель, которая производит на манекенщицу большее впечатление, нежели скучные листки, и, чтобы окончательно перевести ее в свою веру, советует пойти на вечер приехавшего в Париж русского поэта.

Так с помощью Форш Алиса оказывается на вечере Маяковского.

Вечер, по словам Форш, произвел на присутствующих огромное впечатление: «он рождал свои слова, как первый человек, когда он в самый первый раз называл по имени вещи. Такая новизна была в его интонации, что стих его, как ядро, попадал прямо в цель».

Уже у порога своей комнаты Алиса тихо сказала:

— Когда-нибудь передайте ему, что, конечно, не бог весть кто, но все-таки живой человек, поддержанный его душевным огнем, нашел в себе силу изменить свою жизнь.

Неизвестно, узнал ли Маяковский когда-нибудь об этой истории, но, несомненно, он бы обрадовался ей. Она словно была специально придумана как идеальная иллюстрация к его всегдашнему убеждению, что поэтическое слово должно впрямую вторгаться в жизнь и изменить ее. Кроме того, Алиса была из племени тех парижанок, о которых он писал:

...очень
трудно
в Париже
женщине,
если
женщина
не продается,
а служит.

И вот одна из этих парижанок взбунтовалась.

«Очень хорошо!»

Блоку о трагедии Кати Рудомазиной рассказала в письме ее подруга Зоя Москвина. Ответ Блока не сохранился, но сам он охарактеризовал его в записной книжке двумя словами: «злобно и нервно». Частично восстановить содержание ответа можно по второму письму Москвиной. «Из ее ответа видно,— пишет Орлов,— что Блок упрекнул девушку за „жалкие, либеральные слова“, которые означают тоску по жизни только „тепленькой“, а не пламенной, испепеляющей в человеческих душах все, чем загромождена их старая испорченная жизнь».

Простенькие фигуры героинь обоих сюжетов как бы провоцируют на столь же простенькое истолкование двух моделей поведения. Да к тому же с исторической подоплекой. Действительно, разве Катя Рудомазина не заурядный персонаж эпохи символизма с его порываниями к идеальному и беспредельному, на месте которых оказывается искусство, заменяющее собой жизнь, превращающее ее в комический балаган нередко с трагической развязкой.

Совсем другое Алиса. Она не отравлена искусством, поскольку, судя по всему, никогда не была заражена им. Отсюда противоположно направленные векторы их стремлений. Обе отравлены — жизнью, но первая ищет спасения в искусстве, вторая — в личном счастье в буржуазно-мещанской его форме. Обе готовы пожертвовать для этого своей честью, но одна во имя иллюзорно-возвышенного, другая — ради приземленно-конкретного. Одно время — эпохи разные. Поэтому и развязки разные. И вполне символично, что именно Маяковский столкнул Алису с пути буржуазно-мещанского. Ведь он нес слушателям и читателям не проблему, а ответ:

Я с теми,
кто вышел
строить
и месть
в сплошной
лихорадке
буден.

Блок, принявший революцию, нес в себе все ее проблему, которую слушатели и читатели возвращали ему: «я не хочу „тепленькой“ жизни,— сопротивлялась Москвина,— и мечусь, ища какой-то другой жизни, но где ее искать и какая она? А Вы какой живете жизнью? Вот я ушла от этой серенькой, мещанской, провинциальной жизни — и теперь не знаю, где же та большая и яркая жизнь, что горела впереди. ...Иногда, когда я много занимаюсь ритмом или бываю в Пролеткульте, читаю Вашу поэму „Двенадцать“ или слышу Марсельезу, передо мной проносится образ большой, захватывающей жизни, но всегда-то жизнь какая? И как это сделать, чтобы всегда видеть цель, к которой стремишься?..»

Вот тут-то и становится очевидным, что аналогия наша грешит некоторым схематизмом и прямолинейностью. Перед Маяковским-поэтом проблема, о которой говорит почитательница Блока, не стояла, но ведь это не значит, что ее вовсе не было, что она не встанет через некоторое время и перед вдохновленной им Алисой. То есть и он, конечно, уперся мощной своей фигурой в быт, но увидел в нем лишь стену, которую принародно разрушал своим фантасмагорическим пафосом. Но, разрушенный в поэтической идее, быт продолжал существовать как среда человеческого обитания. Призывая к титаническому поединку с ним, поэт оставлял в сущности открытым дело практического разрешения проблемы для миллионов обывателей. Не знающий ответов Блок был в этом смысле бо́льшим реалистом и практиком. Хотя это не помешало обоим в борьбе с бытом потерпеть поражение. Вопрос «как?» стоял, но слово здесь было уже не за символистом или футуристом, а за самой жизнью. Маяковский подхватил блоковское «нет!», сказанное старому быту, в своей поэзии, он же еще глубже вбил в сознание людей вопрос «как?» своей жизнью.

ОН И ОНА: *нелюбящие возлюбленные; «маленький громадик»; посмертная беспристрастность; левая теория любви и герои Чернышевского; двухмесячное заключение Маяковского; для борьбы с бытом нужны как минимум двое — он был один.*

Блок всю жизнь посвящал матери стихи. Конечно, нервная ее болезнь нарушала иногда равноправие диалога, да и зазор

между поколениями естествен и необходим. Но все же из ее рук получил он сборник стихотворений Владимира Соловьева, через нее полюбил Байрона и Фета. И Достоевского. И чуткая нервная связь между ними не убывала.

Асеев вспоминает о Маяковском: «к матери он относился с нежной почтительностью, выражавшейся не в объятиях и поцелуях, а в кратких допросах о здоровье, о пище, лекарствах и других житейских необходимостях. ...Но длительных семейных разговоров он не заводил, да и недолюбливал. Вкусы, очевидно, были разные. По крайней мере, те разы, которые я бывал у него в семействе, было заметно, что разговоры, помимо самых необходимых предметов, не клеятся. Да и меня он так усиленно тащил поехать к родным, что казалось, ему нужен громоотвод от громыхания голоса Ольги Владимировны и молний, сверкавших в глазах другой сестры Людмилы, кажется обижавшейся на некоторую отчужденность Владимира Владимировича от родственных связей».

Маяковский жил от матери отдельным домом. Вернее, комнатой в коммуналке. Но дело даже не в этом. Дело в том, что любимая его жила в другом доме. Как бы мы ни старались обойти этот вопрос (а собственно, почему?), он возникает. Стыдная тайна сохраняется на его отношениях с Лилей Брик, хотя ей он посвятил многие замечательные свои произведения.

Возлюбленные поэтов — величайшая загадка. Иногда не менее великая, чем сами поэты. Отчего же в жизнеописаниях Маяковского это фальшивое нелюбопытство?

Он — Маяковский. Она — Брик. Она его не любила.

> «Он» к «она» баллада моя.
> Не страшно нов я.
> Страшно то,
> что «он» — это я
> и то, что «она» —
> моя.

Впрочем, я ведь сам произнес слово загадка. «Не любила» — происшедшего не отражает. Да и что можно сказать окончательного про то, о чем и сам человек никогда не знает всего. Нам остается прислушаться к доводам любви: «я любила, люблю и буду любить Осю больше чем брата, больше чем мужа, больше чем сына. Про такую любовь я не читала ни в каких стихах, ни в какой литературе. ⟨...⟩ Эта любовь не мешала моей любви к Володе. Наоборот; возможно, если б не Ося, я любила бы Володю не так сильно. Я не могла не любить Володю, если его так любил Ося».

Не на сложность чувства к Осипу Максимовичу, которое, по убеждению Л. Ю. Брик, не имело литературных аналогов, хочу я обратить внимание. Нет оснований не верить этому так же, как и тому, что с 1915 года (год знакомства с Маяковским) они с мужем не были близки физически и, стало быть, сплетни о «треугольнике» нужно считать в полном смысле слова сплетнями. Но вот последний довод в пользу любви к Маяковскому очень напоминает обмолвку. Всерьез этот довод принять нельзя.

Не боясь сильно отклониться от истины, нужно сказать, что ни одна женщина, которую Маяковский любил, не отвечала ему такой же мерой взаимности, в том числе главная и единственная из всех — Лили Брик. Спасти могла еще только Татьяна Яковлева, но и эта «фатальная женщина», как она себя называет, 22 лет отроду («красивому, двадцатидвухлетнему» Маяковскому в период их знакомства было уже далеко за тридцать) больше гордилась своим уникальным поклонником, чем любила его. Отвлечемся еще на доводы и этой любви.

Из письма Татьяны Яковлевой: «если я когда-либо хорошо относилась к моим „поклонникам“, то это к нему, в большой доле из-за его таланта, но и еще большей из-за изумительного и буквально трогательного ко мне отношения». И тут же: «но ты не пугайся! Это, во всяком случае, не безнадежная любовь. Скорее наоборот».

Вольно́ нам обвинять возлюбленных и нелюбивших. Всю житейскую стыдность этого мы компенсируем в биографиях великих. Но и здесь, в сущности, это так же стыдно. Хотя здесь как будто с бо́льшим, чем в личных обстоятельствах, правом, мы говорим о женском мещанстве, легкомыслии, неглубокости и рационализме. Но ведь поэты любили именно их! Что же мы записываемся в непрошеные адвокаты? Так и чувствуешь над собой безличную непререкаемую улыбку.

Давайте лучше еще раз послушаем Татьяну Яковлеву. Письмо матери написано 3 августа 1929 года: «я совсем не решила ехать или как ты говоришь, „броситься“ за М. и он совсем не за мной едет, а ко мне и ненадолго... Я очень мучаюсь всей сложностью вопроса, но мне на роду написано „сухой из воды выходить“. ...Замуж же вообще сейчас мне не хочется. Я слишком втянулась в свою свободу и самостоятельность. Делать шляпы в своей „оранжерее“ (комната моя всегда заставлена цветами). Хотят еще меня везти в разные страны, но все другое ничто рядом с М. Я, конечно, скорее всего его выбрала бы. Как он умен!..

У меня сейчас масса драм. Если бы даже я захотела быть с М., то что стало бы с Ильей и кроме него есть еще 2-ое. Заколдованный круг».

По словам Лили Брик, Любовь Маяковского походила на нападение. Она жалуется, что в течение двух с половиной лет не была свободна ни на одну минуту. О той же силе чувств пишет и Татьяна Яковлева: «его чувства настолько сильны, что нельзя их не отражать хотя бы в малой степени». Для одной женщины этого было, пожалуй, слишком много. Но инстинктом женщина должна была чувствовать, что такая страсть способна была превращать дома в пепелища, но создать дома она не могла.

«Ни одной минуты». Конечно, это выглядит естественным преувеличением. Но только не тогда, когда речь идет о Маяковском. Тут, похоже, слово у него никогда не расходилось с делом. А слово — вот оно: «Дневник для Лилички 7—11 марта 19 года по часам

Пью чай и люблю
Тоскую без Личика
Думаю только об Киське
Люблю при фонарике Лику Спокойной Сплю
Доброе утро люблю Кисю. Продрал глаза
На извоз(чике) тоже люблю только Кисю
В столовой тоже только Кися
Сижу дома и хочу к Кисе
Доброе утро Лиска
Люблю Кисю до чая»

Стоило один раз написать ей: «получила сегодня твое письмо — оно ни с какой стороны не удовлетворительно: и неподробно и целуешь меня мало»,— Маяковский начинает тут же в геометрической прогрессии наращивать количество поцелуев. До этого: «целую тебя». После выговора: «целую 32 м (миллиона) раз в минуту»; «целую тебя 186 раз»; «целую 10 000 000 раз»; «целую тебя 150 000 000 раз».

Куда бы дальше? «Пиши, детка, скорей, а то я так больше не могу, целую тебя 100 000 000 000 000 000 000 раз».

Ну? «Целую 10 000 005 678 910 раз». Не просчитал, конечно. Меньше вышло.

Разумеется, все это фигуры риторические и поэтические. Но к реальности, скажем так, имеющие большее отношение, чем обычно в подобных случаях. «Маленький громадик» (так называла его порой Лиля) не мог иногда не пугать. И не утомлять. Держать его в качестве покорного и влюбленного «щенка» было, конечно, лестно, но и о собственной безопасности позаботиться было не грех.

Некоторым она признавалась, что Маяковский скучен. Маяковский, острослов и джентльмен, скучен?

Это в общем-то легко понять. Из чего чаще всего состоит любовь? Из умолчаний, кратковременностей, пустяков, невстреч... Помните, у Ахматовой:

> Шиповник Подмосковья,
> Увы! при чем-то тут...
> И это все любовью
> Бессмертной назовут.

А тут — все шквал, непрерывность, значимость, превосходная степень, предел. За пределом. За запределом.

Любовь — жанр. Существеннейший параметр — время. Его условие бесповоротно и по-варварски нарушено. Романтизм. Да, романтизм при таком восприятии скучен. Простое житейское, «надо же знать меру!». Или: «сколько можно?». Ответ: «всегда можно».

— Вы себе представляете,— говорила Лиля.— Володя такой скучный, он даже устраивает сцены ревности.

Сама Брик сцен ревности не устраивала. Но не потому, что начисто была лишена этого старомодного чувства. Просто ревность является в некотором роде выражением бессилия, а она знала за собой власть. Однажды, заподозрив (и, судя по всему, безосновательно) Маяковского в измене (вернее, даже в попытке измены, которая заключалась в обычном ухаживании), она написала ему жестко, с необыкновенным для любящей женщины рационализмом и без всякой истерики: «через две недели я буду в Москве и сделаю по отношению к тебе вид, что я ни о чем не знаю. Но т р е б у ю: чтобы в с е, что мне может не понравиться, было а б с о л ю т н о ликвидировано.

Чтобы не было ни е д и н о г о телефонного звонка и т. п. Если в с е э т о не будет исполнено до с а м о й м е л к о й м е л о ч и — мне придется расстаться с тобой, что мне совсем не хочется, оттого что я тебя люблю».

Надо сказать, не боясь показаться обывателем: то, что служило живительнейшим импульсом для творчества, составляло трагедию жизни. Если верить мемуаристке, Лиля Брик говорила: «страдать Володе полезно, он помучается и напишет хорошие стихи».

Стоит прочитать воспоминания Лили Брик, вышедшие вскоре после гибели Маяковского, чтобы многое понять. Какая подкупающая, рассеянная любовь к жизни, к ее радостям и авантюрам. Кажется, будто она проживала в одесском анекдоте.

«У Мани И. был очень корректный муж, но не было детей, зато их канарейка, живущая в клетке в полном одиночестве, вдруг снесла яйцо: обвинили Маниного мужа». Или: «она была замужем раз 5 и всем мужьям отчаянно изменяла. С. бросал в нее старинным фарфором подешевле до тех пор, пока она не швырнула в него самые ценные часы из его коллекции, тогда он угомонился и дал ей развод». Вперемежку со всем этим — Володя. Чрезвычайности, если в нем, конечно, было тоже достаточно. Вот только если бы не эта утомительная привычка вытеснять собой все.

Безмерное его поклонение было Лиле несомненно приятно и даже, может быть, необходимо. Более того: только безмерное и могла она принять как норму. Но и эта великая страсть должна была знать свое место в ее жизни. Потому что рассеянная любовь к жизни, как таковой, была в ней сильнее любви к нему. Она и в день его похорон, посетовав на то, что Маяковский не представлял реально, «что смерть — это гроб, похороны», иначе «ему стало бы противно», незаметно перевела разговор на семейные дела Давида Штеренберга.

Поэту за прижизненную травлю платят посмертным обожанием. Возлюбленной его за прижизненное обожание отвечают посмертной беспристрастностью, которая порой тоже походит на травлю. Лиле Брик после его смерти досталось сполна.

В чем только ее не обвиняли! В том числе в небывшем. В. Воронцов и А. Колосков, особенно не затрудняя себя аргументами, намекнули даже на то, что Брик сыграла свою зловещую роль в том, что Маяковского не выпустили в Париж. «Кто же мог воспрепятствовать в столь важной для него поездке в Париж? И не странно ли, что всего через пять месяцев после отказа в визе Маяковскому в далекую заграничную поездку (в Англию) отправились супруги Л. и О. Брик?»

Авторы как будто запамятовали, что мать Лили Юрьевны работала в английском Торгпредстве, что за границей находилась ее сестра — Эльза Триоле. Таким образом, речь шла о свидании с родными. К тому же Брикам поначалу тоже было отказано в визе, и не исключено, что на окончательное положительное решение повлияло заступничество Маяковского в правительстве и его публичное выступление в «Комсомольской правде».

Некоторые мемуаристы в Лиле Юрьевне Брик видят главную причину житейского неустройства Маяковского и того, что его семейная лодка в конце концов разбилась о быт. Вспоминает Е. А. Лавинская: «а вся неразбериха, уродливость в вопросах быта, морали? Ревность — „буржуазный предрассудок“. „Жены, дружите с возлюбленными своих мужей“. „Хорошая жена сама подбирает подходящую возлюбленную своему мужу, а муж рекомендует своей жене своих товарищей“. Нормальная семья расценивалась как некая мещанская ограниченность. Все это проводилось в жизнь Лилей Брик...»

Тут, чтобы хоть до какой-то степени приблизиться к пониманию происходящего, необходимо отделить факты от их трактовки. Прежде всего надо признать, что левые теории в отношении любви и семьи не являлись монополией и изобретением Бриков, а потому и не были индивидуальным вывертом их сознания. Расшатывание старого быта началось еще до революции. В 20-е же и 30-е годы явление это было чрезвычайно распространенным и, по существу, закономерным. Стоит вспомнить, что говорил по этому поводу В. И. Ленин Кларе Цеткин: «В эпоху, когда рушатся могущественные государства, когда разрываются старые отношения господства, когда начинает гибнуть целый общественный мир, в эту эпоху чувствования отдельного человека быстро видоизменяются. Подхлестывающая жажда разнообразия в наслаждениях легко приобретает безудержную силу. Форма брака и общения полов в буржуазном смысле уже не дает удовлетворения. В области брака и половых отношений близится революция, созвучная пролетарской революции».

Несомненно, во власти этих чувств находился и сам Маяковский. И отрицательный пафос явно перевешивал в нем положительные представления. Можно ли, например, эти строки перевести на язык каких-либо реальностей?

Чтоб не было любви — служанки
замужеств,
похоти,
хлебов.

А если можно, то чем это отличается от «программы» самой Лили Брик? Или возьмем другие строчки Маяковского, которые знает сегодня каждый школьник:

Любить —
это с простынь, бессонницей рваных,
срываться,
ревнуя к Копернику,
его,
а не мужа Марьи Иванны,
считая
своим
соперником.

Все мы в юности воспринимаем эти стихи в их максималистской устремленности к небывалому. Любовь — горизонт духовных притязаний, мотор творчества и самой жизни. В юности нам кажется кощунственным трактовать приведенные строки в бытовом плане. Иначе неизбежно пришлось бы задать вопрос: «а как же все-таки с мужем Марьи Иванны, если он еще и любовник твоей жены?» В молодые годы вопрос этот в силу гипотетичности самой ситуации представляется невообразимой пошлостью. Но ведь все высокое проходило проверку бытом. Перевести на язык бытовых реалий вовсе не значит принизить. Но тогда опять же придем к Лилиному: «ревность — буржуазный предрассудок».

Кстати, сама Лиля Брик совершенно с других позиций объясняла то, что Лавинская преподносит в одиозном свете. Она утверждала, что примером для их бытового эксперимента служили «новые

люди» из романа Чернышевского «Что делать?». Именно ориентируясь на их поведение и взгляды, Маяковский и Брики считали, что основой любви является личная независимость и свобода.

Не доверять искренности этих утверждений у нас нет никаких оснований. В сущности, все это находилось в русле близкой Маяковскому теории «жизнестроительства». В области семьи он был таким же искренним утопистом, как и в теории искусства, в строительстве собственного образа. Умозрительность и страстная убежденность здесь шли рука об руку. Но жизнь никогда еще не была способна обеспечить чистоту эксперимента. Для теоретика уже одно это — мука. На самого же честного из экспериментаторов ложится и бо́льшая часть страданий. Так было с Блоком, так случилось и с Маяковским.

Знаменитое домашнее заключение Маяковского, длившееся с 28 декабря 1922 года по 28 февраля 1923 года, в результате которого была написана поэма «Про это». Лиля Брик дает этому эпизоду такое объяснение: «...жилось хорошо; привыкли друг к другу, к тому, что обуты, одеты и живем в тепле, едим вкусно и вовремя, пьем много чая с вареньем. Установился „старенький, старенький бытик“.

Вдруг мы испугались этого и решили насильственно разбить „позорное благоразумие“».

Некоторое отношение к происходящему это, конечно, имеет. Во всяком случае мотив «чая» не раз возникает в поэме:

— Володя,
родной,
успокойся! — Но я им
на этот семейственный писк голосков:
— Так что ж?!
Любовь заменяете чаем?
Любовь заменяете штопкой носков?

Не слишком, вероятно, справедливый упрек материнской семье. Маяковский это скорее всего и сам почувствовал. Потому что следующей же строчкой считает нужным оговориться:

Не вы —
не мама Альсандра Альсеевна.
Вселенная вся семьею засеяна.

Но суть сейчас даже не в этом. Суть в том, что для Лили все это являлось скорее предлогом, чем причиной. Также скорее всего поводом являлось и то, что Маяковский в докладе «Что делает Берлин?» пользовался, не оговариваясь, фактами и переживаниями, которые узнал от других, в частности, от Оси. Лилю это очень рассердило.

Обращает на себя внимание другое: летом 1922 года у Брик начался роман, о котором Маяковский знал. Реакцию его можно себе представить. «Буржуазный предрассудок», несмотря на все теории, он из себя вытравить не мог.

Ревновал он тоже гиперболически. Однажды Лиля Юрьевна рассказала ему, что перед брачной ночью мать поставила в комнату молодоженов фрукты и шампанское. Как эта, скорее всего мимоходом оброненная деталь, отозвалась в его стихах, мы все помним:

В грубом убийстве не пачкала рук ты.
Ты
уронила только:
«В мягкой постели
он,
фрукты,
вино на ладони ночного столика».

А ведь все это относилось к давно прошедшему. Что же говорить об отношениях, происходящих почти что у него на глазах! Конечно, он измучил ее своей ревностью. Надо было от него на время избавиться. Тут-то и пригодился ригоризм шестидесятников, тем более, что у самого Маяковского с ними было немало точек соприкосновения. Страстно и гневно о свободе личности, саркастически о приступах ревности. Но против этих резонов Маяковский, в его-то состоянии, мог, чего доброго, и взбунтоваться. Надо было каким-то образом поставить его в положение зависимое и виноватое. Тут-то и был пущен в ход «старенький бытик». При этом подразумевалось, что больше всех погряз в нем, конечно же, сам Маяковский. Расчет оказался безошибочным. Маяковского можно было победить только так — показавшись левее и радикальнее его.[1] Уязвленный и опозоренный, он добровольно удалился под «домашний арест» заслуживать прощенье.

Важно в этой истории и другое: Л. Брик, отлучив Маяковского от радостей жизни, при непременном условии, чтобы он не искал с ней встреч и вообще ни с кем без дела не общался, не считала нужным наложить епитимью на себя. Она не только не отказывала себе в чае с вареньем, но не раз в это время собирала у себя гостей, которые не довольствовались одним чаем.

Маяковский (виноват!) запрет нарушал. И записки ей посылал, и жался на лестнице под дверью:

Гостьё идет по лестнице...
Ступеньки бросил —
стенкою.
Стараюсь в стенку вплеснуться,

[1] Это верно для всех максималистов. Характерно, что когда Ремизов, намекая на образ жизни Блока, надписал ему свою книгу «...с пожеланием увидеть еще раз Фаину и не заспать сна своего, не разгулять его кофейными разговорами...», — Блок, судя по всему, нашел этот упрек в «кофейных разговорах» справедливым.

и слышу —
струны тенькают.
Быть может, села
вот так
невзначай она.
Лишь для гостей,
для широких масс.
А пальцы
сами
в пределе отчаянья
ведут бесшабашье, над горем глумясь.
А вóроны гости?!
Дверье крыло
раз сто по бокам коридора исхлопано.
Горлань горланья,
оранья орлó
ко мне доплеталось пьяное дóпьяна.

В этой муке и борьбе было что-то от Дон Кихота. Борьба с бытом оборачивалась борьбой с ветряными мельницами. Для борьбы с бытом нужны как минимум двое. Он был один. И жизнь на две квартиры выносил один — оседлость Бриков это никак не затрагивало. Донкихотское было и в священном отношении к имени возлюбленной:

Скажу:
— Смотри,
даже здесь, дорогая,
стихами громя обыденщины жуть,
имя любимое оберегая,
тебя
в проклятьях моих
обхожу.

Как знать, может быть, Дон Кихот Ламанчский вспомнил, что он Алонсо Кехана (вряд ли!), может быть, увидел, что Дульсинея Тобосская — вовсе не Дульсинея, а Альдонса Лоренсо (тоже вряд ли), а может быть, понял, что великаны продолжают, несмотря на его отвагу, вертеть невозмутимо мельничными крыльями? Ни одной из этих версий мы уже никогда не найдем подтверждения.

СМЕРТЬ КАК ЖИЗНЬ: *смерть словно бы догоняла уходящего Блока; пуля Маяковского летела ему навстречу.*

Блок, как хороший крестьянин, успел приготовиться к смерти.

Каждый человек в той или иной мере обладает знанием будущего, в том числе и своего конца. В этом нет ничего мистического. И фатализма нет. Знание будущего — одна из форм развитого самосознания, которое иногда принимает форму личного пророчества.

Не раз говорилось о том, как Блок «напророчил» себе «Незнакомку». Но вот его признание в письме Андрею Белому, еще более поразительное: «...вся история моего внутреннего развития „напророчена“ в „Стихах о Прекрасной Даме“». Этому не нужно удивляться, как не удивляемся мы тому, что врач на основании отдельных симптомов способен поставить диагноз болезни.

Конечно, если молодой Маяковский задумался однажды, «не поставить ли лучше точку пули в своем конце», то это еще не может служить указанием на фатальность его конца. Хотя бы потому, что есть в его стихах «пророчества» и прямо противоположные. К тому же, как ни важна в данном случае личная воля, многое зависит от обстоятельств. И все же смерть является как бы продолжением жизни, до боли похожей на жизнь в трагическом преломлении ее.

Блок в стихах не раз проигрывал свой конец и чаще всего он представлялся ему прижизненной смертью. Как и тринадцать лет назад в решающий момент ему

...стало беспощадно ясно:
Жизнь прошумела и ушла.

Все задуманное было к этому времени завершено. Исключение составляет лишь поэма «Возмездие». Но последние ее главы жизнь поспешила дописать сама, не ожидая, пока он совладает с планом. «О назначении поэта» написано с такой трезвой озаренностью, как будто и сам поэт не сомневался, что пишет духовное завещание. Меньше чем за три месяца до смерти, прервав молчание, он твердым еще почерком пишет автограф своего прощального стихотворения «Пушкинскому Дому». Апокалиптический песок нового времени медленно и неуклонно уходил из-под ног.

Сергей Бобров в футуристической запальчивости успел выкрикнуть в лицо еще живому поэту: «мертвец!». Для совершения этой чудовищной бестактности не нужно было обладать особой проницательностью. Блок шел уже по краю этого мира своей похоронной походкой.

Едва получив известие о смерти Блока, Ахматова написала четверостишие, начинающееся словами:

Не странно ли, что знали мы его.

Так пишут спустя десятилетия, удивляясь огромности прожитой жизни. Но уже в августе двадцать первого года многим казалось, что после жизни Блока прошли десятилетия. «Блоковский романтический максимализм не соответствовал возможностям жизни и, сталкиваясь с нею, приводил к трагическому конфликту, а мы были молоды и не хотели трагедии. Но и это не все. Там, где глубина сознания требует современных, прежде всего предметных форм выражения, плотного словесного вещества, я и некоторые из моих сверстников чувствовали себя уже вне блоковских измерений, оторванными в чем-то важном от этого дорогого нам, сформировавшего многих из нас поэта. Особенно это относилось к тем из наших товарищей, кто писал стихи, то есть переживал этот сдвиг без всяких дистанционных смягчений!» (Д. Максимов).

В более общей форме это состояние выразила Л. Я. Гинзбург: «события движутся столь стремительно, что человек со своими стихами, романами, вообще психическим строем и мышлением не попадает в темп. Не только искусство, но гуманитарное вообще оказалось в другом измерении. Самолет движется, превышая умопостигаемую скорость, а пассажир повис в пространстве».

Не странно ли, что знали мы его...

Смерть словно бы догоняла уходящего Блока, будто удивлялась — отчего он медлит, когда она уже готова. Пуля Маяковского летела ему навстречу. Он словно бы натолкнулся на нее, случайную, и сам еще успел удивиться. Хотя нет, был, конечно, и момент обреченности на гибель, подоплеку которого мы вряд ли когда-нибудь узнаем, но и он вызывал не покорность, а недоумение. Случайной гостье 13 апреля прочел предсмертное письмо и произнес загадочную фразу: «я самый счастливый человек в СССР и должен застрелиться». После 14 апреля не было волны самоубийств, как то имело место после гибели Есенина. Он и в смерти не мог стать предметом для подражания.

Ему тоже, как и Блоку, кто-то выкрикнул в лицо, что он «труп». Но Маяковский ответил в обычной для него манере:

— Странно, труп я, а смердит он.

Все другое. Ни о какой завершенности задуманного не может быть и речи. К поэме «Во весь голос», быть может, лучшей из его поэм, он успел написать только первое вступление.

Многие еще помнили, что день его гибели по старому стилю приходится на первое апреля, и поначалу восприняли известие о смерти как мрачный розыгрыш. А. В. Луначарский после телефонного звонка возмущался:

— Черт знает что! Возмутительно! Какие-то пошляки позволяют себе хулиганские выходки! Жалею, что повесил трубку,— следовало бы проучить.

А сколько свиданий назначил он перед роковым концом, сколько встреч обещал в будущем! Один из вечеров, на котором он должен был выступать, превратился в вечер его памяти.

Он обещал выступить перед пионерами и школьниками в Радиотеатре, за несколько дней до гибели дал твердое согласие присоединиться к разъездной редакции газеты «За большевистский сев». Больной, позвонил Е. А. Лавинской, работавшей над оформлением его пьесы «Москва горит», сказал, что ему нездоровится, поэтому «лучше сегодня не надо, но давайте точно зафиксируем вечер встречи». Остановились на 14 апреля. Кто же «точно фиксирует вечер встречи» на день, который выбран днем самоубийства?

Нет, несмотря на заблаговременно написанное завещание, он несомненно колебался до последней минуты. Один из мемуаристов запомнил, что говорил Маяковский за несколько недель до гибели:

— Сколько бы там РАПП ни старался, я все же буду жить и буду писать.

Сколькие вспоминают, что Маяковский удерживал их после окончания разговора, словно боялся остаться один.

Но и готовился, все же, конечно, готовился. За день или за два до смерти зашел к машинистке:

— Товарищ Люся, и вам ничего не должен?

И в ответ на удивленное «нет» медленно вышел из комнаты.

ВЕДЬ ЭТО ДЛЯ ВСЕХ: *разные Маяковские; несчастье — предосудительный абсурд; личный и общественный лирик? пасть английского бульдога; романтики старости не понимают; он нуждался в огромной ласке.*

12 августа 1915 года в «Журнале журналов» поэт обратился к публике со статьей «О разных Маяковских». Ему надоел маскарад, надоела публика, которая приняла этот маскарад слишком всерьез. С саморазоблачительной иронией, под которой крылось издевательство над доверчивым буржуа, он кидал к его ногам одну маску за другой — «нахала», «циника», «извозчика», «рекламиста». Автохарактеристику завершала приложенная к ней фотография: «микроцефала с низким и узким лбом слабо украшает пара тусклых вылинявших глаз». Не зная в разговоре с публикой другого тона, кроме издевательского, он просил «милостливых государынь и милостливых государей» вглядеться в человеческое лицо и обратить внимание на поэта, у которого готовилась к печати поэма «Облако в штанах».

Призыв символичный. Тема «разных Маяковских» заботила поэта всегда, вплоть до его вступления в поэму «Во весь голос», где он в очередной раз отказывает в праве будущему ученому толковать его личность: «Я сам...» И в завещании он просил оставшихся не сплетничать.

Однако каждое время наново производит смотр своих поэтов. Этого Маяковский не учел. Он предлагал потомкам дописывать свои произведения в соответствии с требованиями дня. Время же берет на себя право дописывать и его биографию. Просьбу не сплетничать, однако, мы должны помнить всегда.

«А с карточкой,— вспоминал Шкловский,— была такая история: ее постепенно, раз за разом, перепечатывали, все время ретушируя, и Маяковский в ней изменяется, а главное — хорошеет на нем пальто и галстук. Очевидно, процесс этот неизбежен».

Облагораживающее ретуширование — та же сплетня.

Твардовский призывал относиться к Маяковскому «свободно и безбоязненно». Очень редко кому это удается. Чаще всего это касается двух болевых моментов — любви и смерти.

Рассуждают по-школьному: во всем образцовый — в этих случаях образцом быть не может. Подвел. Не выучил урока.

Но кто же из великих поэтов может быть нам образцом в любви и смерти? И главное — их ли это задача? Скажут: но здесь ведь иное — он хотел быть образцом.

Это дело другое. Это правильно. Да и самому стремлению понять поэта и человека вряд ли должно мешать.

Часто, однако, особенно в западных изданиях, пределом беспристрастности и откровенности является тщательно прокомментированный донжуанский список поэта. Выясняется прототип Марии из «Облака», выставляются в столбик реальные и мнимые короткие увлечения, сообщается о живущей в Америке дочке. Одни подробно анализируют «тройственный союз», другие, ловя поэта на слове («я теперь свободен от любви»), сосредотачиваются на его отношениях с Татьяной Яковлевой; а Эльза Триоле даже из Парижа углядела, что в эту пору Маяковский был влюблен в Москве в Веронику Полонскую.

Любопытство удовлетворили, Маяковского — проморгали. Потеряли масштаб, а какой же Маяковский без масштаба! Тогда действительно, как в свое время Лиля Брик, которой он прочел свою новую поэму: «опять о любви! Противно! Сколько можно?» Поэма разлетелась клочками по улице. Тогда действительно: Маяковский застрелился из-за женщины.

Но как-то не выходит. Не вписывается в сюжет. Оттого и неловко.

Он ведь еще в те свои прекрасные двадцать два писал:

Нежные!
Вы любовь на скрипки ложите.
Любовь на литавры ложит грубый.
А себя, как я, вывернуть не можете,
чтобы были одни сплошные губы!

Чувствовали силу, безмерность чувства, нуждающегося в планетарном размахе, видели миллиарды в числителе, забывая, что в знаменателе только единица. Он. Один. Поэт. Владимир Маяковский.

«Маяковский связал судьбу мира с судьбой своей любви, борьбой за единственное счастье» (В. Шкловский). Это не было безрассудством эгоцентрика, это был эксперимент, который новый человек поставил на своей жизни. Потрясает же нас ученый, внедривший в свое тело болезнь во имя спасения грядущих миллионов. Эксперимент поэта из этого же ряда.

Так в свое время первым из мировых поэтов Блок назвал женой Прекрасную Даму, приведя в комическое потрясение современников. Это тоже тот горизонт максимализма наших поэтов, на линии трагической неразрешимости которого сходятся Блок и Маяковский.

«Я хочу н е объятий,— писал Блок,— потому что объятия (внезапное согласие) — только минутное потрясение. Дальше идет „п р и в ы ч к а“ — вонючее чудовище.

Я хочу н е слов. Слова были и б у д у т; слова до бесконечности изменчивы, и конца им не предвидится. Все, что ни скажешь, останется в теории.

...Правда ли, что я *все* (т. е. мистику жизни и созерцания) отдам за одно? П р а в д а. ...Главное овладеть „реальностью“ и „оперировать“ над ней уже.

...Я хочу сверх-слов и сверх-объятий, *я хочу того, что будет*».

Маяковский тоже хочет «сверх». И тоже мечтает (требует). Но эти требования океанской волной наталкиваются на скалу быта. И это тоже у них общее. Блок уговаривает жену: «ты не имеешь потребности устроить нашу жизнь так, чтоб и комнаты ожили? Или ты все еще не поймешь „быта“»? Маяковский, мечтая о новом быте, обрушивается на перелицованный старый:

Сомнете периной
и волю
и камень.
Коммуна —
и то завернется комом.
Столетия
жили своими домками
и нынче зажили своим домкомом!

Для Блока дело переустройства общего быта было в далеком будущем. После отчаянных попыток наладить свой «живой быт» он в конце концов приходит к убеждению, что это невозможно без коренной переделки мира, что неудачная личная жизнь имеет роковой характер и только подтверждает правильность духовного пути, который прожигает старую жизнь насквозь в поисках нового и неизведанного.

Маяковский жил в этом новом. Поэтому личные удачи и неудачи воспринимал как достижения и потери нового общества. Личное несчастье в логическом контексте воспеваемой им современности было предосудительным абсурдом. Блок воспевал роковую закономерность личной неудачи, Маяковский — не имел на несчастье права. Так он это понимал. Те же, кто в слепой ненависти задавали ему ядовитый вопрос: «как же, Владимир Владимирович, выходит, что пишется „Баня“, а выговаривается „Коварство и любовь“?» — меряли его на тот аршин, который он им сам когда-то дал в руки. Не заметили только одного, того именно, о чем говорил Шкловский: судьба любви у поэта была в одной связке с судьбой мира.

Многие друзья были до такой степени напуганы его смертью, что готовы были из «высших» соображений обменять живого Маяковского на статую. Асеев поспешно констатировал: «Дело личной лирики Маяковского ...конечно, как и дело всякого личного лирика. Но кроме личного лирика Маяковского, был и остался жить навеки еще и общественный лирик Маяковский».

Но вот уж для чего Маяковский не оставил никаких возможностей, так это для разделения его на личного и общественного лирика. «Я» его оставалось одним и в эпическом:

Я
себя
под Лениным чищу

— и в сугубо интимном:

В поцелуе рук ли,
губ ли
в дрожи тела
близких мне
красный
цвет
моих республик
тоже
должен
пламенеть.

Об этом теперь и в школе говорят, но только все это сводят к образу «внешней цельности», который избрал для себя Маяковский, а не к личной и исторической противоречивости его «я». И, как ни странно, решающую роль в этой боязни понять Маяковского во всей полноте играют те сплетни, которые появились следом за выстрелом в Лубянском проезде. Согласно им, смерть Маяковского была последним доводом в пользу того, что Маяковский разочаровался во всем, что воспевал. Но, спрашивается, если это последний довод, то где же первый, второй, третий?.. Нет ни одного.

Версия эта даже не нуждается в опровержении. Нет же, сколько сил потрачено на ее опровержение и сколь часто не в пользу реального Маяковского. На Маяковского клевещут справа, защищают его слева, но ведь правый и левый профиль еще не лицо.

Противники побивают друг друга аргументами, между тем Маяковский сам — лучший аргумент. Разве вы не замечаете проходящей через все его творчество навязчивый мотив самоубийства? — спрашивают одни. Но ведь гораздо больше в его стихах мотивов оптимистичных, жизнеутверждающих,— отвечают другие. В таком споре истины не выяснишь. Мы не найдем ее, пока не обнаружим связи между частными фактами, пока из этих связей не встанет исторический масштаб решаемых Маяковским проблем:

— Ведь это для всех...
для самих...
для вас же...
Ну, скажем, «Мистерия» —
ведь не для себя ж?!
Поэт там и прочее...
Ведь каждому важен...
Не только себе ж —
ведь не личная блажь...
Я, скажем, медведь, выражаясь грубо...
Но можно стихи...
Ведь сдирают шкуру?!
Подкладку из рифм поставишь —
и шуба!..
Потом у камина...
там кофе...
курит...
Дело пустяшно:
ну, минут на десять...
Но нужно сейчас,
пока не поздно...
Похлопать может...
Сказать —
надейся!..
Но чтоб теперь же...
чтоб это серьезно...

Нельзя смотреть на смерть Маяковского только под политическим углом. Да, она обескураживает своим диссонансом со всем, что он так ярко и настойчиво проповедовал. Ведь это он писал:

...я вовсю,
всей сердечною мерою,
в жизнь сию,
сей
мир
верил,
верую.

Это он напрашивался к химику в будущее, гарантируя, что будущее приобретет в нем веселого человека. Наконец, это он сам обещал:

Я не доставлю радости
видеть,
что сам от заряда стих.

Тогда что же — просто минута слабости? Холодный прием в РАППе? Отвернувшиеся друзья — «ЛЕФовцы»? Брики, не вовремя уехавшие за границу? Замужество Татьяны Яковлевой? Отказ в парижской визе? Неуступчивость Полонской? Измотавший за многие недели грипп? Критика «Бани» и ползущий по пятам шепот: «исписался»? Севший голос?

Как бы ни было много подобных объяснений, их будет всегда мало для объяснения смерти такого поэта, как Маяковский. Металл его памятников — звонкий, как ничем не омрачаемый оптимизм. Ему не только слезой не умыться — никакая пуля его не возьмет. Маяковский — фигура трагическая. Со смертью у него отношения более близкие, чем у металла его памятников.

Не догадывайся он о трагической подоснове мира — откуда бы взялся масштаб? Он, как и Блок, не раз проигрывал в стихах свой конец, и всегда это было самоубийство. Играя, по выражению Пастернака, во все разом, он не чурался и той игры, где на кон ставилась собственная жизнь. Как-то засунул руку в пасть английского бульдога. Его предупредили, что бульдоги отличаются мертвой хваткой.

— Вот этого мне и надо,— нервно ответил Маяковский.

Несколько раз сам с собой играл в «русскую рулетку» — оставлял один патрон, прокручивал барабан... Если правильно говорится, что дороги нас выбирают, то пули выбирают тоже.

Он не то чтобы примеривался к такому именно концу, но всегда помнил о нем, может быть, для того, чтобы избежать. Делая фильм по «Мартину Идену», Маяковский перевел его на русскую почву. Получился фильм «о русском поэте... Он ищет правды и не находит ее, он стремится к истинной, идеальной любви, но эта любовь оказывается мелкой, недостойной его. Все это приводит его к мысли о самоубийстве, но вера в жизнь спасает его, он симулирует самоубийство... и уходит в неизвестность» (Л. А. Гринкруг). Может быть, и 14 апреля он не оставлял мысли о каком-то ином выходе? Ясно только, что ворота в неизвестность он самолично заваливал глыбами своей славы.

С другой стороны, в эти годы рядом с его «Я» появилось другое, самовластное «Я». «Яканье» Маяковского должно было его раздражать. Силы же были неравны. Что было делать со своим «Я» Маяковскому? В карман его не положишь. Его можно было только уничтожить.

Маяковский боялся старости. Довод, казалось бы, не из самых сильных. Во всяком случае, из-за этого не кончают с собой. Как знать? Романтики вообще старости не понимают, может быть, поэтому и не доживают до нее. Блоку тоже в качестве цели пути виделась «вечная юность». Цветаева заклинала:

> Не учись у старости,
> Юность златорунная.
> Старость — дело темное,
> Темное, безумное.

Эта последняя перемена облика романтикам не по силам. Они живут до тех пор, пока могут чистосердечно признаться: «у меня в душе — ни одного седого волоса».

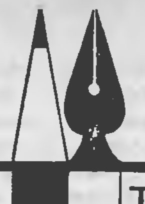
Конечно, можно только дивиться изощренности, с которой судьба подкопила к концу игры все свои убийственные козыри. Даже Луначарского, его вечного заступника, переместила к этому времени с поста наркома просвещения и тихо поставила на должность председателя Ученого комитета при ЦИК. Но это опять же только факт. Маяковский, может быть, не столько в государственной опеке нуждался в эти дни, сколько в тепле отдельных людей, в атмосфере любви.

Луначарский, наблюдавший Маяковского на выставке «20 лет работы» безразличным и усталым, впервые подумал, что этот человек очень одинок. А ведь они с Маяковским общались близко. Но до этого «цельность» мешала разглядеть. В годовщину смерти поэта он сказал: «не все мы похожи на Маркса, который говорил, что поэты нуждаются в большой ласке. Не все мы это понимаем и не все мы понимали, что Маяковский нуждается в огромной ласке, что иногда ничего так не нужно, как душевное слово».

Спустя много лет М. М. Пришвин прочел случайно однотомник поэта. Потом говорил Лавинской: «поразило меня, прямо-таки потрясло одиночество этого человека! Почувствовал я это одиночество, прочтя однотомник, никто мне ничего не говорил. Далек я был от писательской среды. Наверное, никогда у него не было ни жены, ни друга, и, знаете, очень мне стыдно стало. И еще думаю я, что, может, если бы у него был старший товарищ, которому он мог бы все рассказать о себе, он бы не застрелился».

Многие потом корили себя. Но надо быть справедливыми: дело не столько в их нечуткости. Маяковский своей ролью сам очертил круг, за который товарищи заходить не решались. Он сам себя зафлажил, всем своим поведением, не допуская и намека на потребность в человеческом участии. Та же Лавинская, искренне любившая Маяковского и находившаяся на вершине счастья оттого, что он предложил ей оформлять его спектакль, за несколько дней до смерти поэта говорила с ним деловито и сдержанно, боясь, что тот почувствует ее радость и подумает: «ну и восторженная дура, зря связался!» «Такими фразами,— вспоминает она,— я сама обрывала все абсолютно естественные порывы — я же была бывшая лефовка и хоть разочаровалась в Брике, но все равно весь тон — эта ирония превосходства, это снисходительное „занятно" — оставил глубокий след и на долгие годы убил всякую непосредственность».

Образ, созданный поэтом, столь убедителен, что и теперь, через даль лет, мало кто сумеет подать ему руку помощи, не рискуя уколоться о сарказм.



СЕДЬМАЯ ТЕТРАДЬ

М. ШТЕЙН

ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ ПРОШЛОГО

Газеты начала века. Передо мной одна из них — «Южный вестник», выпускавшийся керченскими социал-демократами с 15 февраля 1906 года под редакцией И. Л. Гарнеса, до этого работавшего в газете «Южный курьер».

На первой странице нового издания — сухая информация: «13 февраля по определению Одесской судебной палаты газета „Южный курьер" приостановлена до судебного приговора. Сообщая об этом читателям и подписчикам, редакция извещает, что на время закрытия „Южного курьера" будет выходить „Южный вестник"».

Так же сменили друг друга большевистские газеты в Петербурге в том году: «Волна», «Вперед», «Эхо». Но здесь диапазон пошире: «Южный курьер» (Керчь), «Южный вестник», «Накануне», «Южный голос» и вновь «Южный курьер», симферопольский. И все это — с февраля до августа!

«Южный курьер» сразу привлек внимание чиновника для особых поручений, наблюдавшего за периодической печатью. В письме Главному управлению по делам печати он сообщает, что «довел до сведения прокурорского надзора о напечатании в № 6 газеты „Южный вестник", вышедшей в свет 21 февраля, статей „К смертной казни" и „Государственная дума и пролетариат", заключающей в себе признаки преступления, предусмотренные в п. 3, ст. 129 Уголовного уложения 1903 г.».

Государственная дума? Любопытно...

Вот она, эта статья — подвал на второй-третьей страницах. Автор — Ф. И. Дан. Читаю, сопоставляю с текстом, опубликованным в сборнике «Государственная дума и социал-демократия». Есть сокращения. Это понятно: газета — не книга. Но существа мыслей автора они не меняют. Четко вырисовывается меньшевистская линия на необходимость участия в выборах в 1-ю Государственную думу, на превращение партии в легальную массовую организацию рабочего класса по опыту западноевропейских стран. В сущности это признание того, что революция в России окончилась. Но даже эти взгляды, как мы видим, не получили снисходительного отношения царской цензуры. Листаю дальше. 24 февраля 1906 года перепечатка статьи Дана закончилась. А в следующем номере — снова точно такой же подвал. И название то же. Вот только автор под заголовком не указан, его фамилия на этот раз напечатана в правом нижнем углу. Смотрю — глазам не верю: «Н. Ленин».

Но ведь такого заголовка Ленин своей статье не давал! Ее название было «Государственная дума и социал-демократическая тактика». Хорошо известно, что этой статьей он помогал читателям разобраться в сложной ситуации, сложившейся после Декабрьского вооруженного восстания в Москве, и намечал тактику социал-демократов на выборах в 1-ю Государственную думу: «Мы должны непременно заново, деловым образом обсудить вопрос о тактике. Если события подтвердили правильность нашей тактики относительно Думы 6-го августа, которая была действительно сорвана, была сбойкотирована, сметена пролетариатом, то отсюда вовсе еще не вытекает само собою, что и новую Думу удастся сорвать таким же образом. Ситуация теперь не та, и надо тщательно взвесить доводы за и против участия... Участие наше в выборах,— полемизирует он с Даном,— даст народным массам извращенное представление о нашей оценке Думы... Тактика массовой партии пролетариата должна быть проста, ясна, пряма. Выборы же уполномоченных и выборщиков без выбора депутатов в Думу создают запутанное и двойственное решение вопроса. ‹...› Тактика, рекомендованная конференцией „большинства", есть единственно правильная тактика».

Большинство местных социал-демократических организаций поддержали ленинскую позицию активного бойкота, и в итоге в выборах приняло участие только десять процентов рабочих, имевших право

голоса по избирательному закону 11 декабря 1905 года. Но сорвать выборы в Думу все же не удалось...

Читая газетный вариант, прихожу к заключению, что он также сокращен: выброшены наиболее острые места, исключен начальный абзац резолюции первой Таммерфорсской конференции РСДРП «О Государственной думе», во втором абзаце («Конференция полагает, что социал-демократия должна стремиться сорвать эту полицейскую Думу, отвергая всякое участие в ней») слова «сорвать эту полицейскую Думу, отвергая всякое участие в ней» заменены на «отвергнуть всякое участие в Думе», что исказило смысл... Всего — семнадцать всевозможных поправок и сокращений.

Но так или иначе, а статья увидела свет. Видимо, это произошло потому, что, повинуясь духу времени, керченские меньшевики вынуждены были опубликовать ее в легальной газете, хотя и были с Лениным не очень-то согласны.

Увидев «Государственную думу и социал-демократическую тактику» под столь необычным названием, я решил проверить, упоминают ли об этом «Хронологический указатель» произведений Ленина, двенадцатый том полного собрания его сочинений и второй том биохроники, охватывающие как раз этот период. Нет, не упоминают. Но заинтересовало другое: в двенадцатом томе «Государственная дума и социал-демократическая тактика» датирована февралем 1906 года, а во втором томе биохроники — более точно, началом февраля 1906 года, причем со ссылкой на тот же двенадцатый том. Так когда же все-таки вышла в свет ленинская работа?

Задавшись этим вопросом, я обратился к воспоминаниям очевидцев тех далеких дней, материалам исторических архивов, специальным работам и... расписанию движения поездов по маршруту Петербург — Керчь.

Из записок руководителя большевистского издательства «Вперед» В. Д. Бонч-Бруевича «Большевистские издательские дела в 1905—1907 гг.», книги бывшей сотрудницы того же издательства О. К. Матюшиной «За дружбу», а также бесед с нею и с известной издательницей начала 1900-х годов М. А. Малых я выяснил, что как только книга, арест которой был неизбежен (а ленинские работы в основном конфисковывались немедленно, как только о них узнавала цензура), выходила из печати, ее сразу же забирали из типографии до представления обязательных экземпляров в цензуру и отсылали по железной дороге в разные города страны. Так же, бесспорно, поступили и с брошюрой «Государственная дума и социал-демократия». Но публикация ее в сокращенном варианте свидетельствует, по-видимому, прежде всего о том, что если брошюра и была отправлена для распространения в Керчи, то еще не успела попасть на прилавки книжных магазинов. Иначе она стала бы немедленно добычей местной охранки. Вероятно, ее привез из Петербурга находившийся там в момент ее выхода в свет представитель керченской социал-демократической организации, имевший отношение к «Южному вестнику» (или бывший сотрудник «Южного курьера» Леонид Леонидович Мищенко, впоследствии сотрудничавший с издательством «Вперед» под псевдонимом Сапер). Как только брошюра оказалась в редакции, ее тут же запустили в набор: постатейная распечатка не противоречила практике.

Сложнее выяснить, когда ленинская работа увидела свет в Петербурге. И здесь на помощь приходит расписание движения поездов. В то время из Петербурга в Керчь ходили два состава: пассажирский и скорый, находившиеся в пути, соответственно, около восьмидесяти и пятидесяти шести часов. Оба поезда отправлялись из Петербурга около полуночи и прибывали в Керчь в одно и то же время — в 10 часов 20 минут утра.

Статья Дана, как уже говорилось, начала печататься 21 февраля. Учитывая время нахождения в пути пассажиров и время, необходимое для ознакомления редакции с обеими статьями, принятия решения по ним и затем типографского набора, можно сделать вывод, что брошюра «Государственная дума и социал-демократия» вышла в Петербурге не позднее 15 февраля 1906 года. А это, в свою очередь, означает, что фиктивной издательской маркой «Пролетарское Дело» большевики воспользовались не в период деятельности издательства «Вперед», как писал Бонч-Бруевич, а тогда, когда еще работала «Наша Мысль». И первой ленинской работой, вышедшей в этом издательстве, судя по всему, была «Государственная дума и социал-демократическая тактика», а не «Пересмотр аграрной программы рабочей партии», увидевшая свет в начале апреля 1906 года.

Казалось, на этом можно было бы поставить точку, но в номере от 2 апреля 1906 года, оказавшемся последним из-за запрещения газеты цензурой, я неожиданно для себя на первой странице увидел очерк М. Горького «Перед лицом жизни», впервые напечатанный 25 декабря 1900 года в «Нижегородском листке». Известно, что как только этот очерк попадал в поле зрения цензуры, его немедленно запрещали. Так, например, 8 марта 1906 года Петербургский цензурный комитет уведомлял Центральный комитет иностранной цензуры, «что брошюра эта (изданный в Берлине в 1902 году сборник Горького „Три рассказа", среди которых был очерк „Перед лицом жизни". — *М. Ш.*) применительно к пункту 1 статьи 129 уголовного уложения издания 1903 г. к обращению к русской публике дозволена быть не может». Поэтому его широко распространяли отпечатанным на гектографе. Приятно было увидеть этот очерк в газете, имевшей хождение не только в Керчи, но по всему Крыму, а также на Кавказе. Это еще одно свидетельство гражданского мужества сотрудников редакции, хотя в их работе были и серьезные просчеты. Вот что рассказали пожелтевшие от времени страницы керченской газеты «Южный вестник»...

Изыскания

Александр РУБАШКИН

«МЕСТО В БОЕВОМ ПОРЯДКЕ...»

В тридцатые годы Илья Эренбург, по его словам, «нашел свое место в боевом порядке». Он опубликовал «День второй», посвященный строителям Кузнецка, писал об угрозе войны и фашизма, «границах ночи», проходивших через центр Европы. На съезде писателей (1934) он сказал: «Я рядовой советский писатель. Это — моя радость, это — моя гордость».

Корреспондент «Известий», он посылал свои статьи из Парижа и осажденного Мадрида, писал о Мюнхенском сговоре, трагедии Чехословакии и Испании, был свидетелем разгрома Франции. На родину он приезжал редко, но все эти годы связаны у Эренбурга не только с газетой, но и с журналом «Знамя» (основан в 1931 году, назывался тогда «ЛОКАФ», орган Литературного объединения Красной Армии и Флота) и его редактором Вс. Вишневским, готовившим своих читателей к возможной и близкой схватке с врагом. «Оборонный журнал» собирал вокруг себя военных писателей, антифашистов, тема защиты Отечества была в нем ведущей. В «Знамени» публиковались многие поэтические и прозаические произведения Ильи Эренбурга: «Не переводя дыхания» (1935), «Вне перемирия» (1936), «Что человеку надо» (1937), «Испанские стихи» (1939), парижский цикл (1940). В третьем номере сорок первого года началась публикация «Падения Парижа»...

Многое из написанного в ту пору относилось к Испании. Эта страна сблизила Вишневского с Эренбургом. Летом 1937 года в составе советской делегации Вишневский поехал на Международный конгресс писателей в Мадрид, вместе с Эренбургом и В. Ставским побывал на передовой, попал в серьезную переделку. По возвращении он говорил в редакции: «С дачи Пассионарии возвращались вместе с Эренбургом. Он работает очень много, хорошо знает Испанию, и Испания знает его. Он выпустил книгу об испанском народе, и она получила огромную известность. Эта книга зовет вперед. Теперь Эренбург приехал работать в Испанию как агитатор, как писатель, как политик. Он попадал в разные переплеты. Он кое-что мне рассказал. Он пишет... книгу об Испании, которую пришлет для печатания в „Знамени". Поработал он хорошо...».

Речь шла о книге «Испания», написанной еще в 1931-м, и о романе «Что человеку надо». Всеволод Витальевич вернулся из Мадрида воодушевленный: повидал антифашистскую борьбу, встречался с нашими советниками, добровольцами и писателями — «агитаторами, политиками». Он восхищался Эренбургом и Кольцовым. В одном из выступлений Вишневский сказал: «Мы дали Испании танки, мы дали Испании самолеты, мы дали Испании Михаила Кольцова!».

После поражения республики в марте 1939-го Эренбург на время освободился от газетной работы. Пошли стихи. Своему другу поэтессе Е. Полонской он писал 5 июня из Парижа в Ленинград: «Испанские (стихи. — *А. Р.*) кончил, отослал, был немало удивлен, что они у нас понравились: выйдут в седьмом номере „Знамени" и отдельной книжкой...».

Из опубликованного письма-рецензии Вишневского Эренбургу мы знаем, что понравились стихи прежде всего самому редактору. Еще в мае он писал: «...По мере чтения все крепче голос поэмы, жесток, напряжен, все более патетичен и вместе с тем — и это понятно, просто, как-то верно задумчив, вопрошающе-пе-

чален...». Вишневский не ждет от военных стихов бездумного оптимизма, понимает их грусть, трагичность. Придет пора — и он встанет на защиту Эренбурга-поэта.

За первой публикацией последовала вторая — в сентябрьском номере следующего года, а выход книжки все задерживался. В конце сентября Вишневский получил блестящую по форме и резкую статью-отклик на книгу Эренбурга «Верность». Ее автором был поэт И. Сельвинский, очевидно, прочитавший ее в верстке. Статья эта, оставшаяся в рукописи, и особенно реакция на нее Вишневского характеризуют тогдашние отношения Эренбурга со «Знаменем». Сельвинский критиковал Эренбурга за пессимизм, отсутствие нового зрения. Мне довелось уже («Нева», 1984, № 5) опубликовать письмо Вишневского Сельвинскому. Напомню несколько строк: «Как ты, поэт, не понял, пропустил похороны русского бойца в Андалузии?! Зашифрованные березы, „товарищ“ — все так все-таки ясно!».

Письмо написано в октябре 1940-го. А вот запись в дневнике Вишневского от 31 декабря: «Мы пишем в условиях военных ограничений, видимых и невидимых...». Но и в этих условиях многое удавалось сказать. Так, Кольцов в «Испанском дневнике» на страницах «Нового мира» говорил о похоронах летчика: «Надписи не надо никакой... Он будет вдесь лежать пока без надписи. Там, где надо, напишут о нем». Так и Эренбург писал в стихотворении, много позже названном «Русский в Андалузии» (в «Знамени» оно шло без названия): «Имени погибшего не знали, говорили коротко: „товарищ“... На какой земле товарищ вырос? Под какими плакал облаками?...».

Книга Эренбурга вышла лишь 30 апреля 1941 года. В ней не напечатаны некоторые стихотворения, раскритикованные Сельвинским. Одно из них не появилось и в журнале: видно, показалось «мрачным» и редактору. Вот какой увидел Эренбург Европу сорокового года (цитирую по записной книжке поэта):

Где камня слава, тепло столетий?
Европа — табор. И плачут дети.
Земли обиды, гнездо кукушки.
Рассыпан бисер, а рядом пушки.
Идут старухи, идут ребята,
Идут на муки кортежи статуй.
Вздымая корни, идут деревья,
А видно ночью — горит кочевья.
А дом высокий, как снег, растаял.
Прости, Европа...

Эренбург приехал из захваченного немцами Парижа (через Брюссель и Берлин) 29 июля 1940-го. За день до этого в записной книжке: «Эйдкунен. Радость: вырвались. Красноармейцы».

Он знал, что о пережитом предстоит рассказать. Август был отдан статьям о разгроме Франции (газета «Труд», журнал «Огонек»), встречам с друзьями. 16 сентября началась работа над «Падением Парижа». Через два месяца Эренбург направил в редакцию первые двадцать четыре главы и записку с проспектом всей книги. «Боюсь,— писал он,— что последующие главы, тесно связанные с Испанией, могут вызвать возражения (конечно, временные)» и предлагал печатать роман частями, заметив, что «если мы не можем говорить о многом, даже часть полезна». В этой же записке читаем: «Конечно, я роман буду писать безразлично от решения редакции, но напечатание первой части мне очень поможет, поможет, наверное, и роману...».

23 ноября Эренбургу было отправлено письмо, подписанное членами редколлегии С. Вашенцевым, А. Исбахом и А. Тарасенковым. В нем, в частности, говорилось: «Мы в редакции все ознакомились с Вашим романом (первой частью.— *А. Р.*) и сегодня вместе с тов. Вишневским обсудили его. Хочется Вам сказать следующее: роман нас интересует, и мы хотим его печатать. Однако нам думается, что необходимо предварительно доработать ряд моментов. Прежде всего необходимо иметь в виду, что, очевидно, на долгое время II и III части романа печатать будет невозможно по понятным причинам. О них Вы писали в своей записке и нам, следовательно, надо первую часть сделать самостоятельной, имеющую некоторую законченность...».

Автор приглашался для беседы в редакцию 25 ноября. 3 декабря первая часть была окончательно завершена и в марте пошла в номер. Автор, правда, не принял некоторые пожелания, писал «непроходимые» по тем временам главы — антифашистские, антигерманские, и дальнейшая публикация застопорилась. В уже цитированной записи из дневника Вишневского далее говорилось: «Хотелось бы говорить о враге, подымать ярость против того, что творится в распятой Европе. Надо пока молчать». Эренбург решил не молчать, и Вишневский был бессилен помочь автору, работавшему уже над третьей частью.

В записной книжке Эренбурга отмечено: «24 апреля, четверг. Кончил 12 главу. Статья для „30 дней“». И в самом начале: «Звонок И. В.». Звонок Сталина, ставший сразу же широко известным, не только предопределил судьбу романа. Многим стало ясно, что стоит за этим. Можно было не волноваться о печатании второй части, законченной 18 марта, и даже третьей, еще не завершенной. Другие волнения переросли в уверенность: скоро война. Доверимся впечатлениям бывшего журналиста «Комсомольской правды» Ю. Жукова: «Открывался номер (шестой.— *А. Р.*) заключительными главами второй части романа Ильи Эренбурга „Падение Парижа“, публикация которого и в СССР и за рубежом была воспринята как знак того, что в Москве отчетливо осознали неизбежность конфликта с гитлеровской Германией».

После звонка Сталина работа с автором стала повседневной: нужно было готовить к набору очередные главы. Вот несколько записей из книжки Эренбурга: «25 апреля. Пятница. В редакции „Знамени“. О звонке. О романе. Фадеев вызывает»; «28 апреля. Вишневский»; «29 апреля. Совещание о поэзии в „Знамени“». В мае Эренбург уезжает на некоторое время из Москвы (Харьков, Киев, Ленинград). Очевидно, какие-то «шероховатости» со второй частью все же были. В день подписания июньского номера в печать Эренбург намеревался быть в Москве. Из Харькова он телеграфировал: «Приеду шестнадцатого очень прошу ничего не менять не согласовав привет Эренбург».

В Харькове он гулял по городу вместе с писателем Ю. Смоличем, говорил о Париже. «Устав бродить по Харькову,— вспоминал Смолич,— мы тесным кругом сидели на балконе гостиницы „Красная“, в номере 56. Мы смотрели на величественный пейзаж индустриального центра Украины, и Илья Григорьевич рассказывал о второй книге „Падения Парижа“. Потом он сказал: „А потом я напишу о том, как мы победили фашизм...“».

2 июня Эренбург вернулся в Москву через Ленинград. Контакты с журналом и его редактором продолжались: «5 июня. У Вишневского»; «6 июня. Вишневский о поездке...»; «7 июня. С Вишневским»; «16 июня. Тревожные известия о немцах. В „Знамени“ с Тарасенковым». 21 июня была закончена тридцать седьмая глава третьей части. Оставалось немного...

В тот год Эренбургу исполнилось пятьдесят. Дата прошла незамеченной: время не располагало к юбилеям. Через двадцать лет все пошло по-иному: статьи, приветствия, вечер в ЦДЛ. В январе 1961-го, опубликовав в «Знамени» статью «Виза времени», я принес ее Илье Григорьевичу в день его семидесятилетия. Узнав, что статья сильно редактировалась и сокращалась, он недовольно произнес: «Зачем вы дали?». Так говорил он в ту пору, когда в «Новом мире», у Твардовского, шла его последняя книга — о людях, годах, жизни. Она тоже, как я узнал, и «редактировалась» и «сокращалась»...

Эти заметки можно было бы продолжить — и историей потери рукописи «Падения Парижа» в первую военную осень, и тем, как после Московской битвы, уже в феврале сорок второго Илья Григорьевич после сотен военных статей дописал последние несколько глав романа, можно было бы вспомнить, как «Знамя» завершило его публикацию в № 3—4 за 1942 год. Но и на этом содружество с журналом не закончилось: Эренбург печатался в «Знамени» и в военные годы, и в пятидесятые. «Оттепель» тоже увидела свет на его страницах. Но все же самыми тесными были контакты в пору, когда редактировал журнал Вишневский.

После войны прежних отношений с Вишневским у Эренбурга уже не было. В мемуарах писателя «Люди, годы, жизнь» нет о нем отдельной главы. Вероятней всего охлаждению способствовало участие Вишневского в травле Зощенко. И тут, как говорят, ни убавить, ни прибавить...

Библиофил

Г. А. ЛИХОТКИН,
кандидат филологических наук

ЗАГАДКИ СКРОМНОГО ИЗДАНИЯ

«Гласность состоит в том, что обо всех общественных делах, как местных, так и государственных, объявляется во всеобщее сведение; об них можно свободно печатать в газетах и обсуждать на собраньях, доступных каждому. Полная гласность во всех общественных делах весьма важна для того, чтобы каждый человек мог следить, правильно ли ведутся дела и точно ли исполняются законы».

Этому высказыванию, столь созвучному нашему времени, более восьми десятков лет. Приведено оно в небольшой брошюре в мягкой, ныне сильно потрепанной обложке, вышедшей в 1906 году в Нижнем Новгороде. Скромная книжечка книгоиздательства «Сеятель» любопытна и загадочна во многих отношениях.

Примечательно ее название: «Толковый словарь в помощь при чтении газет, журналов и книг». Автор неизвестен — на титуле обозначено: «Составил Н. А.». Набрана книжка в типолитографии Нижегородского товарище-

ства печатного дела «Н. И. Волков и К°».

«Словарю» предпослано обращение к читателям нижегородского издательства «Сеятель» следующего содержания: «С каждым годом становится все больше и больше грамотных на Руси. Книг же появляется теперь так много, что и не уследить за ними одному человеку. Понятно, что большинство читателей нуждается в указаниях о книгах, что читать, где и как достать книги, и не всякий имеет знакомство со знающим человеком, который мог бы дать ответ на эти вопросы. Книгоиздательство предлагает свои услуги в этом отношении и просит всех, кто нуждается в каких-либо указаниях, обращаться к нему с письменными запросами. На ответ должна быть приложена семикопеечная марка».

«Толковый словарь» тоже стоил семь копеек. Судя по предисловию, я — владелец второго, дополненного и исправленного издания «Словаря». Первое вышло тремя месяцами раньше.

Полагаю, что когда-то книжечку купил мой дед. Она пережила две мировые войны, Февральскую и Октябрьскую революции, гражданскую войну, блокаду Ленинграда...

Поражает в этом, на первый взгляд, нейтральном, весьма доходчивом справочнике, рассчитанном на грамотного читателя, его политическое содержание. Под безмятежно бесстрастной обложкой «Словаря» доводились до низового читателя такие сведения:

«Абсолютизм — самодержавие, неограниченная власть. Глава государства правит народом, не справляясь с желаниями и требованиями самого народа».

«Государственная Дума — объявлена манифестом 6-го августа 1905 года... Выборы в Думу были не всеобщие и не прямые. Бедное неимущее население, которого в России большинство, имело значительно меньше голосов, чем имущее, богатое. Однако и в таком составе Дума потребовала от правительства издания новых законов, которые ограничивали бы власть чиновников и обеспечивали бы населению более сносное существование. Правительство распустило Думу, решив снова править всей страной без участия народных представителей, впредь до созыва новой Думы».

«Толковый словарь» рассказывал о таких партиях, как кадеты, октябристы, эсеры, бундовцы. Составитель словаря знал о существовании большевиков и меньшевиков, поскольку разъяснял: «Социал-демократы — сторонники социализма; составляют партию, которая отстаивает интересы пролетариата (последнее слово тоже пояснено отдельной справкой: «словом пролетариат означают фабрично-заводских рабочих».— *Г. Л.*)... Программа минимум этой партии требует установления народного управления государством, а также издания законов, которые сохраняли бы интересы фабрично-заводских рабочих. Для крестьян русские социал-демократы требуют муниципализации земли». То есть, по «Словарю», передачи владения землею в руки общин. Известно требование относительно земли, выставленное русскими социал-демократами и принятое ими на съезде в 1906 году. «С.-д. партия в России раскололась на две части (фракции), которые называются „большевиками“ и „меньшевиками“. Отличаются оне одна от другой между прочим отношением к крестьянам и устройством организации партии».

По приведенным высказываниям становится ясно, что отнюдь не безобидные для охранительных сил царской России сведения давались в тоненьком неварачном словарике-справочнике «в помощь при чтении газет, журналов и книг». И это в условиях, когда в стране свирепствовала цензура, когда и большевики, и меньшевики, и эсеры вынуждены были уйти в глубокое подполье, когда на участников революции пятого года обрушились аресты, когда им грозили тюрьма, каторга, ссылка. А между тем «Словарь» общедоступно, популярно разъяснял расстановку сил, объяснял, что такое классовая борьба, что надо понимать под социализмом, коммунизмом, народным правлением. Вполне легальное издание блестяще выполнило по крайней мере две функции: политического просвещения мало-мальски грамотных людей и публицистического воздействия на широкие общественные круги России в духе приобщения их к идеям освобождения от тирании, ненависти к эксплуатации человека человеком, к самодержавной власти.

О некоторых загадках «Словаря» говорилось выше. Мне не удалось найти каких-либо сведений об издательстве «Сеятель», о тиражах справочника, об Н. И. Волкове. Может, кто-нибудь этими сведениями располагает?

По случаю юбилея

«МНЕ СНИЛИСЬ ПОЛЕВЫЕ ДАЛИ...»

Владимир Владимирович Набоков. Даже теперь это имя отнюдь не всем и не каждому любителю родной литературы что-либо говорит. Я благословляю тот год, день и час, когда из тины насильственного забвенья, принудительного замалчивания в нашу жизнь вновь стали возвращаться имена наших талантливых и несчастных, любимых и обездоленных, обожествляемых и гонимых, знаменитых и безымянных соотечественников, их произведения и неординарные автобиографии.

Он начал входить в сокровищницу отечественной литературы, культуры, общественного бытия лишь спустя десять лет после смерти, будучи, по злой иронии судьбы, широко известным всему миру как чрезвычайно одаренный и плодовитый поэт и писатель, одинаково виртуозно владевший русским и английским литературными языками.

Некоторым из нас «везло» уже хотя бы потому, что краем уха слышали: где-то за океаном есть некий русско-американский писатель Владимир Набоков, снова удививший мир новым прекрасным романом. В начале 1970-х годов «Лолиту» читал весь мир, но только не мы. А до этого были романы «Защита Лужина», «Подвиг», «Дар», «Приглашение на казнь», «Бледный огонь», «Ада» и другие.

В 1964 году Владимир Набоков опубликовал свой комментированный перевод на английский язык романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин».

Еще раньше Набоков выпустил в свет большое число стихов в поэтических сборниках «Гроздь», «Горний путь», «Стихотворения».

Не последнее место в его поэтическом творчестве занимают лирические стихи, воспевающие русскую природу, неповторимую красоту тех мест, где прошли его детские и юношеские годы,— села Рождествено, деревень Выра и Батово, расположенных неподалеку от Петербурга. Река Оредежь (Набоков писал название этой реки с мягким знаком) с ее прихотливым течением, красными песчаными берегами, в которых вьют гнезда ласточки, еловые и сосновые леса, усыпанные полевыми цветами сочные луга, прозрачные морозные зимы, дни весеннего пробуждения северной природы — все это запечатлено в сознании писателя и его творческом воображении.

В двух минутах ходьбы от знаменитой ныне Выры, увековеченной Пушкиным в повести «Станционный смотритель», в селе Рождествено Гатчинского района Ленинградской области на живописном зеленом утесе в излучине реки Оредеж, в том самом месте, где в нее впадает речка Грязная и пересекает скоростное шоссе, проложенное по трассе бывшего «нового Новгородского тракта», и по сей день высится под сенью вековых дубов огромный деревянный дворец редчайшей красоты и совершеннейших архитектурных пропорций. В округе он известен просто как «дом с колоннами».

Дом с колоннами и с мезонином уже сам по себе является уникальным архитектурно-историческим памятником. Сложили его из циклопических бревен аж во второй половине восемнадцатого века в стиле раннего классицизма как загородную резиденцию одного из фаворитов Екатерины II графа Безбородко. Мы лишь умозрительно можем представить себе процедуры заседаний масонской ложи, члены которой сходились попеременно то в петербургском дворце «вольного каменщика» Безбородко, то здесь, в Рождествене. В конце XIX века «дом с колоннами» приобрел столбовой дворянин Рукавишников. Его сестра — красивая и образованная Елена Ивановна Рукавишникова — недолго была одинока в этом огромном доме: вышла замуж за сына министра юстиции Российской империи Владимира Дмитриевича Набокова, слывшего в то время одним из самых прогрессивных русских журналистов и модных беллетристов. Счастливый брак по любви принес незаурядный плод в образе Владимира Владимировича Набокова. Он унаследовал от отца любовь к литературному творчеству, природный лиризм — от матери и еще... «дом с колоннами». Впрочем, владетельным барином ему пришлось быть менее года: произошла Октябрьская революция. А спустя два года двадцатилетний поэт Владимир Набоков физически покинул родину. Я умышленно сказал *физически*, так как всеми своими мыслями, сердцем, умом, духом Набоков постоянно был в России.

Не в добрый час он умер: в 1977 году. Тогда имя литератора Владимира Набокова не упоминалось даже в контексте о «недругах» социализма. Не имел он ре-

альной надежды когда-нибудь осуществить свою мечту — хотя бы одним глазком увидеть мать-Россию. Тем не менее, даже накануне смерти, Владимир Набоков отражал в своем творчестве и великую Родину, и малую родину — Выру, Батово, Рождествено.

В Рождествене, в «доме с колоннами», работает небольшой историко-краеведческий музей местного значения. И вот совсем недавно заведующая этим музеем Евгения Сергеевна Мельникова совместно с местной школьницей Ириной Авикайнен при помощи и поддержке общественности оборудовали в одном из музейных залов экспозицию, посвященную жизни и творчеству Владимира Владимировича Набоковв. В музей тотчас запаломничали.

Стихи Набокова, которые я подготовил для публикации, ни разу, за исключением первого, не публиковались на родине поэта. Несмотря на почти полувековую разницу в их написании, стихи Набокова едины тоской по родине, воспоминаниями о ней, мечтами о родине и любовью к ней. Внимательно вчитайтесь в первое стихотворение. Перечитайте его несколько раз. Прочувствуйте каждую строку, каждое слово. Постарайтесь представить себе состояние 68-летнего человека, полвека назад безвозвратно покинувшего родину и обреченного умереть вдалеке. Состояние человека, охотно отдавшего бы все сокровища мира за возможность даже мимолетно глянуть на не шибко полноводную речушку, заросшую бузиной полусгнившую лесенку, ведущую на пригорок, где «дом с колоннами»...

Вячеслав КОРОБКИН

Владимир
НАБОКОВ

СТИХОТВОРЕНИЯ

С серого севера

С серого севера
вот пришли эти снимки.
Жизнь успела не все
погасить недоимки.
Знакомое дерево
вырастает из дымки.
Вот на Лугу шоссе.
Дом с колоннами. Оредежь.
Отовсюду почти
мне и себе до сих пор еще
удалось бы пройти.
Так, бывало, купальщикам
на приморском песке
приносится мальчиком
кое-что в кулачке.
Все, от камушка этого
с каймой фиолетовой
до стеклышка матово-
зеленоватого,
он приносит торжественно.
Вот это Батово.
Вот это Рождествено.

1967 г.

Велосипедист

Мне снились полевые дали,
дороги белой полоса,
руль низкий, быстрые педали,
два серебристых колеса.

Восторг мне снился буйно-юный
и упоенье быстроты,
и меж столбов стальные струны,
и тень стремительной версты.

Поля, поля... И над равниной
ворона тяжело летит.
Под узкой и упругой шиной
песок бежит и шелестит.

Деревня. Длинная канава.
Сирень цветущая вокруг
избушек серых. Слева, справа
мальчишки выбегают вдруг.

Вдогонку шапку тот бросает,
тот кличет тонким голоском,
и звонко собачонка лает,
вертясь под зыбким колесом.

И вновь поля, и голубеет
над ними чистый небосвод.
Я мчусь, и солнце спину греет,
и вот нежданно поворот.

Колеса косо пробегают,
не попадая в колею.
Деревья шумно обступают.
Я вижу старую скамью.

Но разглядеть не успеваю,
чей вензель вырезан на ней.
Я мимо, мимо пролетаю,
и утихает шум ветвей.

1917—1922 гг.

◆◆◆

Глаза прикрою — и мгновенно
весь легкий, звонкий весь стою
опять в гостиной незабвенной,
в усадьбе, у себя, в раю.

И вот из зеркала косого
под лепетанье хрусталей
глядят фарфоровые совы —
пенаты юности моей.

И вот, над полками, гортензий
легчайшая голубизна,
и солнца луч, как божий вензель,
на венском стуле, у окна.

По потолку гудит досада
двух заплутавшихся шмелей,
и веет свежестью из сада,
из глубины густых аллей,

неизъяснимой веет смесью —
еловой, липовой, грибной:
там, по сырому пестролесью —
свист, щебетанье, гам цветной!

А дальше — сон речных извилин
и сенокоса тонкий мед.
Стой, стой, виденье! Но бессилен
мой детский возглас. Жизнь идет,

с размаху небеса ломая,
идет... ах, если бы навек
остаться так, не разжимая
росистых и блаженных век!

3.02.1923 г.

◆◆◆

Я без слез не могу
тебя видеть, весна.
Вот стою на лугу,
да и плачу навзрыд.

А ты ходишь кругом,
зеленея, шурша...
Ах, откуда она,
эта жгучая грусть!

Я и сам не пойму,
знаю только одно:
если б иволга вдруг
зазвенела в лесу,

если б вдруг мне в глаза
мокрый ландыш блеснул —
в этот миг, на лугу,
я бы умер, весна...

1920 г.

Волчонок

Один, в рождественскую ночь, скулит
и ежится волчонок желтоглазый.
В седом лесу зеленый свет разлит,
на пухлых елочках алмазы.

Мерцают звезды на ковре небес,
мерцая, ангелам щекочут пятки.
Взъерошенный волчонок ждет чудес,
а лес молчит, седой и гладкий.

Но ангелы в обителях своих
все тихо ходят и советуются тихо,
и вот один прикинулся из них
большой пушистою волчихой.

И к нежным волочащимся сосцам
зверек припал, пыхти и жмурясь жадно.
Волчонку, елкам, звездным небесам,
всем было в эту ночь отрадно.

8.12.1922 г.

Вершина

Люблю я гору в шубе черной
лесов еловых, потому
что в темноте чужбины горной
я ближе к дому моему.

Как не узнать той хвои плотной
и как с ума мне не сойти
хотя б от ягоды болотной,
заголубевшей на пути.

Чем выше темные, сырые
тропинки вьются, тем ясней
приметы, с детства дорогие,
равнины северной моей.

Не так ли мы по склонам рая
взбираться будем в смертный час,
все то любимое встречая,
что в жизни возвышало нас?

1925 г.

Санкт-Петербург

Ко мне, туманная Леила!
Весна пустынная, назад!
Бледно-зеленые ветрила
дворцовый распускает сад.

Орлы мерцают вдоль опушки.
Нева, лениво шелестя,
как Лета, льется. След ловтя
оставил на граните Пушкин.

Леила, полно, перестань,
не плачь, весна моя былая.
На вывеске плавучей — глинь —
какая рыба голубая.

В петровом бледном небе — штиль,
флотилия туманов вольных.
И на торцах восьмиугольных
все та же золотая пыль.

1924 г.

На сельском кладбище

На кладбище — солнце, сирень и березки,
и капли дождя на блестящих крестах,
местами отлипли сквозные полоски
и в трубки свернулись на светлых
стволах.

Люблю целовать их янтарные раны,
люблю их стыдливые гладить листки...

То медом повеет с соседней поляны,
то тиной потянет с недальней реки.

Прозрачны и влажны зеленые тени.
Кузнечики тикают — шепчут кусты —
и бледные крестики тихой сирени
кропят на могилах сырые кресты.

1923 г.

◆◆◆

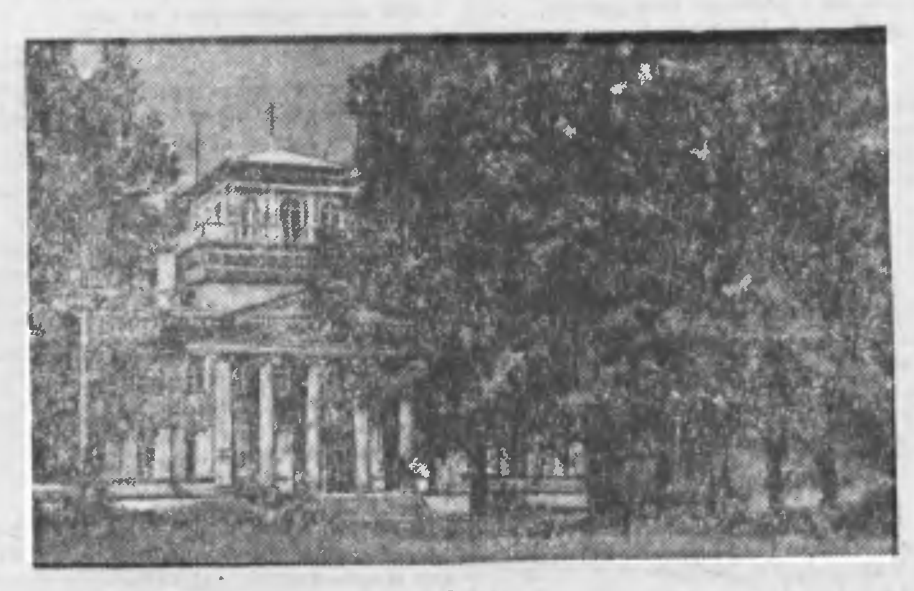
Я помню только дух сосновый,
удары дятла, тень и свет...
Моряк, косматый и суровый,
хожу по водам много лет.

Во мгле выглядываю сушу
и для кого-то берегу

татуированную душу
и бирюзовую серьгу.

В глуши морей, в лазури мрачной,
в прибрежном дымном кабаке —
я помню свято стук прозрачный
цветного дятла в сосняке.

1923 г.



Рождествено, «дом с колоннами».

Совсем недавно. Совсем давно

Александр КРЕЙЦЕР

ИНДИЙСКИЙ РОСТОВЩИК

Коломна. Так называли окраинную тогда часть Петербурга между Мойкой, Крюковым каналом, Фонтанкой и Пряжкой в начале прошлого века.

У читателей повести Н. В. Гоголя «Портрет» Коломна связывается, прежде всего, с образом ростовщика Петромихали — дьявольского порождения петербургских трущоб.

П. А. Каратыгин писал во 2-й половине 20-х годов XIX века: «В то время не было такого изобилия на каждой улице вывесок с заманчивой надписью: „Гласная касса ссуд", „Контора для заклада движимости", „Выдача денег под залог" и проч., и проч. Но тогдашние ростовщики были, конечно, не лучше нынешних, и с ними борьба за существование приходилась многим не под силу. Некоторые петербургские старожилы, вероятно, и теперь еще помнят, например, известного в то время богатого индийского ростовщика Моджерама — Мотомалова, который с незапамятных времен поселился в Петербурге и объяснялся по-русски довольно порядочно. Эту оригинальную личность можно было встретить ежедневно на Невском проспекте в своем национальном костюме: широкий темный балахон был надет у него на шелковом пестром халате, подпоясанном блестящим кушаком; высокая баранья папаха, с красной бархатной верхушкой, была обыкновенно заломана на затылок; бронзовое лицо его было татуировано разноцветными красками, черные зрачки его, как угли, блистали на желтоватых белках с кровавыми прожилками; черные широкие брови, сросшиеся на самом переносье, довершали красоту этого индийского набоба; в правой руке у него была постоянно длинная бамбуковая палка, с большим костяным набалдашником; а в левой — он держал перламутровые и янтарные четки. Он был так уже очень стар, приземист и, ходя, пыхтел от своей безобразной тучности». Определенное сходство с гоголевским Петромихали очевидно.

В первой редакции «Портрета» Гоголь так описывает ростовщика, прихотью писателя словно перенесенного с Невского в Коломну: «Был ли он грек, или армянин, или молдаван, этого никто не знал, но по крайней мере черты лица его были совершенно южные. Ходил он всегда в широком азиатском платье, был высокого роста, лицо его было темно-оливкового цвета, нависшие черные с проседью брови и такие же усы придавали ему несколько страшный вид. Никакого выражения нельзя было заметить на его лице: оно всегда почти было неподвижно и представляло странный контраст своею южною резкою физиогномией с пепельными обитателями Коломны».

Исследователь начала XX века Н. И. Коробка утверждал в забытой сейчас статье, что в позднейшей редакции повести «жизненный образ» ростовщика «принимает уже мистическую окраску, но сохраняет ряд даже мелочных подробностей оригинала». «Встречаясь с ним на улице,— говорит Гоголь в этой редакции „Портрета",— невольно чувствовали страх. Пешеход осторожно пятился и долго еще озирался после того назад, следя пропадавшую вдали его непомерно высокую фигуру. В одном уже образе было столько необыкновенного, что всякого заставило бы невольно приписать ему сверхъестественное существование. Эти сильные черты, врезанные так глубоко, как не случается у человека; этот горячий бронзовый цвет лица; эта непомерная гущина бровей, невыносимые, страшные глаза, даже самые широкие складки его азиатской одежды, все, казалось, как будто говорило, что пред страстями, двигавшимися в этом теле, были бледны все страсти других людей». Н. И. Коробка писал: «Так перерабатывается взятый из жизни образ художником. Краски и линии остались те же, но тучный, пыхтевший индиец превращается в воплощение дьявола. Любопытно проследить, как пользуется художник материалом, даваемым ему натурщиком. Он зарисовывает общие контуры, ряд деталей, устраняя то, что не соответствует его целям. Устраняется татуировка лица, могущая дать впечатление уродливого, а не страшного, устраняется тучность, но зарисовывается бронзовый цвет лица, глаза, брови, одежда. Глаза ростовщика, о блеске которых говорит и Каратыгин, особенно привлекли внимание Гоголя. В этих глазах сохраняется страшная живость и на

портрете старика, купленном Чартковым, живость неестественная, мистическая. В прототипе мы видим поражающий северянина блеск глаз индийца, в результате — полумистический образ — воплощение дьявола».

Поэтому столь естественным является то, что в соответствии с авторским замыслом образ Петромихали воспринимается как фантастический.

Каратыгин так завершает свой рассказ о Моджераме — Мотомалове: «В конце 1820-х годов этот благодетель страждущего человечества покончил свое земное странствование и, по индусскому обряду, бренные его останки были торжественно сожжены на костре на Волковом поле. Конечно, многие из его должников почли весьма приятною обязанностью отдать ему последний долг, и этот печальный обряд мог вполне назваться погашением долгов, потому что Моджерам, кажется, не оставил после себя наследников, и все неудовлетворенные обязательства и недоимки рассыпались вместе с его прахом».

Такова история индийского ростовщика — дьявольского петербургского «фантома», олицетворяющего власть денег над людьми.

Письма из прошлого

М. КРАЛИН

«САМОЕ ЛУЧШЕЕ ПИСЬМО»

Среди многих писем из архива Анны Андреевны Ахматовой [1] меня особенно поразило одно.

Прииск «Разведчак» 15/IX-60 г.

Здравствуйте, уважаемая поэтосса Анна Ахматова!

С искренним приветом к вам Петр Лобасов. Прошу Вас извинить меня за это письмо, которое в силу сложившихся обстоятельств приходится адресовать именно Вам. Сегодня я прочел в журнале «Москва» Вашу «Мартовскую элегию» [2].

Я люблю стихи, и этот Ваш стих для меня первый, он мне понравился, не могу точно выразиться, чем именно он понравился, но Вы из Ничего сделали Что-то. Из одного этого стиха чувствуется Ваша впечатлительная натура и вместе с этим каким-то холодком несет от раненого чувства простоты. Может быть, я ошибаюсь, но не принимайте это близко к сердцу я всего только любитель, но не знаток стихов. Как я уже написал, что обстоятельства заставляют обратиться именно к Вам с этим письмом, то хочу добавить (если, конечно, Вас это не оскорбит): я заключенный, круг знакомых у меня очень ограничен, а в нашей библиотеке нет Ваших авторских стихов, которые очень хотелось бы почитать.

Я обращаюсь к Вам с просьбой, если можете, пришлите мне полное собрание Ваших стихов хотя бы наложенным платежом. Я очень откровенный, и отзыв Вы получите лично, если пожелаете.

Будьте здоровы. Желаю Вам успехов во всех делах.

П. Лобасов

Письмо это поразило не только меня. Выделила его среди прочих полученных ею писем и сама Анна Андреевна Ахматова. В 1981 году я получил в подарок от Лидии Корнеевны Чуковской второй том ее «Записок об Анне Ахматовой». В записи от 8 октября 1960 г. нашел место, имеющее непосредственное отношение к письму П. И. Лобасова:

«Помолчали. Она (то есть Ахматова.— *М. К.*) вынула из сумочки и протянула мне конверт:

— Прочитайте. Это самое лучшее письмо, какое я получила за все сорок восемь лет своей литературной работы.

Я прочла. От заключенного. Наивно; малограмотно; сильно. Он впервые открыл для себя Ахматову, прочитав „Мартовскую элегию" в „Москве".

„Меня поразила раненая простота",— пишет он.

— Я немедленно послала ему телеграмму и „красненькую" книгу,— сказала Анна Андреевна».

Действительно, «самое лучшее письмо» Петр Лобасов послал 15 сентября, а 29 октября (через полтора месяца!) он пишет Анне Андреевне второе письмо, в котором сообщает, что и телеграмма, и «красненькая» книга [3] им получены. Это, второе письмо тоже стоит того, чтобы его привести полностью.

п/о «Разведчик». 29/X-60 г.

Здравствуйте, дорогая Анна Андреевна!

С искренним приветом к Вам Петр Лобасов. Анна Андреевна, поздравляю Вас с наступающим праздником Октября, пожелаю Вам самых наилучших успехов во всех делах, а главное желаю отличного здоровья.

Анна Андреевна, получил Вашу книгу, большое спасибо за внимание, которое Вы уделяли мне, т. е. сообщин телеграммой, а за тем сделали кое-где исправления в словах и датах.

Ваши стихи мне более всего понравились в описании природы. Жизнь у меня была нелегкая, и мне как то некогда было смотреть на небо, чтобы увидеть его таким чистым и ясным (как в Ваших стихах), но вот сегодня благодаря Вашей поэзии я впервые увидел такое голубое и чистое небо, что даже своим глазам не поверилось, я был зачарован им, и это признаюсь еще раз, из-за Ваших стихов. Не нахожу настоящих слов что бы выразить за это, Вам свою благодарность, но если будет суждено встретиться с Вами, я Вас отблагодарю за Вашу доброту и внимание. Я нахожусь здесь с 1950 года и еще нужно отбывать 2,5 года. В 1963 году летом я буду в Ленинграде, у меня там на Крестовском острове... живут мама и сестра Аня, которая работает машинисткой.

Кстати, Анна Андреевна, если Вам нужна будет какая-нибудь услуга (любая) я могу ей написать об этом. Вы извините меня за это, я только желаю Вам добра, хотя из Ваших стихотворений чувствовал, что у Вас гордая натура, сильная, но Вы все же женщина, при том же пожилая, и я не знаю есть ли у Вас родственники, и именно в Ленинграде.

Вы то в Ташкенте, то в Москве, то в Ленинграде. И везде где бы ни были — дома. Анна Андреевна, Ваша книга это Ваша биография, в ней почти вся Ваша личная жизнь без прикрас, Вы очень откровенны и добры, думаю не в «бабушку». Если нет в этом ничего предосудительного, я Вас очень прошу сфотографируйтесь у памятника Ал. Пушкина, для меня на память. Ведь Вы мне помогли голову поднять. Посылаю Вам свою фотокарточку, посмотрите на дикаря. Извините меня за откровенность. Очень буду рад получить от Вас весточку.

Жму Вашу руку.

П. Лобасов

Из второго письма П. Лобасова следует, что Анна Андреевна не только послала ему телеграмму и книгу стихов, но сделала в книге «кое-где исправления в словах и датах». К сожалению, мне ничего не удалось узнать о дальнейшей судьбе П. И. Лобасова, не знаю, состоялась ли его предполагаемая встреча с Ахматовой в 1963 году или нет. Быть может, читая эти заметки, откликнется или сам Петр Иванович Лобасов, или кто-то из знавших его людей... Но уже сейчас можно сделать одно предположение, приоткрывающее чуть-чуть завесу над «тайнами ремесла» Анны Ахматовой. Читатели, а особенно такие проницательные, как П. И. Лобасов, посылая любимому поэту письма, полные восхищения, не только делились с ней «своей силой», как сказала сама Ахматова в одном из стихотворений. Такие письма были свидетельством воистину всенародного признания — поверх официального замалчивания, поверх осторожного молчания литературоведов. В письме заключенного Лобасова Ахматова нашла такое определение самой сути ее поэтического метода, какое и не снилось никакому литературоведу. Недаром именно это место в письме запомнилось и Л. К. Чуковской. Напомню его: «...каким-то холодком несет от раненого чувства простоты». И это гениальное определение Петр Лобасов сделал, будучи знакомым только с одним стихотворением Ахматовой! Может быть, в этом заключенном жило великое умение формулировать суть на уровне интуиции? Во всяком случае, Анна Ахматова не только запомнила это определение ее поэзии, не только им восхищалась, но воспользовалась образом, подсказанным читателем, в своих стихах. В автографе это стихотворение имеет название «Последнее слово». Последнее слово поэта, уходящего в вечность, к читателю иного, нового поколения. Символично и то, что стихотворение это появилось в печати всего лишь за год до смерти Ахматовой в журнале «Юность» [4].

Ты стихи мои требуешь прямо...
Как-нибудь проживешь и без них.
Пусть в крови не осталось и грамма,
Не впитавшего горечи их.

Мы сжигаем несбыточной жизни
Золотые и пышные дни,
И о встрече в небесной отчизне
Нам ночные не шепчут огни.

И от наших великолепий
Холодочка струится волна,
Словно мы на таинственном склепе
Чьи-то, вздрогнув, прочли имена.

Не придумать разлуку бездонней,
Лучше б сразу тогда — наповал...
И, наверное, нас разлученней
В этом мире никто не бывал.

Стихотворение датировано 1963 годом. Кто знает, а может быть, и состоялась тогда та его встреча с Ахматовой, о которой мечтал Петр Лобасов. И стихотворение это — ответ поэта на «самое лучшее письмо» читателя?

---

[1] ОРиРК ГПБ им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, ф. 1073, архив А. А. Ахматовой, оп. 1, ед. хр. 1419.

[2] «Москва», 1960, № 7.

[3] Имеется в виду книга: Анна Ахматова. Стихотворения, М., 1958.

[4] «Юность», 1964, № 4, под загл. «Эпилог».

Из почты «Невы»

И. ВЕРБЛОВСКАЯ

ПОЭТ ТРАГИЧЕСКОЙ СУДЬБЫ

Журнал «Огонек» опубликовал в № 35 за 1988 год статью Л. Таганова «Неизвестная поэтесса Анна Баркова». Судьбе было угодно, чтобы тридцать лет назад, летом 1958 года, мы познакомились с Анной Александровной и провели в одном лагере вместе четыре года. Расстались же в конце марта 1962 года, когда я освободилась, а она еще там оставалась.

Встретились мы в зоне неподалеку от г. Мариинска Кемеровской области. Хорошо помню жаркий день, когда мимо небольшого палисадничка, что тянулся вдоль барака, прошла Анна Александровна — женщина небольшого роста с острыми чертами лица, с действительно, как сказано в «огоньковской» статье, главами-буравчиками, с огненно-рыжими кудрями, которые затем как-то внезапно поседели. Голос у нее был низкий, слегка надтреснутый, как бывает у много курящих. В мои двадцать шесть лет она показалась мне глубокой старухой (а было ей пятьдесят семь). Уверенность, с которой держалась эта женщина, выдавала старого лагерника. Это я поняла позже. А тогда бросилась в глаза какая-то двойственность: она была новичком, но новички выглядели не так.

Вскоре мы познакомились, и Баркова дала мне роман Дю-Гара «Семья Тибо». Вероятно, она его читала перед арестом. Иначе трудно объяснить, как он у нее оказался. В одну из первых же бесед она рассказала о том, что родом из Иванова, что ее ранние стихи заметил Фурманов, что в Москву ее пригласил Луначарский, что когда-то она была его секретарем, дружила с его семьей и одно время даже жила в его кремлевской квартире.

Уже в 1958 году Баркова страдала астмой. Удивительно, как при тяжелом недуге она сумела прожить (точнее, промучиться) такую долгую жизнь и при этом сделать ее столь наполненной. В одну из наших бесед (они случались чаще всего вечером, когда я возвращалась с работы и была в силах пойти в инвалидный барак) Анна Александровна рассказала историю своего третьего ареста. Может быть, самое грустное и настораживающее — он относится к такому, казалось бы, замечательному времени, когда делались усилия восстановить законность в стране: к 1957 году. Баркова, освобожденная после второго срока, даже досрочно, по «актировке» (то есть по состоянию здоровья), приехала в Москву и жила у своей подруги по лагерю. Она ждала собственного жилья и постоянной прописки в Москве. «В связи с подготовкой первого в нашей стране Московского международного фестиваля молодежи и студентов» (в какой это связи?) ей предложили на время покинуть Москву. Она уехала к другой бывшей солагернице в Донбасс, когда же собралась в обратный путь, то все, кроме смены белья, отправила по почте. Среди отправленных вещей были и рукописи, в том числе и новые. Рукописи попали совсем не туда, куда она их посылала, а она сама — вновь в исправительно-трудовой лагерь, да еще с приютившей ее в Донбассе женщиной.

Баркова не была человеком сентиментальным. Вряд ли можно назвать ее доброй — слишком тяжелую жизнь для этого она прожила. И все же Анна Александровна бывала отзывчивой на чужую беду. Весной 1959 года, в трудную для меня минуту, она сама пришла ко мне (инвалиды редко ходили в рабочие бараки) и несколько часов кряду читала свои стихи. Читала медленно, гулким голосом, хрипотца куда-то исчезала, она както особенно выделяла «о» и «а».

Особенно мучительным был для Анны Александровны этап накануне 1960 года, когда наш лагерь переводили из Кемеровской области в Иркутскую, на Тайшетскую трассу. Нам надо было пройти несколько километров пешком. Стояла морозная ночь. Наши вещи погрузили на подводы, а мы шли по нетоптаной дороге, подгоняемые конвоем. Шли, разумеется, медленно, но Анна Александровна, задыхаясь от астмы, вообще еле передвигала ноги. Вскоре она выбилась из последних сил, села в снег и сказала, что больше идти не может, пусть ее застрелят. Тогда мы связали два головных платка, положили ее, как на носилки, и понесли. Платки провисли, и мы практически волокли ее по колючему снежному насту. Анна Александровна терпеливо молчала. Наконец, одна женщина взяла ее на руки, как ребенка, а вскоре удалось остановить подводу с багажом и усадить Баркову. Честно говоря, мы не чаяли, что она останется живой.

В апреле 1961 года нас опять перевезли. На сей раз в Мордовию. Вскоре возникли новые трудности. Вышло правило: посылки и продуктовые бандероли можно получать только от родственников. У Барковой их не было. Жить приходилось на скудный тюремный паек (из расчета тридцать четыре копейки в день). Годами Анна Александровна голодала. Слабело тело, развивались болезни, но не слабела сила ее духа.

Летом кто-то сообщил Барковой, что опубликованы письма Луначарского к ней. Да еще с комментарием, что, мол, ошибся Луначарский, предрекая ей большое будущее (Известия АН СССР, Отделение языка и литературы, М.: 1959, т. 18, вып. 3). Ее это расстроило и рассердило. «Подумайте! — восклицала Анна Александровна.— Они со мной обходятся, как с покойницей!».

Она написала в издательство гневное письмо — не знаю, дошло ли оно до адресата — и с этого времени не прекращала хлопот об освобождении. Правда, освободили ее только в 1965 году. Тогда же я спросила ее, откуда взялись адресованные ей письма в «Известиях АН». Она сердито ответила, что продала их, так как надо было на что-то жить. Таким образом Луначарский, сам того не подозревая, опять помог Барковой.

Анна Александровна была неверующей. Взгляды ее отличались крайним солипсизмом. Не ее лирическая героиня, а сама поэтесса признается:

...Смерть для меня —
это смерть для мира,
А мир лишь со мной родится...

То, что перед смертью ей захотелось церковного отпевания, скорее всего говорит о стремлении вернуться к исконной традиции. Жизнь была уж слишком нескладной. Пусть хоть прощание будет, «как у всех»...

За четыре года Анна Александровна прочитала мне довольно много своих стихов. Записывать их было не всегда удобно, сохранять записанное в тех условиях — тем более. Память сохранила чаще всего лишь отдельные фрагменты. Опасаюсь, что наиболее полно ее творчество представлено в рукописях, изъятых при арестах. Возможно, они — в архивах соответствующего ведомства.

Есть у нее поэма о первомартовцах, где главная героиня — Софья Перовская. Она начиналась так:

Ветер мартовский,
мартовский ветер
Обещает большой ледоход.
А сидящего в царской карете
Смерть преследует, ловит,
ждет.

Обращается она и к мировой культуре в ее трагических проявлениях:

...Где остались красоты
Эллады
И крылатых стоглавых Фив?
Атлантида для нашей услады
Завещала трагический миф.

Но есть и более злободневные стихи:

...Извивайся в холопском
усердии
Ты, Российская наша земля,
И проси для себя милосердия
И у бога, и у Кремля.
Ты все служишь и служишь
молебны
Несгибаемой силе стальной,
Захлебнувшись словами
хвалебными,
Как чахоточной кровью
больной...

Запомнились стихи о горькой и тяжкой любви:

Камень осклизлый где-то
в груди
И молитва такая жалкая:
Об одном прошу — не уходи,
Взглядом меня не отталкивай.

Болью и присущим ей сарказмом проникнуты стихи:

Существуют ли звезды
и небесные дали?
Я уже не могу поднять морду.
Меня когда-то человеком
звали,
И кто-то утверждал, что это
звучит гордо.

Я, наверное, скоро поверю
в бога,
Беззлобого и косматого, как
я сам.
Мне когда-то запретили
строго
Поднимать глаза к небесам.

И о нас, женщинах в зэковских бушлатах:

Нам отпущено полною мерою
Все, что нужно для злого раба.
Это серое, серое, серое —
Небеса, и дожди, и судьба.

Хочется надеяться, что найдутся люди, которые возьмут на себя непростой труд — собрать наследие Анны Барковой и издать его. Право, этого заслуживают и ее талант, и ее судьба.

ПРОБЛЕСКИ ВО ТЬМЕ

В публикациях о драматичной судьбе Зощенко и Ахматовой (в том числе — в «Неве» № 5, 1988) нет недостатка в тягостных подробностях предательства попавших в опалу писателей их недавними друзьями и соратниками.

Да, было это. Но было и другое. Память сохранила — наряду с мрачными — и светлые штрихи того времени. Поделюсь ими.

Шестнадцатое августа 1946 года. Творческую интеллигенцию Ленинграда собрали в Смольном, в историческом зале, где Ленин провозгласил Советскую власть. В президиуме — А. Жданов, А. Кузнецов, П. Попков. Председательствующий поэт

Из почты «Невы»

И. ВЕРБЛОВСКАЯ

ПОЭТ ТРАГИЧЕСКОЙ СУДЬБЫ

Журнал «Огонек» опубликовал в № 35 за 1988 год статью Л. Таганова «Неизвестная поэтесса Анна Баркова». Судьбе было угодно, чтобы тридцать лет назад, летом 1958 года, мы познакомились с Анной Александровной и провели в одном лагере вместе четыре года. Расстались же в конце марта 1962 года, когда я освободилась, а она еще там оставалась.

Встретились мы в зоне неподалеку от г. Мариинска Кемеровской области. Хорошо помню жаркий день, когда мимо небольшого палисадничка, что тянулся вдоль барака, прошла Анна Александровна — женщина небольшого роста с острыми чертами лица, с действительно, как сказано в «огоньковской» статье, глазами-буравчиками, с огненно-рыжими кудрями, которые затем как-то внезапно поседели. Голос у нее был низкий, слегка надтреснутый, как бывает у много курящих. В мои двадцать шесть лет она показалась мне глубокой старухой (а было ей пятьдесят семь). Уверенность, с которой держалась эта женщина, выдавала старого лагерника. Это я поняла позже. А тогда бросилась в глаза какая-то двойственность: она была новичком, но новички выглядели не так.

Вскоре мы познакомились, и Баркова дала мне роман Дю-Гара «Семья Тибо». Вероятно, она его читала перед арестом. Иначе трудно объяснить, как он у нее оказался. В одну из первых же бесед она рассказала о том, что родом из Иванова, что ее ранние стихи заметил Фурманов, что в Москву ее пригласил Луначарский, что когда-то она была его секретарем, дружила с его семьей и одно время даже жила в его кремлевской квартире.

Уже в 1958 году Баркова страдала астмой. Удивительно, как при тяжелом недуге она сумела прожить (точнее, промучиться) такую долгую жизнь и при этом сделать ее столь наполненной. В одну из наших бесед (они случались чаще всего вечером, когда я возвращалась с работы и была в силах пойти в инвалидный барак) Анна Александровна рассказала историю своего третьего ареста. Может быть, самое грустное и настораживающее — он относится к такому, казалось бы, замечательному времени, когда делались усилия восстановить законность в стране: к 1957 году. Баркова, освобожденная после второго срока, даже досрочно, по «актировке» (то есть по состоянию здоровья), приехала в Москву и жила у своей подруги по лагерю. Она ждала собственного жилья и постоянной прописки в Москве. «В связи с подготовкой первого в нашей стране Московского международного фестиваля молодежи и студентов» (в какой это связи?) ей предложили на время покинуть Москву. Она уехала к другой бывшей солагернице в Донбасс, когда же собралась в обратный путь, то все, кроме смены белья, отправила по почте. Среди отправленных вещей были и рукописи, в том числе и новые. Рукописи попали совсем не туда, куда она их посылала, а она сама — вновь в исправительно-трудовой лагерь, да еще с приютившей ее в Донбассе женщиной.

Баркова не была человеком сентиментальным. Вряд ли можно назвать ее доброй — слишком тяжелую жизнь для этого она прожила. И все же Анна Александровна бывала отзывчивой на чужую беду. Весной 1959 года, в трудную для меня минуту, она сама пришла ко мне (инвалиды редко ходили в рабочие бараки) и несколько часов кряду читала свои стихи. Читала медленно, гулким голосом, хрипотца куда-то исчезала, она както особенно выделяла «о» и «а».

Особенно мучительным был для Анны Александровны этап накануне 1960 года, когда наш лагерь переводили из Кемеровской области в Иркутскую, на Тайшетскую трассу. Нам надо было пройти несколько километров пешком. Стояла морозная ночь. Наши вещи погрузили на подводы, а мы шли по нетоптаной дороге, подгоняемые конвоем. Шли, разумеется, медленно, но Анна Александровна, задыхаясь от астмы, вообще еле передвигала ноги. Вскоре она выбилась из последних сил, села в снег и сказала, что больше идти не может, пусть ее застрелят. Тогда мы связали два головных платка, положили ее, как на носилки, и понесли. Платки провисли, и мы практически волокли ее по колючему снежному насту. Анна Александровна

терпеливо молчала. Наконец, одна женщина взяла ее на руки, как ребенка, а вскоре удалось остановить подводу с багажом и усадить Баркову. Честно говоря, мы не чаяли, что она останется живой.

В апреле 1961 года нас опять перевели. На сей раз в Мордовию. Вскоре возникли новые трудности. Вышло правило: посылки и продуктовые бандероли можно получать только от родственников. У Барковой их не было. Жить приходилось на скудный тюремный паек (из расчета тридцать четыре копейки в день). Годами Анна Александровна голодала. Слабело тело, развивались болезни, но не слабела сила ее духа.

Летом кто-то сообщил Барковой, что опубликованы письма Луначарского к ней. Да еще с комментарием, что, мол, ошибся Луначарский, предрекая ей большое будущее (Известия АН СССР, Отделение языка и литературы, М.: 1959, т. 18, вып. 3). Ее это расстроило и рассердило. «Подумайте! — восклицала Анна Александровна.— Они со мной обходятся, как с покойницей!».

Она написала в издательство гневное письмо — не знаю, дошло ли оно до адресата — и с этого времени не прекращала хлопот об освобождении. Правда, освободили ее только в 1965 году. Тогда же я спросила ее, откуда взялись адресованные ей письма в «Известиях АН». Она сердито ответила, что продала их, так как надо было на что-то жить. Таким образом Луначарский, сам того не подозревая, опять помог Барковой.

Анна Александровна была неверующей. Взгляды ее отличались крайним солипсизмом. Не ее лирическая героиня, а сама поэтесса признается:

...Смерть для меня —
это смерть для мира,
А мир лишь со мной родится...

То, что перед смертью ей захотелось церковного отпевания, скорее всего говорит о стремлении вернуться к исконной традиции. Жизнь была уж слишком нескладной. Пусть хоть прощание будет, «как у всех»...

За четыре года Анна Александровна прочитала мне довольно много своих стихов. Записывать их было не всегда удобно, сохранять записанное в тех условиях — тем более. Память сохранила чаще всего лишь отдельные фрагменты. Опасаюсь, что наиболее полно ее творчество представлено в рукописях, изъятых при арестах. Возможно, они — в архивах соответствующего ведомства.

Есть у нее поэма о первомартовцах, где главная героиня — Софья Перовская. Она начиналась так:

Ветер мартовский,
мартовский ветер
Обещает большой ледоход.
А сидящего в царской карете
Смерть преследует, ловит,
ждет.

Обращается она и к мировой культуре в ее трагических проявлениях:

...Где остались красоты
Эллады
И крылатых стоглавых Фин?
Атлантида для нашей услады
Завещала трагический миф.

Но есть и более злободневные стихи:

...Извивайся в холопском
усердии
Ты, Российская наша земля.
И проси для себя милосердия
И у бога, и у Кремля.
Ты все служишь и служишь
молебны
Несгибаемой силе стальной,
Захлебнувшись словами
хвалебными,
Как чахоточной кровью
больной...

Запомнились стихи о горькой и тяжкой любви:

Камень осклизлый где-то
в груди
И молитва такая жалкая:
Об одном прошу — не уходи,
Взглядом меня не отталкивай.

Болью и присущим ей сарказмом проникнуты стихи:

Существуют ли звезды
и небесные дали?
Я уже не могу поднять морду.
Меня когда-то человеком
звали,
И кто-то утверждал, что это
звучит гордо.

Я, наверное, скоро поверю
в бога,
Беззлобного и косматого, как
я сам.
Мне когда-то запретили
строго
Поднимать глаза к небесам.

И о нас, женщинах в зэковских бушлатах:

Нам отпущено полною мерою
Все, что нужно для злого раба.
Это серое, серое, серое —
Небеса, и дожди, и судьба.

Хочется надеяться, что найдутся люди, которые возьмут на себя непростой труд — собрать наследие Анны Барковой и издать его. Право, этого заслуживают и ее талант, и ее судьба.

ПРОБЛЕСКИ ВО ТЬМЕ

В публикациях о драматичной судьбе Зощенко и Ахматовой (в том числе — в «Неве» № 5, 1988) нет недостатка в тягостных подробностях предательства попавших в опалу писателей их недавними друзьями и соратниками.

Да, было это. Но было и другое. Память сохранила — наряду с мрачными — и светлые штрихи того времени. Поделюсь ими.

Шестнадцатое августа 1946 года. Творческую интеллигенцию Ленинграда собрали в Смольном, в историческом зале, где Ленин провозгласил Советскую власть. В президиуме — А. Жданов, А. Кузнецов, П. Попков. Председательствующий поэт

А. Прокофьев предоставляет слово Жданову.

Ждановъ начал с претензии на аристократичность:

— Я имею честь доложить вам мнение Иосифа Виссарионовича и Постановление ЦК.

Далее шли отнюдь не аристократические ругательства: «подонок Зощенко», «блудница Ахматова» и тому подобное.

Предложили высказываться. В числе других выступил поэт Б. Лихарев. Первая его фраза вызвала смех всего зала. Все знали: редактор журнала «Ленинград» Лихарев в числе прочих был вызван в Кремль, где Сталин объявил о закрытии возглавляемого им журнала. И вот Лихарев на трибуне:

— Это был счастливейший день всей моей жизни! Я увидел нашего величайшего, нашего любимейшего... и т. д.

Смеялись даже в президиуме. Смеялся Жданов, прикрыв лицо рукой.

Тем большим контрастом стало дальнейшее.

Зачитывается резолюция, одобряющая Постановление ЦК.

— Кто за? — спрашивает Прокофьев.— Кто против? Никого. Кто воздержался?

И вдруг откуда-то из конца зала женский голосок:

— Я против!

Общий шок. Люди вскакивают с мест, растерянно оглядываются. А голосок снова:

— Разрешите, я объясню.

Из последнего ряда медленно выбирается женщина средних лет в длинном, до пят, костюме из сурового полотна. Так же медленно, опираясь на трость, идет по центральному проходу к сцене.

В президиуме замешательство. В зале шум. «Кто это? Откуда?» — спрашивают люди друг у друга.

Детскую писательницу Наталию Леонидовну Дилакторскую (она здравствует и ныне) даже в нашем писательском Союзе знали не все. А в других творческих союзах — тем более.

Под многоголосый гул зала Дилакторская поднялась на трибуну. Произнесла всего одну фразу:

— Было бы справедливо сказать в Постановлении, что у Зощенко есть хорошая книга для детей — «Рассказы о Ленине»,— и, не спеша спустившись с трибуны, вернулась на свое место.

Оцепенение в президиуме прошло. Пошептавшись со Ждановым, Прокофьев объявляет:

— Итак, резолюция принята единогласно!

Видно, Дилакторская нам лишь померещилась...

А через несколько дней в Мавританской гостиной Дома писателя имени Маяковского сотрудница Литфонда Наталья Ивановна выдавала писателям продовольственные карточки на сентябрь. Подошел и встал в очередь Зощенко.

Увидев его, Наталия Ивановна побледнела.

— Михаил Михалыч, дорогой,— сказала она мучительно сдавленным голосом, словно умоляя о прощении за свою — лично свою! — вину перед ним.— Но у меня нет для вас карточек! Вас и Анну Андреевну исключили...

Не забуду, каким взглядом ответил ей Зощенко. Печаль, понимание были в нем. И благодарность простой доброй женщине за ее душевную боль. Потом он устало смежил глаза. Словно уснув, постоял так миг, другой — и вдруг, круто повернувшись, ушел.

Добивали лежачего...

Но вскоре приехал из Москвы Фадеев. Привез карточки для Ахматовой и Зощенко. Властью члена ЦК партии он напомнил ведавшим карточками чиновникам: Постановление ЦК к голодной смерти исключенных писателей не приговаривало.

Да, было все... Было предательство, хамелеонство. Но был и мужественный, опасный по тем временам поступок Дилакторской (за него она заплатила годами отлучения от литературы). Была душевная мука Наталии Ивановны. Моральная и материальная поддержка Фадеева. Вселяющие мужество письма читателей. Сочувственное понимание во взглядах незнакомых...

Проблески благородства и человечности в бездушной тьме культа. Проблески справедливости, до торжества которой тогда было так еще далеко...

Сергей ПОГОРЕЛОВСКИЙ

Сдано в набор 27.12.88. Подписано к печати 28.02.89. М-25003. Формат 70×108¹/₁₆. Бумага газетная. Печать высокая. 18,2+2 вкл.=18,55 усл. печ. л. 20,38 усл. кр.-отт. 22,72+1 вкл.=23,1 уч.-изд. л.
Тираж 675 000 экз. Заказ 1443. Цена 95 коп.

Адрес редакции: 191065, Ленинград, Д-65, Невский пр., 3
Телефоны: главный редактор, заведующая редакцией — 312-65-37, первый заместитель главного редактора — 312-64-78, заместитель главного редактора — 312-70-35, ответственный секретарь — 312-61-18, отдел прозы — 312-65-95, отдел поэзии — 312-65-85, «Седьмая тетрадь» — 312-65-78, отдел публицистики — 315-84-72, отдел критики и искусства — 312-70-96, технический редактор и корректоры — 312-65-59

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15